

ISSN 0132-0637

Октябрь

8

1989



ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

8

1989

АВГУСТ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Юрий МУШКЕТИК.
Летний лебедь на зимнем берегу. Повесть. Авторизованный перевод с украинского Надежды Крючковой 3
- Юрий ПАШКОВ.
Новые стихи 49
- Дмитрий ВОЛКОГОНОВ.
Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. Книга вторая. Продолжение 51
- Кирилл ПОМЕРАНЦЕВ.
«Мы все — беспризорные дети...» Стихи. Вступительная статья Игоря Васильева 134

Ростом ЧАЧАВА. 143
Этап. Рассказ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Михаил КАПУСТИН. 151
Камо грядеши?

Народная публицистика 176

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Андрей НЕМЗЕР. 184
В поисках утраченной человечности

ДИАЛОГ С НАШИМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

Саша СОКОЛОВ — Виктор ЕРОФЕЕВ.
«Время для частных бесед...» Вступительная статья Олега Дарка 195

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

В. ПИСКУНОВ. Живая трава. * В. ШОХИНА. Против больших батальонов 203

Летний лебедь на зимнем берегу

ПОВЕСТЬ

*Мы -- только прах и тень.
Горацкий*

На краю света и жизни

Низкорослый, кривоногий привратник с лицом, покрытым лишаями, от скуки дразнил собак, сидевших в большой деревянной клетке возле ворот. Он подкрадывался к клетке, ударял по ней куском облезлой волчьей шкуры, из которой в разные стороны разлетались клочья шерсти, и отскакивал, а черные лохматые твари, завывая, бросались на прутья, в дикой злобе грызли их, — только щепки летели, скалили страшные клькастые пасти. Привратник довольно побряхтывал, хватал воздух черным ртом — так он смеялся. Овидий с одинаковым страхом обошел и привратника-гета¹, и клетку, приблизился к тяжелым, окованным железными полосами воротам. Они были закрыты, но неплотно, между створками оставался зазор шириной в два пальца. Поэт припал к щели, напряженно всматриваясь в даль, распахнувшуюся перед ним. Ему показалось: вот сейчас он увидит ров, изломом окружающий крепость, а за ним бездну. Пустоту и мрак. Ведь Томы² стоят на краю света, на самом-самом его краю. Это чувство было почти непреодолимо, оно противоречило тому, что поэт знал, хотя он ни разу не выходил за ворота крепости: целый месяц провалялся в простудной лихорадке на медвежьих шкурах, знал — сарматские³ степи необозримы, раскинулись они на тысячи миль. А за ними — другие степи и леса и другие дикие народы и племена, говорят, есть среди них двухголовые, говорят, есть людоеды, а звери такие огромные и лютые, что из их пастей вырывается пламя и гибнет от смрада все живое. Рассказывают, лет пять тому назад один чужеземец добирался до Томов со стороны степей двести дней и сказывал, что если ехать в другую сторону, то будет столько же, а что дальше — не знает.

Возможно, что и так, но простор, который увидел Овидий, для него — край земли. Конец цивилизации, конец жизни. Жизнь осталась где-то там, где светит ласковое и теплое солнце, где шумят оливковые рощи, щебечут ласточки и нежно цветет тамариск. Где беломраморные дворцы, высокие колонны, портики, под которыми собираются поэты и читают сти-

¹ Геты — фракийские племена. К I в. до н. э. жили в низовьях Дуная. Окончательно покорены Римом в 106 г. (Здесь и далее прим. переводчика.)

² Томы — античный город на западном берегу Черного моря (совр. Констанца, Румыния). Основан в начале VI в. до н. э.

³ Сарматы — объединение кочевых скотоводческих племен (аланы, роксоланы, язиги и др.); в VI—IV вв. до н. э. жили на территории от р. Тобол до Волги. В III в. до н. э. вытеснили из Северного Причерноморья скифов. Вели войны с государствами Закавказья и Римом. В IV в. н. э. разгромлены гуннами.

хи. Где роскошные, с горячей и холодной водой термы¹, где театр с комедиями и мимами, где тысячеголосый форум и храмы богов. Где излюбленный дом, изысканный, с задумчивым шепотом кленов, где священные Лары — домашний алтарь, где тихий голос жены и веселое лепетанье внуков, покорно склоненные головы рабов, угадывающих малейшее желание господина.

Овидий припомнил дикие обычаи гетов, которые чаще всего почему-то дерутся, будто звери что-то делают, за что-то грызутся, их гортанный язык напоминает рычание, — и содрогнулся. Он боялся их не меньше, чем этих зверей, сидящих в клетках. Правда, они его не трогают, даже вроде бы не замечают, возможно, получили приказ от легата, а возможно, им в самом деле безразличен этот слабый, изнеженный человек с длинным и бледным лицом, шелушащимся от холодных ветров, с холеними, хотя на них уже и обломались ногти, пальцами, одетый в короткую, изрядно поношенную хламиду без рукавов и обутый в сандалии с посеребренными ремешками. Сами они одеваются в звериные шкуры, большей частью мехом наружу, меховые шапки, из-под которых выбиваются длинные, нестриженные, невымытые лохмы, и — о, ужас! — в штаны, как персы, только не шелковые, а кожаные. И у каждого на боку меч, и у каждого за спиной лук и колчан со стрелами, они не снимают их даже тогда, когда садятся в харчевне за еду.

Душу Овидия не покидают отвращение и страх, только при одном воспоминании о родном крае на сердце закипают горькие слезы. И родной город, дом встают перед глазами, словно разлучился с ними только вчера. А уже прошел почти год, как он покинул Рим, сначала плыл по разбушевавшемуся морю, а когда обшарпанный бурями корабль прибило к греческому берегу, зазимовал там и добирался во Фракию через грозные, заснеженные, хмурые горы Гем. Он ни на минуту, ни на час не может примириться с изгнанием; и на душе становится так тоскливо, так пусто, такая охватывает его печаль, что жизнь становится в тягость и он готов сделать последний шаг, который не прощают боги. Если бы они осветили ему будущую его дорогу и он увидел, что она вся изрыта и к родному очагу ему уже не вернуться, совершил бы этот последний шаг.

Воля богов смертным неведома, и он должен идти по predeterminedному свыше пути. Не помнил, как приоткрыл ворота и сделал шаг, один, потом второй, третий — по рыжим камням, по серой земле, по молодой зеленой траве. Она шелестела под ногами жестко и неприветливо и пахла непривычно, враждебно. Степь горчила полынью, чужие запахи терпких трав перехватывали дыхание, он вдыхал их со страхом и тревогой. Его нежные ноздри, привыкшие к благовониям, к аромату роз, благородного лавра, тamarиска, волнующему запаху умащенного женского тела, испуганно трепетали. Овидий сорвал высокую седовато-белесую былинку, напоминавшую траву, которую он называл шелковой, — рабы высевали такую у него на вилле, — понюхал и сморщился — запершило в горле. Бросил былинку, понюхал руку, и вновь от спазмы сдавило грудь, однако... да, да, было что-то в этом запахе и приятное. Неужели, подумал, и он когда-то в предках своих был таким же диким, как эти сарматы? Неужели дикость сказывается и в нем? Нет, нет, что у него может быть общего с этой травой, с этой степью? Рим — вечный. Там испокон веку другое небо, другая земля, другие травы и цветы.

Цветы, которые он очень любил и всегда дарил тем, кого воспевал в элегиях и кто, в свою очередь, надевал ему на голову венки из душистых роз или увенчивал его высокое искусство строгим лавром. Он уже никогда не вдохнет запахов этих цветов, чарующих ароматов духов, аравийских смол и ладана. О боги, о родные небеса, защитите или хотя бы пролейте слезы над горестной судьбой несчастного поэта!

Овидий посмотрел на горизонт. Грозная загадочная степь в легком мареве расстилалась перед ним, колыхалась и переливалась, будто шкура хищного зверя. Как мираж, промелькнул табун антилоп и исчез. Может, за ним гнался гепард? Говорят, тут их, как кошек в римском амфитеатре, кошки там подбирают разбросанные зрителями объедки и плодятся неве-

¹ Термы — в Древнем Риме общественные бани, включавшие, кроме горячей и холодной бань, также парильни, залы для спорта, собраний и т. д.

роятно быстро. Где-то вдалеке прогрохотало. Возможно, это скифский или дакийский царь вел свое войско? Тогда скифы сметут эту крепость, как картонный домик. Нет, вряд ли такое могло случиться, дозорные геты стоят далеко в степи, они бы предупредили о приближении врагов. Над головой Овидия с запада на восток плыли большие белые облака. Они походили на корабли под белыми парусами, плыли туда, где темнеют в степи высокие курганы, где летает на косматых конях смерть, где небо клонится к земле и заслоняет собой весь белый свет.

Овидий перевел взгляд на землю. Шагах в тридцати от него паслась кобылка с жеребенком. Кобылка паслась спокойно, не поднимала головы, ее не тревожили запахи степи, они были привычны ей, были ее жизнью, а жеребенок поднял маленькую голову, принюхивался, его тонкий храп дрожал, степь, воля, юность пробегали под кожей трепетной волной, вдруг он взбрыкнул точеными копытцами, вильнул коротким хвостом и помчался опрометью, только трава засвистела под ногами. И Овидий улыбнулся, что-то содрогнулось у него в груди, в памяти сверкнуло, засияло золотыми искрами, и он, раскинув руки, бросился вслед за жеребенком. Он не собирался его ловить, да и не он это бежал за ним, бежало его детство, которое, как и в каждом римлянине, пронеслось на лошадях, было влюблено в них, зачаровано ими, и, хотя его молодая мечта не повенчалась с мечом и горячим конем, сердце не могло не отозваться на стук звонких копыт.

Что-то кричал за спиной стражник-гет, но он его не слышал, возможно, и дальше бы бежал в степь, однако жеребенок вдруг остановился, широко расставил ноги и уставился на него большими наивными глазами. Поэт засмеялся и вдруг как бы проснулся. С досадой махнул рукой на жеребенка, и тот, круто выгибая шею, кинулся к матери, а Овидий тяжело опустился на траву и долго сидел, опершись рукой о землю, без мыслей, без желаний, без надежды. Высоко в небе, раскинув могучие крылья, кружил степной орел, подстерегал добычу. Может, он высматривал его? Немало костей благородных римлян разнесли орлы по этим степям, но те люди погибали в боях, с мечом в руках, умножая славу Вечного Города, а за что погибнет он, чью славу приумножит, чью кривду сразит! Он не проживет здесь и года, умрет если не от холода, болезней, так от тоски, и его тело геты выбросят в степь, как выбрасывают тела других чужеземцев, орлы разнесут кости по далеким могилам-курганам, а на том месте, где он будет лежать, где прольется его кровь, вырастет полынь. Это все, что останется от него, от его жизни, от его песен, от его славы. Никто не оплачет его смерти, не поставит в изголовье белой стелы, не бросит в жертвенник лепестки розы, не помянет его добрым словом. Поэт знает: на свете нет ничего громче человеческой славы и ничего слабее памяти о человеке.

Овидий застонал, поднялся и медленно побрел в крепость.

Настала обеденная пора. Есть Овидию не хотелось, но он почувствовал слабость во всем теле и направился к харчевне грека Стратиса.

Стратис, купец Фриг, чеканщик и купец Еок и еще десятка полтора греков, потомков бывших переселенцев из Милета¹, не совсем забыли родной язык (латынь не знал никто), он мог перекинуться с ними словом. Со всеми другими жителями крепости разговаривал с помощью жестов. Греки и одевались лучше томитов, и жили в каменных домах, однако обычаями, образом жизни не отличались от остальных фракийцев.

В кривобокой, сложенной из кругляшей харчевне плавал смрадный чад, остро пахло подгоревшим мясом, потом, шкурами, а еще стоял особый запах — самой гетской жизни, к которой поэт не мог и не хотел привывать. Геты сидели на полу, на оленьих и бычьих шкурах за низкими столиками в шапках, шлемах, при оружии, кромсали ножами мясо, рвали его зубами, разговаривали, смеялись, играли в кости. Во время игры они постоянно ссорились, горячились, даже хватались за ножи, но Стратис не спускал с них взгляда, прикрикивал на них, и те быстро успокаивались. Грек был сильным. В его глазах светилась решимость, все знали: усмирят любого, тут его право, его власть, его сила.

Овидий, примостившись за обрубком пня в левом углу харчевни, обратил внимание на то, что неподалеку от него, под окошком, затаютым

¹ Милет — древний город в Ионии (М. Азия), торговый, ремесленный и культурный центр античности.

бычьим пузырем, несколько человек играли в кости—игру, в которую играл весь Рим, в «собаку». Это слегка удивило его.

— Будь здоров,—поприветствовал поэта Стратис, крутоплечий, с волосатыми, голыми до локтей руками, опоясанный по бедрам когда-то белой, а теперь рыжей мешковиной. — Чего желает гость?

— А что есть?—спросил Овидий, отводя глаза. — Его мутило от вида Стратисовых рук, на которых запеклась корка кровавого жира. Опомился, испугался, не заметил ли этого Стратис, перевел взгляд на его лицо.

— Есть мясо—телятина и баранина, есть горох, есть толченая пшеница.

— Сыра нет?

— Для тебя найду.

Овидий хорошо платил, и Стратис старался ему угодить.

— Сыр хороший, отжатый руками, оставил для своих детей. Душаю,—он подмигнул,—дети вырастут, у меня выпадут зубы, и они тоже станут кормить меня сыром.

Овидий представил, как Стратис выжимает вот этими руками сыр, и с трудом подавил поднявшуюся было тошноту.

— Нет,—вдохнул он. — Немного баранины и гороха.

Стратис пожал плечами и отошел. Некоторое время Овидий смотрел на двух томитов, оживленно разговаривающих друг с другом. И вдруг перестал видеть их: седой пеленой задернуло взор. Тоска окутала его, тоска едкая, как утренний туман, она не давала сосредоточиться на какой-нибудь одной мысли, одной боли, а вбирала в себя все: все страдания, все утраты, и не только свои—всего мира. Хотя мир и сам постоянно обманывается и страдает: смеется и плачет, объедается и голодает, ликует и захлебывается кровью—и все это называется жизнью. И все же зачем живу я? Ради чего мое сердце вобрало в себя столько чувств, породило столько фантазий, столько впитало в себя любви ко всему этому: к морю и горам, к деревьям и цветам, к жене, дочери, внукам, друзьям?.. К друзьям. Они не пришли попрощаться, когда он отправлялся в изгнание. Друзья отшатнулись от него. Пришли только двое, и не те, близкие, присягавшие на верность, а далекие, которых и не считал за друзей. Они молчаливо смотрели на его страдания, на то, как он уходит и возвращается, обливаясь слезами, как снова и снова припадает к жене, к внукам, как обцеловывает стены своего дома, обнимает и гладит ладонями виноградную лозу, оплетает ею свои руки в надежде, что она не отпустит его. Сейчас он немного стыдился этого.

Подошел молодой, с непокрытой рыжей головой гет и спросил что-то на своем языке. А в глазах играли бесенята, и рот кривился в усмешке. В харчевне залегла тишина.

— Я не понимаю,—прозвучала в ответ латынь.

Дом содрогнулся от хохота. Латинский язык, божественный язык Юлия Цезаря и Вергилия, вызывал у томитов смех. Овидий улыбнулся смущенно, слегка заискивающе. Подошел Стратис, принес мясо, горох, отогнал гета, который еще долго изгибался от смеха в противоположном углу хижины. Стратис что-то говорил гетам, но они продолжали хохотать. Теперь, как понял Овидий, над его одеждой. Понемногу смех утих, слышались удары черных и белых камешков—геты играли в войну (белый камень, попавший между двумя черными, считался битым), бульканье из оплетенных лозой бутылей пенящегося напитка из ячменя, геты пили его с наслаждением; Овидия же, попробовавшего, чуть было не вывернуло наизнанку. Поэт склонился над тарелкой и выбирал пальцами разопревший горох. Начав есть, тут же снова задумался, размышлялся, уплыл из курной хижины и на этот раз очутился среди миртовых садов, опустился около портика Меркурия, именно там собирались поэты и вели беседы. Смердный чад щипал Овидию глаза, он протер их, выдавив слезы, и решительно двинулся в сторону от поэтов... Однако какая-то сила заставила его приостановиться и оглянуться. Он увидел, как один из них достает из футлярика свернутый в трубку свиток. Точно такой, какие лежат в его сундуке. Эти свитки всосали в себя всю его жизнь. Нижний свиток, вынутый из покрашенного соком вакцинный футляра, первая строка в этом свитке—имя автора, написана красной киноварью—минием, папирусные странички на-

терты кедровым маслом, чтобы их не источили черви, палочка, на которую накручен свиток, украшена на концах слоновой костью, обрезы налощены пемзой — как любил он раскручивать эти палочки, как любил ласкать тонкую и нежную бумагу и отдавать ей выношенные в сердце слова. И как они, свитки с его «Метаморфозами», корчились в огне, он бросил их туда в отчаянии, узнав о своем изгнании. Он думал тогда, что растоптал поэзию, бросил ее, как грешницу, что отныне расстается с ней навеки, что и знать ее больше не захочет никогда. Последним произведением была «Песнь про Августа», он написал ее, сидя на мешке с сухарями, надеясь, что она спасет его, — не спасла, он разорвал тот лист в мелкие клочки и был убежден, что никогда больше не возьмет в руки стило. Так он думал во время прощания, так думал, ступая на дощатую палубу корабля, на борту которого ярко пламенели нарисованные той же киноварью шлем и профиль Минервы. Корабль набрал полные паруса ветра и повез его к фракийским берегам. А потом на море разгулялась буря, Нептун поднял водяные валы на уровень корабельных мачт, заскрипела палуба, затрещали борта, покатались в трюме бочки с вином и водой, все прощались с жизнью, и Овидий тоже, но он прощался иначе — стихами, он нашептывал их, у него в руках неведомо откуда взялась навощенная табличка и стило, и оно побежало по табличке.

Боги морей и небес! Что осталось мне, кроме молитвы?
О, пощадите корабль, ставший игралищем волн!
Сам говорю, — а от волн брызги мне губы кропят...
Боги! Какие кругом погибают пенные горы!
Можно подумать — сейчас звезды заденут они¹.

Утих ветер, успокоилось море, а он все писал и писал, пока не выстроились одна за другой двенадцать элегий, он назвал их «Скорбными». Волновался над ними так же, как и над первыми стихами. Элегии и в самом деле получились такими печальными, что, когда читает их, не может удержаться от слез. Те, кто прочтет (а он сразу снарядил их в обратный путь с попутным кораблем), разделят его горе, его муки, донесут их святейшему Августу, чьим велением сослан он на эти пустынные, холодные берега. А за что его изгнали, точно не знает никто. Некоторые, оказавшись в подобном униженном положении, упиваются своей обидой, она согревает их и помогает удержаться в жизни: вы там, а я здесь, но я выше вас, умнее, талантливей — поэтому я здесь, вы битесь меня, а я не боюсь никого! Им легче — они утешаются своим несчастьем, пьют его горькую сладость; он же, Овидий, ни над кем не возносился, ничем не упивался, он искупал неведомую ему вину.

Опять расстроился, разволновался. Не сумел сдержать боль, тоску, она раскручивалась нескончаемой нитью, упорно пробуждая новые воспоминания, новые слезы. И над всем этим вставало: за что?

Элегии, за которые его сослали и которые по приказу Августа изъяли из библиотек, были написаны десять лет назад. Тогда его еще любили. Учил в своих стихах молодых людей, как добиваться женской ласки, но сам этого не домогался. Женщины и без того льнули к нему, летели, как мотыльки на огонь, на цвет его поэзии, его славы и красоты, мягкого и ласкового характера, все они жаждали утешить его, приласкать, приглубить, почему-то он казался им незащищенным, несчастным. А он любил только одну, ее имя — Поэзия. С ней, а не с возлюбленными, не с Коринной, которой не существовало в природе, хотя именно ей посвящены лучшие элегии, познал счастье. Счастье творчества и славы. Его вело чувство художника, он воспевал земную любовь, которая освобождает от забот, от службы, от тягот будней, утешает человека и приносит ему счастье. Его стихи, тонкие, нежные, изысканные, пленили Рим, молодежь теряла голову от них, женщины и девушки вплетали их в свои песни, свои мечты, юноши охотнее брали в руки свитки со стихами, чем мечи. Стихи его — единственное утешение и единственная любовь. Но и... вина. Именно так, призвав его к себе, сказал Август. Он, Овидий, тогда из-за слез

¹ Здесь и далее перевод С. Шервинского.

не до конца понял его слова. Он только смотрел на губы принцепса¹, когда-то любезные, лстивые, а теперь сухие, пергаментные, жесткие, они злобно прошелестели ему — изгнание. И были беспощадны, как и глаза — треугольные, презрительные, холодные. Правитель не видел его, человека, он видел содеянное преступление и потому сурово карал. Принцепс — это знают все — непогрешим и справедлив.

Непогрешимый, доступный всем, простой. Вот и сейчас он не через своих посыльных передавал весть об изгнании, а сам призвал поэта с Эльбы, где тот гостил у друга, он хотел, чтобы Овидий осознал свою вину и неотвратимость того, что должно последовать. Сидел в простой, домотканого полотна рубашке, подпоясанной цветным шнурком, двое черных мальчиков-рабов держали таз, он парил в серной воде большие руки и потирал, почесывал их, а сам говорил. Он творил праведный суд, болел душой за простой народ, и голубой попугай в большой золоченой клетке повторял заученные слова: «Res publica». А маленькие черные прислужники незаметно пинали друг друга ногами (вся страна знала: принцепс — друг детей, он любит их, даже вот таких, черных, и почти никогда не наказывает), хохотали и показывали Овидию языки.

Принцепс без причины никого не наказывает. И Овидий по сей день думает, что вина есть, пусть не его — кого-то другого, но все-таки есть, виноватых людей много, просто принцепс ошибся фамилией, перепутал следствие с причиной, и наказание пало на него.

...Овидий не сразу понял, где он, а когда понял, удивился: так все вокруг изменилось. Все будто бы перекошилось. Хижину вроде бы сотрясала тревога. Геты вскочили, спешно подпоясывались мечами, хватали луки и колчаны и выбегали на подворье. В распахнутые двери доносились настороженно-опасные звуки: дзинь-дзень, дзинь-дзень, дзинь-дзень. За одно мгновение в харчевне остался только один воин, он надевал обувь, которую сбросил с ног и поставил просушиться к огню. Овидий встревожился. Страх сначала кинул его в одну сторону, потом в другую, он тоже выбежал из дома. По узкой, немощеной, выбитой конскими копытами улице бежали томиты, все вооруженные, суровые, воинственные. Побежал и Овидий. Людской водоворот выбросил его к крепостному валу, высокому, с вкопанными по верху заостренными сваями. За ними вставали томиты, снимали с плеч луки, куда-то целились; вдруг что-то тонко свистнуло у Овидия возле уха, оглянувшись, он увидел, что в деревянной крыше дома в нескольких шагах от вала дрожит горящая стрела. Он испуганно присел, томиты, стоявшие рядом с ним, засмеялись. Они не очень прятались, что-то выкрикивали, страха на их лицах не было.

Овидий поднялся, заглянул в щель между сваями. Он увидел с полсотни всадников, круживших по степи в том месте, где он совсем недавно лежал на траве, некоторые из них вырывались из толпы, приближались к валу и пускали стрелы, а сами стремительно уносились обратно. Храпели кони, гортанно кричали верховые, раздавался посвист стрел, часть их впивалась в плахи вала, но были и такие, что летели в город. Овидий увидел кобылку с жеребенком, уже далеко воин тащил ее на длинной веревке, жеребенок бежал сзади. Овидий обомлел. Вот так же могли потащить и его, задержись он на какой-то час в степи. И ему никто не сказал, на каких быстрых ногах ходит здесь опасность, никто его не предупредил, не предостерег. Нет, он не трус, но как это страшно — погибнуть или попасть в плен просто так, ни за что ни про что. И он проклял томитов. На негнущихся, тяжелых ногах сошел с вала, побрел в харчевню. На улицах играли дети. Они влезали на крыши домов, вытаскивали стрелы, которые застревали в кровле, некоторые из них еще чадили. Пронзительно визжала большая рыжая свинья, мальчуган ехал на ней в зрехом и покалывал стрелами в бока, чтобы быстрее бежала. Высокая женщина с длинными светлыми волосами, рассыпавшимися по плечам, несла на голове в большом деревянном ушате воду. Она улыбнулась ему, сняла ведро, предложила напиться. Это была первая улыбка приязни, которую ему подарили в Томах. Женщины — всюду женщины. Овидий поблагода-

¹ Август Октавиан после смерти Цезаря сосредоточил в своих руках власть, сохранив, однако, традиционно республиканские учреждения; в историографии этот режим получил название «принципат».

рил и напился. «Воду и жизнь мне дали Тома», — мелькнуло в голове. Вода была солоноватая (она тут всюду такая), но он пил долго. Женщина смотрела на него зелеными продолговатыми глазами. Ему показалось, в глубине ее глаз колыхалось сочувствие. Видно, женщина знала, кто он. Овидий умел разговаривать с женщинами без слов, он будто бы перерождался в их присутствии, воодушевлялся, душа его перемещалась в высшие сферы, но сейчас она даже не дрогнула — душа пожилого человека, изгнанника, сосланного за любовь. Он только подумал, как легко, почти не придерживая руками, женщина несет на голове большой ушат, какая она стройная и складная. Ее стан, который свободно облегал длинная полотняная рубашка, слегка покачивался, а ведро не колыхнулось ни единого раза.

Овидий не знал, куда ему идти, и вернулся в харчевню. Стратис управлялся в избе, прибирал посуду. Под ногами у Овидия прощмыгнули черный бесхвостый пес, схватил кусок мяса. Стратис запустил в него поленом, пес взвизгнул уже за дверью, видно, полено попало.

— Садись, — кивнул Стратис Овидию, — сейчас подогрею горох. — Возможно, он понимал состояние Овидия и пояснил: — Язиги носят. Войско наше ушло далеко в степи, вот они и бесчинствуют. Но это просто так, от безделья, пугают. Налетят, пошумят — и в степь. Мол, знай наших. Вернется войско — их как ветром сдует. Сейчас не страшно. Вот зимой... Когда замерзнет Истр¹. Тогда случаются набеги больших орд. По неделям стоим на стенах. Даже женщины помогают воинам. — И чуть иначе, строго и укоризненно: — Тебе тоже надо бы опоясаться мечом. Иначе тебя не будут уважать. Мужчина без меча не мужчина.

В дом возвратились томиты. Высокий, как гора, рыжеволосый воин будто случайно сел на тот пень, за которым сидел Овидий. Остро взглянул на поэта, достал из кармашка в кожаном поясе монету, бросил на стол.

— Хозяин, вина.

С монеты на Овидия смотрел Август.

Он стоял на краю света, на самой его кромке, дальше — вечная тишина, пустота, смерть. Перед ним лежало море, холодное, чужое, легкая корка отступила от берега ненадолго, а потом она вновь скует свинцовые воды, берег скован мерзлотой навечно. Вдалеке вился дымок, это отплывал за горизонт корабль, привезший его сюда. В огромном чреве корабля их поместилось пять тысяч, к возвращению корабля, который прибывает в это же время на следующий год, их останется пятьсот. Так сказал на корабле конвоир по прозвищу Гаюка. Один из десяти! Каждый надеется, что это будет именно он, хотя хорошо знает, какой ничтожно малый шанс дарует судьба, а если этот шанс разделить на годы, он уменьшится до нуля. И все-таки человек живет надеждой.

Однако на что может надеяться он? На доброту, на милосердие, на справедливость? Где они? Столетняя мерзлота теплее сердца тех, кто сослал его сюда. И все же человек — самое удивительное из всех существ на земле. Вон на берегу чернеют три колоды, ему и еще двоим таким, как он, было приказано вытащить колоды на берег. Беглец связал колоды веревками и уплыл в море. Куда он уплыл? В вечные льды, в холодное безбрежье. Только безумец, потерявший разум, может решиться на такой шаг: попробовать переплыть море и перейти по льду с одного континента на другой. Нет, на такое не способен и сумасшедший. А он, говорят не был сумасшедшим, когда его сняли с колод, разговаривал и вел себя абсолютно нормально. Может, его что-то поманило, что-то притронуло?.. Как грезится Поэту. Такое прозвище у него среди заключенных. Для стражи он номер двести тридцать шесть тысяч семьсот сорок восемь, для таких, как сам, — Поэт. Откуда они узнали что он поэт? Он никому об этом не говорил, за все долгое время сидения в камере, за всю дорогу не написал ни одной строки, не прошептал ни единого стиха. Да и как их писать? Жизнь, в которую попал, несовместима с поэзией, он бы давно забыл, кем был когда-то, если бы не это прозвище. Не оскорбительное, не величальное, такое, как все остальные: Конокрад, Шплинт, Инкассатор, Зюзя, Убийца...

Что за маревы у него перед глазами, может, начались галлюцинации? Он оглядывается, видит черную, как антрацит, сопку, сизое облачко над ней, переводит взгляд еще выше. Нет, не галлюцинации, над ним кружатся чайки. Настоящие чайки, белые, зобатые, ширококрылые, и кричат так же, как те, которых видел на берегу теплого моря, как те, что летали над рекой, возле которой вырос. Почему они кружатся над ним? То отлетят в сторону, то вновь приблизятся, проплывут над его головой, машут крыльями у самого его лица и кричат, кричат. Сколько их: огна, две, три, четыре... восемь. И вдруг он догадывается, что эти большие чайки почти ручные, кто-то кормил их на этом

¹ Истр — древнегреческое название р. Дунай.

месте, и теперь они требуют поживы у него. А что он может им дать?.. И очень жаль, что из этой холодной пустыни, где, кроме конвоиров и узников, нет ничего живого, исчезнут эти прекрасные белокрылые чайки. Поэту кажется, если он задержит их, то, возможно, и сам удержится на этом свете, он не суеверный, но такая мысль стучится в сердце.

Он идет к пищеблоку и выпрашивает у повара (пообещал помочь колоть грова) рыбьих пузырей и кишок. И чайки вырывают добычу из рук, сагаются у его ног, сагаются на плечи и вскрикивают пронзительно и радостно. Они славят жизнь, славят доброго человека, кормящего их. Так кричали чайки, чибисы в непогоду дома. Черкали крылом синюю волну, проносились над камышом, резко взмывали ввысь, навстречу ливню, навстречу молниям. Вода кипела, вода клокотала, небесная вода перемешивалась с речной и подмывала берег. Все живое попряталось, даже стрижи-серовокрыльцы забились в черные норки на кручах, а чайки летали, а чайки оповещали криком мир, что это благодать, что это не смерть, а жизнь. Поэт стоял под крышей клетушки и пережидал грозу. Тогда он уже был Поэтом, приехал к родителям на вишни, на речные разливы, на широкую стихию народной жизни. Высоколобый, чубатый Поэт держал в зубах сигарку, а молнии зажигали ее. Критики и умудренные читатели не раз говорили Поэту, что у него сильна поэтическая стихия и что в его стихах пульсируют, живут народные родники. Поэт знал, откуда эта стихия и эти родники: они от вечной реки, от высоких круч над водой, от добрых, работающих отца и матери,— и старался как можно чаще стоять на этих кручах. В ту минуту Поэту казалось, что он вечен, что мог бы голыми руками скрутить молнии в тугой жгут, мог перейти вброд глубокую реку. Он был гордый, но чуть-чуть, был и простой, и искренний, и обыкновенный, и дружелюбный, даже слегка легкомысленный. Он был готов поделиться своим поэтическим гаром со всем миром, ему было ничего не нужно, только бы видеть небо, молнии, пенящиеся волны, склоненную под дождем траву и вишни, шумящие на ветру. Он любил жизнь, воспевал ее, воспевал такой, какой познал и какой увидел сам. Поэт курил сигарку, она и молнии освещали его смуглый лоб, темные вразлет брови, прямой глинный нос и крутой подбородок. Смуглый лоб и глинный нос — потому что в жилах поэта текла малая толика греческой крови. Как и в жилах кое-кого из односельчан, выходцев из Донбасса: соседнее село сплошь греческое, их далекие предки — переселенцы из причерноморских греческих колоний. Они говорили на том же языке, на котором разговаривали Перикл и Сократ, сеяли украинскую пшеницу и продавали на базаре украинские арбузы. И девушка, испуганная грозой, мокрая от дождя, бежавшая по-над кручей, была наполовину гречанкой, он укрыл ее от дождя под крышей отцовской клетушки, обогрел своим пиджаком, блеском карих глаз, веселыми шутками, с которых под чашечные крики, собственно, и началась их любовь... Но любовь оборвалась в самом разгаре.

...Так продолжалось целую неделю. Чайки замечали Поэта далеко от берега, летели к нему навстречу и сопровождали до самой воды белым эскортом.

Однако в следующий понедельник они не прилетели его встречать. Поэт подумал, что чайки носятся где-то над морем или устали и сидят на берегу, вот он поговорит к воде, крикнет по-чащному — и они появятся. Однако тревога полоснула по сердцу. И он не смог ее прогнать. Знал, что тревога в этих краях — вестник беды и что предчувствие часто оправдывается.

Но то, что увидел, было превыше любого предчувствия. Чайки лежали на берегу, белые перья поплывали баряными пятнами. Трех мертвых птиц покачивала волна, старалась выбросить их на берег и не могла. Как во сне, не осознавая, что делает, Поэт механически пересчитал их — одна, две, три, четыре... восемь. Кому помешали эти белые птицы? Их убили безжалостно, глумливо, как будто мстили тому, что нельзя взнуздать, бросить в темницу, что способно быть свободным, парить высоко в небе. На берегу валялись гильзы от винтовочных патронов.

Квинтилий Вар, верни легионы!

Октавиану не спалось. Погружался в сон, будто в темную реку, а она выбрасывала его на поверхность, выносила на берег. Сон покинул его давно. Сначала он сопротивлялся, бунтовал, вставал, приказывал призвать мимов, кифаристов, певцов, выходил в сад, бродил среди деревьев, пил вино, бражничал — не помогало. Чувствовал усталость и еще большую тоску. Лежать в темноте боялся. Поэтому приказывал зажечь светильники и позвать сказочника. Тот сидел в ногах, бормотал сказки. Одну за другой, без остановки. Октавиан делал вид, что слушает. Прикрыв глаза рукой, о чем-то думал. Потом забывался в хрупком тяжелом сне со сновидениями, большей частью зловещими. Где-то под самое утро.

Вот и сейчас он лежал и ждал этой минуты, старался ни о чем не думать, и все-таки думал. Воспоминания, перепутанные в клубки, то четкие и ясные, то размытые, раздерганные, мелькали перед его глазами. Ни о чем не жалел, не старался вернуться воображением в далекое прош-

лое, не радовался, как радуются потерянной и вновь обретенной дорогой вещи, только немного удивлялся, что все это было с ним, с обыкновенным человеком, который достиг того, чего не достигал никто. Даже Юлий, великий Юлий, гений — он знал, что Цезарь гений, — и тот черпал драгоценный напиток власти пригоршнями, пил, проливал, разбрызгивал, давал отхлебывать другим, бродил в божественном питье в сандалиях и... не напился. Он же, Август, не пролил ни единой капли. Он осторожно и бережно отмеривал напиток небольшими бокалами, пил не для того, чтобы уиться, и даже не для того, чтобы утолить жажду, а чтобы идти вперед. Он не подпускал к золотому источнику никого и выстоял один против всех. Обыкновенный смертный человек с обыкновенной кровью, обыкновенным сердцем, с болезнями, со страхом. Он даже жизнь ценил, взвешивал, особенно поначалу, когда стояло, быть или не быть, он завоевывал сердца не храбростью, не страстностью чувств и призывов, а осмотрительностью, сдержанностью, усредненностью во всем, обыкновенностью. И, возможно, эта обыкновенность потому и стала необыкновенной и он сам необыкновенным, божественным, как нарекли его римляне и все племена. Сам он не знал, каков он на самом деле. Иногда думал, что такой, как другие, иногда причислял себя к небожителям.

Он лежал с закрытыми глазами, а перед ним проплывали будто бы и реальные, но одновременно и причудливые, призрачные видения. И тогда слышался звон мечей, топот копыт, содрогалась и клонила набок земля от твердой поступи легионов, и немели на своих трибунах ораторы, и сенаторы никли, как трава, и ревели закланные им жертвенные быки, и слизывали горячими языками пыль с его сандалий лъстецы, и покорно шли в его опочивальню красавицы — жены вельмож, а сами вельможи будто цепенели, и рвали из-под него тронный стул далекие и близкие родичи, и подосланные убийцы точили на ступенях каменных лестниц кривые ножи. Он покорял племена, взбунтовавшиеся в разных концах государства, сражался с Антонием, попираля ногой его мертвое тело и смотрел в мертвые глаза Клеопатры, пытаюсь отыскать в них ту страсть, которую пили и которой не могли напиться Юлий и Антоний, в Александрии ощущал засахаренное в меду в золотой гробнице тело Александра Великого, тайно надеясь, что частица его удивительной силы перелетится в него (и сломал мертвому Александру нос), первым пробился сквозь кольцо врагов на выручку консулу Гирцию, лежавшему на земле и истекавшему кровью, и заколол его мечом, ибо хотел сам стать консулом, бросил в мешок и приказал отправить в Рим и швырнуть к подножию статуи Юлия Цезаря голову Брута (пусть все знают, что цареубийцу ждет кара всюду, куда бы он ни скрылся), всех побежденных он убивал, как скотину, особенно сурово расправился с взбунтовавшимися сицилийцами (хотя Нептун тогда чуть было не покарал его самого, разбив в щепки корабли, с тех пор он приказал не выносить в праздники статую Нептуна), так же уничтожал бесчисленных заговорщиков, щедро напоив их кровью землю, с которой надеялся собрать богатый урожай: молодого Лепида, Варрона Мурена, Фантия Цепиона, Марка Егнация, Плавтия Руфа, Луция Авдасия, Луция Павла, этого за то, что его раб на горной тропе хотел пирнуть Октавиана ножом в спину, Октавиан в тот момент оглянулся и успел отпрыгнуть от удара, раб мстил за смерть своего хозяина, Павла-отца, другой раб пробрался с охотничьим ножом в спальню, и Октавиан заметил его, потому что не спал, как и сейчас, позвал стражу, раб на пытках прикинулся сумасшедшим и не сказал, кто его подослал, — ножи, ножи, они нацелились на него отовсюду, щетины ножей, и он отводил их от себя, ломал отточенные лезвия; Квинт Галлий пришел к нему и прятал что-то под одеждой, он заметил это, Галлия раздели, нашли на теле таблицы для письма, а зачем он их принес — не сказал, Октавиан сам выжег ему глаза и приказал убить; ножи, ножи, — когда шел в сенат, то под белую сенаторскую тогу надевал панцирь, помня смерть Цезаря, — панцирь спасал его не один раз. Он, Август, принес людям много горя. Но он совершал его для того, чтобы потом творить добро. Щедрую милостыню он даровал своему римскому народу. И что значат несколько тысяч голов перед счастьем миллионов! Он отпраздновал три триумфа: дальмацкий, актийский и александрийский, но и храм Януса — вирина, который никогда не закрывался, потому что постоянно шла война, при нем закрывался дважды. Вот

уж на протяжении двух десятилетий в государстве царит мир и на всех торжествах впереди шествия несут пальмовую ветвь.

Он казнил бесчисленное множество заговорщиков, врагов, теперь голы падают весьма редко, теперь он правит осмотрительно и расчетливо. Воздвиг новые и восстановил старые — восемьдесят храмов, самые лучшие из них храм Марса Мстителя, Юпитера Громовержца и храм храмов — Пантеон, построил три форума, издал несколько десятков новых законов, подавал голос в трибе¹ как простой гражданин, возродил старые обычаи — в сенате, в народных собраниях, — запретил сенаторам вставать при его появлении, а когда в театре после слов актера «О, добрый, справедливый вседержитель» зрители встали с мест и зааплодировали, оставив рукоплескания гневным жестом, а на другой день вынес народу свое осуждение в суровом вердикте. При этом Октавиан хорошо знал цену своим деяниям. После нескольких десятилетий жестокой гражданской войны, тяжелого соперничества первых людей Рима республика очутилась на грани развала, а потом и вовсе рухнула — великий Цезарь положил республиканские свободы к себе в карман, — Октавиан спас ее, победив своих врагов и возможных соперников, утихомирил обезумевший народ, обратил его к миру и добру. Он пришел к римлянам в образе спасителя, а только одно ставил себе в заслугу: «Август всего лишь первый человек в сенате, и хотя авторитет его превышает других, власть Августа равна власти простого должностного лица». На монетах с его профилем неизменно чеканится: «Возрожденная республика», и пусть кто-нибудь попробует сказать, что это не так!

Именно за это, а не за что-то другое римляне поставили во всех форумах статуи во славу Августа и Рима, день рождения Августа празднуют в Риме несколько суток, народ назвал его именем многие города, месяц его первого консульства стал августом, крупнейший поэт Гораций написал гимн в его честь, поэты воспевают его деяния в песнях, а ораторы славят в своих речах на форуме. Стало обычным: каждый оратор начинает свою речь со здравицы Августу и несколько раз в своем выступлении ссылается на его слова. Его назвали отцом отчизны, лучшим воином, другом простых людей. Пожизненный трибун, первый сенатор и великий понтифик², проконсул, а значит, главнокомандующий войском, он вознесся до божества, а остался таким же простым и скромным, каким и был когда-то. Нечестивцы болтают, что ему, мол, не дает покоя слава Юлия Цезаря, но он-то сам знает, в чем сущность его человеческой природы. Он настолько простой, что его носят на обыкновенных носилках, а не на роскошных, длинных, из темного дуба, принадлежащих великим вельможам, он и пищу ест простую, и тога на нем из домотканого полотна, а сандалии грубые, на толстой подошве, и спит на низком лежаке и жесткой подстилке в спальне дома на Палатине (наверху еще маленькая комнатка для рабыл, которую называет своими Сиракузами), если хворает, то переносится в дом Мецената на Эсквiline, отдыхает большей частью или в Кампании, или в каком-нибудь городке вблизи от Рима — Пренести или Тибури. Правит суд преимущественно ночью, он вообще любит работать по ночам, высокопоставленные чиновники страны знают это и ложатся спать после полудни, — пишет стихи, коллекционирует оружие и кости зверей-гигантов, любит играть на мелкие деньги в кости. В нем, на нем, вокруг него — все просто. Это знает каждый. Весь Рим говорит об этом. Философы ставят его всем в пример, поэты воспевают его простоту, она, эта простота, теперь будто бы и не его, она над ним, как символ, как знамя, как вечность. И признаться: она — его маленькая, а может, и не маленькая (это скрывает от всех) гордость: я такой, как все, хотя мог бы одеть в шелка всех своих рабов, мог бы жить в золотом дворце, вкушать самые изысканные блюда, а я не делаю этого. Я такой, как и вы, только это надо понять и оценить.

¹ Триба — в Древнем Риме названия избирательных округов, на которые были разделены граждане.

² Понтифики — в Древнем Риме члены одной из важнейших жреческих коллегий; ведали общегосударственными религиозными обрядами, составлением календаря, списка консулов и пр. Главную роль среди них играл великий понтифик.

Август думает и улыбается. Он любит себя за скромность. Однако никто из граждан Рима не догадывается, в чем его подлинное величие. Оно — в деньгах. Он создал личный фонд «фиск», который включает в себя его собственные ценности и ценности, принадлежащие ему как правителю державы. Подарки, прибыль от имений, конфискаций, военная добыча — все идет туда. В мире нет более грозной силы, чем деньги. Он щедро оплачивает легионеров, воинов преторианских когорт, собственную охрану, швыряет плембу дармовой хлеб и устраивает для него дорогие зрелища, и люди славят его и робеют перед ним. Он мудрый, он щедрый, он добрый. И это так. Главное же — при такой щедрости он скуп, считает до последнего медяка даже те гроши, которые горстями разбрасывают из мешков под восторженный крик толпы, разбрасывают сосчитанные до последнего асса¹ деньги.

Август заснул поздно. Ему снилась война, снились легионы, вооруженные всадники, но все это почему-то вверх ногами — вверх ногами мчались всадники, вверх ногами шли легионеры, крепостные башни, опрокинутые остриями вниз, и к ним сверху вниз лезли легионеры. А он стоял на холме (себя не видел) и наблюдал за боем. Возле его ног кукарекал пестро-рябенький походный петух и разгребал землю вверх ногами. Странный сон, думал Август, лежа на твердой постели, — мир вверх ногами. Что бы это могло означать? Может, все решения, которые сегодня намерен был принять, нужно будет переиначить? Вполне возможно. Вообще кто знает, живем ли мы так, как нужно? Так повелели боги, но они ведь тоже могли напутать. О, если бы, обретя мудрость, вернуться в молодость — сколько бы можно всего совершить! Или, познав, что такое настоящая любовь, полюбить. Но все это тщетно. У познанного нет тайн, а значит, нет и святости. Но сон... сон вещей!

Август был суеверен и боялся дурных примет. Сначала хотел позвать Фрасилла, астролога, чтобы тот истолковал сон, но тут же передумал. Истолкует плохо — испортит настроение. Лучше просто поостеречься сегодня. Август сел на постели, достал со стены длинную скребочку, висевшую на ремешковой петле, почесался. Тело его зудело давно, не помогали никакие мази, никакие травы, он расчесывал кожу до крови, а потом эти места покрывались струпьями. Однако сегодня почесал умеренно, сдержался. Надел шлепанцы и вышел во двор. Дул фавоний, теплый западный ветер. Светило солнце, и он остановился на мраморных ступенях, прищурился. Любил тепло, любил солнце и не любил дождей, хмурых, пасмурных дней. Солнце — его божество.

Первый взгляд — на вековой дуб. На сухой его верхушке сидел ворон, выцветший и старый, как и сам император. Ворон тот же, что сидит всегда. Хорошая примета. Дуб, невысокий, кряжистый, ветвистый, с дуплом, стоит тут с незапамятных времен. Он шумел ветвями еще при царях, потом — при республике, дождался новых царей, которые боятся называть себя царями, а называются принцепсами, лишь бы не вызвать гнев народа и отвести нож заговорщиков. Дереву нет дела до него, как и до всякой мирской суеты, разве что люди в своей суете могут ненароком срубить и его. Но это священный дуб, его не срубят. На его вершине сжиивали вороны, которые крали кости из жертвенников Ромула и Тарквиния Гордого, республиканцев Сакстия, братьев Гракхов, Мария Помпея и Юлия Цезаря, он видел столько, что того не описать на всех стелах Рима. Вечность течет меж его ветвей, течет и исчезает. А что, если ее нет, вечности? Вечность — это Рим. Вечный Рим будет вечно подчинять себе другие народы и диктовать им свои права и законы. Пока светит солнце, пока стоит храм Юпитера и статуя Цезаря. Будет стоять или не будет стоять? Сколько на его, Октавиана, веку сброшено с пьедесталов статуй! Сбрасывают одни, воздвигают другие. Иногда на те же постаменты. Ставят на те же постаменты и его, Августа, статуи. Пусть ставят. Чтобы потом не смогли сбросить. Вся человеческая жизнь уходит на то, чтобы взобраться на гранитный или мраморный пьедестал. Стране нужно как можно больше скульпторов и поэтов. Они создают ей славу. За это он дает им вкусную еду и платит хорошие деньги. Он любит поэтов и сам пи-

¹ Асс — древнеримская медная монета.

шет стихи. Как-то его стихи похвалил сам Овидий. Нет, этого имени вспоминать не следует.

В этот миг в голову прокралась тревожная мысль: будет стоять дуб после его смерти или упадет? Должен бы упасть. Может, приказать срубить сейчас? Прикажет — и повалят. Даже не прикажет, а только намекнет. Он приучил подчиненных угадывать его волю.

Как все-таки страшно уходить во тьму и оставить дуб, любимые пионы и книги. Оставить этот волшебный сад. Палатинский холм он превратил в сад. Сад простой, без роскоши, без позолоченных фонтанов и мраморных бассейнов, но необыкновенно уютный. Он может приказать опустошить все это. Говорят, старость жалка. Жалка старость без славы, без денег, а больше всего — без власти. Старость при власти сурова и грозна. Ее бояться, она мудра, опытна, сведуща, не поддается уговорам, слезам. Она безжалостна, ибо и сама уходит, и ее никто не пожалеет. Некоторые считают, что она тупая, ограниченная, что ее легко провести, над ней можно насмеяться. Возможно, что она чего-то и недоглядит, но только не того, что касается ее самой и власти, за которую держится. Тут она видит на десять локтей под землю. Никто не должен знать об этом, да и открывать душу Августу некому. Нет у него друзей (а у кого из великих они были, как они могли не сломаться, устоять перед властью?), нет сыновей... Нет даже внуков. Это его рана, двое внуков умерли, остался один, но он скорее его боль, чем надежда...

Избегаая тяжких мыслей, Август вернулся в дом.

Он позавтракал мелкой рыбешкой — мелкая рыба жарится на сковороде и потому особенно вкусна, — волглым, отжатым руками сыром и фидами, сел в тяжелое деревянное кресло и дал себя побрить. Во время бритья сначала читал, потом разглядывал себя в большое зеркало в серебряной оправе, которое держали двое рабов. Конечно, вглядываться в зеркало человеку его возраста утеха небольшая, но нужно себя знать, нужно владеть собой. Лицо ясное, хотя и смуглое, глаза светлые и сверкающие (его взгляда не выдерживает никто, он любит, когда другие опускают перед ним глаза), левый глаз слегка замутнен — он им плохо видит, старается, чтобы об этом никто не знал, но доктора выболтали тайну, зубы редкие, мелкие, неровные (смотрел на них, очерив рот), волосы рыжеватые, брови срослись на переносице, уши небольшие, нос с горбинкой. Старость подкрадывалась морщинками, какими-то бледноватыми пятнами на шее и руках, болями, тяжестью в теле. Несколько лет назад стал немать указательный палец левой руки, поэтому пришлось писать (он левша) с помощью специально сделанного рогового наперстка, чаще стали посещать всякие недуги, болел желудок, затекала левая нога, иногда он заметно прихрамывал. Однако сегодня не почувствовал никаких болей и с кресла поднялся уверенно, пошел в баню. Октавиан никогда не мылся, а умащивался, потел в банном тепле. Жар и мази изгоняли из костей простуду. Потом окатывал тело теплой водой. После бани принял двух просителей, но только двух, остальных выпроводил, потом гулял по саду, обдумывал речь в сенате. Он не любил выступать, поэтому заранее взвешивал каждое слово, писал. Около бассейна (в бассейне вверх животом плавала рыба — плохой знак!) садовник хлестал прутом козу. Коза была священным животным, это испугало Августа, он набросился с руганью на садовника, но тот объяснил: коза съела священное имя принцепса. Оно было выложено из цветов, а коза цветы съела. Август махнул рукой: бей. Садовник еще два раза стегнул козу, но та вырвалась, метнулась под ноги Августа и скрылась в чаще тамариска. Там раздался детский визг, а потом смех. Август раздвинул ветви и ступил на небольшую поляну, вытопанную босыми ногами до черноты. Здесь собиралась детвора, они играли в кости. Август частенько заглядывал сюда. Дети — один черный, двое мулатов и двое белых, скифинят, — увидели его, но играть не перестали. Август вдруг изменился в лице, весь подался вперед, напряженно всматриваясь. Здесь кипели настоящие страсти. Играли на фигах, на орехи и просто на затрепанных орехах, тут не поддавались, как в Зеленом Портике, где Август играл с Веницием, Сицием Старшим — первыми людьми государства, — и всегда оставался в выигрыше, там каждый его неудачный бросок вызывал у партнера боязливый трепет, они больше болели за него, чем за себя. Та игра была неинтересной. А здесь у игроков глаза го-

рели от азарта, то и дело раздавались крики, возгласы восторга или отчаяния. Тут не взирали на должности, звания, даже на возраст. Включился в игру — держись.

Всей душой отдавался игре черноволосый с зелеными глазами Грапп, мальчик лет двенадцати, сын египетской рабыни, ткавшей золотом. Несколько минут Август наблюдал за игрой, невольно подвигаясь все ближе и ближе к выбитому ногами тырлу. Наконец робко обратился к Граппу:

— Дай бросить один раз.

— А что ставишь на кон? — спросил мальчик.

— Динарий.

— Ставь.

— При себе нету.

— В долг не играем; — сверкнул глазами маленький египтянин.

— Даю слово: если проиграю, отдам.

— Слово — не деньги, — буркнул другой мальчишка, старший, длинноногий, с прямыми светлыми волосами, скиф Склат.

— Вам мало моего слова? — уже раздраженно спросил Август.

— Ладно, пусть играет, — вступились за принцепса остальные игроки.

Август начал играть. Кости ложились удачно. Он уже выиграл два ореха и фигу. Бросил еще раз и крикнул:

— «Венера»!

— Не «Венера», а «собака», — возразил Грапп.

— «Венера», — настаивал Август.

— «Собака»! — закричали и остальные мальчишки.

Земля была неровной, кубик попал в ямку и наклонился на одну грань. Принцепс коснулся его носком сандалии.

— Неужели не видно — «Венера»?

— Ты подтолкнул кость ногой! — закричали ребята.

— Не подталкивал. Она так и лежала.

Глаза Граппа полыхнули злым огнем, он сжал кулаки и выкрикнул прямо в лицо Августу:

— Махлюешь, Август. Ты мошенник!

— Нечестно играешь, нечестно! — заходились в крике мальчишки. — Отдавай динарий.

— Вот вам динарий. — Август сложил из пальцев варварский кукиш. — Сначала научитесь играть.

— Сам научись.

— Больше с вами не играю.

— Ну и проваливай отсюда! Мы сами тебя больше не примем в игру.

Август повернулся и зашагал прочь от этой поляны. Губы его обиженно дергались. С них слетала злая ругань, перемешанная с непристойностями. Он клялся себе, что впредь и шагу не сделает к игрокам. Такие обеты он часто давал себе, но, увы, не сдерживал их. Что ж, человек слаб... Но на этот раз... На этот раз он по-своему разделается с этими плутами и жуликами. Он прикажет сбросить их со скалы. Нет, пусть учителя хорошенько высекут их розгами...

Лицо его пылало, зло прищуренные глаза выдавали душевное смятение, он знал, что не сделает ни того, ни другого, что это просто бунтуют разгоряченное воображение и досада.

Август замедлил шаги. Тропа, поднимавшаяся в гору, утомила его, погасила пыл. Он уже улыбался снисходительно и чуть насмешливо. Остановился в тени кипарисов. Кроны кипарисов напоминали паруса. Они нарядлись, наполнились морским ветром и мчали в голубой простор тяжелые ладьи... и: благородного лавра. Садовник Либон с помощью секиры, ножниц и пилы создавал это зеленое чудо — парусник на Палатине. Особенно похожи кусты на корабль, если смотреть на них снизу, из города. Август прислушался: город шумел тысячеголосой толпой, там бурлила жизнь — граждане Рима приносили в храмах жертвы богам, торговали на Волвьем базаре мясом, на Зеленом — фруктами и овощами, в портиках на Марсовом поле учителя учили учеников, по улицам стройно шагали преторианские гвардейцы — бьюли порядок в городе, от Золотого мильного камня в центре форума во все стороны света простирались вымощенные

дороги, по которым двигались к дальним границам железные римские колесницы, громыхали возы и арбы по узким улочкам и проулкам, отхаркивали на желтую арену цирка алую сукровицу гладиаторы, а рядом в амфитеатре актеры разыгрывали греческую комедию — город дышал, город работал, город жил, и в каждом его вздохе чувствовалась воля наисвятейшего — Августа.

Сюда, на Палатинский холм, шум двухмиллионного города почти не долетал. Но Август каким-то только ему присущим чувством, долготелым опытом улавливал его будничный ритм. Где-то далеко внизу раздавался резкий перестук копыт, и что-то будто проснулось в груди Октавиана — ездить галопом по городу не разрешалось, так мог скакать только тот, кто вез ему неотложные вести.

Пока дошел до восточного портика, успокоился. Это самый уютный, тихий портик, к нему примыкают три комнаты, здесь ему хорошо работается, отдыхается, думается.

Комнаты с большими застекленными, распахнутыми настежь окнами, одно из них заплетено виноградной лозой и хмелем. Там хорошо в дождь и в жару. Стены комнат — в орнаменте из виноградных лоз, в одной стоит ложе для работы. Он лег на него. Цвели левкой, медовый запах долетал в раскрытое окно.

В правом углу комнаты, за кедровым сундуком, окованным серебряными пластинами, примостился вольноотпущенник Гельвидий, грамотей, лучший чтец и декламатор стихов греческих и римских авторов. Перед ним лежат свитки, приготовленные для чтения, — древние, пожелтевшие, и новые, возможно, Августу захочется послушать какую-то новинку. Он любит поэтов, щедро их вознаграждает и возвеличивает. Раньше их опекал Меценат, выслушивал всех, даже самых незначительных, многим помогал деньгами и хлебом. После смерти Мецената его заботы принял на себя Гельвидий. У него нет денег и хлеба, есть только любовь к поэзии и к поэтам. Правда, сегодня измельчала поэзия и поэты тоже. И неизвестно почему. Вроде бы стоит благоприятная для них погода, а поэтические лавры растут хилые, немощные. Нет Вергилия, этого крестьянина среди аристократов, деревенского мужика, работавшего медленно и упорно, как вол, пахал, бороновал ниву лучше любого хозяина, боялся славы, панически боялся толпы, увидев людей, бегущих навстречу и громко выкрикивающих его имя, прятался в ближайшем доме и переживал, пока все разойдутся, тогда спешил домой в тишину триклиния¹ и там выстраивал любовно отточенные строки, до того отточенные, что иногда переусердствовал в своем старании: прославленную «Энеиду» хотел сжечь перед смертью, признав ее несовершенной, и друзьям с трудом удалось вырвать ее из его рук. Нет Горация, согнутого нуждой бедняка, молчаливого, больного, недоверчивого к людям и необыкновенно раскованного в поэзии; на улице, на базаре Гораций боялся всех, всем уступал дорогу, в поэзии же — никому, уступил только Августу, который долго ждал, что поэт прославит его своими одами, а не дождавшись, сказал: «Тебе жалко для меня нескольких листов? Или ты боишься, что после моей смерти тебе поставят в вину, что воспевал меня?» Горацию пришлось писать четвертую книгу и восславить принцепса. Есть и нет Овидия, талантливейшего из всех поэтов, которых знал мир. Тайной овеяна его ссылка. Никто и сейчас не знает, за что так безжалостно наказал его Август, почему приказал пересадить в суровый климат это нежное южное дерево. Надеялся, что оно замерзнет? А оно цветет и там.

Вот свиток с его новыми стихами. Не покрылись ледяной корой в холодных фракийских степях струны его лиры; исполненные раскаяния, горестных раздумий и горячих молитв его стихи прожигают сердце.

Горе! Как близко пролег круга земного предел!
Родина так далеко!..
Здесь внезапной войны и в спокойное время страшатся,
Не налегают на плуг, землю не пашет никто.

Или же видят врага, иль боятся его, хоть не видят.
Как неживая лежит, брошена всеми земля

¹ Триклиний — столовая древнеримского дома.

Нет, счастливый сюда не забредет человек...
Для наказания мне этот назначили край!

Так рассуждал Гельвидий, раскладывая перед собой свитки; если выпадет удобный случай, он прочтет эти стихи, не называя имени автора. Пусть Август сначала выпьет вина, а потом спросит, чье оно. Хмельной человек щедрее и добрее. Гельвидий знает, на что решается, чем может окончиться это чтение. Но и сознает, что должен жертвовать собственным покоем ради торжества и счастья высокой поэзии. Талантливые поэты рождаются... реже императоров. Если принцепс спросит, откуда взялись эти чудесные стихи, Гельвидий скажет, что их привезли вместе со шкурами туров, воском и медом из Фракии. Привезли лично ему, Гельвидию. Гельвидий тут же подарит Августу несколько амфоров с медом и несколько кругов воска. Богатый, как Крез, Август охотно принимает даже пустяковые подарки. Но сначала он польстит Октавиану, отдаст должное его вкусу. Польстит тонко и умело. Лесть — единственная щель, через которую можно проникнуть в душу Августа.

Горе! Как близко пролег круга земного предел!

— звучали на устах Гельвидия горестные и тревожные слова.

Однако Август не заметил этого. Сначала он слушал прокуратора — управителя имений, потом диспенсатора — раба, ведающего прибылью и расходами Августовой сокровищницы. Личное достояние Октавиана давно слилось с государственным, в этом залог силы принцепса и залог процветания державы. Принцепс бережлив, как самый бедный крестьянин, и точен в расчетах, как учитель. Какая музыка эти цифры! Миллионы сестерций¹, тысячи талантов² золотом или серебром! Разве могут сравниться мелодичностью с этим звоном наилучшие стихи! Август потирает руки, Август отбивает ритм рукой и ногой, забыв даже, что она у него побаливает. В этих скупых закорючках спрессована сила всей страны. Невероятная сила! Звякни — и словно из-под земли вырастут новые легионы, позвони — и приползут царьки, чтобы продать друг друга.

А сколько желаний и возможностей таится в этих сверкающих кружочках! Желания толкают людей вперед, возможности сдерживают — собственно, эти две противоположные силы и есть жизнь, гармония здесь бывает весьма редко, есть желания, нет возможностей, и, наоборот, в этом своя мудрость, иначе желания поседеют еще юными, а возможности откроют путь пороку. Во всем должна быть мера. Умеренность Август почитает превыше всего, благодаря ей он владеет и держит в повиновении целые народы. Сколько людей мечтают достичь предела этой меры и не достигают! Кто лучше его познал это? Если умрут обыкновенные человеческие желания, ненужной станет и мера. Выше умеренности — только мудрость, но и она иногда дает осечку: мысль о неудовлетворенных желаниях толкает человека в погоню за невозможным — превзойти себя в своих желаниях. А чем можно заменить пыл любви, победы, творчества? Сладкой отравой властолюбства? Дрожат любовницы, которых владыке уже не взять, дрожат не от любовной страсти, а от страха: их настигнет кара только за то, что они не его любовницы, дрожат слуги, ползают по полу бесстрашные в боях полководцы, поэты стараются друг перед другом, лишь бы найти яркий, никем еще не использованный эпитет и бросить его, как золотую искорку, на императорскую тогу. Дрожат все. Сердце смакует сладостную отраву всеобщего страха, сердце ликует и смеется.

Нет, Октавиан этим не упивался. Его боялись, но он не разрешал обнаруживать перед ним этот страх. Боялись в меру. Римом правила Мера. Мера страха, мера любви, мера счастья. Август был убежден, что именно ее, меру, прославят в веках. И соединят с его именем. Росли годы принцепса, уменьшалась мера. Всему, чем сейчас владеет Рим, он обязан мере. После бурных лет гражданской войны, которая призвала к действию людей высокой души, людей одаренных — Цезаря, Помпея, Брута, Цицерона, Катона Младшего, а также всяческих проходимцев, таких,

¹ Сестерций — древнеримская серебряная монета.

² Талант — самая крупная весовая и счетная единица Древней Греции, Египта, Вавилона и других областей Малой Азии.

как Катилина и Антоний, — и те и эти бесстрашно кидались на мечи, добывая славу и власть, — после того как из конца в конец один за другим прокатились кровавые смерчи, выбивая все живое, вознося людей на новый, неведомый им прежде рубеж, творя из них героев и убийц, после этого настали годы борьбы с руинами, годы богатой торговли и зрелищ — годы жизни для себя. Тогда жизнь стала клониться в другую сторону — расцвели нажива, подкуп, распутство. И тут опять принцепсу послужила мера. Он издал закон против распутства, карал за наветы и подкуп. Все стали жаться к середине, в стране воцарилась усредненность, точнее, посредственность. Средние служащие, средние правители, средние полководцы — именно то, чего жаждал Август. Жаждал и достиг. Теперь в стране царила Великая Посредственность. Люди средние, посредственные достигают высоких должностей и служат верно.

...Наконец с делами покончено. Прокуратор имений и диспенсатор исчезли за обитыми бронзой и слоновой костью дверями. Гельвидий переложил свитки. Сначала сверху положил «Скорбные элегии», однако поколебался и отодвинул свиток подальше, а вперед выдвинул несколько книжек молодых поэтов. Пусть они утомят ухо принцепса, пусть разочаруют его. Теперь Рим помешался на поэзии. Рифмуют абсолютно все. Переписчики не успевают списывать с дощечек на папирус стихотворные тексты, кураторы не успевают давать разрешение на переписку. Ежегодно заявляют о себе десятки поэтов. Наперебой читают стихи, но публика на эти чтения идет неохотно. Поэзия утратила нечто такое, что делало ее поэзией. Поэты говорят, что им не о чем писать. Все древние герои прославлены, а новых нет. Жизнь течет лениво, сыто, страсти поугасли. Где-то там, в недрах государства, поскрипывают челюсти невидимых червячков, шашеля. Колупни — и обнаружится дыра там, где все считалось вечным, неподвластным тлению. Что тогда будет? Да и попробуй, колупни! Тихо и незаметно отпавишься в железные рудники, и серая порода присыплет твои кости. Или очутишься, к примеру, в каких-то Томах, стихи твои сожгут, и никто не вспомнит твоего имени. Если бы хоть знать, что потомки сохранят твое имя, можно было бы идти на риск, жертвовать достатком и сытой жизнью. А так... не поживешь тут, не поживешь и там. Все нынешнее время будто бы покрылось салом. А под этим слоем — треснувшие фундаменты и расшатанные фронтоны. Мощная государственная катапульта смазана обильно, но установлена ненадежно. Под ней — плывучий грунт, пустоты, стремительно бегущие ручьи... Так думает Гельвидий, не единожды страстно мысленно от Октавиана к Периклу и глазом разума сравнивающий новые времена со старыми, он может многое сказать, но молчит. Он только чеканчик чужой мудрости, ему суждено вечное молчание. Но он благодарен принцепсу за свое положение, хотя и раздваивается в душе от преданности ему и сомнений.

— Читай, — повелевает Октавиан.

— Что? — тихо спрашивает Гельвидий.

— То же, что вчера.

Гельвидий принимается читать из Кремуция Корда. Спустя несколько минут замечает, что принцепс не слушает, думает о чем-то своем. Такое случается часто, Август задерживает свое внимание на каком-то имени или событии и отдаляется. Куда он уходит в мыслях своих? О чем думает? Беспечны ли и легки его раздумья? Старческие глаза выцвели, и прочитать в них сокровенное трудно. Глаза Августа особенные, они будто серые омуты. Там исчезает все: шелест древнего пергамента, поэтические строки и философские трактаты, человеческая жизнь, города и державы... Собственно, там — целый мир. Весь Рим, покоривший близкие и дальние народы, племена, континенты. Как в нем все умещается? Каким представит? Принцепс помнит, сколько орехов или сестерций проиграл вчера мальчишкам, а порой не помнит, какой из царей покорился ему, а какой нет. А может, он и в самом деле уснул? Август иногда спит с открытыми глазами. На его лице отпечатались резкие черты властолюбия, непреклонности и уверенности в себе.

Август вдруг открывает глаза.

— Копыта. Слышу стук копыт. Это гонец.

Гельвидий не решается возразить, его по-лошадиному длинное лицо не выражает ничего, кроме усталой почтительности, хотя он ничего не слышит

и уверен, что цокот копыт просто приснился Августу. Ждет, когда принцепс подаст знак продолжать чтение, но тот сидит напряженный.

— Мне под утро приснился плохой сон. И были дурные предзнаменования.

Цокот копыт вдруг слышится отчетливо и тут же умолкает: дорога опоясывает Палатин, сейчас всадник мчится за южным выступом холма. Он появляется через минуту, уже без коня, его поддерживают под руки двое рабов. Там, где у человека должны быть глаза, зияют кровавые провалы, изо рта гонца, мучительно сведенного судорогой боли, вместе с пеной вырываются глухие стоны.

— Великий Август!— хрипло выкрикивает он.— Я несчастнейший из несчастных, ибо судьба повелела мне принести тебе эту весть. Я проклинаю день, когда родился...

— Мы не вольны выбирать день своего рождения,— сурово говорит Октавиан и закрывает глаза, отгоняя дурное предчувствие. Он не хочет верить, что худые вести могут прийти в месяц, когда он родился, когда захватил власть,— в августе.— Что случилось, говори. Погиб кто-нибудь из моих легатов? Может, Квинтилий Вар?

Квинтилий Вар двинулся на войну с германцами, повел за собой лучшие римские легионы.

— Легионы вышли к морю?— уже грозно спрашивает принцепс, по пропыленному значку на груди гонца он узнает, из какого тот легиона.

— Нет уже наших легионов,— тихо произносит гонец.— Германцы заманили их в Тевтобургский лес и уничтожили. Квинтилий Вар погиб.

Это были отборные римские легионы. И было самое крупное поражение римских войск за все время владычества Августа. Октавиан бился головой о косяк дверей и кричал:

— Квинтилий Вар, верни легионы! Квинтилий Вар, верни нашу славу! Зачем я послал тебя, Квинтилий Вар?

Гельвидий, державший в руках свиток Овидиевых стихов, низко нагнулся и положил его в кедровый сундук, на самый низ. Теперь он боялся, что Август каким-то образом заметит свиток и тогда его гнев падет на голову его, Гельвидия. Тем более что Овидий вроде бы пребывал в тех краях, куда двинулись легионы Квинтилия Вара. Овидий жив, а легионов нет.

Август еще долго кричал и бился головой о двери. Когда же немного успокоился, продиктовал Гельвидию вердикт, в котором приказывал покарать смертью каждого десятого из тех, кто уцелел в этом походе, а все войско перевести с пшеничного хлеба на ячменный и лишить вина.

В Риме был объявлен траур.

День великой радости

И снова весна. Праздник Флоры, богини цветов, юности и любви. Ни одного праздника он так не любил, как праздник Флоры. Тем более что праздник совпадал с днем рождения его любимой жены, его милой Фабии. С ней он познал счастье души и тела, радость семейной жизни. Любил и любит ее безумно. Простая и вроде бы обыкновенная, она зажигала его одной своей улыбкой, вдохновляла на поэтический труд, могла бы, верил, подвигнуть и на подвиг. С Фабией познал восторг и радость. Две предыдущие жены не принесли счастья, разочаровали его. Пожалуй, отсюда и «Наука любви». Эти стихи— жажда любви, усмиренная немного иронией и причудливой игрой воображения. Игрой образов, игрой красок. Он старался научить других тому, чего не познал сам. Научить женщин обманывать нелюбимых мужей, быть верными своим любовникам, не любить ради корысти, ставил в пример Коринну, не существовавшую в действительности, рисовал ночи блаженства, проведенные с ней и с другими женщинами. Конечно, любовницы у него были. Но скорее ради поэтического вдохновения, в оправдание эротических стихов, а не наоборот.

Одно время наложницей была рабыня. Любил ли он ее? Возможно, не любил, любить по-настоящему рабыню нельзя. Однако обходился с ней, как со свободной женщиной, дарил цветы и драгоценности, посвящал ей стихи.

Он и к другим рабам относился по-доброму. Многих отпускал на волю. Слуги пользовались его добротой, а некоторые даже нагнали. Он со

смехом рассказывал об этом соседям, и те его осуждали. А он и в самом деле слегка смущался перед своими рабами. Угадывал в них человеческие чувства и жалел их. Что они думали о нем, не знает. Он тогда был поглощен другим. Теперь, пожалуй, смотрел бы на них иначе. Он сейчас понимает, что им присущи все те движения души, что и другим людям. Прежде всего гордость и гнев. А также чувство собственного достоинства. Если бы он тогда кому-нибудь сказал об этом, его бы высмеяли. Гордость и достоинство у раба! А как же! Иначе почему они взбунтовались у его соседа, у Никозия, и убили его? Они убивали его в бассейне, убивали долго, не давали вылезть из воды, сталкивали палками, купальными стульчиками и досками. И Никозий вынужден был плавать от одного края бассейна к другому, пока не захлебнулся. Он глотал воду и звал на помощь, рабы топили его сосредоточенно и молча, вопили только наложницы — они знали, что их, как и всех остальных рабов Никозия, ждет смерть. Знали это и те, которые топили, и все же единодушно покарали его. Слишком он был жесток, нес людям только зло. Эта смерть испугала тогда многих римских граждан. Но Овидий не испугался, он знал, что его рабы такого с ним не учинят. Да и не очень это его занимало. Жил тогда легко, весело, писал стихи, принимал друзей, влюблялся. То есть убеждал себя, что влюблялся, этого требовала поэзия. Служить не захотел, побывав членом нескольких комиссий, службу оставил и поселился у себя на вилле, расположенной возле родного Сульмона. Там у него чудесное имение: на склоне зеленого холма, все в зарослях орешника, каштанов, вишен, бука и лавра, из которого садовник умудрился создать всяческих чудовищ и зверей. по имению протекает несколько родничков, они, переплетаясь, сливаются в озерца, некоторые озерца превращены в бассейны, один источник несет теплую воду, в бассейне, в который он впадает, устроен стол, там Овидий частенько принимал гостей. Его имение — самое очаровательное место во всей Италии — давало ему покой для души и вдохновение. Там писал он свои «Метаморфозы». Капризы судьбы. Настоящие его метаморфозы начались позже, вот тут, в Томах, положение, в каком он очутился, подобно окаменению, оно хуже смерти, о чем и писал в «Метаморфозах». А хуже еще и потому, что поэт не знает, вернется ли он в свой прежний образ. Боги молчат, таинственные и грозные, да к тому же они далеко. Здешние боги ему не помогут. Есть тут и Марс, и Юпитер, есть даже храм Дианы, но в него никто не ходит. Построенный несколько десятилетий назад амфитеатр наполовину обвалился, зарос травой, статую Дианы источили дожди и ветры, геты своих богов вырезают из дерева: деревянные фигуры рыб, зверей — это их святыни, совета они спрашивают у солнца и луны, с ними ведут свои задушевные беседы, приносят им жертвы, даже счет суток ведут не по дням, а по ночам. И шумит посредине этого забытого богами городка одно-единственное деревцо, они ему поклоняются и цепляют на ветви разноцветные ленточки, приносят и ему жертвы, а оно стоит, кряжистое, колочее, родит мелкие плоды, кислые и терпкие, геты их сушат и отвар из них пьют от простуды и всех хвороб, а когда он как-то, проходя мимо, поднял один плод ради интереса, они его чуть не убили.

«Милосердные боги! Как же я виноват перед вами!» Как бездумно, как глупо тратил время, растрчивал себя, не умел жить! Человек постигает свое прошлое и ценит его только в горе. Тогда становится мудрым, рассудительным и добрым, становится философом.

...Месяц ночи коней погнал —
Я взглянул на Капитолий.
Поздно братья за щит — я уже ранен.

Или, наоборот, закипает злостью, проклинает себя, проклинает богов и весь свет. Овидий не проклинает богов, не проклинает жизнь, знает, что она прекрасна, только зависит не от твоей воли. Его жизнь, его будущее до последнего вдоха зависят от воли принцепса, перед которым он виноват. Но эта провинность вроде бы и не провинность... Просто он знал, что Юлия Младшая, внучка Октавиана, его воспитанница и любимица, ветреная и распутная, встречается с Юлом Антонием, своим любовником. Но разве он один знал об этом? Об этом наверняка знал весь Рим. А корабль

увез в фракийским берегам только его одного. Почему принцепс наказал именно его? Свои любовные элегии он написал за десять лет до этого. Да к тому же это было лекарство от любви.

Не от уроков моих научились жены изменам,
Ибо не может учить тот, кто неопытен сам.
Правда, что я сочинял для других сладострастные песни,
Но ни одной обо мне басни молва не сплела.

Нет, Овидий не в силах до конца понять причину жестокого суда. Август сослал Юлию на остров Триморий, запретив давать ей вино и допускать мужчин, даже рабов. Юл Антоний покончил с собой, повесилась и наперсница Юлии вольноотпущенница Феба... Все они понесли кару жестокою, но справедливою. А он? К тому времени он вообще вел добропорядочный образ жизни, достойный подражания: любил жену, дочь, воспитывал внучку, чтил богов и поклонялся памяти предков. Племянники и племянницы, родные, двоюродные, друг за другом перебрались из Сулемона в Рим, в его дом, а дом держался на нем. И он не пренебрегал обязанностями хозяина дома, главы семейства, рода, нес их с достоинством и даже с гордостью. Дом его был полная чаша. Этот день, день рождения Фабии, был особым, самым счастливым днем в году. Рабы украшали дом гиляндами из цветов, готовили праздничный обед, он наделал белый плащ, гости возлагали на головы миртовые венки и помогали ему принести жертвы у домашних Ларов.

Фабия в белой тунике, с красной лентой на лбу и золотой диадемой в волосах стояла, торжественно сложив на груди руки, и с восторгом и обожанием смотрела на своего мужа. Незабываемые минуты! Сладостные воспоминания и горькие муки на всю его оставшуюся жизнь.

...Лары он сложил из кустов зеленого дерна. Нарезали его за воротами и перенесли со старым прислужником Лисом, которого нанял у грека, купца Еока. Лис — дакиец, он плохо владеет даже гетским языком и знает только несколько греческих слов. Тихий, добрый, однако не очень сообразительный. Лары они сложили в левом углу жилища — деревянного дома с лестницей на второй этаж, в маленькую комнату, которая служила Овидию одновременно и столовой и спальней. В том углу, где они сложили Лары, в кровле — отдушина, туда выходит дым из очага, на котором Лис готовит пищу. Ладана у Овидия — самая малость, вино — кислое, из яблок и слив. Только цветы пышные — желтые и красные тюльпаны, вся долина за озером покрыта ими. Он рвал цветы, а по озеру плыл молодой рыбак и пел песню, увидев, что делает изгнанник-римлянин, долго смеялся и указывал пальцем на лоб — мол, человек не в своем уме. Вот такую жертву приношу я, Фабия, богам в твою честь, примут ее, не оставят без своей любви мою дорогую супругу, осветят ярким пламенем ее путь и наполнят доброй памятью о муже и друге ее сердце.

Овидий будто предвидел такую жертву: он изобразил в «Метаморфозах» расцветшее маком поле перед входом в пещеру. Красный мак — это его прошлая жизнь, черное отверстие пещеры — его нынешнее существование.

Шипит на огне холодное вино, сладкий дым ладана щекочет ноздри, выжимает скупую слезу. Седой поэт сидит на березовом пне перед слабым огоньком, снова и снова перелистывает свои прожитые годы. А они — как это заросшее бурьяном поле, брошенное гетом от страха перед врагами. Истоптанный копытами клочок земли и черная стена леса впереди. Поэт разговаривает вслух, чтобы не забыть божественную латынь, которую здесь никто не понимает. Вспоминает Лукулла, Луциния Красса, Кальпурния Пизона, побывавших в этих краях, они приходили сюда как завоеватели, возвращались со славой, а он здесь — изгнанник. А у изгнанника какая может быть слава? Он теперь никогда больше не засмеется беззаботно и весело не только потому, что живет в ссылке, а потому, что понял: мир полон лжи и страданий. Умный человек вообще не может быть безоблачно весел, ибо знает, что каждая прожитая им минута приближает его к концу. С каждым шагом в нем уменьшается светлое и радостное и увеличивается темное и горестное, с каждой минутой он что-то теряет, поэт видит это и принимает чужие печали в свою душу. Человек несча-

стен, потому что боится тирана и соседа-сикофанта¹, боится цезаря² и своего ближайшего начальника, боится молнии и грома, болезни и зверя, грабителя и судьи, который может бросить его в темницу или сослать в холодные края, наконец, он боится себя, собственной ярости и хрупкости. Вот что такое человек, вот что такое человеческая жизнь! Он весел и беспечен, пока не понимает этого, пока прыгает по жизни козленком, срывает зеленые листочки и цветики да играет с молодыми козочками. Ему кажется, что эта игра и есть жизнь. О, нет! Жизнь длинная, и веселого в ней мало.

Из тяжелой задумчивости Овидия вывел окрик слуги, сообщившего радостную весть — прибыл из Сарматских степей большой обоз. Значит, надо ждать кораблей из Рима с купцами: будет большая торговля. Этих кораблей с нетерпением и надеждой поджидал и Овидий. Каждое утро выходил на вал и смотрел в море, игравшее золотистыми блестками, а чаще гнавшее высокие пенисто-серые валы. Эти валы ударяли, били по сердцу поэта. А сейчас он спешит к воротам навстречу сарматским купцам. Там, в далеком Риме, всем кажется, что на границах римские колонисты только и знают, что с утра до вечера рубятся мечами с бессами, язигами, таврами, колхами, метелеями, скифами и дакийцами. Если бы так было, то в Томах и других городах давно не осталось бы ни одного римского колониста. Войска пришли, рассеяли по степи воинственные племена и ушли, а колонистам надо жить. Отбивать набеги наибольших племен, усмирять взбунтовавшихся, обороняться от разбойничьих ватаг, задабривать царьков и ханов подарками, торговать. Торговля — лучшая порука безопасности, ханы и богатые варвары заинтересованы в том, чтобы продать дары леса и степей, а приобрести стальные римские мечи, кольчуги (и обратить их против римлян), тонкие египетские ткани, сладости и украшения для своих жен и наложниц. Законов торговли строго придерживаются обе стороны.

За убитого римского легата убийцу ждет меньшая кара, чем за убитого купца. Преступника разыщут, где бы он ни скрывался, из-под земли достанут.

В распахнутые настежь тяжелые, обитые железом дубовые ворота крепости ввинчивается, вваливается, вползает купеческий обоз. Покачиваются в седлах на косматых низкорослых конях бородатые всадники охраны в островерхих шапках, ревут исхудавшие в дороге волы, верблюды, позванивают подвешенные к повозкам котелки, дудит в дуду надсмотрщик каравана, тяжело переступают предназначенные к продаже невольники. Копыта коней, волов разбиты, арбы скрипят — долгая дорога слизала весь деготь, запавшие от усталости глаза дозорных смотрят настороженно, цепко, потрескавшиеся от жажды губы крепко сжаты.

Обоз приносит с собой запахи степи, дыма ночных костров, пропитавшихся дегтем шкур, заботливо упакованных и укрытых в глубоких возах, копченой рыбы, дикого меда, воска и овечьей брынзы. Обоз заполняет постоянный двор, площадь, примыкавшую к нему, и многие личные подворья. Из далекого странствия возвратилось немало томитов, город наполняется веселым гомоном, шумом, звяканьем, звоном, песнями, смехом и выкриками. Сразу, не откладывая, играют свадьбы: невесты или выкрадены, или взяты в плен, однако это их вроде бы не очень пугает, они смеются и веселятся. Только одна, необыкновенной красоты девушка плачет безутешно, а ее будущий муж, рыжебородый гет в короткой, подпоясанной кожаным ремнем рубашке, то и дело дергает ее за длинную косу. На ремне у гета висят меч, лук и колчан с красноперыми стрелами. Овидий вглядывается в колчан и содрогается: колчан изготовлен из человеческой руки. Овидий, опечалась, искренно жалеет девушку.

Прибывшие тут же приносят жертвы богам: овец и коз душат ременной петлей и рассекают несколькими ударами меча. Кровь сцеживают в огромный котел, туда добавляют красное вино, суют меч, топор и несколько стрел. Пьют по очереди: сначала старейшины города, обоза, потом сотники и десятники ватаг, простые воины, купцы, кузнецы — весь народ. Вспы-

¹ Сикофант — в Древней Греции профессиональный доносчик, клеветник, шантажист.

² Цезарь — в Древнем Риме титул императоров.

хивают свадебные гульбища: на площадь выносят на шестах котлы с вином и пивом, угощают купцы обоза, угощают старейшины города, угощают и те, кто вступает в брак. Старейшины сидят на куче бревен, лежащих тут же на площади: самые важные, уважаемые — внизу, на нижнем бревне, остальные — выше, в зависимости от возраста и должности. Вино им подносят в медных чашах, его наливают из глиняных амфор. Простой народ черпает корцами из чанов. На отдельной колоде сидят музыканты: дудари, барабанщики, сопельщики, среди них выделяется седобородый, слепой на один глаз старик, в длинной, до пят рубахе и кожаном, с рогами тура шлеме на голове. Это знаменитый фракийский певец Ворон, известный в Томах и в других городах, его слава перенеслась даже за Днестр — в скифские и дакийские степи. Когда Ворон играет на дуде из лыка или берет в руки сопелку, смолкают все остальные певцы и музыканты. Он — великий. Ему дают вино на меду и девку на ночь. Женщины его любят. Он сам сочиняет песни и сам их исполняет. В экстазе закрывает единственный глаз и дудит, дудит, а потом, оторвав от рта дуду, что-то выкрикивает. Ему подносят рог с вином и просят:

— Пей, Ворон!

Ворон пьет. Пьяный кричит еще громче. Ворон откуда-то знает, что Овидий поэт, и относится к нему свысока. Овидий горько смеется в душе, а на улице должен уступать ему дорогу. Как же: ведь идет уважаемый всеми поэт. А Овидий — изгнанник, которого вышвырнули из Рима то ли за плохие стихи, то ли за какое-то воровство. Второй изгнанник, грек Еок, сидящий рядом с Овидием, знает все это и усмехается в короткую бороду. Еок хитрый и до жути умный, хотя прикидывается простачком.

Овидий и хочет подружиться с Еоком и не хочет. Уж очень тот самоуверенный, ироничный и злой. Овидию кажется, что Еок в душе потешается над его горем, смеется над ним, и потому относится к греку насто-роженно. Еок в изгнании уже четверть века. В изгнание попал еще молодым, был скульптором, вырубил из мрамора оригинальную статую Юпитера, его обвинили в святотатстве и выслали сюда. Он никогда не просится в Рим, не проклинает свою судьбу, говорит, что в Риме от него и следа не осталось, но он об этом не жалеет; в Томах стал чеканщиком, неплохо зарабатывает, женился, заимел четверых детей, говорит, что счастлив, а возможно, только делает вид, что счастлив. Как можно быть счастливым в Томах? Этот вопрос не нравится Еоку, и он отвечает на него злыми шутками и насмешками.

— Овидий — поэт другого сорта, — шурит он крапчатый глаз. — И его латинский язык тоже другого сорта. Разве не так? Разве не смеются над ним взрослые и дети?

Овидий пожимает плечами, сердится.

— Сердиться нечего, — улыбается Еок. — Неплохо было бы, чтобы все римляне хоть раз побывали в твоей шкуре. Или хотя бы в моей.

— Чем плоха твоя шкура? — спрашивает Овидий, а сам следит взглядом за высокой стройной танцовщицей в длинной яркой рубашке.

Это та самая женщина, которая в день прибытия Овидия в Томы напоила его водой. Он чувствует, что она волнует его, однако не так, как волновали патрицианки в Риме. А может, и так. Конечно, Овидий уже не юноша, но и не старик, с недавних пор ему стали сниться женщины и в сердце проснулся жар. Разумеется, это не тот жар, который рождал, как прежде, звонкие рифмы. Тот огонь, огонь души, выгорел до тла, остался только зов тела, и, хотя Овидий брезгливо отгоняет его, изредка он все-таки донимает.

Задумавшись, Овидий не сразу разобрал, что сказал ему Еок. А поняв, удивился. Удивившись, обиделся.

— ...Разве не греческие грамматикки научили древних римлян грамоте? Разве не афинская философия вывела вас на дорогу мудрости? Разве не в нашей прославленной Академии постигали премудрости науки ваши юноши? И не с нашей ли трагедии, не с нашей ли комедии скопировали вы свои? Переняли нашу одежду, наши обычаи, нашу еду, весь уклад жизни и за все это унизили нас. Теперь уж ваши философы мудрее и поэты лучше наших. И изучишь ваш язык. Не выучишь его — не получишь должность, не займешь высшего положения и звания. И так получается, буд-то, не зная латыни и ваших порядков, нельзя стать образованным челове-

ком, культурным и государственным мужем. Ибо государство — это Рим. Римские храмы — лучшие, бегуны — самые быстрые, женщины — самые красивые... Или это не так?

Овидий не знал, что и ответить на это.

— Вот видишь... Ты даже и помыслить не можешь, что на свете есть что-то не хуже римского. О греках я тебе уже сказал. А ведь еще были Египет и Персия, есть Индия, страна чудесная, говорят, за нею есть еще и другие страны, достойные того, чтобы процветать под солнцем. Рим подмял под себя сотни народов, искалечил, изломал их, заставил плясать под свою дудку, как пляшут парни и девушки под дуду подслеповатого Ворона. Вы не можете стерпеть, что где-то на свете есть свободные народы. Чуть прослышали про такой народ, посылаете войско. А спросить, по какому праву? У всех народов свои боги и своя жизнь. Они так же родились под солнцем, как и вы, видят те же звезды и ту же луну. Они из такой же плоти и крови. Хочется крикнуть: опомнитесь! Остановитесь. Вы толкаете мир в пропасть. Сгинете сами и похороните под обломками своего государства целые народы. Говорю об этом по горькому опыту. Такими стали в конце концов Афины. Ворон слеп на один глаз, вы же слепы на оба. Вы считаете, что ваш республиканский строй самый совершенный в мире и, выходит, его необходимо навязывать другим. Что же это за совершенство? Вы все рабы: рабы своих жестоких законов, своих судей, рабы принципсов и золота. Кричите о свободе, о республике, а славите тирана. Вы надели себе на шею просвещенное ярмо, а оно трет, давит холку и скрипит.

Овидий слушал Еока и ушам своим не верил. Сжимал тонкие пальцы с поломанными ногтями, порывался спросить, не шутит ли тот, но не спросил. Все его существо, существо римского гражданина, гражданина великого в мире государства, возмутилось и вознегодовало, он искал разящих, убедительных слов и не находил их.

— Скажи, Еок, — наконец собрался он с духом, — ты один так думаешь или есть еще такие?

— Возможно, и один, но знаю — чувствуют так все. Мир ненавидит вас, ненавидит и боится. Тебя не трогают: ты сам несчастный... Даже сочувствуют тебе. А еще ты добрый. Добрый и какой-то... — Еок прицелкнул пальцами, подыскивая слово, — ну, немного не в себе. Не в своем уме. Прости. И не похож на римлянина. Впрочем, ты вроде бы уже и не римлянин. Ты перенял немало привычек томитов и знаешь немало гетских слов. Разве не правда?

— Правда, — подтвердил Овидий. — Случается, ищу латинское слово и не нахожу, а гетское вертится на языке.

— Приглядиись, Овидий, повнимательнее. Геты не обладают серебряными тазами для умывания, у них нет золотых гребней, но они тоже люди. Среди них, как и среди других людей, есть добрые и злые, есть глупые и умные. Умные, конечно, по-своему. По-гетски. Они такие, какими их сделала жизнь. Пожалуй, в этих убогих степях римлянин выглядел бы намного хуже. Ибо он ленив и избалован, самовлюблен и надменен. Он не умеет и не хочет работать. — Еок минуту помолчал и добавил: — Пойми меня и не сердись. Я объездил полсвета, много видел и много знаю. Я не говорю, что все римляне и сам Рим никчемны. Он породил многих достойных мужей, создал обилие прекрасных вещей, однако мужей и вещей скверных создал значительно больше. Он породил дух нетерпимости и захватничества. Это хуже чумы. Вот так. Давно хотел тебе сказать об этом, да случая не выпадало. — Еок поднялся и похлопал Овидия по плечу. — Еще раз прошу, не сердись на меня. Подумай над тем, что я сказал. Хотя зачем это тебе? Что оно даст? Впрочем, как знаешь, — махнул рукой. А теперь пойдем за ворота и посмотрим на томитских юношей.

За воротами, там, где в первый день Овидий бегал за жеребенком, горело несколько костров. Они создавали большой квадрат. Несколько костров пылало в середине квадрата, там лежали наваленные пни, коряги, хищно сверкали лезвия вонзенных в землю мечей, дрожали остриями вверх пики, звенели натянутыми тетивами привязанные к вбитым в землю сваям луки, от которых тянулись веревки. Чуть зацепи — и острая стрела вопьется в твое тело. Обнаженные до пояса юноши, гибкие и ловкие, как степные барсы, мчались один за другим меж колод, мечей и пик, перепры-

гивали через огонь и натянутые веревки, их умащенные маслом тела поблескивали бронзой, длинные волосы развевались на ветру и будто вспыхивали, освещенные пламенем костров. По правую сторону от костров стояли уважаемые мужи города, воины, по левую — слуги; девушки закрывали лица прозрачными тканями, а сами подзадоривали юношей, выкрикивали их имена. Юноши кидались на их призывы, горячились, добиваясь победы в состязании. Жестокая забава, жестокое зрелище!

А разве не жестокое зрелище, когда несколько львов и тигров рвут на арене безоружных пленных или гладиаторы-рабы или римляне, попавшие в неоплатную кабалу, пронзают мечами и трезубцами друг друга? Богатый же патриций в это время лениво наблюдает, как бьет кровь из пробитой мечом груди, а сам, наклонившись к юной патрицианке, шептывает ей что-то в розовое ушко; и те и другие играют в игры, однако какие они разные! Боги, боги, мой мозг просветлел или затуманился еще более, ибо я не вижу смысла в этих жестоких игрищах, не вижу и разницы между ними.

Костры угасали. Геты-слуги в кожухах шерстью наружу выносили на носилках к воротам убитых и раненых.

А ночью Овидий лежал без сна и думал над тем, что ему сказал Еок. Нет, он не мог согласиться с ним. Даже вскипел запоздалой злобой. Если бы римляне были простыми смертными, разве смогли бы они создать такое могучее государство? Дотянулись бы своими пиками до самых дальних земель? Они владеют всеми морями, проложили во все четыре стороны света мощные дороги, и по ним шагают железные легионы. А сам Рим, город зодчих, ораторов и поэтов! Нет, другого такого города нет, не было и не будет. И таких мужей, которые живут в нем...

Но червячок сомнения, брошенный в его душу Еоком, точил и точил. Были, были на свете и другие города. Вавилон, Афины... И мужи. Один Александр Македонский чего стоит! Да и некоторые варвары, овладевшие высокими должностными постами, не уступят умом жителям Вечного Города. Возможно, и эти геты, если бы поучились в школах, поусовершенствовались бы в гимнасиях¹ и палестрах², наверняка сравнялись бы с гражданами Рима. В силе и мужестве они им не уступают. А иногда и в благородстве..

Нет, нет, все не так. Это в тебе говорят злоба, обида на родной город, бросивший тебя в эти края. Он велик, священен и будет стоять на земле вечно.

Через два дня к деревянной пристани пришвартовался тяжелый, с низкой посадкой корабль, приплывший из Рима.

Еще матросы свертывали паруса, еще кормчий отдавал последние распоряжения, а Овидий уже взбежал по крутому трапу на палубу. Не мог дождаться, пока кормчий освободится, а тот не спешил, следил, чтобы паруса были свернуты по порядку, чтобы корабль был туго пришвартован, чтобы трап укрепили крепко, чтобы замки на цепях, которыми были прикованы галерники, были заперты. Овидий кланялся ему, как кланяются проконсулу, вел его под руку, как ведут любимую женщину, сиял радостью и лаской, на его обветренном лице не угасала улыбка. А кормчий, коренастый великан со шрамом на подбородке, ступал тяжело, кудрявую голову понурил, смотрел под ноги и молчал. Сердце Овидия сжалось, тонкие и болезненные струны в душе натянулись, он понял, почему молчит кормчий, почему смотрит в землю, — он не привез ему свободу. В глазах поэта закипали слезы, однако он продолжал улыбаться, помня законы гостеприимства родных берегов. Эти законы запрещают спрашивать гостя о делах, пока тот не смысл с себя пыль дорог, не утолил голод и жажду.

Кормчий молчал еще и потому, что поэт вызывал у него чувство удивления: одетый в короткую тогу и варварские штаны, подпоясанный кожаным ремнем, на котором висел меч; худой, порывистый, с лихорадочным блеском глаз, он походил на бродягу.

Сначала Овидий повел кормчего в паровую баню, лучшую в Томах

¹ Гимнасий — общепросветительная школа в древнегреческих Афинах и на эллинском Востоке.

² Палестра — частная гимнастическая школа в Древней Греции для обучения мальчиков 12—16 лет.

(их тут всего три), он загодя заплатил банщику, и тот согрел в чане достаточно воды, бросил туда толченого конопляного семени, растер небольшой кусочек ладана, воду лил щедро. Курился дымок над островерхой крышей бани, клубясь, выползал из узкого окошка пар, а Овидий сидел на дубовом чурбане у стены и грустно улыбался. Его ноздри улавливали запах конопляного семени и ладана, и вспоминались ему мраморные домашние ванны и роскошные римские термы с двухъярусными портиками, с огромными залами на тысячу мест, мраморными креслами и мраморными статуями в нишах, с колоссальными бассейнами, залами для гимнастов и игры в мяч, с картинными галереями, библиотеками, залами для философских бесед и поэзии. Он слышал подобно плеску водопада шум голосов, видел, как влезает на мраморную скамью поэты и читают стихи, а он стоит в другом конце зала, на возвышении не поднимается, не кричит, говорит тихо, однако вокруг него толпа слушателей, большей частью это молодые люди, их глаза сверкают от восторга, а губы невольно повторяют строки его стихов. Так было, теперь это как сон, мираж, сладостное воспоминание.

Потом угощал кормчего обедом, приготовленным вдвоем со слугой. Овидий подвязался белым полотном, будто раб-повар, хозяйничал, носил блюда. Подали на стол копченую рыбу, крепко, по-гетски приправленное чесноком и луком мясо дикой козы и медведя, овечью брынзу, перепелов в меду (худых, весенних, хотел, чтобы хоть что-то напоминало Рим), пшеничную, на меду кашу, отвар из диких яблок и груш. Отвар был слегка солоноватый и каша тоже, потому что вода тут была соленой. Овидий к ней привык, гостю же блюда горчили, Овидий это заметил, хотя кормчий вида не подавал. Да разве не будет горчить гостю из Рима гетская еда! После лукринских миног и устриц, после сладких фиг и винограда! Если бы угощения Овидия увидели проповедники наслаждений — киренаики, — они бы умерли со смеха от его стараний. Медвежье мясо, и овощи, и брынза — это вместо лакомства!

Гость вымыл руки. Пока он ел, Овидий читал письма от жены, дочери, от поэта Макра и тоже поэта, его давнего друга Басса. Письма были скупыми, особенно письма от Макра и Басса, скорей всего оба они боялись доноса, прославляли счастливую жизнь под звездой цезаря, восхваляли римские порядки, о некоторых из них Овидий уже составил другое мнение. Потом кормчий сообщил новости: германский вождь херусков Арминий разгромил легионы наместника Квинтилия Вара, в Риме еще до сих пор печаль и траур; Август убивался так, что его долго не могли успокоить; в прошлом месяце судили весталку храма Юпитера за потерю девственности, ее, как и повелевал закон, спустили по лестнице в пустую башню, лестницу убрали, оставили обреченной немного воды и еды, чтобы продлить ее муки, однако весталка не раскаялась, а это было дурным знаком; и еще во время жертвоприношения возле того же храма Юпитера вырвались два жертвенных бычка, опрокинули священные принадлежности и затоптали троих людей; в Риме построен еще один водопровод, а также новый храм Аполлона, форум для криминальных судов, прекрасная палата для курильных комиций¹, портик за Аквантином, Статиний Тавр на собственные средства выстроил амфитеатр...

К собственному удивлению, известие о поражении Квинтилия Вара и наказании весталки Овидий выслушал равнодушно, новое строительство его заинтересовало, он закрыл глаза и мысленно проследовал по Священной дороге, по улице Бычьей Головы, пересек Марсово поле, вернулся на Капитолий и постоял около храма Юпитера, поклонился Юноне и Минерве, навестил храм Весты и принес жертву Аполлону. На Палатин даже и не взглянул, его глаза наполнились злыми слезами.

После долгого молчания спросил: не знает ли кормчий Фабию, его жену, не видел ли ее?

Кормчий сказал, что видел, бывал у Овидия дома, и не один раз.

— Может, она вся изошла слезами от горя и зачахла? — растроганно спросил Овидий. — Ей, пожалуй, тяжелее, чем мне. Она такая нежная и чувствительная.

¹ Комиции — в Древнем Риме народное собрание, избиравшее должностных лиц, принимавшее законы, решавшее вопросы войны и мира.

Кормчий разглядывал порыжевшие от соленой морской воды носки своих сандалий. Он думал о том, что Овидий с изгнанием не примирился и не примирится никогда, что телом он тут, а душой там, в Риме, и это тяжело, будет лучше, если его душа вернется сюда, пусть даже искалеченная и кровоточащая. Именно поэтому не захотел обманывать:

— Она уже успокоилась. Я не видел в ее глазах слез.

— Не может быть! — воскликнул Овидий. — Не заплакала даже тогда, когда отдавала тебе письмо?

— Даже тогда. Прости, поэт, но море научило меня говорить только правду.

— О Фабия! — снова вскрикнул поэт. — Страшно, что ты горе могла переносить без слез. Я тебя верной в стихах прославляю, бойся образ этот потерять, — прошептал и смутился. Проклятая привычка, проклятый дар думать и говорить стихами. Даже лютые морозы не сковали его способности, острые, как ножи, ветры не вымели из груди поэтический дар. Мало ему горя, мало страданий! Будьте вы прокляты!

Кормчий смотрел с сочувствием.

— Тебя не забыли в театрах и в портиках, люди читают твои стихи, — сказал вдруг.

— Зачем мне эта память? Зачем мне эта слава? Она горше смерти. Помнят стихи, но не помнят меня!.. Если бы знал, собрал бы все свои книги и сжег... Утопил бы в море, как слепых щенят!

— Нельзя так говорить, — строго возразил кормчий. — В Риме не забыли и тебя. Твое имя славное, оно на устах у простых людей и у поэтов тоже. И Макр, и Корнелий Север, и Понтик, и Тутикан, и Брут, и Руфин — все сочувствуют тебе, все жалеют тебя. Я знаю это хорошо. Я — Кассий Лут. Понтик Лут — мой двоюродный брат, он мне тайком поведал, что поэты Рима смиренно будут просить принцепса вернуть тебя из изгнания. Они ждут удобного момента. Август мудрый властелин, он уважит просьбу лучших поэтов Рима. Значит, страдать тебе осталось недолго. Наполни свое сердце верой и жди.

— Буду ждать, — проникновенно сказал Овидий. На его глазах блеснули слезы благодарности к кормчему и поэтам Рима. Этот день был для него самым счастливым за всю его жизнь в Томах.

На следующее утро в Томах прибыл еще один корабль, возвращавшийся из Ольвии¹ в Афины, и прямо на пристани начался бурный, азартный, какой-то шальной торг, когда шкуры продавались огромными связками, а вино десятками амфор, когда бросались тысячами сестерций и остервенело торговались из-за одного асса, когда похлопывали друг друга по плечу, а рядом с ненавистью рвали бороды, целовались и бросались один на другого с ножами.

Овидию очень хотелось чем-нибудь отметить свой счастливый день, и он купил девочку-пленницу лет десяти, рыженькую, конопатую, в лишах и коросте, в одежде, которую не подобрал бы и нищий. Девочка была из степей, дикая, не знала ни одного известного в Томах языка, даже скифского или сарматского, зыркала исподлобья глазами, как испуганный зверек. Скуластый, с плоским носом и разбойничьими глазами язиг сказал, что девочку захватили в плен где-то далеко-далеко, на краю скифской земли (Овидий припомнил: Геродот называл эти земли страной людоедов, однако девочка не походила на людоедку), в сражении погиб весь ее род, осталась она одна. Девочку Овидий назвал Флорой — в честь весны, — корабельщики и купцы над этим весело потешались, уж очень неказистой выглядела новая Флора. Овидий на это только улыбался загадочно: он знал, что от хорошего питания и доброго присмотра девочка выправится. Он научит ее латинскому языку, латинским обычаям и отпустит на волю в искупление за свои совершенные и несовершенные грехи, в искупление перед всеми женщинами мира, ежели он хотя бы перед одной из них в чем-нибудь был виноват. Пусть эта девочка войдет в жизнь Флорой, пусть сохранит доброе воспоминание о человеке, которого тоже постигла горестная судьба, отшвырнула от родного порога, которого несправедливо оскорбили тупые, жестокие люди и легко забыли неверные друзья.

Овидий пригласил кормчего Кассия Лупа на прощальный обед, но им

¹ Ольвия — античный город на берегу Днепро-Бугского лимана.

не удалось поговорить, да и обед был испорчен — приперся непрошеным Авл Полиник — мелкий служащий, кажется, из отдела надзора за колониями, он приехал ревизовать кассу Томов — разболтался, расхвастался, не дал ни хозяину, ни Кассию Лупу и слова сказать. Был это тысячорослый чванливый, заносчивый грек, давно отказавшийся от всего греческого. Он ретиво нес свою службу, обогащал содранными с колоний динариями Римское государство и в то же время унижал его своим невежеством, диким, сотканным из ругательств и чужеземных словечек языком, восхвалял все римское и вел себя так, будто сам завоевал весь этот край. Овидию вспомнился Еок, всплыли в памяти его слова, и ему впервые стало стыдно, что он римлянин. Вот так люди разрушают последнее добро, которое осталось от римского народа. Поистине: аппетит приходит во время еды, а это не всегда хорошо кончается. Мысль мелькнула, но высказать ее Овидий не рискнул: кто знает, какую еще службу исполняет при принцепсе Авл Полиник. Он живет в Риме, находится при принцепсе, видит его, говорит с ним. Казалось бы, часть Августовой святости должна была перейти на его слугу. Но, увы, где аромат Вечного Города, его великой культуры, доброй славы? Овидий чувствовал смятение и потому был скован, молчалив. Молчал и Кассий Луп, они попрощались коротко, скупое, на душе у Овидия остался горький осадок от этого прощания.

Ветер свирепо гул с моря, пронизывая открытый карьер насквозь. Когда он гул с се запада или с востока, его жестокий напор сгерживали солки, но он чаще налетал с океана, взыв разгон еще у берегов другого континента, вобрав в себя на тысячекилометровом пути холод двухметровых льдин, снежных метелей, сорокаградусного мороза. Он пронзал фуфайку, как пуля, валил с ног, а павалив, за несколько минут превращал человека в ледяную сосульку. Люди шевелились, взмахивали кайлами, люди не хотели замерзать, однако и сил на работу, которая разогнала бы кровь по жилам, обогрела бы тело, не осталось, они покачивались, будто заводные куклы, у которых ослабла пружина. Часовые охраны, несмотря на овчинные полушубки, надетые поверх фуфаяк, ватные штаны и валенки, старались повернуться к ветру спиной, притоптывали, приплясывали, согревались крепкой махоркой и отборными матюками.

— Эй ты, шевелись!

Но он уже не двигался. На сегодня это шестой, последний. В партии шесть салазок-розвальней, в каждые санки по одному покойнику. Начальник конвоя зыркнул коршуним из-под лохматой шапки, ткнул указательным пальцем двупалой меховой рукавицы в Поэта.

— Повезешь ты.

Покойника привязали к салазкам, он глинее их, сзади торчит голова, впереди — ноги. Они не провисали, покойник уже загубенел. Поэт только мельком окидывает его взглядом — лицо молодое, давно небритое, какого цвета волосы — не разобрать, покрылись инеем, верхняя губа приподнялась, приоткрыв полоску зубов.

Кривой, извилистой тропой Поэт тащит салазки со дна карьера, потом дорожка идет прямо, не виляет, через снежное поле, и выводит к широкой накатанной дорожке, та вскоре разветвляется на две: одна свернет влево, в лагерь, другая — направо, за гальные сопки, поросшие реденьким кустарником. Там, за сопками, — мертвецкая, огромный хлев с острроверхой крышей. Поэт сворачивает направо. Метет поземка, она наматает сугробы, преграждающие путь Поэту, он преодолевает их с ходу. Дорога ровная, накатанная, салазки скользят легко. Поэту выпадает удача. Он слышит скрип полдзев, его нагоняет гнедая кобыла, запряженная в сани, в них фигура, напомнившая Поэту стожок соломы, — человек обернул себя соломенной циновкой.

— Эй, ты куда? — кричит Поэт.

— На Крутую, — отвечает стожок.

— Подвези.

— Садишь.

Кобылка останавливается, Поэт топчется, не зная, как ему лучше пристроиться со своей поклажей, с трудом привязывает салазки к саням, сам садится верхом на покойника — поехали. Неторопливо бежит кобылка, роняет на дорогу котьяхи, полозья саней и салазок вминают их в смерзшийся снег, мороз лакирует — горога вся в блестящих каштановых налечах. Сани идут враскат, и салазки идут враскат. Поэта кидает то в одну сторону, то в другую, он цепко держится за веревку, чтобы не упасть. Покойник не пугает Поэта, ледяной ветер страшнее: смерть пока кажется далекой, а мертвое тело — всего-навсего мертвое тело. Он привык.

— Тпр-ру!

Сани останавливаются, Поэт отвязывает веревку, машет рукой, мол, спасибо, езжай гальше, соломенный стожок шевельнулся, и сани сворачивают влево. Поэт берет за веревку, оглядывается и... холодеет. Холодеют руки, холодеет живот, холодеет сердце. Оно бьется толчками, вот-вот остановится: у покойника нет головы. Она, видимо, отлетела, когда салазки бросало из стороны в сторону на раскатах.

Это смерть. Неотвратимая, неумолимая, неминуемая. За такое не помилуют. Не милуют и за меньшую провинность, вину всегда найдут, а тут преступление очевидное: мертвец без головы, как теперь установить, кто был покойник?

Холод отступает, взамен наплывает горячая волна. Поэт чувствует, как приливает к голове кровь, как полыхают щеки, как сохнут на ветру губы. Он срывается с места но тут же возвращается пар, ноги подкашиваются, глаза застилает серый туман. А ветер не утихает, поземка метет, замечает следы от саней на снежных застругах. У Поэта из глаз катятся легяные слезы, он с трудом всматривается в белый, слепящий снег и медленно движется вперед. Дорогу пересекает цепочка лисьих следов, лисица пробежала совсем недавно, следы еще свежие, растрепанной тряпкой пронеслась над головой сова и исчезла, и опять снег, снег, снег. Белая мертвая пустыня. Вой метели, жесткое поскрипывание под ногами.

Поэт давно потерял чувство времени, уже и себя ощущает как-то не так, как прежде — руки не его, ноги не его, голова тяжелая и чужая. Вот и дорога, ведущая к карьере. Ноги у Поэта ослабли, дрожат, он с трудом удерживается, чтобы не свалиться в сугроб. Вспыхивает маленькая искорка надежды, голову покойника могло замести снегом, и если повнимательнее посмотреть... Он возвращается, ступает медленно и трудно, гибается навстречу колючему ветру.словно в бреду, в тумане преодолевает обратную дорогу. Спасения нет, продолжать поиски бесполезно, уже темнеет — тяжелые фиолетово-черные тени вытягиваются на запад, да и сил больше нет. Он еле держится на ногах. Обреченно впрягается в санки, обреченно тащит их на восток, к сопкам, куда пролегал его смертная дорога. Он только не знает, расстреляют его сразу на месте или пригонят в лагерь и исполнят приговор там. Поэт уже почти примирился с собственной смертью, только в глубине его существа что-то жалобно скулит и плачет тоненьким голосом и время от времени, будто крыло умирающей птицы, оживает неясная надежда. А ветер свистит, а ветер хохочет, и скрипит под ногами снег, и тихо повизгивают полозья салазок. Повернувшись к ветру спиной, Поэт равнодушно скользит взглядом по салазкам, они не напоминают ему те, давние, детские, на которых еще мальчишкой катался с горок, хотя по виду такие же, они не вернули его в милую, светлую страну смеха, забав и озорства. Детство для него умерло давно раз и навсегда, он помнит его, но как-то так, словно прочитал о нем в книге. Прочитанное и пережитое перепуталось в голове, перемешалось еще раньше, когда он действительно был поэтом, когда свою жизнь укладывал в стихотворные строки; к собственному детству и юности обращался не ради любви к себе, не ради умиления, а как к строительному материалу.

Холод, голод, ежедневная угроза смерти выгрызли из души все светлые краски, остались там цвета серые, черные — цвет хлеба и баланды, барачных стен, шинелей конвоиров — цвет полуобморочного существования; мир сузился до самых простых вещей, как сузилась до примитивных инстинктов вся жизнь. Иногда, будто облаканные солнцем, вдруг открывались проталины, в них ярко вспыхивали краски — зеленые, желтые, загорались синие лучи и вскоре гасли, может, это были последние отблески его таланта? Теперь исчезла и эта проталина.

Территория, на которой возвышается занесенный снегом хлев, огорожена колючей проволокой. В ограде ворота-козлы, тоже опутанные проволокой, они закрываются на ночь и запираются на замок. Около ворот караульное помещение, там мигает огонек, из трубы валит черный дым. Ветер закручивает его и бросает прямо в лицо Поэту. Он некоторое время стоит неподвижно, потом медленно, как во сне, толкает дверь. Его обдает теплом, запахом махорки, консервов, крепкого мужского пота, водки, на мгновение ослепляет огонь «буржуйки», потом он как бы приходит в себя: видит небольшое продолговатое помещение, стол, четыре фигуры за ним. Все четверо — разгоряченные, возбужденные: на столе стоит пустая бутылка из-под водки и валяются две пачки махорки; в руках у охранников — карты.

— Дверь! — рявкает сидящий с края, коротко остриженный, жесткие волосы торчат ежом. Очевидно, он в проигрыше.

— Я вот привез... — шепстит пергаментными губами Поэт и кладет на краешек стола бумажку-квитанцию.

— Егор, пойди, прими, — бросает с другого конца стола круглолицый черноволосый сержант и затягивается цигаркой. Табак трещит, дым ползет по тугой щеке сержанта, тот щурит глаз.

— Ага, видишь, что мне масть идет, что сейчас выиграю, и гонишь! — опять рычит стриженный ежом.

— Черт с тобой, — бросает сержант, пододвигает к себе бумагу и расписывается. — Эй, ты, — уже к Поэту, — только попробуй кинуть его у дверей, шкуру сдери на барабан. Тащи на самый верх... Знаю я вас. — И ударяет по столу картой. — Король крепостной!

Поэт хватается за бумагу и вылетает в дверь. Еще не верит своему спасению, не знает, откуда у него берутся силы, в зловещих сумерках хлева карабкается по мертвым телам все выше и выше, тащит за собой покойника без головы. Добирается до самого верха, под крышу, и наваливает на него другие тела. На какое-то время его оставляют силы, он лежит на мертвецах — сам почти мертвец, только воскресший случайно, дышит тяжело, хрипло и радостно. Потом скатывается вниз, закрывает огромные скрипящие ворота и бежит. И опять бог знает, откуда берутся силы, он бежит, бежит, даже припля-

сывает, даже напевает, и ветер подхватывает его песню, и несет над снежной пустыней, и хохочет вместе с ним.

Так повезти! Как же не петь, когда грудь распирает от радости, разве мог Поэт надеяться на такую удачу: приди он минутой раньше или минутой позже, когда партия еще не началась или уже закончилась, и Егор вышел бы, принял покойника и увидел... Да, Поэт сегодня вытащил счастливую карту, свой шанс на жизнь, невероятно счастливый день, счастливее не припомнит за все последние годы, с тех пор, как стал номером двести тридцать шесть тысяч семьсот сорок восьмым. Он пел песню о молодом хлопце, который поехал за Дунай — за гревний Истр — добывать славу, а по нем плачет дивчина и говорит, что ей не нужна слава, а нужен только он, ее любимый, пел громко и радостно, и снежная пустыня удивленно слушала его голос.

Несчастливы оба

Августа снова мучила бессонница. Это было как наказание: спать не хотелось совсем, ни днем, ни ночью, голова была легкой и не болела, однако начинало покалывать где-то возле сердца. Он пил настой корня валерианы, растирал на ночь лоб волчьей желчью — все это прописывал старый доктор Арторий, — не помогало. Живительный глубокий сон покинул его давно, лет тридцать назад. Но тогда и бессонница была еще молодой: он лежал и припоминал битвы, которые выиграл, мосты над пропастями, по которым прошел, а другие с них сорвались, прекрасных любовниц... Признаться, их было у него много, всяких, мог вести счет каждую ночь: какую, когда, где познал, чем победил — лестью, подарками, угрозой, как любил; с годами эта длинная цепочка начала рваться, отдельные колечки выпадали, забывались, иные ржавели, тускнели и уже не приносили наслаждения. Некоторые колечки старался выбросить сам, но, к досаде, именно они-то и звякали громче других. На долгом пути к власти выбирал любовниц не по сердечной склонности — через них добивался должностей, выгодных назначений, покровительства вельмож, выводил замыслы противников. А один раз сам исполнял... роль любовницы Юлия Цезаря. Пожалуй, именно за это Юлий и выдвинул его на прямую дорогу, на самые вершины власти.

Октавиан женился четыре раза, и каждая женитьба приносила свою пользу: первая — деньги, вторая — родство с Помпеем, третья — звание легата, последний раз женился на Ливии, которая к тому времени была беременной; он и детей, и внуков пустил по той же дороге: Юлию, старшую дочь, выдал в первый раз за Марка Агриппу (разведя того с женой), а когда Марк умер, выдал ее за Тиберия, пасынка, заставив Тиберия разойтись с женой, беременной вторым ребенком. Было у Октавиана трое внуков. Гай и Луций умерли в ранней юности, остался Агриппа, распутный, избалованный и своенравный, работа его не увлекала, прожигал жизнь в развлечениях, пирах, пока Октавиан не посадил его под строгий надзор. Двух внушек выдал замуж тоже по своему усмотрению: Юлию — за Луция Павла, сына цензора (теперь состав сената цензурируется так, как того захочет принцепс); Агриппину — за сына сестры Германика. Все женитьбы — это кирпичики и цемент его крепости, которая стоит прочно и неколебимо. Пусть поэты воспевают любовь, пусть легковверные юноши восхищаются Овидием, настоящую цену любви знает не Овидий, а он, Октавиан. Любовниц же на одну или несколько ночей у него предостаточно, сама Ливия подбирает ему лучших девочек. Помогали ему в этом и верные друзья, частенько приводили даже своих жен. Если в нем просыпалась страсть к жене какого-нибудь знатного вельможи, противиться ему не смел никто. Прямо из банкетного зала уводил красавицу в опочивальню, на ложе любовных утех, а потом возвращался к пирующим и под звон бокалов рассказывал, какая она была в постели. Он любил банкеты, гости возлежали, облаченные богами и богинями, он всегда изображал Аполлона, и, конечно, Аполлон имел право свободного выбора среди богинь.

Единственный раз глупый консул... как его имя, вот уже и забыл, попробовал возразить ему, но так и не поднялся с ложа в банкетном зале: закипела от отравленного вина в жилах кровь.

Узкие бледные губы принцепса передернула кривая усмешка, открыв провал щербатого рта. Поблескивали только резцы, крупные и желтые.

Сказочник клевал длинным и тупым — утиным — носом, бормотал что-то неразборчивое, толстый, головастый, коротко остриженный, он походил на ежа, вывалившегося в листьях.

...Все было, и ничего не было, растаяло, как дым одинокого костра в неоглядной глубине ночи. После он вел высокоморальный образ жизни, достойный быть примером для других. Он объявил умиротворение всем народам и прежде всего римскому, он знал, что старая республика была для римлян желанной формой существования, и он приказал написать на Вечных Камнях: республику со своей властью я передаю в руки сената и народа, а сам остаюсь только ее первым и преданным слугой, равным среди равных, образцовым гражданином и образцовым семьянином. Все для республики, все для отчизны, она — над нами, она — мощная и вечная, она возвеличена его гением, его деяниями. Свобода, равенство всех граждан, справедливость — вот те камни, тот фундамент, на которые опирается держава Августа. «Ты будешь консулом, ты будешь проконсулом, ты будешь легатом», — указывает он перстом, но указывает не от своего имени, а от имени народа. Просто он видит дальше и зорче других, недаром он первый гражданин республики. А чтобы республика процветала, на ее страже должны стоять твердые законы, которые установили еще предки, ничто так не льстит толпе, как восстановление старых законов и обычаев, разумеется, их следует подправлять, облекать в новые одеяния, приспособлять к новому порядку. Он установил законы, нужные самим гражданам. Он возобновил старые обычаи в народных собраниях, в куриях, в сенате, римляне стали одеваться на старосветский лад, справлять праздники, как их справляли предки. Август поддерживал мысль, что все беды проистекают оттого, что испортились, развратились люди. Он понимал: основа государства — семья. И укреплял ее, введя налог за бездетность, укоротив сроки вдовства, награждая многодетных. Он издал закон, пресекающий распутство, и беспощадно наказывал всех, кто переступал границу порядочности. Дознавшись, что его любимый комедийный актер Стернион содержит стриженную под мальчика любовницу, приказал выпороть того розгами во всех трех театрах — Помпея, Бальба и Марцелла. За тот же самый грех вынудил уйти из жизни и другого своего любимца, вольноотпущенника Пола; выслал в Испанию богатую патрицианку (с ней в молодости сам впадал в грех) за то, что содержала мимов, танцовщиков и они справляли с ней не только актерскую службу, выслал даже дочь Юлию и Юлию-внучку, которую качал на своих коленях. Он проливал горькие слезы, не мог понять, каким образом зараза распутства вползла в его собственный дом. Слова о гражданском долге, о человеческом достоинстве, честности звучали в Палатине с утра до вечера, он воспитывал дочь и внучку в уважении к обычаям предков, они пряли и шили, как Пенелопа, как все другие патрицианки старого времени, и был ошеломлен, что и та, и другая тайно тянулись к роскоши и наконец утонули в ней. Народ жаждет зрелищ, он их дает ему, народ требует вина без ограничения — на выдачу вина наложен запрет, народ требует свободы браков и разводов — он запретил и то, и другое. И в конце концов приобрел у того же народа уважение. В стране — достаток, в стране — свобода, правосудие, которых не знает ни одна страна мира, он требует одного — служить на благо своей родине, на благо народа. Сейчас все жаждут роскошной жизни, личного счастья. А еще жаждут какой-то личной свободы. Вольноотпущенник Колод, ведающий сикофантами, вечером докладывал Августу, что в театре Помпея появились подметные письма: «Римляне только после смерти могут сказать правду», как бы намекая на те заветы, в которых простившиеся с жизнью поносили принцепса и его порядки, доносил, что найдены бумаги с такими заявлениями: «Нельзя запретить сенаторам думать, мы не помним, чтобы хоть один сенатор высказал свою собственную мысль. Сенаторов шестьсот, а голосует за всех Октавиан». «Если выборы в руках народа, то и власть в руках народа». Августу скорее досадно, обидно, чем страшно. Тайная служба работает исправно, невидимые глаза и уши существуют всюду, заговоров в стране нет, политических веяний тоже. К тому же в Риме стоят наготове три когорты, подчиненные лично принцепсу, способные смести, стереть в порошок любых бунтовщиков. Осведомители — сикофанты — доносят (недаром он им платит большие деньги), что дух недовольства нынешними порядками доносится из портиков, где соби-

раются поэты. Правда, эти неудачники всегда недовольны. Покажите мне страну, думает Август, в которой были бы довольны поэты! Их любят, их превозносят, возвеличивают, награждают, а им все не так. Казалось бы, живи спокойно, тихо, слава жизнь, воспевай власть, и будет тебе хлеб да и к хлебу кое-что, еще и памятник в твою честь воздвигнут. Так нет, куда там! Есть среди стихоплетов такие, что живут на одних сухарях, не принимают ни подарков, ни подношений, все отстаивают какую-то свою, известную только им свободу, свое, личное право говорить правду. И не хотят своей дурацкой башкой понять, что правда одна, государственная, опубликованная в сенаторских указах, подписанных им, Августом, и утвержденных его печатью резьбы Диоскура. Диоскур был великим мастером, а творил только то, что было нужно ему, Августу. Он знает: не только ему царяпают слух стихи поэтов. Многие уважаемые римляне, занимающие высокое положение, косятся в сторону портиков, где собирается вокруг этих крикунов народ. Поведи он только бровью, все крикуны окажутся в рудниках.

Бормотанье стихло совсем. Сказочник спал. В комнате залегла глубокая тишина. Вдалеке послышалось глухое грохотанье. Август насторожился. Он панически боялся грозы, прятался от нее в погреб, если она заставала его где-нибудь в дороге, накрывался большой телячьей шкурой: верил приметам, что скотину молния не поражает. Однако тут же и успокоился: гремела не гроза, а возы, тархтевшие по узким улочкам города.

Завтра базарный день, крестьяне едут с ночи, чтобы занять лучшие места, пораньше распродать товар и управиться с делами.

Август любил торговцев — крупных и мелких, тех, которые владеют магазинами, и тех, которые продают свои безделушки с подвешенных на шею лотков. Он любит судей, сборщиков налогов, воинов, кураторов клоак, содержателей бань, ремесленников, но не любит поэтов. Хотя сам был поэтом, чтит в себе поэта, писал стихи и прозу. Когда-то давно написал драму, она называлась «Аякс», актеры отказались ее играть, и их — в наказание другим — высекли розгами, драму он сжег, потом написал поэму «Сицилия», писал стихи, эпиграммы, наставления потомкам, много труда вложил в поэму «Возражения Бруту и Катону». Эта поэма — венец его творчества. В ней клокочет благородное негодование, он оттачивал строки, как ножи, и направлял их против возможных новых Брутов и Катонов. Брута и Катона Младшего ненавидел люто. Катона особенно. Ненавидел его спокойствие, невозмутимость, упрямство, непримиримость, убежденность в собственной правоте. Катона и сегодня кое-кто превозносит как небожителя. Катон твердо и последовательно отстаивал республику и называл Юлия Цезаря тираном. Августу известна мечта Цезаря: победить Катона, а потом помиловать и таким образом вознести себя над ярим республиканцем. Победил, но простить не удалось: Катон всадил меч себе в грудь. Даже в смерти он был... ну, не великим, а каким-то... спокойным. Сначала помог убежать своим сообщникам, посадил на корабли граждан города, приютившего его, за что их ждала жестокая расправа, потом лег на постель и перед смертью читал Платона. Прочел и заколол себя. Память о Катоне осталась, ее не стереть никакими указами, не выжечь раскаленным железом, даже не засыпать золотом. Память — самое прочное из всего, чем обладают люди. И вот теперь паршивые поэты пытаются в разных аналогиях и намеках оживить память о Катоне. Август надеялся своей поэмой развезть славу Катона. Выходит, не развезл. Злопыхательство вдвойне: против воли принцепса и поэта Октавиана. Они, эти поэтишки, ни во что не ставят его стихи. Народ их почему-то не переписывает в свои тетради и декламаторы не читают в театрах. Конечно, он может приказать, чтобы их читали. Но он не сделает этого, не даст лишнего повода для насмешек. Те же поэты высмеют его по всем портикам. О, это лукавое племя умеет сделать так, что и имени не назовут, а всем станет ясно, о ком идет речь. Не придержишься. Конечно, есть разные поэты, большинство из них славит его, но почему не все? Ведь речь идет не о нем лично, а о его делах, о стране, слившейся воедино с его именем. Среди поэтов много таких, которые будто бы и не противятся его деяниям, они просто не замечают их. Они наиболее опасны, их следует особенно опасаться. Крикуны все на виду, им легко противопоставить людей с таки-

ми же лужеными глотками, и они перекричат их. Если и это не поможет, есть верный способ заставить их замолчать: мечом затолкать им обратно в рот лживые слова. Да к этим брехунам не очень-то и прислушиваются. Люди идут к тем, кто воспеваает синие небеса, усладу жизни, любовь. Сколько душ развратил Овидий, сколько молодых людей сбил с праведного пути, заставил бросить службу, бросить войско, целыми днями брэнчать на кифарах, распевать веселые песенки или танцевать возле фонтанов! А кто будет собирать подати, кто будет охранять тысячемильные границы священной Римской империи, кто будет надзирать за подчиненными народами? Значит, не любовь, а порядок, не метаморфозы, а служба, не личное счастье, а интересы государства, не Овидий, а Вергилий! Многие думают, что Август сослал Овидия за воспевание стройных ножек, лукавых глазок, розовых губок, сладостных утех любви. А того не понимают, что Овидий Назон представлял собой особую угрозу стране, по-воровски размывал почву под ее фундаментом, забирал у нее лучших мужей! Потому ему нет и не будет прощения, собственно, даже не ему лично, а тому примеру, который он подавал. Августу известно, что поэты шепчутся по углам, собираются просить за Овидия. Что ж, он позовет их сам, покажет им, на какие мостки можно ступать, а с каких легко свалиться в пропасть.

...Поэтов разбудила ночная стража, учрежденная Августом для охраны города от пожаров. Они входили в вестибулум невыспавшиеся, наспех одетые, присмирившие. Однако знали и то, что принцепс часто работает по ночам, поддерживая тем самым слухи о своем необычайном трудолюбии, на которое ему не хватает дня, и он добавляет ночи. В углу тихо перешептывались Макр, Понтик и Тутикан, они пришли к единодушному решению, что сейчас настало время попросить принцепса за Овидия.

— Я начну, а вы поддержите, — сказал Понтик, загоразиваясь широкой ладонью от света лампы, которую держал в руке раб.

Макр почесал мясистый нос и сказал:

— Будем просить все, он не откажет.

Потом вошли в зал. В нем стояло только одно кресло, оно было пустым. За креслом возвышался Агриппка, начальник личной охраны принцепса, преданный хозяину душой и телом, грубый, смелый вояка, с иссеченным шрамами лицом, с жесткими большими губами и массивными, казалось, железными челюстями, способными перетереть в порошок даже стальные мечи. Возле стены справа стояли с десяток преторианских легионеров при оружии, у стены слева, в глубине темных ниш, мерцали мраморно-белые статуи героев. Одна ниша была пустая, героя взяли на ремонт. Поэтов удивили вооруженная стража и тронный зал. Август обычно принимал поэтов без охраны, чаще в триклинии, угощал легким разведенным ретийским вином, кисловатыми старыми анекдотами, любил изрекать истины, которые потом поэты разносили по всем углам города, заводил разговоры о поэзии, из этих разговоров они должны были уразуметь, что им надлежало воспевать, кого возвеличивать, какие новые веяния намечались в государстве и — прежде всего — что сам Август превосходно разбирается в поэзии, любит поэзию и ее творцов. Цитировал великих мастеров, сам произносил экспромты, и хотя все знали, что эти экспромты готовились заранее, писались на бумаге, а потом заучивались наизусть (он даже некоторые беседы с женой Ливией предварительно заготавливал в письменном виде), высказывали восхищение и удивление. Сейчас же обстановка была другая, им не предложили сесть (даже не внесли для них скамьи), только пристально взирали легионеры охраны, да прямо в лицо поэтам светили большие лампы, а место, где стояло тронное кресло, тонуло во мраке, к тому же еще над креслом нависла железная челюсть Агриппки. Рядом с ним согнулся маленький зоркий раб-именователь — подсказывал фамилии поэтов, на которых мог обратить свой взгляд принцепс. Этот раб обладал феноменальной памятью, знал всех сенаторов, всех всадников и всех чиновных людей города.

Ждали долго. Затекли ноги, клонились в дреме головы, ветерок стража овеивал сонные лица. Август вошел из боковых дверей и сел на трон. Был в протексте — тоге с пурпурной каймой, в белой перевязи, на голове сверкала диадема. Не было простоты, не было равного среди равных, не было коллеги-поэта. Был император. Первый сенатор, пожизненный три-

бун, верховный понтифик, консул, цензор, отец отчизны. Он пожевал сухими синеватыми губами и изрек:

— Вы привыкли отлеживаться на подушках, но сегодня я повелею поднять на ноги вас рано, ибо хочу пробудить от сна ваши сердца и ваш разум. Вы знаете: мое терпение безгранично, мои щедроты неизмеримы. Однако всякому терпению приходит конец. Я хочу вас спросить: чего ради боги дали вам талант? Хотя кое-кому и недодали... Но не в этом дело. Для того, чтобы прославлять в стихах родину и достойных ее мужей. Родина наша освящена богами, другой, подобной ей, нет во всем мире. Великое счастье жить в ней. Только тут витает дух подлинной свободы, только тут свободно дышит грудь, только тут все обладают равными правами и обязанностями. Наше государство — лучшее из всех государств, наши граждане — самые благородные и мужественные на свете. Служить Отчизне — великое благо. Быть достойным ее — счастье. Так вот, я, Октавиан Август, говорю, что вы не исполняете волю богов, пренебрегаете своим призванием. Вы обленились, избаловались, развратились, ходите кривыми дорогами, блуждаете окольными путями. Что ж, идите. Идите и не возвращайтесь!

Октавиан почувствовал, что судорога свела ему ногу и резко стрельнуло в бок. Он готовился к долгому разговору, собирался закончить его мирно, но боль вывела из равновесия. Август подумал, что он такой же смертный, как и все эти люди, большей частью молодые, цветущие, что, возможно, не только они, но и их слава переживет его славу. А это было великой несправедливостью судьбы: слава некоторых писак часто переживала славу тех, кто всю свою жизнь беззаветно служил отчизне, утверждал ее славу мечом и духом своим. И, вновь ощутив острую боль в подберере, он повторил, притопнув ногой:

— Идите и не возвращайтесь! Вы будете писать то, что именем народа прикажу я. Прочь!

Какое-то время поэты стояли онемев. А потом зашевелились и, обгоняя друг друга, кинулись к дверям. Сзади всех оказался Понтик, он все еще составлял мысленно прошение об Овидии; он рванулся, будто конь, огретый кнутом хозяина, и остановился в нише, из которой убрали на ремонт героя. Метался в ней, как слепой, и вышел, вытянув руки, будто потерял поводья. Хрипло захохотал Агриппка, дважды кашлянул Август. Больше не засмеялся никто.

«Мы оба несчастны, — обращаясь к далекому Овидию, вдруг мысленно сказал Август. — И ты, и я. Ты — из-за своего своеволия, я — из-за власти. Поэтому пусть остается все, как есть».

Поход

Горе! Ужель навсегда быть в Скифии дому Назона?
 Этот ли ссыльный очаг Ларов заменит моих?
 Боги! О, сделайте так, чтобы мой обитаемый угол
 Цезарь не домом моим, но лишь тюрьмою считал!
 ...Лучше мне было б совсем разучиться стихосложению.
 Тот, кто в море тонул, да убоится воды!
 ...Кажется, сам я уже вконец разучился латыни:
 Знаю сарматский язык, с гетом могу говорить.
 Но не могу утаить: воздержанью суровому в ссылке
 Не научилась еще тихая Муза моя.

Последняя строка написана, последнее письмо запечатано и вложено в сундук. Вещи упакованы, одежда осмотрена, оружие тоже. Второй раз протрубил кованный из меди рог. После третьего зова Овидий выйдет из дома. Он выступает с гетами в сарматские степи. Возможно, там быстрее пробегит время, дожидаться вестей из Рима, сидя в Томах, просто не стало сил, корабль прибудет только осенью. Овидий подпоясывается ремнем, на котором укреплен меч, надевает меховую шапку, греческий плащ-пилей, надежно защищающий от дождя. На нем полотняная рубашка и кожаные штаны, на ногах крепкие ботинки из воловьей кожи. Тело и дух его утомлены, но он надеется набраться сил в степи, на солнце. Рог трубит в третий раз. Геты толпятся на площади, но они не спешат в дорогу. Собира-

ются около священного дерева, о чем-то оживленно говорят. Овидий уже знает многие гетские обычаи, но что они делают сейчас, понять не может. Вдруг над площадью раздается громкий вопль, и тут же взлетает высоко вверх гет в разорванной рубашке, кажется, что какая-то волшебная сила взметнула под самые священные ветви тяжелое тело, оно распласталось в воздухе и упало на сверкающие острия пик. Над площадью опять взмывает стоголосый вопль, теперь он бодрый, радостный. Геты направили своего гонца к богу Самюскису, чтобы гонец поведал ему о всех их нуждах и заботах и защитил в походе: бог принял жертву—гонец умер сразу. Если бы он мучился долго, пришлось бы отправлять другого, так делают каждые пять лет и еще перед трудным походом. Теперь геты стоят притихшие, молчаливые, каждый творит свою, личную молитву. Овидий видит, как нетерпеливо светловолосый, длиннолицый юноша, у которого только начинают пробиваться усы, молитву он прочитал быстро, наспех, и теперь стреляет глазами туда, где стоят девушки, наверное, среди них та, ради которой юноша проявит в походе чудеса храбрости, совершит подвиг, достойный ее красоты. Он привезет ей из похода ценные подарки—сарматские серьги, скифские бусы или золотой нагрудник, и тогда она разрешит выкрасть себя, и они сыграют свадьбу. Юноша, его зовут Орик, первым вскочил на коня, и заиграл, затанцевал под ним горячий жеребец, и закачался у Орика за спиной колчан с отравленными стрелами. Юноша—красивый, чистый и наивный. Геты все наивные, как дети. Они и суровые, они и жестокие, но одновременно искренние, душевные и добрые. Это жизнь сделала их такими, они живут по твердым законам продолжения рода и не причинят человеку зла, если он этого не заслужил. Овидий убеждался в этом не раз, тут, в городе, у него уже немало друзей и даже... поклонников его таланта. Да, да, Овидий написал несколько гетских стихотворений, их поют певцы и декламируют юноши. Орик—один из них. Но сейчас он не смотрит на Овидия, ему не до него. И это можно понять: он идет в поход добывать славу. И все же невзначай Орик встречается с Овидием глазами и вскидывает над головой пик, этот жест означает: не бойся, поэт, ты со мной, я защищу тебя. Овидий улыбается. Он и в самом деле не очень полагается на свой военный опыт и силу. А именно силу геты чтят превыше всего и показать ее умеют, да и возможностей проявить себя у них немало: это и борьба, и сражение на палицах, и поднятие тяжелых колод, Овидий сам видел, как легко, будто хворост, переламывают они кости оленя или тура. Мужчина слабый у них последний человек, уважения к себе не жди. Овидий вспоминает, что и в Риме сильные люди всегда в почете, однако демонстрация силы там намного тонченнее, римляне умеют метать диск, толкать каменное ядро, плавать наперегонки в бассейне, ловко бросают дробинки в медные кольца. Он всего этого не умел, не учился, а сейчас немного сожалеет.

Ехал мимо поросшего бурьяном поля, мимо пустой кошары, где зеленая и буйная трава выросла по пояс. Последний год здесь лютовали племена бастарнов, прямо житья не давали, поэтому геты перестали сеять пшеницу, не пасли скот, теперь алеет только дикий мак на бывших убогих полях и огородах.

В этот год Истр перешли войска Вителия и Весталиса, они разогнали разбойные племена и углубились в сарматские степи. Поэтому настоящая опасность вроде бы и не угрожала томитам, большие орды откочевали на восток, однако где-то там, куда направляют своих коней воины, в лесах и болотах, прячется большая ватага, которую в Томах называют Волчьей Стаей, уже немало лет нет от них покоя, кони у них быстрые, как степные олени, а сами они хитрые, будто рыжие лисицы, нападают по ночам, засядут по оврагам и грабят купеческие обозы, бьют небольшие военные когорты. Всадники-томиты давно вели в степях разведку, вынохивали да высматривали и, наконец, совсем недавно нащупали разбойничье логово.

Остановились возле большой черной могилы, на ее вершине был вкопан огромный железный меч острием вверх. Около могилы валялись головешки, обгорелые кости, на острие меча сидел старый ворон, вытягивал длинную шею и хрипло, натужно каркал. Казалось, он чем-то подавился. Атаман когорты Волосатый Галл спросил ворожея Салва, что означает это карканье, и ворожей, маленький, кривобокий человек с длинными седыми волосами, ответил, что ворон каркает на погибель врагам, он вытя-

гивает шею так же, как вытянут свои шеи воины Волчьей Стаи под мечами томитов.

Возле могилы принесли в жертву буро́го быка, и опять Савл предвещал легкий поход и полную гибель врагов, а Волосатому Галлу — богатую добычу и славу. Пополудни переправились через могучий, полноводный Истр и двинулись по бескрайним степям. Все небольшое, около семисот человек, войско было конным, его сопровождали десятка три возов с продовольствием и несколько десятков пустых повозок — под добычу. Степь ошеломила Овидия. Она привлекала, притягивала к себе и угнетала, пугала одновременно, навевала мысли о безграничности, вечности и тут же напоминала людям об их слабости и малости. Степь только что вступила в расцвет лета, а серая краска уже брала верх над зеленой, у самой земли буйно цвели, вились, кустились какие-то цветы и травы, колючий бурьян выкинул белые чашечки, и колючки на концах листьев были как стальные иглы. Овсяница и ковыли текли, пенились, как вода, нашептывали о чем-то неистребимом, вечном, способном, однако, умирать и возрождаться вновь, никто не знает, откуда все сущее появляется и куда уходит, трудно постичь себя самого в этой бесконечности. Тут и там в степи возвышались курганы, плоские и острые, на них маревом взлетали всадники и утопали в травах, казалось, их поглощала сама земля. На самом высоком кургане сидели степные орлы, они тяжело взмывали в воздух, поднимались по крутой дуге все выше и выше, недоверчиво минуя караван. Овидий думал о том, что им сейчас видна степь, и завидовал им. А войско шло и шло, и потоки разбуженных трав текли им навстречу. Уменьшился, отлетел неведомо куда Рим и представился Овидию чем-то таким, что может присниться только во сне. Он закрыл глаза и попробовал представить портик Октавия и библиотеку при нем, а в ней свое постоянное место, картину «Битва с амазонками» на стене и другую на стене противоположной — обнаженная Венера расчесывает волосы, — и горько рассмеялся. Высоко в небе трепетал жаворонок, кружили орлы, опускался в травы алый щит солнца, обгаренный кровью всех убитых в степи, нарождался на северной стороне сине-бирюзового неба нежный серпик месяца. Потом солнце, отползнув, ушло в травы, наступила ночь, и купол небесного храма усеяли большие сверкающие бриллианты звезд. Они были как живые и смотрели проникновенно, печально, вечно, и белая пыль сеялась с неба, устилая седой изморосью степь. Сталь на серпике месяца отполировалась до блеска, а он неумоимо раздвигал и раздвигал застилавшие его занавеси туч, пока, уставший, не спрятался за высокую могилу. Овидий смотрел на звезды и думал о том, что в этих степях невозможно не верить в звезды и луну, они не только светят по ночам ныне существующим сарматам и скифам, как светили их пращурам, не только указывают им дорогу, но и нашептывают свои тайны, сообщают о чем-то нетленном, непостижимом нашему разуму. Всхрапывали стреноженные кони, хоркал перепел, резко, по-птичьи переключались дозорные. И терпко пахло полынью — вечным стражем степей, свидетелем всего горького, что случилось тут и еще может случиться. Один алмаз сорвался с неба и юркнул в траву. Возможно, подумал Овидий, его завтра найдет Орик и подарит своей невесте. Но нет, такие подарки не для бедных людей, все их богатство — свет души и жар юного сердца. Наверное, это самое большое богатство, и, если бы не оно, погиб бы мир.

Отряд будто вплывал в степь, как челн в воды разбушевавшегося моря. Оставляя за собой вспененный след. Шли полную неделю — девять дней, — а на десятый дозорные донесли, что приближаются к логову Волчьей Стаи. Спустились в широкую долину, тут росли невысокие, но густые леса — настоящие дебри — и сверкали синевой множество озер и болот, поросших ситнягом, осокой и ивняком. Дозорные донесли: вражеский стан находится в глубине чащобы — туда вела единственная дорога, она сначала петляла в кустарниковых зарослях, а потом выходила к плотине. Волосатый Галл решил предпринять нападение немедленно, чтобы не дать врагу опомниться. Обоз оставили на широкой луговине, а все войско узкой цепочкой углубилось в лес. Однако захватить врага врасплох не удалось. На томитов посыпался град стрел, короткие тяжелые пики пронзали воинов насквозь, кони испуганно храпели, сбивались с узкой плотины, сбрасывали всадников в воду. В конце плотины засела ватага, прикры-

вавшая отступление Волчьей Стаи, оказалось, что дозорные разведали далеко не все, не разглядели другую дорогу, вернее, стезжку, узкую и извилистую, ведущую в лес, по ней-то и убегала от преследования Стая. Пока пробивались через заслон ватажников, прошло немало времени. Волосатый Галл приказал своим воинам сойти с коней, они стали плотной стеной, плечо к плечу, прикрылись щитами и двинулись вперед. Завязалась кровавая сеча, в которой геты понесли немалые потери, но отряд прикрытия был разгромлен. Войско ворвалось в селение, разместившееся на большом острове среди болот. Там оставалось еще немало воинов, кроме женщин, детей и стариков, не успевших пробраться по узкой, забитой народом дороге. Некоторые спешили отчалить на лодках, а некоторые, не видя другого выхода, отбивались, укрывшись в рубленых крепких домах. Отовсюду неслись отчаянные крики, стоны, ржание лошадей, бряцание оружия, зов и мольба о помощи и проклятия. Никого не щадили, в плен брали только молодых женщин и детей, мужчин, даже стариков, убивали. Запыхали подожженные дома, несколько переполненных лодок опрокинулось, в воде барахтались люди, геты целились из луков в мокрые головы. Это было настоящее побоище. Марс получил хорошую поживу.

Овидий в наступлении не принимал участия. Он остался с обозом, который охраняло несколько десятков воинов. Вozy стояли на широкой поляне, поросшей высокой травой. Неподдалеку от Овидия, сидевшего на повозке, резвился на коне Орик, конь вставал на дыбы, бил копытом землю, пронсился рысью по поляне и вновь возвращался, тяжело поводя боками. Орик был взбешен от досады и обиды, что его оставили в охране, не взяли туда, в самую гущу боя, ему казалось, что оставили из-за Овидия, и потому он бросал в его сторону косые взгляды. Теперь ему уже не похвастаться в Томах своей храбростью и ловкостью, не привезти и подарков невесте. Напрягая слух, он приподнимался на стременах, был весь там, в кровавом сражении, его левая рука нервно натягивала крепкие, из сыромятной кожи поводья, рвала удилами губы коню, тот приседал на задние ноги, хрипел, пытался укунить всадника за колено, а правая рука молодого воина то вытаскивала короткий тяжелый меч, то снова бросала его в ножны. Толстогубый, с низким лбом воин прикрикнул на Орика, поубавил ему пыл, велел спешиться и пустить коня в кошару, которую отгородили, составив возы плотно один к другому.

Через несколько минут из кустов стали появляться бегущие в панике осажденные, большей частью женщины, дети, старики. Одного из них подсек на бегу стрелой высокий гет в островерхой шапке, он же схватил за волосы девушку в разорванной до пояса рубахе. Теперь из кустов беглецы посыпались, как пшеница из порванного куля, — густо. Прямо на Овидия, прихрамывая, бежал простоволосый старик с окровавленной щекой, он видел, что перед ним геты, но за спиной у него оставалось куда более страшное, он бежал в плен, искал спасения, а долговязый со впалыми щеками гет спокойно, деловито замахнулся длинным мечом: он исполнял приказ — стариков в плен не брать, и Овидий невольно вскинул свой меч над головой старика. Брызнули искры: сталь ударила о сталь. От сильного удара гета у Овидия онемела рука, бессильно повисла вдоль тела, а высокий гет удивленно вскинул брови, в глазах его вспыхнули яростные искры и тут же погасли, он улыбнулся и отошел в сторону. Овидий тяжело перевел дух, вытер рукавом покрывшийся испариной лоб. Он почему-то понравился сам себе, хотя еще не до конца осознал свой поступок. Старик упал перед ним на колени, и он жестом приказал ему залезть под повозку. А из кустов все бежали и бежали осажденные, одних геты убивали наповаг стрелами, других брали в плен и загоняли в кошару. Сквозь ветви деревьев было видно, как пылало селение, ветер заворачивал на восток густой сизый дым, высоко в небе вполосенно летали голуби. А еще выше тревожно вскрикивали ансты. Овидий засмотрелся на них, но вдруг его словно что-то толкнуло в грудь, он перевел взгляд и увидел, что в нескольких шагах от него бежал голый юноша с луком в руке. Худое, гибкое молодое тело блестело — видимо, он только что выбрался из воды и теперь мчался к кустам, темневшим слева. Овидий невольно шагнул вперед и встретился взглядом с юношей. Глаза его горели бешенством, на губах кровянила пена. Он вдруг весь задрожал, словно в лихорадке, и быстро вскинул на уровень груди руки. Овидий не испугался, худенький юно-

ша, почти мальчик, казался нестрашным. Лук выгнулся дугой, свистнула стрела, но ее перехватил кто-то. И тут же опрокинулся на землю, и Овидий увидел, что это в смертной муке корчился Орик. Поэт бросился на колени, стараясь чем-то ему помочь, но вскоре понял: все напрасно — стрела пронзила Орику шею. Из рта юноши тонкой струйкой бежала кровь, он пытался что-то сказать, беззвучно шевелил непослушными губами, в голубых, почти детских глазах дрожали две белые искры и вдруг замерли, остановились, а руки еще судорожно загребали землю. Орик скончался через несколько минут. А Овидий так и остался сидеть возле него, он уже не видел, что происходило вокруг, не знал даже, убежал ли убийца Орика, скорбь сжала тугим кольцом грудь, из глаз по обветренным щекам капали слезы. Орика похоронил тут же, под дубом, сам выкопал глубокую могилу, насыпал холмик земли, сверху положил три камня, которые нашел на поляне.

Из боя вернулись не все воины, они вели пленных, добыча не была богатой: многие бастарны убежали по другой, не замеченной дозором дороге. Пленных связали, положили под дубами, а сами принялись варить ужин в принесенных из села котлах, справляли тризну по погибшим товарищам. Убили нескольких пленных, принесли в жертву богам двух бычков, смешали их кровь с вином. И тут же пили эту кровавую брагу, умащивали ею грудь, разрисовывали щеки, лбы, поливали ею костры. А потом садились в тесный круг и пели песни, похожие на плач. Около костров и уснули. Там их и настигла мечь. Ночью неведомо откуда стала прибывать вода, бурные потоки хлынули в луговину, сметая все на своем пути. Геты барахтались в пенящихся омутах, не видя спасения. Небо затянуло тучи, оно набухло и тяжело нависло над землей, вокруг луговины черной враждебной стеной стоял лес, бурлила вода, дико ржали кони в тесной ограде из повозок, стараясь вырваться на волю, и, захлебываясь, жутко кричали пленные. Обезумевшие от ужаса геты бросались в разные стороны, не понимая, откуда берется вода, словно расступилась земля и послала им свое проклятие, или колдовская сила напустила на них свои чары, с которыми нет сил бороться. Геты, в панике давя друг друга, взбирались на повозки, на лошадей, а те поднимались на дыбы, сбрасывали их и давили копытами. Волосатый Галл опомнился первым, оглядевшись, он выбрал наиболее высокое место — на взгорочке, где стояли возы, — и стал собирать вокруг себя воинов. Вода там достигала им до пояса.

Овидий спал на возу, он проснулся от криков, долго не мог понять, что случилось, но с воза не слез. Вскоре к нему на повозку взбралось еще несколько человек, они были мокрые, испуганные и в ужасе слали проклятия неведомой злой силе.

Так продолжалось до рассвета, а потом вода начала спадать, а когда взшло солнце, исчезла совсем, оставив на земле мертвые тела воинов — запутавшихся в чащобе или затоптанных конями, вырвавшимися из кошары. Под дубами темнела страшная цепочка из захлебнувшихся пленных. Стало очевидным: бастарны ночью разрушили плотину, и вода затопила долину. Волосатый Галл собрал совет, на нем было решено прекратить преследование Волчьей Стаи: сил на это не было, их войско понесло большие потери, устало, упало духом, нужно было выбираться из долины смерти в степь и идти на соединение с войсками Весталиса.

С трудом вытаскивали возы из раскисшей земли, помогали лошадям, многое из оставшегося скарба тащили на себе, шли осторожно, выставляя вокруг обоза дозоры и охрану, ошетинились пиками, каждое мгновение ожидая вражеского нападения. Но Волчья Стая тоже была надломлена, обессилена и нападать не решалась. отошли от зловещей, принесшей гетам столько горя низины на несколько миль, остановились, разожгли из хвороста и валежника костры, обсыхали, грелись, приводили в порядок оставшееся имущество, повозки, лошадей. Там же училили судилице над дозорными, не сумевшими точно распознать дорог, ведущих в стан врага. Суд был коротким: Волосатый Галл собрал вожakov войска, что-то сказал им, сверкнули мечи — и все. Три тела упали в седой ковыль. Потом судили вещуна Савла, предсказавшего легкий поход и богатую добычу. Связанного, его бросили на повозку, сверху наложили ворох хвороста. запрягли волов и пустили в степь. Хворост подожгли. Волы сначала шли медленно, потом прибавили ходу, а потом побежали, за ними встал огненный

столб, он катился с юга на север, быстро удаляясь, пока не превратился в маленький огненный язычок, над которым кудрявилось рыжее облачко дыма. Вскоре исчез и огонек, а рыжеватый дым подхватил ветер и развеял по степи.

Овидий лежал на охапке травы, которую приспособил под голову на ночь, смотрел в даль, поглотившую огненную купину, и шептал слова, а какие, не ведал сам. Шептал по-гетски — это была молитва, но какая-то странная, что-то в ней было от ветра, от пылины, от неоглядности простора, бесконечности степи, от жестокости и грусти, которые они порождали. За прошлый вечер и ночь его виски поседели еще больше, наклонившись над степным родником, он едва узнал себя; все пережитое за это время проходило перед глазами, прокручивалось, будто терлись одна о другую две каменные плиты, удивлялся, что остался живым, печалился о чем-то утраченном в самом себе и плакал без слез об Орике, который подставил под предназначенную ему, Овидию, стрелу свое молодое тело, спас его от смерти и тем самым обрек на страдания: размышлять над своей несчастной судьбой, вспоминать далекую родину, вдыхать терпкие запахи степи и рвать зубами недожаренное мясо, крепко приправленное дымом и диким луком. Он думал о том, что же такое жизнь, человек о ней ничего не знает, если бы знал хоть что-нибудь наперед, смог бы выстроить ее иначе, изменить к лучшему, но, увы, будущее для всех окутано плотной пеленой, сквозь которую ничего не разглядеть. Жизнь может длиться долго и закончиться золотым памятником на мраморном пьедестале, а может оборваться на первом шаге, и маленький холмик земли в чужом поле будет напоминать о ее бренности и вечности смерти. Может случиться, что и его жизнь закончится таким же холмиком в степи или в Томах, и никто из потомков не прочтет его имени на мраморе или граните. И стихи его исчезнут, как исчезли, он знает, многие произведения поэтов. Для чего тогда жить и создавать свои песни? Для кого творить? Для гетов? Да, теперь он не стыдится создавать для них песни и сочиняет их не с верой в бессмертие, а только с желанием отблагодарить за воду и огонь, за приют и тепло, которые оказали ему томить, за незлобивость их и душевность, за терпение. И все же, что его ждет впереди? Кто ответит? Юпитер и Венера?

А может, ответят скифские боги? Он обращался к ним, но и они молчали. Овидий протянул руки вдоль тела, тяжелые и непослушные.

Солнце клонилось к горизонту. И степь в своей неоглядности изогнулась огромным луком: травы высветлились и отбросили четкие и острые тени, вытянувшиеся к востоку; небо постепенно меняло свои яркие краски, угасало, свинцово-серые тучи, клубясь, надвигались на солнце, а оно от них медленно отступало и наконец спряталось за край земли, и сразу на потемневшем небосводе проступил месяц, еще бледный, немощный, бескровный и потому, казалось Овидию, вещей.

Поэт, глядя на всю эту непривычную ему красоту, думал, что, пожалуй, правы геты, считая месяц и землю отцом и матерью всего сущего. Есть в этом своя мудрость. И проистекает эта вера не от их тупости и дикости, а от сознания, что земля не только рождает все живое, но и хоронит его. Даже боги без земли — не боги, и они поклоняются ей и приносят в жертву свою гордыню.

В поднебесье раздавался страстный клекот молодых орлов, стремительная сила возносила их на могучих крыльях все выше и выше, в необъятность света и простора. Овидий подумал, что молодость и воля всемогущи и потому бесстрашны, и ужаснулся: а что ждет немощную старость в неволе?..

Поэт попал в малую зону, когда тревога, паника достигли апогея. Восемь дней партиями по восемьдесят — сто человек перегоняли заключенных из большой зоны в малую, забирала оттуда такими же партиями, но назад узники не возвращались. Вероятно, те, которых забирала из малой зоны, отставали от тех, кого перегоняли из большой и потому в малой зоне скопилось много народа, а потом поползли тревожные слухи. Это были не просто слухи: заключенные уловили что-то из разговоров, из поведения конвоиров, увидели у кого-то из них вещи тех, кого угнали прежде: за Немой Сопкой глухо гудело, вздрагивала земля — ее рвали аммоном.

В воскреcенье те, кого вызывали за ворота малой зоны с вещами, отказались выходить, сбили с ног двух конвоиров, поднялись паника, давка, крики, ругань, погасло несколько лампочек, в темноте паника усилилась, с вышки у ворот ударили выстрелы,

заклученные бросились на проволоку, рвали одежду, кровянили руки, откуда-то взяли доски — разломали нары в бараке, — кинули их на проволоку, застрочил пулемет, за ним — второй, темная шевелящаяся масса качнулась в одну сторону, потом в другую, затрещали столбы проволочной ограды, и люди шарахнулись из зоны: через колючую проволоку, через тех, кто упал, через живых и мертвых, через глубокие заносы и сугробы.

Поэт напрягал все свои силы, все внимание, чтобы не отстать от Земляка. Этого невысокого, крепкого, чернявого, как жук, человека прозвали Земляком, потому что он обращался ко всем: «Эй, землячок, закурить не найдется?», но он действительно оказался земляком Поэта, симпатизировал ему и сегодня утром сказал: «Держись меня». Неужели он уж тогда что-то знал, на что-то рассчитывал? Вряд ли. Однако Поэт старался не упускать его из вида. Земляк бежал ровно, большими шагами, ссутулившись и нагнув голову, он не побежал в лощину, поросшую низкорослыми лиственницами, где, казалось, было легче укрыться, а свернул вправо, в чистое поле, потом к карьере, где они работали днем, возле карьера повернул круто на юг. Через полчаса он спустился в лощину, почти голую, без растительности, перешел на шаг. Поэт шел по его следу. В груди у него пылало, ее разрывали взрывы кашля, он сплевывал на снег густую слюну, но упорно тащился по следу. Старался не оглядываться, — если идет погоня, все равно не спастись, — старался не вслушиваться в стрельбу позади, ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Ни страха, ни радости, только тревогу, которая одна не покидает человека. Слабым живым ручейком пробежала мысль: куда они идут, ведь впереди спасения нет — без припасов, без настоящей одежды, без еды — погибнут. Но сзади подстерегала смерть, немедленная, сиюминутная, и он шел.

Так они брели вечер и ночь — две жалкие фигуры среди белых, как саван, снегов, шли не останавливаясь, хотя еле передвигали ноги.

Ночь стояла ясная, подсвеченная всполохами северного сияния, деревья и кусты отбрасывали длинные тени. Только под утро первый остановился, подождал второго и показал влево на глубокий овраг, поросший густым лиственничным лесом.

— Тут отдохнем.

Отрывали ломкую смолистую кору, ломали сушняк — раскладывали костер: у Земляка оказались спички. И было у него две пайки хлеба, он отогрел на костре одну и разломил пополам. Ел медленно, откусывая маленькие кусочки и старательно их пережевывая. Красные отблески пламени играли на его скулах, на прямых густых бровях, на усах с дрожащими капельками воды.

— Куда мы идем? — спросил Поэт.

Земляк какое-то время молча жевал, потом неспешно проглотил, дернулся вверх-вниз тяжелой кадью, махнул рукой:

— Туда. За Старый Хребет. Там работает бригада по заготовке леса. Бригадиром — мой кореш. — Помолчал и добавил: — Я ему спас жизнь.

Больше он ничего не сказал. Они прислушались к тишине и пошли дальше. И шли еще два дня. К счастью, зима только началась, снег выпал неглубокий, и у Земляка были спички. Поэт не верил, что они найдут бригаду. Земляк часто поднимался на сопки, оглядываясь и решительно продолжал путь. Когда они пересекли занесенную снегом наезженную дорожку, сомнения Поэта уменьшились. О том, что их ждет впереди, не хотелось думать. Вокруг лежали снега, возвышались черно-серые каменистые сопки с отполированными ветром до блеска вершинами, в долинах, похожих на буераки, росли лиственничные леса, чем дальше — тем гуще и выше, сплошь лиственничные, по берегам небольших озер чернел щетиной ольшаник, мир вокруг словно застыл, молчаливый, суровый, страшный. Ночью светила луна, звезды висели, будто огромные красные лампы, а снег отвечивал зеленым сиянием — всходило солнце, и зеленые, синие отсветы пропадали, свет становился белым и однообразным. Иногда снег пересекал рваный след росамахи, петляли заячьи следы, вспархивала из-под снега куропатка — и вновь тишина. Скрипит снег под ногами, глухо кашляет Поэт.

На четвертый день полудни они стали наткаться на санные следы, потом спустились в широкую долину и по твердому санному следу шли еще часа два. Вокруг стоял лес, некоторые лиственницы были в два человеческих обхвата, и молодые хвойники чем-то напоминали Поэту знакомые с детства сосняки. А потом что-то затрещало впереди, зашумело, грохнуло, и они остановились. Земляк сошел с дорожки, подвел Поэта к двум высоким, могучим лиственницам, видно, очень старым — у обеих усохли верхушки.

— Стой здесь и никуда не уходи. Жди меня, — приказал.

Поэт стоял, а потом присел, прислонившись спиной к шершавому стволу. Сила теплится на донышке сердца, ее хватало лишь на мысль: что же с ними будет теперь, кто и каким образом примет их в бригаду, кто захочет рисковать из-за них своей жизнью? Тут, наверно, существует такой же конвой, а с ним разве можно договориться? «А что, — мелькнуло в голове, — что, если Земляк не вернется?.. Тогда зачем вел сюда? Мог бы убежать от него еще по дорожке, просто бросить или придушить». Теплая волна благодарности омыла и согрела сердце. Что бы там ни было, а мало найдешь на свете людей, которые при таких обстоятельствах разделили бы с тобой кусок хлеба и надежду на спасение. Он начал дремать и проснулся от шороха. Шум нарастал, и Поэт догадался, что к нему кто-то приближается. Поднялся и увидел Земляка и с ним какого-то человека, в полушубке, в шапке с завязанными под подбородком ушами и вален-

ках. Человек не походил на конвоира. Они горячо что-то обсуждали, незнакомец размахивал руками. Был лобастый, остролицый, с цепким взглядом, говорил резко, обрывая фразы.

— Говорю — один. Один помер.

— Кто вас считает, — возразил Земляк.

— А если посчитают?

— Пока ведь не считали...

— А ежели... Тогда крышка. Мне.

— Сам же сказал, что вы тут вроде бы сами по себе.

— Потому что куда денешься? Убежишь — пропадешь.

— Переждать несколько деньков, а там кто-нибудь и помрет. — гнул свое Земляк.

— А если не помрет?

Они разговаривали так, будто рядом и не было Поэта, будто бы не о нем шла речь.

— Куда же его?.. — сквозь зубы выдал Земляк и помрачнел лицом. — Возьми топор и убей.

— Ты... ты... — заспешил незнакомец. — Не могу я принять, не могу, понимаешь? — сказал вдруг плаксивым голосом, который не шел его здоровой, рослой фигуре.

— Не понимаю. И некому больше понимать. Нас только двое.

— Вас двое, а помер один.

Надолго залегла тяжелая тишина. Поверху прошел ветер. С макушки лиственницы сорвались комья снега и упали, глухо отозвалось вдали эхо.

— Что ж, тогда и я пойду, — так же сквозь зубы выдал Земляк.

Но не шел. Ветер набирал силу, с веток порошил снег, где-то заскрипело дерево, треснул сук. Поэт стоял, закрыв глаза. Он знал, что решается его судьба, но не имел права просить, вообще не имел права вступать в разговор. Что он скажет? Все ясно и так. И в этот миг ему показалось, будто он погружается в глубокий омут, будто на него наваливается невероятная тяжесть — все эти снега, все эти сопки — весь мир, он оглох и ослеп, а очнулся оттого, что его дергали за рукав. Это был человек в полушубке.

— Пойдем, — сказал он.

Поэт ступил несколько шагов и остановился, увидел, что Земляк стоит под деревом.

— А он? — спросил.

— За ним приду, когда стемнеет.

Они шли по узкой глиняной поляне к густому подлеску, за которым начинался хмурым, темный лес.

Я хорошо сыграл комедию жизни

Сорок коренастых воинов-преторианцев, сменяя друг друга, бежали с носилками, в которых возлежал принцепс. Август умирал, знал, что умирает, однако ему казалось, стоит только добратся до Сатурнова холма, до Золотой римской мили, и он сможет выдюжить. Но Сатурнов холм был для него недостижим. Редко какой человек знает, где достигнет его последняя миля, ему же, Августу, было суждено это горестное познание. Счет его собственным милям кончится в Ноле, в маленьком городке, где находится родовое отцовское имение. Пытаться добратся до Рима — безумство, он умрет в дороге. Август умирал от кровавого поноса, не мог выпить глотка воды — все выворачивало наизнанку, — чувствовал, как покидают его силы, как наливается тяжелой, смертельной усталостью тело, как холодеет сердце. Он то проваливался в вязкую дремоту, то выныривал из нее и не сразу понимал, где он находится и что с ним происходит. Время от времени его тело начинал сотрясать ледяной озноб, на него надели четыре туники, тогу, шерстяной нагрудник и рубашку, обмотали ноги шерстяными портянками, поставили рядом две переносные жаровни, но ему все равно было холодно. Он лежал в той же комнате, в которой умер его отец, это его не испугало, и не пугала сама смерть, он достойно прожил жизнь, укрепил Римское государство, сделал счастливым римский народ, чем заслужил себе вечную славу и почет. Земные блага, земные наслаждения давно его не прельщали, собственно, не прельщали с того времени, когда ему стали безразличны женщины, угас к ним интерес, желание обладать ими, вызывать в них восхищение и восторг, — осушил до дна дурманящий крепкий напиток, потом пошла сладкая водичка, в еде был неприхотлив всегда, нектар упоения властью выпил в молодости. Он давно жил не для себя, старался не утратить того, что совершил в расцвете сил. Знал, что он — не гений, возможно, даже посредственность, но

сделал больше, чем сделает иной гений; он не завидовал славе Юлия Цезаря, даже славе Александра Македонского, он доказал миру, чего может достичь мудрая расчетливость, которая, пожалуй, равна гениальности. И теперь умирал на вершине славы. Конечно, он знал: в стране есть недовольные, есть крикуны, но в своей массе римский народ благодарен ему: сорок лет мира и спокойной жизни, сорок лет сытости, расцвета ремесел и искусств — такого мир еще не видывал. Если ты честный, послушный, добросовестно исполняешь повеления вышестоящих, старательно несешь службу — можешь достичь многого. Возможно, кому-то и не повезло, но это уже зависит от каприза судьбы, а не от принцепса. Он был убежден, что римляне искренно будут жалеть о нем, оплакивать его, вспоминать добрым словом.

В это мгновение в слабом сознании шевельнулась мысль: а надолго ли? А если... А если придет другой правитель, который затмит своими делами его славу?!

Августа вдруг бросило в жар. Липкий пот выступил на лбу, губы стали солеными.

В новых свершениях, в новом счастье граждане забудут его. Счастливого человека вообще не помнит прошлого. Он живет сегодняшним днем, живет наслаждением. Разве мало в Риме мужей, способных повести римских граждан к новым горизонтам, к новым вершинам? Или хотя бы продолжить то, что начал он, присоединить его деяния к своим. Сенат может признать новым принцепсом Германика, полководца легионов, расположенных в Галлии. Щедро одаренный человек, смелый, упорный... Завоюет новые земли, засыплет римлян золотом. Или Друза. Этот не столь талантлив, зато расчетливо-мудр и тоже нажил славу полководца. Наследником принцепса народ может объявить и Агриппу, внука. Агриппа, правда, скромпрометировал себя разными пьянками, пирами, не случайно сидит под стражей, но Август знает: в глубине души он добрый и искренний, эта искренность может взять в нем верх; встав на самостоятельную дорогу, Агриппа наверняка изменится, да и пиршествовал он не столько из-за собственной испорченности, сколько из-за сопротивления засилью и произволу мачехи, Ливии, эта везде и всюду пихает своего сына — Августового пасынка Тиберия. Тиберий! О, он — настоящее чудовище, кровожадный зверь под личиной зайца, если бы ему удалось дорваться до власти, сразу бы сбросил маску. У Тиберия садистские наклонности, он распутен, жесток, лжив и лукав. Однако представляется скромным и добрым. Август давно раскусил пасынка, разглядел в его душе дупло, полное вонючего яда, это угадал он, сам прошедший через смерти, ненависть, зависть, и ужаснулся скрытой извращенности Тиберия. Отсутствие всяческих ограничений толкнуло бы его на такие крайности, каких еще не ведал мир.

И толкнет! И тогда зарыдает народ, возопит: где ты, Август, где ты мудрейший из мудрых, добрейший из добрых, как прекрасна была жизнь при твоём правлении! И римляне расскажут своим детям о великом принцепсе, а те — своим, и все будут вспоминать золотой век Августа, как в Греции и по сей день вспоминают золотой век Перикла.

Собственно, эти мысли посещали Октавиана не впервые. Завещание, в котором он передавал принципат Тиберию, лежит у весталки в храме Юпитера. Но он еще может изменить его. Хоть сейчас.

Мысли утомили Августа. Он смежил тяжелые веки и увидел, как гордая весталка в белом наряде выходит перед сенатом и открывает футляр с завещанием. Сенат замер, сенаторы затаили дыхание... Ха-ха-ха, уже мертвый, он бросит их в такой ужас, что они долго не смогут опомниться. Они знают хорошо, кто такой Тиберий.

В комнате, в которой находился Август, залегли сумерки, божественная тишина, там уже чувствовалось дуновение крыльев смерти. А во дворце кипели страсти, рушились и вспыхивали надежды, шли сила на силу, воля на волю, зло, как и всегда, попирало добро. Оно вечно, а добро преходяще, зло вооружено, а добро безоружно и незащищено. В местном храме еще ворожили на внутренностях убитых животных, бормотали что-то невнятное, подавали надежду, посредине двора кривоногий авгур-жрец сыпал просо курам и, глядя на них, предрекал, что принцепсу долгие годы жизни (имени его не называл), отмерял наперстком лекарства старый лекарь Арторий, хлопотали слуги, но все знали, что жизнь Августа подходит

к своему концу и что сейчас должна будет решиться судьба Рима, а с ним и их судьба. Один Агриппка, закаленный во многих сражениях воин, не скрывал слез, говорил вслух, что умирает любимый принцепс. Во все стороны мчались верховые, в Нолу съезжались важные люди Рима. Приехали оба консула, два Секста — Помпей и Апулей, приехали ближайшие друзья Августа — Виниций и Силий Старший, вольноотпущенники Полиб и Гилларион, которым принцепс доверял безгранично, приехали и другие высокие чиновники. Их не пустили в дом, и они остановились на постоянных дворах. Ливия попевала всюду, отдавала приказы решительно, твердо. Крепкая, волевая, хищная, появлялась то тут, то там, рассчитала все безошибочно и точно. К Тиберию, выехавшему несколько дней назад, послала гонца с приказом немедленно вернуться, потом заперлась в угловой комнате с военным трибуном и о чем-то долго с ним шепталась.

Август тем временем вновь открыл глаза. С трудом узнавал комнату, узнал, улыбнулся. Подумал, что по велению судьбы он умирает в родительском доме. Здесь он вырос, здесь познал первые радости и огорчения. Родительской семье долго не везло в этом доме, ночью в подвале звенели кандалы и раздавались стоны. Отец уже собирался продать дом, но как-то ночью отважился спуститься в подземелье. Он увидел привидение — длинноволосое существо в белой одежде, оно поманило его за собой, и отец пошел. В саду, возле куста тамариска, привидение вдруг по-волчьему взвыло и исчезло. Отец сорвал пучок травы и положил его на то место, где стояло привидение, а утром начали там копать и нашли человеческие кости. Их освятили и похоронили с почестями, с того времени звон кандалов и стоны прекратились. Так рассказывал отец, он очень хвастался своей смелостью и сообразительностью. Октавиан в эту выдумку не верил, однако никогда не обмолвился об этом отцу. Август улыбнулся опять, к нему приблизился Силий Старший и спросил, не хочет ли принцепс помиловать осужденных, говорят, что это помогает в его положении. Светло-голубые глаза Августа потемнели. Если он отдаст такое распоряжение, это будет означать, что прежде он чинил суд неправый и перед смертью захотел исправить ошибку. Если бы он сейчас помиловал Овидия, значит, он признал бы, что ни благочестия, ни доблести в его правлении не было, не было республики, а была замаскированная монархия, тирания, а он всю жизнь кривил душой, обманывал народ. Нет, его разум еще не помутился, и такого повеления он не отдаст; Август покачал отрицательно головой в ответ на вопрос. Он приказал подать зеркало и причесать его.

Силы оставляли Августа, он чувствовал это и подумал о том, что сейчас каждое его слово, каждый жест имеют величайшее значение. Завтра эти слова будет повторять весь Рим. Он улыбнулся и сказал:

— Хорошо ли я сыграл комедию жизни?

Вошла в комнату Ливия, настороженно оглядела присутствующих, опасаясь, не сказал ли Август чего-нибудь такого, что могло бы принести вред ей и сыну. Старалась смотреть сочувственно, любяще. Август уловил этот взгляд.

— Ливия, вспоминай, как хорошо мы жили. Живи и прощай.

Ливия заметила, как помрачился взгляд Октавиана, и приказала всем выйти из комнаты.

На какое-то время она приняла на себя всю полноту власти в огромной Римской империи.

Август уже давно лежал мертвый, а ему носили еду, масла, лекарства, Ливия принимала все из рук слуг и уносила в комнату, говоря при этом, что такова воля принцепса: кроме нее, он никого не хочет видеть. Август лежал мертвый, а к Агриппе подкрадывался посланец Ливии, военный трибун, чтобы задушить законного преемника принцепса. Задушить, а не убить, рана на теле — это доказательство злодейства, он его и задушил в трудной борьбе: Агриппа был сильный и разгадал намерение черного посланца.

Тиберий вернулся в Рим единственным преемником Августа. Собственно, и Ливия власти не могло быть, ведь всюду — на въездных воротах в город, на монетах, на портиках написано: «Res publica», но на том и основывался принципат Августа, — под миртовым венком всегда лежал острый меч, а слова принципата — государственного совета — подлежали неукоснительному исполнению. Принцепсу, только ему подчинялась пре-

торианская гвардия, вышколенное, привилегированное войско, он назначал всех высоких чиновников и составлял списки сенаторов. Он диктовал свою волю, а они только поднимали руки, чтобы восславить его повеления, делали это безоговорочно, и, казалось, не они поднимают руки, а их заводит какая-то неведомая сила, кто-то дергает за веревочку, похожую на ту, что заставляет махать руками деревянных обезьянок на базарах.

...Преторианская гвардия приняла присягу на верность Тиберию, высокие чиновники засвидетельствовали свою преданность, понтифики нарекли его своим верховным, в сенате еще долго не смолкало эхо от горячих речей первых мужей города и государства. Каждый, кто поднимался на трибуну, провозглашал: наша страна великая, могучая, в ней много славных мужей, и называли Германика, Друза, Британика, Агриппу (хотя знали, что он уже мертв) и других — много достойных и способных принять на свои плечи груз государственной власти. «Но самый достойный среди них ты, Тиберий». Тиберий щурил большие круглые глаза, благосклонно наклонял голову, и его длинные волосы крылом спадали на лоб, барабанил пальцами левой руки — был левшой. Его красивое лицо оставалось непроницаемым, а в душе играли кифары, флейты, гобои, цимбалы, били тамбурины, трещали кастаньеты, однако вся эта музыка не мешала ему твердо запоминать имена названных достойных людей. Ведь именно им предстоит прежде всего снимать головы с плеч. Мед славословия обтекал его душу, не касаясь ее, все мысли и чувства были устремлены к одному — запомнить. Не пропустить ни одного достойного. А флейты и тамбурины продолжали играть, ох, как долго они молчали, как долго он был вынужден изображать из себя скромность, почтительность, доброту, сыновнюю преданность. Именно так — сыновнюю преданность. Мать думает, что теперь будет править она, а он станет плясать под ее дудку. Не выйдет! Она глубоко ошибается.

Ливия и в самом деле ошиблась, по приказу Тиберия она умрет страшной насильственной смертью; сначала на нее обрушится тяжелая крыша балдахина на корабле, потом она чуть было не утонет в море, выберется, и тогда ей отрубят голову. Сердце Тиберия не содрогнется, ведь это будет одна из тысяч и тысяч голов, какие покатаются к подножию его трона. И тогда напуганные римляне вскинут вверх руки и завопят: где ты, Август, где ты, святой и добрый человек, зачем покинул нас и переселился к богам?

Это будет потом. А сейчас Тиберий принимает поздравления от сенаторов и других достойных мужей города. К нему приближается Силий Старший и советует в честь такой торжественной минуты помиловать сосланных, такой поступок достойно увенчает восхождение принцепса на вершину власти и останется в памяти народной. Тиберий наклоняет голову, барабанит пальцами левой руки:

— Каждый заслуживает того, чего заслужил. Август наказывал не своих личных врагов, а врагов отечества.

Стали виски у меня лебединым перьям подобны

Огонь горел лениво, но Стратис будто бы и не замечал этого. Он отяжелел, помрачнел — судьба его не миловала, за два последних года болезнь забрала жену и дочь, а сын погиб в битве с язигами. Остался с младшей дочкой, уже не шутил, как бывало, не задевал посетителей, не подмигивал лукаво Овидию, а если и подсаживался к нему, то молчал, вздыхал и смотрел в землю. Дела его тоже шли скверно: еду готовил плохо, вино подавал кислое, раздражался по каждому пустяку, случалось, что в гневе хватал горящую головешку, угрожая запустить ее в лицо тому, кто выводил его из терпения.

Наконец пенек вяза разгорелся, запылал длинными языками, в харчевне стало светлее и уютнее, запахло теплом. Людей было немного, ели и пили молча. Багровые отблески пламени играли на суровых лицах, на развешанном по стенам проржавевшем оружии. Заскрипели тяжелые черные двери, на пороге появилась сгорбленная, занесенная снегом фигура. Пришелец робко поступал ногами, сбивая снег, снял шапку, выбил ее о колено. Это был Ворон когда-то славный гетский певец-сказитель. Те-

перь он действительно был похож на старого, облезлого ворона: горбоносый, с большим открытым ртом, из которого вылетел пар, с длинными нечесаными волосами, с опущенными, как поломанные крылья, руками. Его единственный глаз слезился, смотрел загнанно, испуганно, старик сел в углу у дверей, не надеясь на поживу, а лишь бы погреться. Голос у него пропал, и изо рта вырывалось нечто похожее на карканье, его уже не приглашали на празднества и торжества, отовсюду прогоняли, чтобы не портил своим видом веселья и не каркал, не накликавал беду. Стратис зыркнул в его сторону злыми глазами, был не в духе, давно искал, на ком бы сорвать зло, и вот наконец припелся этот вонючий Ворон... Овидий угадал намерения хозяина.

— Стратис, — сказал строго, — подай Ворону вина и гороха. А если есть мясо, то и мяса.

Стратис недовольно проворчал что-то себе под нос, однако прошаркал стоптанными сапогами за перегородку: Овидий — его давний клиент, к тому же теперь он в почете у гетов. Заслужил уважение добротой, щедростью — геты умеют ценить хорошее в человеке. Они и сейчас, хотя и хмыкали носами, словно подсмеиваясь над чужеземцем, легко транжирящим деньги, были довольны. Помнили, как потешался над чужеземцем Ворон, и было бы справедливо, если бы римлянин отплатил старику за обиду, однако чужеземец проявил благородство. Давно уж они не подтрунивают над изгнанником, теперь он желанный гость на всех праздниках, геты с гордостью показывают всем приезжим дом поэта, стихи которого читают во всех театрах Рима и которого... боится сам цезарь. Император далеко, даже наместника они видят раз в несколько лет, а славный римский певец сидит с ними за одним столом и разговаривает по-гетски, как с равными.

Они даже притихли, когда он задумался, и старались не звенеть ножами, не дробить мечами тяжелые оленьи кости.

А Овидий смотрел на Ворона и думал о том, что и сам он такой же старый, немощный и седой, и прекрасная метафора трепетала в его мыслях, пробуждаясь к жизни:

Стали виски у меня лебединым перьям подобны...

Он редко вспоминал Рим, после многих лет горестных молений пришла злора, и он начал писать злую, ядовитую поэму «Проклятье Риму», но и на нее не стало сил, пропал азарт, он все глубже и глубже уходил в себя, словно спускался по ступенькам в темный, сырой крепостной колодезь, ожидая, что вот-вот сверкнет во тьме чудесный живительный родник. Он уже не надеялся вернуться на родину и от жизни ничего не ждал, знал, что пожалеть его некому, старость сама по себе утрачивает право на жалость, однако почему-то содрогался от мысли, что тело его положат в эту промерзлую землю. Он знал, что умрет зимой. Эта зима, возможно, станет для него последней. Она была злой, суровой, намного суровее предыдущих. Боги, боги, вы живете в теплых краях и не знаете, что бывают такие холода! Замерзло море около берегов, две галеры вросли в лед, их видно с крепостного вала, они плывут, плывут и остаются на месте, он видел собственными глазами вмерзшую в лед рыбу и видел, как живая рыба сонно проплывает под прозрачной толщей льда; а еще видел, как по широкому, могучему Истру мчалась пара лошадей, запряженных в сани, и как медленно двигался длинный воловий обоз. Вчера двое гетов несли амфору с вином и упустили ее из рук, амфора разбилась вдребезги, а вино осталось стоять карминно-красным сверкающим сосудом; если бы такое рассказать в Риме, не поверили бы, обозвали бы болтуном. Дети съезжают с крепостного вала на ледяных — тазах, обмазанных коровьим кизяком и облитых водой, катаются на деревянных салазках.

В харчевню вошел гет, борода и усы у него белые, на них блестят ледяные сосульки, сейчас они начнут оттаивать, он обрывает их пальцами и бросает себе под ноги. Холод досаждал Овидию больше всего, у него покалывает в правом боку, мерзнут ноги, и все время клонит ко сну. Смерть придет за ним в скором времени. Он чувствует. И не прогоняет этой мысли. Как началась зима, ходил к морю, ездил с гетами на Истру, а теперь ни ему, ни другим не выйти за ворота, они пребывают в посто-

янной осаде, и дозорные на стенах не смыкают глаз. Из стелей появились сарматы, бессы и язиги, перерезали дорогу на Истр, воины Волчьей Стаи, окрепшей и озлобленной, носятся под самыми стенами, грозятся ворваться в Томы и жечь их. Воинов в Томах мало, войско Весталиса отошло на юг, на зимние квартиры, и кому нужны заброшенные на край света маленькие, заметенные снегами Томы! Они лишь стратегический пункт, пограничная крепость, если ее сожгут, весной придет войско и построит новую. И посадят новых поселенцев... И сошлют другого поэта. Поэты существуют для того, чтобы их ссылать. Опираясь на ореховый посох, Овидий вышел из харчевни. Ветер швырнул ему в лицо горсть снега, рванул за полу кожух, поэт прижал ее левой рукой. Ему было плохо. Так плохо, что подумал: домой не дойдет. Дом казался ему в эту минуту раем. Там тепло, там Флора, она согреет воды и попарит ему ноги и руки, а потом укутает овечьим одеялом, присядет рядом и будет гладить ему волосы. Флора — его единственное утешение. Она подросла, превратилась в хорошенькую девочку, уже не за горами то время, когда на нее станут поглядывать парни. У нее круглое личико, слегка вздернутый носик, вокруг которого рассыпалась стайка веснушек, белокурые волосы и милая, нежная улыбка. Она легкая, подвижная, как козочка, и удивительно трудолюбивая, бегаёт в лавку, управляется по дому, убирается, готовит еду. Старый слуга почти ослеп, и у него отсохла левая рука, Флора и за ним присматривает. Вечером они сидят у огня втроем, старик дремлет, Овидий обучает Флору латинскому языку или читает что-нибудь из латинских авторов. Флора сияет глазами, ластится к нему, не знает, чем угодить. И тает, тает сердце старого поэта, тает, как горсточка снега, внесенная в жилой дом, а потом еще и обольется слезами. Думал ли он, что сарматская пленница заменит ему родных детей и внуков! Безмерно щедро человеческое сердце, безгранична в нем благодарность и любовь, не напрасно он воспеваёт ее, пусть не такую, другую, но все же любовь, только она держит человека на свете и ведет в туманную, заснеженную неизвестность по дорогам жизни.

А пока он не мог найти дорогу к дому. Вьюга крутила, завывала, замела все следы, и он тащился от одного дома к другому, еле переставляя ноги. Сердце трудно колотилось, будто распухло, стало большим и ленивым, под лопаткой колола тонкая и длинная игла, его бросило в жар, пот сбежал со лба и тут же замерзал. Овидий хотел было постучать в первый попавшийся дом, но вдруг увидел деревянного человечка с одним глазом по лбу — идола на воротах соседа. А вот и двери его собственного дома. Он остановился, перевел дыхание. Попробовал дотянуться рукой до железного кольца, но не смог, поднял палку и постучал. Долго не было никакого отклика, он постучал еще раз, двери распахнулись, и в клубах белого пара поэт увидел Флору. Она и вправду была похожа на молодую богиню весны — красивая, юная, улыбающаяся, расцвела от радости, что поэт вернулся. Это было последним, что он увидел в этом мире. В следующий миг свет покачнулся и полетел куда-то в вечную седую изморозь, а он — к теплым, солнечным берегам. Падая, еще услышал отчаянный девичий крик, этот крик вошел в его тело и остался в нем навсегда.

За столом сидели трое. Один читал газету, гругой вздыхал и смотрел в окно, с Поэтом разговаривал третий. Он сидел посередине и листал в папке какие-то бумаги. Был в сером свитере, серой меховой шапке, на плечи накинут белый полушубок. Утиный нос, холодные, водянистые глаза, в которых взгляд Поэта тонул, как в толстой льдине. Поэт знал, зачем его привели сюда: второй месяц продолжают в лагере суды, заново судят всех, вдвое, а то и больше продляют срок. Но что могут поставить ему в вину? Работал добросовестно, режима не нарушал...

Утконосый какое-то время сидит неподвижно, будто раздумывает над чем-то, потом раскрывает папку и достает из нее стопку серых, блокнотного размера бумаг. Поэт невольно втягивает голову в плечи, однако тут же распрямляется. Холодный комок, который скользит от груди к животу, рассыпается на тысячу колючих льдинок. Бумаги его. Он спрятал их в щель за щитовую доску барака около своей койки. Бумагой разжился, когда разгружали в хозяйственном бараке ящики с мылом. Четыре длинные узкие полоски он спрятал под фуфайку, потом порезал их на квадратики сгеланным из обруча, отточенным на камне ножом. Карандаш выменял на байковую портянку. Удивлялся сам, что поддался этой обманчивой чудесной волне. Она начала накатывать на него с прошлой весны. За все время Поэт не написал ни одного стихотворения,

ему не хотелось их писать. Да и как бы он их писал? О чем писать да и куда их деть? В эту весну как-то невзначай поймал себя на том, что рифмует. Все началось с дивной строки: «Стали виски у меня лебединым перьям подобны» Перед самым арестом он перевел «Скорбные элегии» Овидия. «Метаморфозы» перевел еще раньше. Печальные строки гекзаметра всплывали, будто потопленные челны. Он топил их, а они всплывали. Что их позвало? Какая таинственная сила оживляла их в памяти и выталкивала на поверхность? Этого Поэт не знал. Но в какой-то день ему захотелось их восстановить на бумаге. Убедиться, что он еще не сошел с ума, способен мыслить и даже сочинять стихи. Таким образом хотел удостовериться, что способен жить.

Значит, они нашли переводы из Овидия? Какая в этом может быть вина? Наоборот, эти желто-серые листки должны засвидетельствовать, что Поэт живет полноценной жизнью, не таит в душе обиды, не жалуется.

Однако утконосый гумал не так. (А возможно, он ничего не гумал. Готовый, отпечатанный на машинке приговор лежал в ящичке стола.) Он положил перед собой листки и изрек:

— Может, вы будете отпираться, что эти бумаги не ваши?

— Не буду отпираться,— сказал Поэт.— Они мои.

— Тогда все ясно. Ваша вина страшная, ей нет оправдания.

— Какая вина? Я не понимаю...— сказал Поэт.

— Посмотрите на него! Он не понимает! — возмущился утконосый и взял в руки несколько листов.— А это что? Что это такое, я вас спрашиваю? — И он стал читать:

— Песни являются в мир, лишь из ясной души изливаясь,
Я же внезапной бедой раз навсегда омрачен.
Песням нужен покой и досуг одинокий поэту,—
Я же страдаю от бурь, моря и злобной зимы.
С песнями страх несовместен, меж тем в моем злополучье
Чудится мне, что ни миг, к горлу приставленный меч.

...Крыльев шум услышав издалека, голубь трепещет,
Если хоть раз он в твоих, ястреб, когтях побывал.
Так же боится овца далеко отходить от овчарни,
Если от волчьих зубов только что шкуру спасла.

...Все терпеливо сношу. Но ни море, лишненное портов,
Ни продолжительный путь не погубили меня.
Противоборствует дух, и тело в нем черпает силы.
И нестерпимое он мне помогает терпеть.¹

Кому же приставлен к горлу меч? С кем борется дух?

— Это у Овидия,— тихо сказал Поэт.

— Ты нам голову не морочь и мозги мякиной не забивай,— не оборачиваясь, сказал тот, который смотрел в окно.— «Путь продолжительный», «Море, лишненное портов»...

— Это он так говорил про Понт Эвксинский... Про Черное море.

Захотели все трое.

— Черное море, лишненное портов? Злобная зима? Вот это да! — погавился смехом утконосый.— Что ж, почитаю дальше:

Отнято все у меня, что было можно отнять.
Только мой дар неразлучен со мной, и им я утешен,
В этом у цезаря нет прав никаких надо мной.
Пусть кто угодно мне жизнь мечом прикончит свирепым,
И по кончине моей слава останется жить.

Утконосый читал не все погря, а только отдельные места, подчеркнутые красным карандашом.

— Прямая контрреволюция,— взмахнул он листками.

— Это Овидий,— тихо, но твердо повторил Поэт.— Он жил в Риме и был сослан Августом. Для него Черное море — холодное и пустынное, а край Причерноморский в те времена действительно был диким.

— Не знаю такого,— наконец оторвался от газеты третий, скуластый, узкоглазый, в очках в роговой оправе.— Но эти стихи — злобный поклев на власть, открытая крамола. За такое надо судить, и судить сурово.

— Тут поклев не только на власть, но также... Послушайте еще:

Как посмотрю я вокруг — унылая местность, навряд ли
В мире найдется еще столь же безрадостный край.
А на людей посмотрю — людьми назовешь их едва ли.
Злобны все, как один, зверствуют хуже волков.
Им не страшен закон, справедливость попало насилье,
И правосудье легло молча под воинский меч.

¹ Перевод С. Шервинского. Н. Вольпин.

Утконосый жадно хватал широко открытым ртом воздух. А когда немного отдышался, проскрипел ржаво и злобно:

— Да за такое... вышка без всяких разговоров!

— А мы еще нянчимся с ним.

Поэт защищался вяло:

— Такими сначала представлялись Овидию геты. Потом он погрузился с ними...

— Не знаю, кто больший контрик, Овидий или ты... — положил на листки тяжелый кулак утконосый. — А что попадаешь пог вышнюю меру — это точно. Однако учитывая... Ага, — заглянул в другой лист бумаги, — учитывая твоё безупречное поведение, добросовестную работу в карьере, суд считает возможным ограничиться десятью годами заключения. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Кайло опять высказывает из рук. Поэт нагибается, напрягаясь, чтобы не упасть, тогда — конец. С трудом выпрямляется, колупает острием твердую, как камень, землю; его пошатывает. Мир качается, плывет, как в тумане. С каждой минутой туман сгущается, где-то в его глубине плывут чайки, вскрикивают, стонут, но ему все безразлично. Ему все равно. Память замерзла, ее припорошило снегом, в ней уже не проклевываются из-под земли острые стрелки ирисов, не цветут яблонь, не пахнет жасмином, не поет иволга, не наливается алым соком калина. Там все бело, холодно, безнадежно. В нем самом вымерзло все: чувства, помыслы, мечты. Пережитое не тревожит, не волнует. Сначала волновало. Нагрывала сердце несправедливость Надеяся, что вскроется ошибка. Позднее понял, что ошибки нет. С ним и с другими. Большинство из них были люди, бесстрашные и преданные своему делу, они шли вперед и звали других за собой. Он же был преданным только поэзии. Иногда глумил, что в ней самой спрятана какая-то трагическая тайна, — пожалуй, чаще всего она и является той бездной, в которой исчезают живые поэты. Так он глумил сначала. Теперь не думает. Чубатого поэта давно нет. В его мыслях — вечная мерзлота. Есть узник номер тридцать шесть тысяч семьсот сорок восемь. Он ничем не отличается от других узников, других номеров

Начальник конвоя бросает косой взгляд, обводит налитыми свинцом глазами партию. Ему давно осточертела эта земля, эта служба, но что поделаешь, если столько развелось контриков. Через них и погибай тут. Сердце закипает злобой на всех этих доходяг, но больше на того, кто вот-вот упадет, а уже все салазки отправлены, другие доходяги не дотащат его до зоны. Он подходит к Поэту и выдавливает сквозь зубы:

— Марш в зону!

Поэт не чувствует радости, не чувствует благодарности к начальнику конвоя. Глухое равнодушие овладевает им, все краски мира угасли — осталась только белая, даже самая близкая, реальная радость — теплый барак, котелок баланды — не волнует. Он через силу переставляет ноги, спотыкается, пошатывается, через силу выбирается из карьера. Дальше идти легче, он уже не поднимает ноги, а шаркает ими, скользит по дороге, временами ему кажется, что он плывет. Плывет по широкой реке, где с правой стороны высокие кручи, а с левой — зеленые луга, где мокнут в воде длинные ветви ивы, где кричат чайки и стрелами проносятся над головой.

Последние силы покидают Поэта. Наконец — ворота зоны. Рубленая будка часового, из будки вьется дымок, в стекле окна — круглая, как квашня, рожа.

— Стрелок, отвори. — Поэт не узнает своего голоса.

Рожа не шевелится, глаза скользят по согнутой промерзшей фигуре и опять устремляются куда-то в заснеженный простор.

— Стрелок, отвори!..

И еще раз, в последний, уже чуть слышно:

— Отвори, стрелок!

Наконец стрелок шевелится. Достает из кармана пачку махорки, свернутую в квадратик газету, отрывает один квадратик, сыплет махорку, долго слюнявит край бумажки, скручивает сигарку. Палочкой открывает кружок на горячей «буржуйке», зажигает палочку, прикуривает сигарку, закрывает кружок. Не спеша надевает полушубок, застегивает (еще раз перебирает пальцами пуговицы), забрасывает за плечо винтовку, выходит во двор. У него вид, будто ему извечно предназначено сторожить людей, будто и родился с винтовкой. Глазами, которые давно отвыкли замечать чужую беду, смотрит на небо — не распогодилось ли, — на далекую черную сопку, над которой нависла тяжелая серая гуча, скользит взглядом по горизонту и переводит его на ворота. Там уже никого нет, на земле лежит что-то темно-серое, похожее на обгорелую корягу.

— Вот сволота, — с досадой сплевывает пог ноги стрелок. — Не мог подождать. Теперь тащи его за барак.

Авторизованный перевод с украинского Надежды КРЮЧКОВОЙ

Н о в ы е с т и х и

* * *

Воздушною струею отсеченный
И неготовый встретить этот миг,
Лист полужелтый и полужелтый
Напоминает вырванный язык—

Он долго бьется на земле от боли
В тенетах перепутавшихся трав,
С шуршанием горьким сетует на долю
И замолкает, силы растеряв.

А лист, который пожелтел как надо
И смог себя на ветке сохранить—
Со светлым всепрощением, без досады
Сам оборвет связующую нить.

И, шумом никого не беспокоя,
Опишет плавно круг прощальный свой—
И тонкою прохладною щекою
Признательно прильнет к груди земной.

* * *

Черные думы у ягоды волчьей,
Красные думы у спелых калин.
Снова брожу я бесцельно и молча
По голубому простору равнин.

Ветер несет шелковистые сети,
С нежной щекоткой касаясь лица.
Вновь одиночество — мой

собеседник —
Все позволяет сказать до конца.

Истина мне приоткрылась однажды,
Все существо потрясая мое,

Что бытия утоляется жажда,
Если горчить начинает питье.

Видно, испив этой влаги полынной,
Я уж не так бытием дорожу—
И на исходе тропы моей длинной
Нехотя чашу к губам подношу.

Снова брожу я бесцельно и молча
По голубому простору равнин...

Черные думы у ягоды волчьей,
Красные думы у спелых калин.

* * *

Быть может, давняя вражда
Ушла б, как вешняя вода,
Да тут ударил черный миг,
Когда от горя я поник.
Нет, твоего не ждал участия
(Не нужно было мне его!),
Но потрясло мне душу—счастье
В твоих глазах и торжество.

Закон какой-то ты нарушил,
Что свят и при вражде людей,—
И тем свою отторгнул душу
Навеки от души моей.
Все это было и безбожно,
И за пределами стыда...
Теперь меж нами невозможны
Не только мир, но и вражда.

Встреча в пути

Канавы да лозняк корявый,
 Да пыль гнедая мчится вскачь,
 Как будто смог цыган лукавый
 В оглобли облако запрячь.
 Ему—ведется так от века—
 Судьба оседлая тесна.
 Вознею детскою телега
 И радужным тряпьем полна.
 А черноглазая Земфира
 Огнеопасной жжет красой.
 И кто-то вновь не знает мира
 И платит тайною слезой.
 На воли зов спешат без страха
 Дорогой птиц, ветров и звезд.
 Что за телегой? То ли птаха,
 То ль чье-то сердце унеслось.
 Хоть я домашней жизни предан
 И охлажден теченьем лет,
 Но дух скитальчества мне ведом—
 Он манит душу в белый свет.
 И я стою с печалью ясной
 На забурьяненной меже,
 Переживая славный праздник—
 Причастность к пушкинской душе.

* *
 *

Над головою носим небо—
 Не всеобъемлющий шатер,
 А бытия земного слепок,
 Что нам привычен с давних пор,
 Невидимый таскаем купол,
 Один с другим не схож совсем:
 То, как хрусталь, обидно хрупок,
 То, словно сталь, надежный шлем.

Непрочный свод проходит мимо,
 Поодаль от стальных небес.
 По небесам, как прядки дыма,
 Скользят клочки чужих словес.
 Но осторожность бесполезна
 Порою. Чу! Стекланный звон:
 Наткнувшись на шатер железный,
 Разбился чей-то небосклон.

* *
 *

Расплескалася из ковша
 Синеватой дремы вода.
 Это много—одна душа,
 Это много—одна звезда.
 Ты скажи, отчего, звезда,
 В небесах тебе не жилось?
 Подтолкнули тебя темнота,
 Чья-то мелкая зависть и злость?
 Мы о каждой звезде вздохнем
 Средь полынной густой тишины.

Звезды с неба слетают и днем,
 Только днем они не видны.
 Может, были они ясней,
 Чем другие, во тьме ночной...
 Поглядите: небо бедней
 Без упавшей звезды одной.
 Расплескалася из ковша
 Синеватой дремы вода.
 Это много—одна душа,
 Это много—одна звезда.

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

Триумф и трагедия

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И. В. СТАЛИНА

Генерал, одержавший победу, в глазах людей не совершал вовсе ошибок.

Вольгер.

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

На все вопросы может ответить только время. Еще несколько лет назад мы все о Сталине знали очень мало. Он был похож на мраморное изваяние, освещенное солнцем, — та сторона, что была согрета и обласкана его лучами, выдавалась за суть феномена. Другая же, находящаяся в мрачной тени, как бы не существовала вовсе. Но сегодня мы, открывая новые и новые страницы истории, все больше убеждаемся, что и «солнечная сторона» — это лишь кажимость, видимость. Сам Сталин, подлинный, настоящий, всегда «прятался» в тени за статуей, выставленной для всенародного обозрения. Знаю, что это утверждение вызовет негодование и гнев некоторых.

Тридцать лет тому назад, видимо, такая же реакция была бы и у меня. Но по мере ознакомления с подлинными документами, материалами, свидетельствами очевидцев все больше убеждаешься, что даже в той области, где до последнего времени сохранялся мираж величия вождя, никакого «гения» не было. Меня можно сразу же опровергнуть ссылками на авторитеты глубоко уважаемых наших военачальников, написавших свои воспоминания о войне. Во многих случаях Сталин изображается в мемуарной литературе с положительной стороны, хотя внимательный читатель и там найдет немало осторожных оговорок, намеков, косвенных свидетельств, указывающих на отсутствие «гениальности» у Верховного Главнокомандующего. Ко всем этим вопросам мы еще вернемся, а сейчас сделаем два предварительных замечания.

Авторы военных мемуаров, прошедшие фронтовыми дорогами долгие 1418 дней и ночей, многого о Сталине тогда просто не могли знать. В той системе отношений, существовавшей при Сталине и в значительной степени возрожденной с конца шестидесятых годов, истина всегда была роскошью, которая дозировалась, урезалась и деформировалась. Но самое главное, что «наследники» Сталина, даже те, кто не считали себя таковыми, мыслили и поступали по-сталински. Они контролировали воспоминания. Многого просто не могло появиться. Любая книга проходила подлинное чистилище; нельзя было писать о репрессиях 1937—1938 годов, подвергать сомнению «полководческий гений» Сталина, нельзя было обойтись без упоминаний «особого вклада» в достижение победы сначала Хрущева, затем Брежнева, а часто и других, их более мелких «соратников». Любая правда, не вписывающаяся в глянцево-ложное утверждение схемы, так обрезалась и деформировалась, что не походила на саму себя. По имеющимся свиде-

Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 7 с. г.

тельствам, даже Г. К. Жуков был вынужден, по его словам, часть своей рукописи сократить в связи с изъятиями. Об этом, в частности, рассказывала вдова Главного маршала авиации А. А. Новикова, с которой Жуков поделился своим огорчением, находясь на отдыхе в санатории «Архангельское» незадолго до своей смерти. К великому сожалению, даже несчастью, многие прославленные ветераны, оставив нам неоценимые свидетельства, не по своей вине иногда были вынуждены говорить вполголоса или просто молчать.

Сталин не был «гениальным полководцем», как о том было сообщено миру в сотнях фолиантов, фильмов, поэм, исследований, заявлений. Мы совсем не хотим сказать этим, что он был бездарью. На основании документов и свидетельств постараемся показать, что это был кабинетный полководец, не лишенный практического «волевого», злого ума, постигавший тайны военного искусства ценой кровавых экспериментов. Мы часто при оценке Сталина оставляем за «кадром» один из важнейших критериев его полководческого мастерства — цену Победы. Сегодня для нас совершенно очевидно, и мы пытались это показать, что то положение, в котором страна, армия оказались в июне 1941 года, — прямой результат просчетов, самоуверенности, недалекости и последствий кровавого террора человека, который станет Верховным Главнокомандующим.

Обычно сразу возражают: «Что вы валите на одного человека, ведь были партия, ЦК, Политбюро, окружение?». Да, были. Но при диктаторе, в условиях централизма все государственные и общественные институты резко сокращают свою судьбоносность. Единодержец своей волей определяет все. Народ скажет свое слово только в конечном счете. Этого нельзя забывать, обращаясь к прошлому.

Только наша страна и наш народ были способны вынести величайшие жертвы и не утратить воли к борьбе и победе. Мы никогда не должны забывать сокрушительных поражений Западного и Юго-Западного фронтов в начале войны, Харьковской и Крымской катастроф, других горестных вех на пути нашей военной истории. От того, что мы несколькими строчками писали: «В результате неудачных действий советских войск они были вынуждены оставить Киев», — нельзя было изменить историю, как и навсегда скрыть правду, а тем более вернуть сотни тысяч сынов Отечества, положивших свои головы не в последнюю очередь из-за просчетов военно-политического руководства. Однако все это замалчивалось в угоду одному человеку. Правда часто бывает горькой, но нашему народу нечего ее бояться: только он смог в невероятно сложных условиях, в которые его поставили «кормчий» и вероломство Гитлера, выстоять и победить.

Портрет личности, занявшей во время войны все высшие посты в государстве, будет неполным, если не попытаться ответить на вопрос: был ли полководческий талант у будущего генералиссимуса? Как проявил себя Сталин в роли полководца в различные периоды войны? Какова ответственность за полководческую деятельность его непосредственного военного окружения? Почему при всей «гениальности» Верховного наши потери оказались в два-три раза большими, чем у противника?

Наполеон, которого в веках продолжают считать величайшим из полководцев, отмечал, что военный человек «должен иметь столько же характера, сколько и ума». Но при этом добавлял, что нужно не просто иметь эти компоненты, но и чтобы они находились в необходимом соотношении — «равновесии». Его рассуждения любопытны: дарование полководца он сравнивал с квадратом, в котором основание — воля, высота — ум. Но квадрат будет таковым, рассуждал Наполеон, если основание равно высоте; настоящий полководец тот, у кого воля не уступает уму. Если воля будет превышать ум, полководец будет действовать решительно, смело, но не всегда разумно; и наоборот — при сильном уме можно иметь хорошие планы и намерения, которые, однако, из-за «нехватки» мужества будет трудно осуществить. Ну, а если идеального сочетания ума и воли (сторон квадрата) нет, то что более предпочтительно? Какой полководец выглядит более сильным: «с преобладанием ума или воли»?

Разумеется, мы понимаем, что все эти рассуждения Наполеона, верные, по видимому, в принципе, не охватывают всего богатства качеств, которые необхо-

димы полководцу. Но бесспорно, что важнейшие из них — ум и воля. А если точнее, гибкий, острый, масштабный ум и твердая воля. Мы уже не раз имели возможность отмечать, что у Сталина дефицита воли не было, — не случаен выбор им партийной фамилии, олицетворяющей наиболее твердый сплав. Хотя, как мы имели возможность убедиться, в первую неделю-другую начала войны у него дрогнула и воля, ибо депрессия, шок, психологический кризис человека чаще всего связаны с «деформацией», хотя бы и временной, воли. Что касается ума, то он был, как мы знаем, сильным, но догматичным, как бы «одномерным», переоценивавшим силу директивы, приказа, распоряжения.

Сталин никогда не обладал выдающимися прогностическими способностями, да это и невозможно при догматическом складе ума. Но, самое главное, Сталин при наличии сильной воли и негибкого ума не мог опереться на профессиональные военные знания, поскольку он не знал ни военной науки ни теории военного искусства. Он «доходил» до всех премудростей стратегии, оперативного искусства в ходе кровавой эмпирии, множества проб и ошибок. Опыт гражданской войны, в которой он участвовал в качестве члена Военного совета ряда фронтов, специального уполномоченного центра, был явно недостаточен на посту Верховного Главнокомандующего. Реноме Сталина как полководца поддерживалось, и об этом обычно мало говорят, коллективным разумом Генерального штаба, выдающимися способностями ряда крупных военачальников, находившихся с ним рядом во время войны. Прежде всего это Шапошников, Жуков, Василевский, Антонов. Человека, который никогда не бывал в воинских частях, в штабах, полевых пунктах управления, не представлял по-настоящему механизма функционирования военной системы, нередко подводило, особенно в первый период войны, отсутствие чувства оперативного времени, реальных пространственных координат театра военных действий, возможностей войск. Отсюда часты его распоряжения, заранее обреченные на невыполнение или поспешные, непродуманные действия. Вот несколько примеров.

6 августа 1941 года Сталин подписывает телеграмму командующим Резервным и Западным фронтами о подготовке и проведении операции под Ельней. Телеграмма подписывается ночью, но в ней содержатся требования уже сегодня, 6-го, произвести перегруппировку войск, выдвижение ряда частей на новые рубежи. Телеграмма заканчивается словами: «Получение подтвердить и немедленно представить план операции под Ельней». Чувство реальности здесь явно отсутствует. Или еще: днем 28 августа Сталин, подписываясь в данном случае почему-то не как Верховный Главнокомандующий, а как нарком обороны, поручает авиации двух фронтов «разгромить» танковые группировки. Сталин предписывает привлечь не менее 450 самолетов. С рассветом следующего дня должна начаться эта операция. А как же разведка, определение задач конкретным частям, соединениям, порядок их выполнения? Таких распоряжений Верховного много.

Похоже, Сталин полагал, что, подписывая директиву, приказ, он немедленно «запускал» систему, не представляя при этом, что должно пройти время для получения распоряжения адресатам (через несколько уровней), отдачи предварительных распоряжений, постановки задач, организации взаимодействия, технического обеспечения действий и многого другого. Будучи дилетантом в военном деле, Сталин исподволь «учился» и только во время Сталинграда, как писал Г. К. Жуков, стал разбираться в «больших стратегических вопросах». Но «разбирался» — это больше означает, что понимал, чувствовал, мог оценить, но вовсе не подразумевает, что был стратегическим «творцом». Сталин начал «разбираться» прежде всего потому, что Ставка имела такой рабочий орган, как Генеральный штаб, роль которого нельзя переоценить. «Истинная природа войны, — писал Б. М. Шапошников, — постепенно расширяла круг его деятельности (Генерального штаба. — Д. В.), и перед мировой войной мы уже считаемся с фактом, когда «мозг армии» выявил стремление вылезть из черепной коробки армии и переместиться в голову всего государственного организма». В отношении «государственного организма» судить не будем, но в отношении Ставки, во главе которой стоял Сталин, эта истина бесспорна. Ставка могла функционировать благодаря напряженной работе «мозга армии» — Генерального штаба.

Сталин и Ставка

Во время гражданской войны, оказавшись однажды ненадолго в Москве, Сталин зашел в Реввоенсовет республики (был он там, по правде говоря, всего лишь два или три раза), и Э. М. Склянский, заместитель и друг Троцкого, дал ему книжку М. К. Лемке «250 дней в царской Ставке (25 сентября 1915 г. — 2 июля 1916 г.)». Сталин без особого интереса пролистал ее в вагоне, возвращаясь на Южный фронт. В «разоблачительной» по тону книжке писалось о военных «мандрингах» с белыми аксельбантами, которые в тишине и секрете составляли планы бездарных операций. Поэтому, когда утром 23 июня Тимошенко с Молотовым изложили Сталину проект постановления ЦК ВКП(б) и СНК о создании высшего военного органа управления вооруженными силами, у него почему-то в сознании всплыла со страниц давно забытого Лемке Ставка Верховного Главнокомандующего старой России, которая находилась в Барановичах, а затем в Могилеве. Все те, кто возглавлял Ставку (кроме Керенского), давно уже стали теньями: великий князь Николай Николаевич, император Николай II, генералы М. В. Алексеев, А. А. Брусилов, Л. Г. Корнилов, Н. Н. Духонин. Сталин помнил, как по приказу Ленина это гнездо контрреволюции было захвачено революционным отрядом Н. В. Крыленко, в свою очередь ставшим Верховным Главнокомандующим. Это тот самый Крыленко, которому Сталин однажды не без злой иронии задал вопрос:

— Зачем человеку два высших образования? — намекая на то, что Николай Васильевич, кроме Петербургского университета, перед первой мировой войной окончил и юридический факультет Харьковского университета.

— Была бы возможность, — шутливо ответил нарком юстиции СССР, — я бы не отказался поучиться и еще в одном университете...

Его последнее письмо из тридцать восьмого года с мольбой о спасении и пощаде как-то недавно вновь попало Сталину в руки, когда он что-то искал в ящике своего стола. В общем, оказывается, в советское время уже был один глава Ставки. А сейчас Тимошенко и Молотов в своем проекте предлагают быть главой Ставки ему. Нет, пусть будет Тимошенко...

И действительно, сначала председателем Ставки был Тимошенко, а с 10 июля ее возглавил Сталин, ставший с 8 августа 1941 года и Верховным Главнокомандующим. Барановичи и Могилев давно были заняты немцами, поэтому, с горьким юмором имел возможность подумать вождем, Ставку не решили квартировать даже под Москвой, хотя накануне войны Тимошенко с Жуковым поднимали перед Сталиным вопрос о создании одного-двух защищенных пунктов управления Вооруженными Силами страны. Он тогда отмахнулся от предложения как от неактуального. В мае 1941 года второй или третий раз Сталину докладывался проект организации Ставки Главного Командования. Предлагалось провести специальное учение по переводу страны под руководством Ставки с мирного на военное положение. Сталин в принципе одобрил необходимость иметь в случае войны такой орган высшего военного руководства, но конкретных решений принято не было. Никто больше «лезть» с подобными предложениями к Сталину не захотел, тем более что знали «оседлость» вожды в двух точках: Кремль и «ближняя» дача. На «дальней», в Семеновском, он и до войны почти не бывал, а в сентябре 1941 года распорядился отдать ее для размещения раненых бойцов. Ставка Верховного Главнокомандования поэтому располагалась то в кабинете Сталина в Кремле, то на его «ближней» даче, то в помещении на «Кировской» или в здании Генштаба. Вся война оглядывалась Сталиным с этих точек.

О работе Ставки лучше всех, по моему мнению, написано Г. К. Жуковым в его «Воспоминаниях и размышлениях». Немало интересного содержится в оценке работы этого высшего стратегического органа управления в книге А. М. Василевского «Дело всей жизни», заслуживают внимания некоторые свидетельства С. М. Штеменко. Мы не будем описывать работу Ставки, а лишь коснемся некоторых моментов, характеризующих деятельность Верховного Главнокомандующего как ее Председателя. Сталин, возглавив 30 июня 1941 года Государственный Комитет Обороны, сконцентрировал, и мы об этом говорили, в сво-

их руках необъятную власть. В то жестокое время это было во многом оправдано, но по мере перехватывания стратегической инициативы, уменьшения смертельной угрозы для государства все полнее вырисовывались и негативные стороны такой беспримечной централизации власти. Ни одно самостоятельное решение ЦК партии, Совнаркома, Президиума Верховного Совета не имело силы, было просто невозможным без личного одобрения Сталиным. Это было апофеозом единовластия. Не думаю, что активизация работы государственных и общественных организаций могла бы помешать решению общей задачи. Наоборот, если вспомнить опыт работы Совета Рабочей и Крестьянской Обороны в годы гражданской войны, то мы увидим, что он не подменял партийные и государственные органы, а опирался на них.

Не всякий участник совещания, заседания, которые ежедневно, иногда по несколько раз в сутки, в разное время проходили у Сталина, мог точно определить, какой орган собрался, — то ли это было заседание Политбюро с приглашением военных товарищей, то ли заседание ГКО с участием нечленов Комитета или совещание Ставки с присутствием некоторых членов Политбюро. Ясность иногда вносил сам Хозяин, бросавший по ходу обсуждения: «Оформить как решение ГКО» или «Подготовить директиву Ставки».

Иногда Маленков итоги некоторых обсуждений оформлял и как заседания Политбюро. Фактически каждое слово Сталина было окончательным и решающим независимо от того, чье это было решение — Политбюро, ГКО или Ставки. Похоже, вождь сам мало придавал значения формальной принадлежности тех или иных лиц к тому или иному управляющему органу. Но было трудно исполнителям, которые должны были «на лету» определять, по какому «ведомству» числить то или иное указание Верховного, Председателя ГКО, Предсовнаркома, секретаря партии, наркома обороны.

Обычно не велось никаких протоколов и стенограмм. Например, фонд Ставки содержит тысячи разных документов: донесений, справок, директив, приказов, распоряжений, но материалов, свидетельствующих об обсуждении Ставкой каких-то стратегических вопросов, практически нет. Сталин, особенно когда он вошел в силу и оправился от потрясения, приглашал двух-трех членов Ставки и решал с ними оперативные вопросы. С самого начала руководящие работники Генштаба — главного стратегического органа Ставки — были приучены к тому, что они шли к Сталину с готовыми предложениями, какими-то выводами, оценками, и это облегчало Верховному роль высшего арбитра, судьи, жреца в последней инстанции.

Члены Ставки знали, что в ГКО каждый человек отвечает за какой-то участок: боеприпасы, продовольствие, самолеты, транспорт, внешние дела, здесь же такого распределения «обязанностей» не было. Ставка осуществляла повседневное руководство фронтами с помощью Генерального штаба, Главного штаба ВМФ, управлений наркомата обороны. Вместо «советников», которые скоро были забыты, в Ставке «явочным путем» быстро «прижился» институт представителей Ставки в войсках. Нужно сказать, что Сталин почти не держал в Москве этих представителей. Насколько он сам не любил ездить куда-либо (кроме отдыха на юг до войны), настолько не терпел, когда те, кому он доверял быть представителями Ставки, были в Москве. Поэтому Жуков, Тимошенко, Ворошилов, Василевский, Воронов, на первых порах и Мехлис, хотя и занимали какие-то основные должности, очень часто выезжали в войска по поручению Сталина как представители Ставки. Требовал ежедневного доклада, письменного или по телефону; если по каким-либо причинам доклад задерживался или переносился, можно было ждать разноса. При этом Верховный мог учинить его в самой грубой, бестактной форме. Так, например, он отчитал однажды Маленкова, которого посылал на Сталинградский фронт, за нерегулярные сообщения. Приведу еще пример подобной реакции Сталина по отношению к Василевскому, к которому он весьма хорошо относился, если вообще слова «хорошо относиться» применимы к Сталину. Василевский дает эту телеграмму Сталина в своей книге, но в значительно сокращенном виде. Мы же, взяв ее из архива Ставки, приведем полностью:

«Маршалу Василевскому.

Сейчас уже 3 часа 30 минут 17 августа, а Вы еще не изволили прислать в Ставку донесение об итогах операции за 16 августа и о Вашей оценке обстановки.

Я давно уже обязал Вас как уполномоченного Ставки обязательно присылать в Ставку к исходу каждого дня операции специальные донесения. Вы почти каждый раз забывали об этой своей обязанности и не присылали в Ставку донесений.

16 августа является первым днем важной операции на Юго-Западном фронте, где Вы состоите уполномоченным Ставки. И вот Вы опять изволили забыть о своем долге перед Ставкой и не присылаете в Ставку донесений.

Вы не можете ссылаться на недостаток времени, так как маршал Жуков работает на фронте не меньше Вас и все же ежедневно присылает в Ставку донесения. Разница между Вами и Жуковым состоит в том, что он дисциплинирован и не лишен чувства долга перед Ставкой. Тогда как Вы мало дисциплинированы и забываете часто о своем долге перед Ставкой.

Последний раз предупреждаю Вас, что в случае, если Вы хоть раз позволите себе забыть о своем долге перед Ставкой, Вы будете отстранены от должности начальника Генерального штаба и будете отозваны с фронта.

17.8.43 г. 3.30

И. Сталин».

Это был обычный стиль Верховного. Нельзя назвать ни одного маршала, крупного военачальника, не испытавшего горьких минут после разноса Сталина, часто незаслуженного. В случае с Василевским Сталину просто не успели сообщить об очередном докладе маршала. Последовала незамедлительная жесткая реакция.

Представителям Ставки было непросто. Если после их поездки на тот или иной участок фронта положение там не менялось к лучшему, следовали «выводы». Так, в феврале 1942 года Сталин послал Ворошилова на Волховский фронт. К тому времени за маршалом, бывшим фаворитом вождя, прочно закрепилась репутация бездарного полководца. Ворошилов не смог сделать что-либо существенное и на этот раз, и когда Сталин во время разговора по прямому проводу предложил ему командовать фронтом, тот, растерявшись, стал отказываться. Это переполнило чашу терпения Верховного. Через месяц с небольшим после возвращения Ворошилова с фронта Сталин продиктовал документ, который был оформлен как решение Политбюро. Небезынтересно привести его хотя бы в несколько сокращенном виде:

«Членам и кандидатам ЦК ВКП(б) и членам комиссии партийного контроля. Сообщается следующее постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о работе товарища Ворошилова, принятое 1 апреля 1942 года.

Первое. Война с Финляндией в 1939—1940 годах вскрыла большое неблагополучие и отсталость в руководстве НКО. В Красной Армии отсутствовали минометы и автоматы, не было правильного учета самолетов и танков, не оказалось нужной зимней одежды для войск, войска не имели продовольственных концентратов. Вскрылась запущенность в работе таких важных управлений НКО, как Главное Артиллерийское управление, Управление Боевой подготовки, Управление ВВС, низкий уровень организации дела в военных учебных заведениях и другое. Все это отразилось на затяжке войны и привело к излишним жертвам. Товарищ Ворошилов, будучи в то время народным комиссаром обороны, вынужден был признать на Пленуме ЦК ВКП(б) в конце марта 1940 года обнаружившуюся не состоятельность своего руководства НКО... ЦК ВКП(б) счел необходимым освободить товарища Ворошилова от поста наркома обороны.

Второе. В начале войны с Германией товарищ Ворошилов был назначен Главнокомандующим Северо-Западным направлением, имеющим своею главной задачей защиту Ленинграда. Как выяснилось потом, товарищ Ворошилов не справился с порученным делом и не сумел организовать оборону Ленинграда. В своей работе в Ленинграде товарищ Ворошилов допустил серьезные ошибки: издал приказ о выборности батальонных командиров в частях народного ополчения — этот приказ был отменен по указанию Ставки как ведущий к дезорганизации и ослаблению дисциплины в Красной Армии; организовал Военный совет обороны

Ленинграда, но сам не вошел в его состав — этот приказ также был отменен Ставкой как неправильный и вредный, так как рабочие Ленинграда могли понять, что товарищ Ворошилов не вошел в совет обороны потому, что не верил в оборону Ленинграда; увлекся созданием рабочих батальонов со слабым вооружением (ружьями, пиками, кинжалами и т. д.), но упустил организацию артиллерийской обороны Ленинграда... Ввиду всего этого Государственный Комитет Обороны отозвал товарища Ворошилова из Ленинграда...

Третье. Ввиду просьбы товарища Ворошилова он был командирован в феврале месяце на Волховский фронт в качестве представителя Ставки для помощи командованию фронта и пробыл там около месяца. Однако пребывание товарища Ворошилова на Волховском фронте не дало желаемых результатов. Желая еще раз дать возможность товарищу Ворошилову использовать свой опыт на фронтовой работе, ЦК ВКП(б) предложил товарищу Ворошилову взять на себя непосредственное командование Волховским фронтом. Но товарищ Ворошилов отнесся к этому предложению отрицательно и не захотел взять на себя ответственность за Волховский фронт, несмотря на то, что этот фронт имеет сейчас решающее значение для обороны Ленинграда, сославшись на то, что Волховский фронт является трудным фронтом и он не хочет проваливаться на этом деле.

Ввиду всего изложенного ЦК ВКП(б) постановляет:

Первое. Признать, что товарищ Ворошилов не оправдал себя на порученной ему работе на фронте.

Второе. Направить товарища Ворошилова на тыловую военную работу.

Секретарь ЦК ВКП(б)

И. Сталин».

Постановление — явное творчество Сталина, насмешливо-саркастическое. Верховный Главнокомандующий, без конца повторяя «товарищ Ворошилов», фактически показал полную несостоятельность бывшего «первого маршала». Но Ворошилов повезло: его не разжаловали, как маршала Кулика (а после войны и расстреляли). Ворошилов еще всплывет в нашей истории после смерти Сталина, когда он в 1953 году станет главой Советского государства.

Хотя в отношении Ворошилова решение было справедливым, другие отделивались хуже. После неудачи на фронте, слабого доклада могло последовать незамедлительное отстранение от должности, а то и арест с самыми печальными последствиями. Вот два-три примера.

22 февраля 1943 года по приказу Ставки начала наступление 16-я армия Западного фронта, нанося удар из района юго-западнее Сухиничей на Брянск с севера. Но оборона противника была прочной и наступление захлебнулось. При очередном докладе 27 февраля Сталин убедился, что армия фактически топчется на месте. Закончив с докладами, вождь, ни с кем не советуясь и ничего не уточняя, продиктовал приказ Ставки № 0045 от 27 февраля 1943 года, в котором говорилось: «Освободить от должности командующего войсками Западного фронта генерал-полковника Конева И. С. как несправившегося с задачами руководством фронтом, направив его в распоряжение Ставки». Бывало и хуже — Конев И. С.. как мы знаем, сумел в дальнейшем проявить себя с самой лучшей стороны, — многим же такой шанс больше не представлялся. Или еще вот такое распоряжение «самого»:

«Командующему Кавфронтом т. Козлову.

...Немедленно арестовать исполняющего обязанности командующего 44 армии генерал-майора Дашичева и направить его в Москву. Сейчас же принять меры к тому, чтобы немедленно привести войска 44 армии в полный порядок, остановить дальнейшее наступление противника и удержать город Феодосия за собой».

В «кадровых» вопросах Сталин не колебался. Вообще в его стиле была бесконечная перестановка командующих, часто мало понятная окружающим. Он почему-то считал, что эти «рокировки» позволяют усиливать руководство объединениями, в то время как люди через месяц-другой вновь перебрсывались на другие «хозяйства». Сталину, естественно, никто не перечил. Тот же Конев, недавно смещенный и вновь назначенный, опять чем-то не устроил Верховного:

«Освободить генерал-полковника Конева И. С. от должности командующего войсками Северо-Западного фронта в связи с назначением на другую работу... 23 июня 1943 г. И. Сталин».

А всего Коневу предстоит за войну командовать последовательно шестью фронтами. Другой раз складывается впечатление, что театр военных действий был для Сталина шахматной доской, где ему нравилось очень часто переставлять фигуры. Например, А. И. Еременко, к которому Сталин одно время явно благоволил, хотя и ругал часто, за время войны командовал фронтами: Брянским, 1-м и 2-м Прибалтийскими, 4-м Украинским, Калининским, Сталинградским (первого формирования), Юго-Восточным, Сталинградским (второго формирования), Южным (второго формирования). Десять фронтов прошел будущий маршал, нигде подолгу не задерживаясь. Но Сталину нравилась уверенность Еременко. Верховный помнил, как в тяжелые августовские дни сорок первого он вызвал по «Бодо» этого военачальника:

«У аппарата Сталин. Здравствуйте. Не следует ли расформировать Центральный фронт, 3-ю армию соединить с 21-й и передать в ваше распоряжение соединенную 21-ю армию? Я спрашиваю об этом потому, что Москву не удовлетворяет работа Ефремова... Если вы обещаете разбить подлеца Гудериана, то мы можем послать еще несколько полков авиации и несколько батарей РС. Ваш ответ?»

Еременко: «Здравствуйте. Отвечаю. Мое мнение о расформировании Центрального фронта таково: в связи с тем, что я хочу разбить Гудериана и, безусловно, разобью, то направление с юга нужно крепко обеспечивать... Поэтому прошу 21-ю армию, соединенную с 3-й, подчинить мне... А насчет этого подлеца Гудериана, безусловно, постараемся разбить: задачу, поставленную Вами, выполнить — т. е. разбить его».

Хотя Еременко Гудериана «безусловно» не разбил, но Сталину импонировала уверенность военачальника. Вождь, кстати, очень хотел тогда «разбить» Гудериана. Через несколько дней Сталин, выслушав очередной доклад об обстановке, «диктует» еще одну телеграмму Еременко:

«Ставка все же недовольна Вашей работой. Несмотря на работу авиации и наземных частей, Почеп и Стародуб остаются в руках противника. Это значит, что Вы противника чуть-чуть пощипали, но с места сдвинуть его не сумели... Гудериан и вся его группа должна быть разбита вдребезги. Пока это не сделано, все Ваши заверения об успехах не имеют никакой цены. Ждем Ваших сообщений о разгроме группы Гудериана.

2 сентября 41 года 2.50

Сталин.

Продиктовано тов. Сталиным по телефону —

Б. Шапошников».

Будучи Верховным Главнокомандующим, вождь завел порядок «под себя» и в Ставке. Начинать работать он не раньше 12 часов дня, но рассматривал вопросы (с перерывом для отдыха — Сталин обычно немного спал днем) почти до четырех, пяти часов утра следующих суток. К распорядку Сталина были вынуждены приспособливаться Генштаб, СНК, ЦК, все другие государственные и военные органы. Он считал нормальным позвонить в ЦК, наркоматы, управления в три, четыре часа ночи, и всегда на месте кто-то был, но ведь официально учреждения начинали работать утром, с восьми или девяти часов! Все «это сильно изматывало людей», как писал Г. К. Жуков.

Два раза в сутки, если не было каких-то экстраординарных событий, Верховному докладывали обстановку на фронтах. Начальник Генштаба или один из его заместителей, стоя возле разложенной на столе карты (Сталин почему-то не любил, когда ее предлагали повесить на стене), где была нанесена обстановка и ее изменение за истекшие часы, кратко докладывал положение дел на фронтах. В это время Сталин не спеша расхаживал по дорожке кабинета, задавая изредка вопросы самого различного характера.

— Где Генштаб отмечает появление свежих немецких дивизий?

— Дали дополнительные «Дугласы» Хозину для подвоза продовольствия, как я распорядился в прошлый раз?

— Проверили: мной были даны указания, чтобы разбили лед в Завидове в районе мостовых переправ огнем артиллерии? Проверили или нет?

— Я приказал Коневу нанести на своем фронте удар вчера же (когда он еще командовал Калининским фронтом) с целью отвлечения войск с других участков фронта. Как исполнено? Не знаете?

Докладывающий ставился в сложное положение. Его задачей было дать оперативно-стратегическую ситуацию на фронтах. И хорошо, если он знал, где отмечено прибытие новых немецких соединений, что выделить смогли пока лишь 18 «Дугласов», а вот о Завидове, мелкой тактической задаче, ничего не слышал. Ну, и самое трудное: да, 27 ноября 1941 года Сталин отдал лично Коневу распоряжение нанести удар по немецким войскам после падения Рогачева. Но, получив приказ об «ударе», осуществить его через несколько часов, фактически без всякой подготовки?! Докладывающий знал, что удар еще не нанесен, готовится, но обязан докладывать:

— Разрешите уточнить, товарищ Сталин?

— Не знаете, значит... А что вы знаете?

Сталин в таких случаях быстро менялся на глазах, бледнел и, как вспоминал Жуков, «взгляд становился тяжелым, жестким. Не много знал я смельчаков, которые могли выдержать сталинский гнев и отпарировать удар». Зрачки приобретали желтоватый оттенок, и никто не мог знать, чем закончится доклад генерала. Сталин полагал, что докладывающие должны быть готовы отвечать ему на любые вопросы, для себя же он считал естественным не знать той или иной проблемы. Абсолютистское отношение к своей воле, желаниям, намерениям постепенно привели Сталина почти к полному отсутствию критического взгляда на свои поступки и намерения.

Отсутствие военного профессионализма у Сталина очень быстро ощутили работники Генштаба и пытались, как могли, «амортизировать» своими распоряжениями многие полуграмотные директивы Сталина. Окружавшие вождя военачальники, остро чувствовавшие его некомпетентность в военных делах, считали ее естественной, разумеющейся для политического деятеля, но в силу причин, о которых мы говорили выше, не могли говорить об этом в полный голос. Однако, как свидетельствует советский военный историк Н. Г. Павленко, неоднократно встречавшийся с Г. К. Жуковым после его отстранения от активной работы, прославленный маршал говорил о Сталине: «Как был, так и остался штафиркой», то есть штатским.

Сталин согласился с предложениями Шапошникова, Жукова и Василевского о порядке планирования стратегических операций. Вначале он просто рассматривал предложения Генштаба и выражал к ним свое отношение. В последующем Шапошников, который ушел из Генерального штаба и стал начальником Академии Генерального штаба, но по-прежнему часто приглашался к Сталину для советов, обсуждений, предложил: после заслушивания начальника Генштаба о замысле операции или операций надо эти предложения всесторонне проработывать с начальником тыла, командующими родами войск, начальниками Главных управлений наркомата обороны, Главных политуправлений КА и ВМФ, начальником Главного управления формирования и укомплектования войск. После получения всех расчетов, анализа соображений по обеспечению операции Шапошников рекомендовал заслушивать мнение командующих фронтами, участвующих в операции (устно или письменно — по обстановке), и лишь после этого приступать к формированию замысла, содержания и способов реализации идеи. Верховный был вначале обескуражен необходимостью такой, как он выразился, «долгой и рутинной работы». Шапошников, роль которого, по моему мнению, еще в должной мере не оценена прежде всего как «учителя» Жукова, Василевского, Антонова и самого Сталина, терпеливо объяснял, что это минимально необходимый объем работы.

— Конечно, — добавлял он, — некоторые операции, может быть, придется готовить всего несколько дней, а другие — несколько месяцев.

Природным практическим умом Сталин чувствовал, что Шапошников прав. Но в то же время видел свою если не беспомощность, то полное дилетантство

в этом процессе. Однако скоро Сталин выработал удобную линию своего поведения при планировании операций, которая позволяла сохранять высокое реноме вождя, «главного полководца» и фактически не рисковать своим авторитетом. Внимательный анализ архивов Ставки свидетельствует, что Сталин обычно излагал свои идеи в двух аспектах. Во-первых, в самом общем виде, как это он сделал на совещании Ставки в январе 1942 года: «Надо не давать врагу передышки и гнать врага на запад». Это общее пожелание отражает настроения широких масс советских людей, но не содержит конкретного стратегического замысла, не учитывает наши возможности «гнать без передышки», способность врага противодействовать этому намерению, не выдвигает форм и способов реализации идеи. Это — намерение политического, общественного деятеля, но не полководца.

Другой аспект, где Сталин проявлял себя как полководец на заседаниях Ставки, связан с корректировкой, уточнением конкретного плана, замысла и сроков. Но, поскольку эти замечания Сталина были резюмирующими, заключающими, подводящими итоги, они производили особое впечатление. Хотя весь план, содержание, последовательность, вопросы взаимодействия, материально-технического обеспечения, глубина задач были всесторонне проработаны Генштабом, заключительные «мазки» на картине принадлежали Сталину, который после этого уже выглядел творцом всей идеи.

В результате обсуждения все того же «указания» Сталина «не давать врагу передышки и гнать врага на запад», не проработанного должным образом в военном, экономическом, техническом отношениях, по предложению вождя родилось «Директивное письмо Ставки Верховного Главнокомандования». В нем изложен ряд соображений о необходимости действий ударными группами (что немцы практиковали с самого начала войны), о проведении артиллерийского наступления. Военным советам разъяснялось, что нужно перейти от практики «так называемой артиллерийской подготовки» к практике артиллерийского наступления. Артиллерия «должна наступать вместе с пехотой».

Забегая вперед, скажем, что указание об «артнаступлении» привело к двоечтению и путанице в войсках. Некоторые командиры были смущены выражением «так называемой артподготовки». Что, она вообще отменяется? Но как можно наступать без нее? Что значит «артнаступление»? С фронтов посыпались вопросы. Однако Сталину передокладывать уже никто не решился, а в рабочем порядке разъясняли и в конце 1942 года отразили в новом Боевом уставе пехоты (БУП-42): артподготовка остается, артиллерийская поддержка атаки остается, как и артиллерийское обеспечение боя пехоты и танков в глубине. Другими словами, сохраняются все три периода действий артиллерии, которые были известны еще до войны. Но Сталин «дошел» до них только в начале 1942 года и выразил своей идеей артиллерийского наступления.

И вот когда это директивное письмо было составлено, обсуждено, обговорено в присутствии Василевского, Молотова, Маленкова и еще нескольких лиц, Сталин, взяв текст документа в руки, вдруг заявил:

— Но главного в письме так и нет...

Все незаметно, но недоуменно переглянулись, ожидая откровения. И оно последовало:

— Предлагаю в письме отразить еще одну, пожалуй, самую главную идею.

Все приготовились записывать. Сталин долго молчал, нагнетая повышенное внимание, собираясь с мыслями, и произнес фразу, которая была без редактирования включена в «Директивное письмо»: «Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить, таким образом, полный разгром гитлеровских войск в 1942 году».

Естественно, на всех присутствующих добавление Сталина произвело большое впечатление. Члены ГКО и Ставки как бы почувствовали, что Сталин видит то, чего не видят другие, казалось, его провидческие способности на порядок выше заурядности остальных. Все начали дружно одобрять идею, разумеется, соглашаясь с ее смыслом, но не задумываясь над ее воплощением. Прогноз и

задача, сформулированные Сталиным, как и много раз до и после этого, были абсолютно нереальными. Это стало ясно уже вскоре, когда в апреле 1942 года наше зимнее наступление заглохло, а после летнего наступления немецких войск, дошедших до Волги, вообще выглядело ошибочным и утопическим. Но никто не вспомнил о промахе Верховного: без сбоев работало сложившееся еще до войны правило — с именем Сталина ассоциировать только успехи, достижения, непобедимость, мудрость, провидчество, а неудачи, поражения, просчеты списывать на результаты нерадивого исполнения воли вождя.

Некоторые коррективы, поправки к планам Ставки, вносимые Сталиным, часто не играли решающей роли, но порой они оказывали трагическое влияние на ход операций. Особенно он любил переносить сроки, обязательно сокращая время на подготовку операции, маневра, сосредоточения. Хоть на день, но передвинет начало операции. Это было его принципом.

4 сентября 1941 года Жуков докладывает Сталину, что по его указанию он организует 8-го числа удар в поддержку Еременко. Но Сталин верен себе:

— Седьмого будет лучше, чем восьмого... Все.

Верховный был очень настойчив, до упрямства. Обычно ему не возражали, потому что боялись. Даже Жуков, умевший отстаивать свои взгляды, часто был вынужден соглашаться со Сталиным, едва ли разделяя его замыслы.

Вернемся к тому же разговору Сталина с Жуковым 4 сентября.

«Сталин. Я думаю, что операцию, которую вы думаете проделать в районе Смоленска, следует осуществить лишь после ликвидации Рославля. А еще лучше было бы подождать пока со Смоленском, ликвидировать вместе с Еременко Рославль, а потом сесть на хвост Гудериану... Главное — разбить Гудериана, а Смоленск от нас не уйдет. Все.

Жуков. ...Если прикажете бить на Рославльском направлении, это дело я могу организовать. Но больше было бы пользы, если бы я вначале ликвидировал Ельню».

Сталин добился, и это было большим достижением, что Ставка имела прямую связь не только с каждым фронтом, но и с каждой армией. Эпизодически Верховный приглашал для переговоров по прямому проводу представителей Главкоматов, командование фронтов и армий. Трудно уловить какую-то закономерность в том, с кем он вел переговоры. Это не обязательно была критическая точка. Хотя разговоры с командующими Кирпоносом и Козловым, казалось бы, подводят именно к этой мысли. Чаще всего Сталин приглашал к проводу, когда усматривал неисполнение директив Ставки или чувствовал, что его разговор «взбодрит» людей, когда, по его мнению, было необходимо, чтобы руководство объединением почувствовало, что Верховный следит, Верховный обеспокоен, Верховный требует...

Оперативная ценность указаний Сталина часто весьма сомнительна. Может быть, во втором или заключительном, третьем, периоде Сталин и был в состоянии высказать серьезные рекомендации, советы оперативного характера. Часто он, видимо, чувствуя свою слабость в этом вопросе, брал на переговоры с собой опытных работников Генштаба, которым поручал вести оперативную сторону переговоров, оставляя за собой «общие указания», критику и разносы, иногда моральную поддержку.

Вот, например, Сталин на переговоры с Тимошенко, Хрущевым, Баграмяном и Кириченко 13 июня 1942 года берет с собой генерал-лейтенанта П. И. Бодина.

«Бодин. Ставка сейчас подойдет к аппарату. Мне поручено начать переговоры. Прошу доложить обстановку на вашем фронте по последним данным.

Тимошенко. ...Нужно прямо сказать, что части 28-й армии, плохо управляемые Рябышевым и его штабом, в течение трех дней сильно деморализованы непрерывными налетами мощной авиации противника и требуют решительных мероприятий по приведению их в порядок. Сам Рябышев окончательно деморализован, бросил армию и прибыл к 16.00 без всякого спроса в штаб фронта под видом устройства своего командного пункта и доложил Военному совету до крайности тяжелую обстановку армии, причем ни одной дивизии, место ее нахождения, точно определить не мог...

Сталин. ..Рябышев, конечно, слаб, но что он мог сделать, если вы не дали ему танков и если вы дали противнику возможность прорваться своими танковыми группами в тыл 28-й армии... Несколько полков У-2 можем послать. Голованову будет поручено, чтобы он действовал сегодня по аэродромам противника... Почему у вас Южный фронт за все время операции молчит и бездействует? Вы плохо маневрируете своими резервами, у вас за рекой Оскол торчат дивизии и бездействуют... Всего хорошего, желаю успеха. Не бойтесь немцев — не так страшен черт, как его малюют».

Здесь у Сталина мы уже видим попытки давать указания оперативного характера, которые затем будут закреплены специальной директивой. Хотя совершенно очевидно, что советы, указания того же Жукова, Василевского, безусловно, более профессиональны и полезны. Когда Тимошенко говорит Сталину, что у них отсутствуют «бомбардировщики для дневных действий» и поэтому фронты не могут активно разрушать переправы, Сталин, зная по справкам, имеющимся в Ставке, возражает: «Наши штурмовики Ил-2 считаются лучшими дневными бомбардировщиками для ближнего боя. Они могут дать больше эффекта, чем «юнкерсы» для воздействия на танки, на живую силу противника и на переправы тоже. Наши штурмовики берут 400 кг бомб. По моим данным, у вас штурмовики имеются. Может быть, они плохо у вас используются?» Тимошенко уже больше не возражает, раз Сталин знает лучше, есть или нет у них «дневные бомбардировщики». Отправляясь в переговорную комнату, Верховный, конечно же, просмотрел справку о наличных силах Юго-Западного и Южного фронтов, но он не обратил внимания, что то были данные на 1 июня, а сегодня — 12-е. Но Тимошенко уже больше не просит и лишь заявляет: «Все понятно, займемся изучением и решением на основе ваших указаний, доложим».

За годы войны Ставка издала и направила в войска несколько тысяч директив, приказов, указаний. Конечно, во все эти документы Сталин был не в состоянии вникнуть, но наиболее важные он просматривал, корректировал, иногда возвращал на доработку, дописывал собственной рукой фразы, абзацы.

Иногда Сталин, когда был вне себя от неудачи или когда его слишком уж допекали просьбами, сам диктовал от имени Ставки телеграммы командующим и штабам. В них всегда было больше менторского, поучающего (иногда с угрозами), нежели конкретных указаний, имеющих оперативную ценность. В конце мая 1942 года, например, будучи раздраженным просьбами Тимошенко об усилении фронта, Сталин продиктовал:

«Тимошенко, Хрущеву, Баграмяну

За последние 4 дня Ставка получает от вас все новые и новые заявки по вооружению, по подаче новых дивизий и танковых соединений из резерва Ставки.

Имейте в виду, что у Ставки нет готовых к бою новых дивизий, что эти дивизии сырые, необученные и бросать их теперь на фронт — значит доставлять врагу легкую победу.

Имейте в виду, что наши ресурсы по вооружению ограничены, и учтите, что, кроме вашего фронта, есть еще у нас и другие фронты.

Не пора ли вам научиться воевать малой кровью, как это делают немцы? Воевать надо не числом, а умением... Учтите все это, если вы хотите когда-либо научиться побеждать врага, а не доставлять ему легкую победу. В противном случае вооружение, получаемое вами от Ставки, будет переходить в руки врага, как это происходит теперь.

21.50 27.5.42 г.

Сталин».

«Имейте в виду» — типичный рефрен Сталина, любившего всех поучать. А рассуждения о том, чтобы «научиться воевать малой кровью», в его устах выглядят просто кощунственно. В сталинских телеграммах нередко было иное, красноречивое выражение: «не считаясь с жертвами».

Чтобы почувствовать диапазон, характер забот Ставки и объем работы Верховного Главнокомандующего, назовем десяток-другой директив, допустим, 1942 года (так, как они именуется в делах архива):

директива Ставки ВГК № 170562 от 9.8.42 г. командующим ЮВФ и Сталинградского фронта о подчинении Сталинградского фронта командующему Юго-Восточным фронтом и защите гор. Сталинграда;

директива Ставки ВГК № 170566 от 13.8.42 г. о назначении генерал-лейтенанта Гордова заместителем генерал-полковника Еременко по Сталинградскому фронту и Хрущева Н. С.— членом Военного совета при генерал-полковнике Еременко;

директива Ставки ВГК № 170569 от 15.8.42 г. командующему ЮВФ и Сталинградского фронта Еременко на вывод из окружения 181-й, 147-й и 229-й стрелковых дивизий 62-й армии;

директива Ставки ВГК от 17.8.42 г. командующему, члену Военного совета и зам. командующего Западного фронта, командующим 61-й и 16-й армиями на вывод из окружения 387-й, 350-й и части 346-й сд 61-й армии;

директива Ставки ВГК № 170580 от 23.8.42 г. Берия, Тюленеву, Чарквани, Бодину об утверждении мероприятий ЗакФ по усилению обороны перевалов;

директива Ставки ВГК № 170599 от 3.9.42 г. генералу армии Жукову о немедленном принятии мер по оказанию помощи Сталинграду;

директива Ставки ВГК от 4.9.42 г. Жукову, Маленкову, Василевскому на форсирование удара с задачей не допустить падения Сталинграда;

директива Ставки ВГК № 994201 от 11.9.42 г. Щаденко, Хрулеву, Яковлеву о выведении с фронтов для доукомплектования девяти мотострелковых бригад танковых корпусов;

директива Ставки ВГК № 170610 от 12.9.42 г. Говорову, Жданову, Кузнецову о временном прекращении операции по форсированию р. Нева войсками Ленинградского фронта;

директива Ставки ВГК № 170609 от 12.9.42 г. Жукову, Маленкову о регулярном представлении в Ставку боевых донесений два раза в день;

директива Ставки ВГК № 994205 от 25.9.42 г. о сформировании 8-го эстонского стрелкового корпуса;

директива Ставки ВГК № 170662 от 14.10.42 г. наркому Берия об установлении прифронтовой полосы на глубину 25 км, отселении из нее гражданского населения;

директива Ставки ВГК № 170136 от 8.3.42 г. о назначении генерал-лейтенанта Власова заместителем командующего ВолхФ, а генерал-майора Воробьева — заместителем командующего 52-й армией;

директива Ставки ВГК № 170228 от 9.4.42 г. Главкомам Западного и Юго-Западного направлений, всем командующим фронтами и армиями о порядке вывода на отдых частей дивизий;

директива Ставки ВГК № 170300 от 22.4.42 г. командующему ЛенФ и Главному ЗН о назначении и перемещении командования 4-й, 54-й и 8-й армий;

директива Ставки ВГК № 170366 от 8.5.42 г. командующему ЮФ на постройку войсковой оборонительной линии по всему фронту;

директива Ставки ВГК № 934169 от 23.8.42 г. командующему СибВО о сформировании Сталинского добровольческого стрелкового корпуса сибиряков;

директива Ставки ВГК № 170589 от 26.8.42 г. о назначении генерала армии Жукова заместителем Верховного Главнокомандующего РККА и ВМФ;

директива Ставки ВГК № 934235 от 9.10.42 г. командующим всех фронтов и 7 ОА о введении в действующих армиях ординарцев для командного состава;

директива Ставки ВГК № 170542 от 31.7.42 г. командующему и члену Военного совета СталФ о создании заградительных отрядов;

директива Ставки ВГК № 170583 от 24.8.42 г. Берия с согласием на организацию дополнительно трех лагерей НКВД для проверки отходящих частей;

директива Ставки ВГК № 170603 от 8.9.42 г. командующему и члену Военного совета СталФ об утверждении решения об отстранении Лопатина от должности командующего 62-й А.

Думаю, что утомял читателя. Но нельзя представить деятельность Верховного Главнокомандующего, не зная, что ему ежедневно приходилось рассматривать множество самых различных вопросов.

Тысячи документов, на которых стоит подпись Сталина, так или иначе двигали людьми, огромными человеческими массами. За директивами Ставки — судьбы страны, хотя сам Сталин в этой войне еще больше, чем когда-либо, научился оперировать понятиями «массы», «народ», «люди», «личный состав», «бойцы и командиры». Он привык повелевать судьбами людей, часто не задумываясь над последствиями своих решений. И только по фронтовой и трофейной кинохронике он мог представлять массы отступающих бойцов, людей, гибнущих на переправах, плач женщин и детей на пепелищах, горы незахороненных трупов, матерей, с безумными глазами прижимающих к себе мертвых младенцев. Сталин был бесчувственным к бесчисленным коллизиям трагедии войны. Он, не задумываясь, мыслил и действовал категориями жизни и смерти. Стремясь нанести максимальный урон противнику, никогда особенно не размышлял: а какой ценой это обернется для советских людей? Тысячи, миллионы жизней для него давно стали сухой казенной статистикой... Прочтите два страшных приказа Ставки, лично им выношенные и продиктованные. Один из них № 0428 от 17 ноября 1941 г.

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40—60 км в глубину от переднего края и на 20—30 км вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью...

2. В каждом полку создать команды охотников по 20—30 человек для взрыва и сжигания населенных пунктов. Выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов представлять к правительственной награде».

И факельщики усердно работали. Зарево пожаров еще контрастнее оттеняло черноту зимнего неба. Пылали потемневшие крестьянские избы. Матери в ужасе прижимали к себе плачущих детей. Стоял стон над многострадальными деревнями Отечества. Немцы жгли села в надежде наказать партизан, а теперь жгли и свои... Списки для награждения... Команды охотников... Ведь чаще горели деревни и дома там, где немцев не было, — где были оккупанты, поджечь было просто. Трагедия в свете багровых факелов...

Война беспощадна. Возможно, что такие действия могли создавать жестокие неудобства оккупантам, ведь у них было много обмороженных. Все это так. Но для скольких советских людей их крыша была последним хрупким прибежищем, где они надеялись перенести лихолетье, дожидаться своих, спасти детей! Кто скажет, чего было больше в этом приказе: военной целесообразности или бездумной ожесточенности? Это решение — в духе Сталина. Он никогда не жалел своих людей. Никогда!

Сейчас уже бесполезно задним числом оспаривать решение Сталина о сжигании населенных пунктов в прифронтовой полосе, но приказ этот — жуткий.

Один эпизод, связанный с его реализацией, рассказал мне генерал армии Н. Г. Лященко, который в конце сорок первого года командовал полком.

— Стояли в обороне, — вспоминал Николай Григорьевич. — Перед нами виднелись два села, как сейчас помню, Банновское и Пришиб. Из дивизии пришел приказ: сжечь села в пределах досягаемости. Когда я в землянке уточнял детали, как выполнить приказ, неожиданно, нарушив всякую субординацию, вмешался пожилой боец-связист:

— Товарищ майор! Это мое село... Там жена, дети, сестра с детьми... Как же это — жечь?! Погибнут ведь все!

— Ты чего не в свое дело лезешь? Разберемся, — оборвал его я.

Отправив сержанта, стали мы со своими комбатами думать, что делать. Помню, приказ я назвал «дурацким», за что едва не поплатился, ведь приказ-то был сталинский, но спасли от особистов командующий армией Р. Я. Малиновский и член Военного совета И. И. Ларин. А села эти мы на другое утро с разрешения командира дивизии Заморцева взяли. Обошлось без пожара...

Или вот еще один документ, продиктованный Сталиным:

«Командующему Калининским фронтом

11 января 42 г. 1 ч. 50 мин. № 170007

...В течение 11 и ни в коем случае не позднее 12 января овладеть г. Ржев... Ставка рекомендует для этой цели использовать имеющиеся в этом районе артиллерийские, минометные, авиационные силы и громить всю город Ржев, не останавливаясь перед серьезными разрушениями города.

Получение подтвердить, исполнение донести.

И. Сталин».

Жаль, что Сталин не проявлял такую же решительность, когда накануне войны разведка, военные, друзья страны сообщали: гитлеровская машина изготовилась для страшного броска. Теперь нужно «громить всю город Ржев», а тогда «всевидающий» еще за два дня до начала войны запрещал принимать необходимые меры для отпора. Читая бесчисленные документы Ставки, пронизанные одной идеей: остановить, разгромить врага, изгнать его из Отечества, — пронзительно чувствуешь, что масштабов такого бедствия можно было не допустить. А теперь, демонстрируя свою волю, беспощадность, решимость, полководческую непреклонность, Сталин, не колеблясь, готов сам все спалить, разрушить, уничтожить созданное руками его соотечественников. Да, часто это диктовалось жестокой необходимостью: мосты, железнодорожные станции, заводы при отступлении надо было уничтожать. Но едва ли бедная кровля русского села могла стать спасительницей оккупанта.

Думаю, что документы Ставки, как и ГКО, следует издать специальными сборниками. В них отражение и невиданного подвижничества советских людей, горечь катастроф, неугасших надежд, тысячи, миллионы человеческих драм и несокрушимая вера народа в Победу. Даже когда наши войска оказались на Волге и до Берлина было ой как далеко, к Сталину шли письма простых советских людей с выражением поддержки, с патриотическим желанием отдать фронту самое последнее, что они имели, с мольбами совсем мальчишек послать их на фронт. Подписи Сталина на тысячах документов Ставки не свидетельство его мессианской роли. Мессии не было. Мессией был сам народ. А роспись синим карандашом на документах лишь свидетельство, что ее владелец всю войну был должен свои волю и ум посвятить страшной борьбе с силами зла, с которыми он опрометчиво пытался установить отношения «дружбы». Его ум и воля едва ли составляли наполеоновский «квадрат». Он всегда более рельефно проявлял свою волю, беспощадную, жестокую, злую. Догматический ум имеет изъяны. Наверняка можно утверждать, что прежде всего талантливое военное окружение Сталина, а не он, сделало в конце концов Ставку коллективным органом стратегического руководства.

«Главы войны»

Жернова войны перемалывали человеческие судьбы. Четыре долгих года она требовала все новых и новых человеческих жертв. Сталин, взшедший вскоре после начала войны на самые высшие стратегические посты, не стал от этого видеть дальше и глубже. Арена войны вначале представлялась ему, как если бы две армии сошлись «стенка на стенку» на гигантском пространстве от Баренцева до Черного морей. Вначале Сталин плохо умел дифференцировать всеенную обстановку, выделять главные звенья ситуации, не мог понять, например, почему Западный фронт под руководством Павлова быстро развалился. Лишь позже, после войны, когда ему показали некоторые трофейные документы, он увидел, сколь огромна была концентрация немецких войск на главном направлении удара и в то же время сколь равномерно растянутым было оперативное построение советских войск.

Стратегическое «зрение» к вождю приходило постепенно. Например, первый урок, который он усвоил, был преподан ему еще в июле 1941 года, когда немцы, захватив Минск, рвались к Смоленску и Москве. В какой-то момент Сталин, которому докладывали генштабисты, почувствовал, что у Ставки «под рукой» нет

стратегических резервов, за «спиной» у фронта оказались пустоты. Последовательное направление отдельных подходов из глубины страны соединений на закрытие брешей в изгибающейся, часто рвущейся фронтовой «диафрагме» давало противнику возможность бить их по частям. С тех страшных июльских дней Сталин усвоил: для надежности и прочности обороны (а затем и ударной силы наступления) постоянно нужны резервы, резервы, резервы, без которых даже двухшелонное построение не гарантирует упругости и непробиваемости фронта.

Долгое время Верховный чаще пытался отвечать на вызовы, угрозы, удары, исходившие от противника. Лишь после Москвы и Сталинграда к нему пришла уверенность в возможности навязывать свою волю противнику, диктовать ему свои условия. Уже к концу сорок первого года Сталин понял, что как книга состоит из отдельных глав, связанных единым сюжетом, так и война вмещает в себя множество конкретных операций. Поскребышев после войны вспоминал, что незадолго до Победы, закончив рассмотрение текущих дел с начальником Генштаба А. И. Антоновым, касавшихся заключительных операций — Берлинской и Пражской, — Сталин неожиданно обратился к генералу армии:

— Видимо, это будут последние наши наступательные операции на Западе... Вот думаю сейчас: а сколько же было их всего за эту войну?

— Затрудняюсь сразу сказать, — ответил Алексей Иннокентьевич, — но думаю, что крупных стратегических операций, включая оборонительные, мы провели более сорока.

Антонов был близок к истине: за 1941—1945 годы вооруженные силы фронтов под руководством Ставки провели около пятидесяти стратегических (оборонительных и наступательных) операций. Если первые десять — пятнадцать «глав» войны Верховный, штабы, сражающиеся войска «писали» под диктовку врага, то остальные тридцать пять — сорок они были вольны создавать в том месте и в то время, когда считали нужным. Главные герои и творцы великой книги о войне — советские люди, солдаты, командиры, политработники. Ну а сама летопись этого гигантского фолианта создавалась штабами фронтов, армий, самой Ставкой.

Вначале, мы знаем, было пять фронтов, но затем стратегическая обстановка вынудила Ставку разукрупнить их (в июле 1943 года, например, было уже 12 фронтов); завершилась же беспримерная эпопея на восьми фронтах. После Сталинграда Верховный своими распоряжениями, выводами самоуверенно подчеркивал, что он постиг «тайны» стратегии, оперативного искусства, тактики. Если в отношении стратегии он действительно заметно продвинулся вперед, то, что касается оперативного искусства и тактики, он до конца войны остался дилетантом. В одной из своих телеграмм Александрову и Федорову Сталин так укоряет командование фронта в неумении воевать: «Считаю позором для командования фронтом, что оно допустило по своей халатности и нераспорядительности окружение наших четырех стрелковых полков вражескими войсками. Пора бы на третьем году войны научиться правильному вождению войск». «Пора бы научиться» — так может говорить тот, кто, безусловно, уже «давно научился». У Сталина не вызывало сомнения, что он овладел искусством вооруженной борьбы так же, как и политической.

А указывал Верховный не мифическим «Александрову» и «Федорову», а вполне конкретным лицам. Сталин, как мы об этом уже писали, очень любил секреты, он внес свой вклад и в стратегическую маскировку и дезинформацию противника. Под фамилией «Александров» с 15 мая сорок третьего года действовал А. М. Василевский, а «Федоров» был не кем иным, как Ф. С. Толбухиным. Чтобы читатели представляли оперативные «псевдонимы» полководцев, назовем некоторые из них. Срок их действия был оговорен заранее и держался, естественно, в строгой тайне.

Баграмян И. Х.	— Христофоров;
Буденный С. М.	— Семенов;
Булганин Н. А.	— Николин;
Василевский А. М.	— Александров, Михайлов;
Ватутин Н. Ф.	— Федоров, Николаев;
Воронов Н. Н.	— Николаев;

Ворошилов К. Е.	— Ефремов, Климов;
Жуков Г. К.	— Константинов, Юрьев;
Конеv И. С.	— Степанов, Степин;
Рокоссовский К. К.	— Костин, Донцов;
Сталин И. В.	— Васильев, Иванов...

Нередко, читая «зашифрованные» таким образом подписи, не видишь в этом особого смысла, хотя Сталин настаивал именно на таком кодировании. Но если эта шифротелеграмма могла быть «прочитана», то и без подлинных подписей можно понять, кто и кому направлял подобные депеши. Сам текст документа раскрывал «тайну». Вот, например, одна из многих ей подобных:

«Товарищу Константинову (читай — Г. К. Жукову. — Д. В.).

Передаются Вам соображения Михайлова (А. М. Василевского. — Д. В.). Сообщите Ваши мнения. Из телеграммы Михайлова не видна роль 57 армии в общем наступлении для ликвидации окруженного противника. После разговора с Михайловым выяснилось, что 57 армия будет действовать из района Ракитино, Кравцов и Цыбенко в общем направлении на совхоз Горная Поляна и Балка Песчаная...

Васильев (Сталин. — Д. В.).».

Если бы противнику удалось перехватить и расшифровать телеграмму, то едва ли ввели бы его в заблуждение типичные русские фамилии.

Так уж сложилось, что Ставка «замкнула» на себя не только определение общих и частных задач того или иного фронта, но и в значительной мере планирование операций. Созданные Главные командования войск направлений — северо-западное, западное и юго-западное — сразу же, мы помним, были поставлены в бесправное положение. Ставка и после создания Главкоматов продолжала через их «голову» руководить фронтами, отдавать распоряжения, требовать реализации тех или иных указаний Верховного. Часто складывалось впечатление, что Сталину Главкоматы нужны не для облегчения управления войсками, а для роли дежурных «козлов отпущения», постоянных объектов для ядовитой критики. Главкоматы, по существу, не могли без согласования со Ставкой распоряжаться находящимися в их полосе резервами, авиационными соединениями, принять даже достаточно частное решение. Сталин при переговорах с командующими фронтами не только не учитывал планов и распоряжений Главкоматов, но нередко походя отменял их. Разговаривая по прямому проводу с командующим Крымским фронтом генералом Д. Т. Козловым, Сталин так распорядился: «Всю 47-ю армию необходимо немедленно начать отводить за Турецкий вал, организовав арьергард и прикрыв авиацией... Все приказы Главкома, противоречащие только что переданным приказаниям, можете считать не подлежащими исполнению».

Сталин до конца так и не определил своей принципиальной линии по отношению к Главкоматам, которые, как мы уже говорили, через несколько месяцев после их создания были расформированы. Правда, на некоторое время два Главкомата были вновь восстановлены, но тоже просуществовали лишь до лета 1942 года. При той жесткой централизации, которую всегда любил Сталин, эти региональные органы стратегического руководства и не могли проявить себя.

Менее четверти всех операций были оборонительными. Как Сталин, Ставка их готовили и вели? Скажем сразу, что большинство стратегических оборонительных операций первого года войны (в Прибалтике — в июне — июле, тогда же в Белоруссии, на Западной Украине, в Заполярье и Карелии осенью сорок первого года, Киевская — в июле — августе, Смоленская — в июле — сентябре и некоторые другие) заранее не планировалось. К их проведению нас вынудил противник, и часто действия советских войск носили спонтанный характер.

В 1939—1941 годах вопросы организации и ведения длительной стратегической обороны в масштабе страны, всех вооруженных сил, как мы уже говорили, должным образом не отрабатывались ни на учениях и маневрах, ни в теории. Пожалуй, тот, кто мог бы предложить до войны рассмотреть оборону по Днепру, под Москвой, Ленинградом, был бы немедленно обвинен в поражечестве, измене, предательстве. Но даже абстрактное в принципе изучение вопросов организации стратегической обороны в крупных пространственных и временных мас-

штабах не рассматривалось. Вот здесь своей политикой и ошибочными действиями Сталин, верно, «обеспечил» внезапность... противнику.

Ставка и командование фронтами, отдавая директивы и приказы на ведение стратегической обороны, преследовали главную цель: остановить и обескровить противника, создать благоприятные условия для наступления. Это позже с «подачи» самого Сталина пропагандисты начали усматривать в катастрофическом отступлении советских войск сокровенный смысл «изматывания врага» активной обороной. К преднамеренной, «плановой» стратегической обороне мы прибегли, пожалуй, лишь раз: летом 1943 года. Верховный не любил оборону, нервничал, не проявил глубокого понимания ее сути. Он старался решать ее не только оперативными средствами, но и чисто административно-карательными методами вроде приказов № 270 от 16 августа 1941 года и № 227 от 28 июля 1942 года, рядом дополнительных распоряжений об активизации действий заградотрядов, частей НКВД в тылу угрожаемых участков фронта.

Опытом организации стратегической обороны не обладало тогда и большинство военачальников. При этом надо учесть, что значительная часть, а точнее большинство кадрового состава погибло или было ранено в сорок первом году. И хотя летне-осенняя кампания 1942 года могла сложиться более благоприятно (моральный «допинг» войскам после Московской битвы; противник наступал уже не на всем протяжении фронта, а лишь на юго-западном направлении; немецкие войска в значительной мере растеряли первоначальную «новизну» своих ударов), Сталин как Верховный Главнокомандующий не был в состоянии проявить глубины понимания особенностей оборонительных сражений. Ему было ясно, что пространственный размах этих операций летом 1942 года не может уже быть таким, как в 1941-м, когда глубина отхода наших войск составляла от 850 до 1200 километров.

Сталин полагал, что даже более или менее существенное отступление уже маловероятно. В своем приказе по случаю 23 февраля 1942 года Народный комиссар обороны утверждал: «Ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было создано внезапностью немецко-фашистского нападения... Стоило исчезнуть в арсенале немцев моменту внезапности, чтобы немецко-фашистская армия оказалась перед катастрофой». Но Сталин не учел, что концентрация противником своих войск на более узких участках фронта, там, где Верховный Главнокомандующий их меньше всего ждал, вновь поставит нашу армию в критическое положение, хотя и менее опасное, чем в предыдущем году. Но и сейчас, прорвав фронт в нескольких местах, противник смог продвинуться на 500—650 километров, то есть почти наполовину меньше, чем в сорок первом. А в будущем пространственные «успехи» немцев составят всего два-три десятка километров... Однако наступательный порыв немецких войск летом сорок второго года нам не удалось заблаговременно погасить и сдержать, поскольку Сталин опять переоценил собственные силы и все время настаивал проводить одновременно хотя бы частные наступательные операции. И только благодаря крупным стратегическим перемещениям войск удалось остановить врага у Волги. Во второй половине 1942 года Ставке пришлось на юго-западное направление направить свыше ста стрелковых соединений, около полутора десятков танковых корпусов. Вот что значило вновь точно не определить возможности противника!

Сталин просчитался в 1941 году, полагая, что главный удар немецкая армия нанесет на юго-западном направлении, а он пришелся на западное. Тогда мы были вынуждены проводить крупные перегруппировки войск, и к началу нашего зимнего наступления на западном направлении находилось немногим более половины всех наших дивизий. Верховный, как и Ставка в целом, считал, что западное направление останется главным и в 1942 году, хотя допускал возможность мощного удара и на юго-западном. Однако теперь на первый план уже вышло именно юго-западное направление, где противник в летней кампании нанес свой главный удар. Можно утверждать, что Ставке не удалось в первый период войны верно определить направления главных ударов противника и летом 1941-го и потом 42-го годов. И оба раза к окончательным выводам, ошибочным, как оказалось позже, «помог» прийти Сталин.

После совещания в Ставке по планам на 1942 год вождь настоял на том, чтобы направить, как мы уже говорили, «Директивное письмо» военным советам фронтов и армий, ориентирующее их на наступательные действия. В письме указывалось, что «противник перешел на оборону и строит оборонительные укрепленные линии с целью задержать продвижение Красной Армии». Однако пришлось вести оборонительные сражения, к которым в полной мере не готовились, ведь Сталин, как известно, поставил задачу «обеспечить полный разгром гитлеровских войск в 1942 году». Это понятно с точки зрения общего желания советских людей, но нереально с позиции фактического выполнения задачи.

Бросается в глаза, что во время оборонительных операций, ведя свои переговоры с главноками, командующими фронтами, Верховный чувствует себя менее уверенно, нежели когда войска наступают. Он часто предпочитает возможность вести переговоры Шолохову или Василевскому, а затем и Антонову, вмешиваясь в конце, чаще всего по одним и тем же «сюжетам»: отвечает, дает ли из резерва фронту войска; обычно рекомендует активнее использовать авиацию и еще укажет пальцем на какого-нибудь командарма, комкора, которые «портят обедню». Правда, Сталин любил еще напоминать и о бдительности... Есть десятки его указаний по этому вопросу. Ничего не попишешь: сказывался характер.

Приведем несколько его указаний обороняющимся войскам. В конце разговора 22 июня 1942 года он указывает Тимошенко: «Эвакуация прифронтовой полосы нужна также для того, чтобы в этой полосе не осталось ни одного агента, ни одного подозрительного лица, чтобы войсковой тыл был чист на сто процентов».

Давая указания 1 июля 1942 года командующему Брянским фронтом Ф. И. Голикову, он называет одну из причин неуспеха: «Фекленко... все время лукавит, и если вы немедленно не двинете Фекленко в сторону Быкова или южнее Быкова, будете отвечать перед Ставкой. Если Фекленко не подходит, прикажите Федоренко заменить его другим, но было бы лучше заставить Фекленко немедленно выступить и смыть с себя тот позор, которым он себя покрыл».

Ведя переговоры 22 июля того же года с командующим Южным фронтом Р. Я. Малиновским, Сталин высказывает недовольство разведанными: «Ваши разведывательные данные мало надежны. Перехват сообщения полковника Антонеску у нас имеется. Мы мало придаем цены телеграммам Антонеску. Ваши авиаразведывательные сведения тоже не имеют большой цены. Наши летчики не знают боевых порядков наземных войск, каждый фургон кажется им танком, причем они не способны определить — чьи именно войска двигаются в том или ином направлении. Летчики-разведчики не раз подводили нас и давали неверные сведения. Поэтому донесения летчиков-разведчиков мы принимаем критически и с большими оговорками. Единственно надежной разведкой является войсковая разведка, но у вас нет именно войсковой разведки или она слаба у вас». Когда однажды Г. К. Жуков доложил ему, что на нашу сторону перешел немецкий солдат, который показал войсковой разведке, что ночью 23-я пехотная дивизия сменила 267-й пехотной дивизией, а также что он наблюдал части СС, Сталин «предостерег» докладчика: «Вы в военнопленных не очень верьте». Впрочем, Верховный предпочитал не верить почти всем: пленным, докладам разведчиков, радиоперехватам, оценкам командующих...

В первый период войны Сталин активно шел на принятие самых радикальных решений. Одно из них, например, было связано с необходимостью инженерного оборудования позиций. На московском и ленинградском направлениях оборудовалось по три — пять оборонительных рубежей, велись огромные инженерные работы. Сталин пошел на беспрецедентный шаг — создание десяти саперных армий, которые, видимо, сыграли свою роль. В 1942 году они постепенно были расформированы. Из этого факта видно, что Сталин в 1941 году искал пути упрочения обороны фронтов, в том числе и таким способом.

Иногда им овладевала какая-либо буквально маниакальная, сомнительная идея и он добивался ее реализации. Мы уже упоминали, что после разговора с Буденным в сентябре 1941 года Сталин поверил в большие возможности легких

кавалерийских дивизий, которые, как уверял Семен Михайлович, смогут парализовать тылы немецких войск. Шапошников и Василевский осторожно выразили свой скептицизм по этому поводу, но Сталин настоял:

— Вы недооцениваете возможностей быстрых подвижных кавалерийских соединений. Думаю, что они могут своими рейдами дезорганизовать управление, связь, снабжение, тылы немцев... Как вы не понимаете этого!

— Но для их прикрытия от вражеской авиации потребуются дополнительные силы. Без авиационного прикрытия они беззащитны. К тому же кавдивизии громоздки, — как бы про себя размышлял Шапошников.

Но сопротивление было слабым. Начали быстро создавать легкие кавалерийские дивизии трехтысячного состава. К 1 января 1942 года в вооруженных силах насчитывалось уже 94 кавалерийские дивизии. Была сделана попытка широко использовать кавалерию в рейдах по тылам фашистских войск. Несколько из них были более или менее удачными, но вскоре немецкое командование, применив против кавалерии авиацию, вызвало большие потери в соединениях, которые не имели надежных средств ПВО, обладали слабой ударной мощью.

Для всех было ясно, что времена не только конных армий, но и конных дивизий прошли, и уже к концу 1942 года началось сокращение кавалерийских дивизий, но и к маю 1945-го все же осталось 26 соединений. Сталин больше не прибегал к массовому использованию кавалерии, поручив ее «красному всаднику» с анахроничным мышлением — С. М. Буденному. Приказом Ставки № 057 от 25 января 1943 года Маршал Советского Союза С. М. Буденный был назначен командующим кавалерией Красной Армии с небольшим штабом. Заместителем Буденного Сталин определил генерал-полковника О. И. Городовикова. В мае 1944 года Верховный еще раз вспомнил о кавалерии:

«Командующему войсками фронтов.

Копия: тов. Александрову (А. М. Василевскому.— Д. В.)

тов. Буденному

Опыт наступательных операций Красной Армии 1943—1944 годов показал, что там, где кавалерийские соединения используются массированно, где они усиливаются механизированными и танковыми соединениями и поддерживаются авиацией, там, где они применяются на открытых флангах противника для удара по его тылам или для преследования,.. там кавалерийские соединения всегда дают хороший боевой эффект.

Примерами правильного применения кавалерийских соединений могут служить 1, 2, 3 и 4 Украинские фронты в использовании 1 и 6 гвардейских кавалерийских корпусов, 4-й и 5 гвардейских казачьих корпусов...

Примерами неправильного использования конницы могут служить 1 Прибалтийский, бывший Западный и 1 Белорусский фронты, где 3, 6, 2 и 7 гвардейские кавалерийские корпуса переподчинялись армиям, использовались в узко тактических целях...

Приказываю: кавалерийские корпуса из подчинения командующих армиями изъять и впредь использовать их как средство фронтового командования для развития успеха и удара по тылам противника...

1 мая 1944 года. 24.00

И. Сталин.
Антонов».

Было ясно, что, все еще уповая на наступательную мощь конницы, Сталин вел в своем сознании арьергардные бои со взгляда на кавалерию в современной войне. Былинные времена, родившие легенды о красных конниках, прошли. Кавалерия оказалась способной в этой войне выполнять лишь второстепенные, вспомогательные задачи. Как всегда, Сталин больше не вспоминал о неудачных идеях, выдвинутых им лично. «Летучие кавдивизии», увы, не парализовали, как того хотел Верховный, немецкие тылы.

Сталин, мы уже отмечали, значительно увереннее чувствовал себя в наступательных операциях. Будучи человеком, умеющим выжидать, здесь он, однако, не проявлял этого качества и был всегда нетерпелив. При планировании боевых действий на лето 1942 года, вопреки предостережениям Шапошникова

и других военачальников, Сталин был склонен вести активные действия на всех направлениях, еще не имея для этого должных возможностей. Казалось бы, что нанесение серьезного поражения самой опасной группировке врага под Москвой должно было убедить Верховного, сколь важна концентрация усилий на определенном направлении. Но едва наметился первый стратегический успех, как Сталин считал, что теперь Красной Армии по плечу вести такие же боевые действия на всех направлениях. Как вспоминал Г. К. Жуков, Сталин не раз утверждал, что после Московской битвы «немцы не выдержат ударов Красной Армии, стоит только умело организовать прорыв их обороны. Отсюда появилась у него идея начать как можно быстрее общее наступление на всех фронтах, от Ладожского озера до Черного моря». И Жуков приводит эти рассуждения Верховного:

— Немцы в растерянности от поражения под Москвой, они плохо подготовились к зиме. Сейчас самый подходящий момент для перехода в общее наступление...

Никто из присутствующих, вспоминал маршал, против этого не возразил, и И. В. Сталин развивал свою мысль далее.

— Наша задача состоит в том, — рассуждал он, — чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны...

На словах «до весны» он сделал акцент, немного задержался и затем разъяснил:

— Когда у нас будут новые резервы, а у немцев не будет больше резервов.

Члены Политбюро и Ставки согласились со Сталиным, хотя в ходе осторожного обсуждения Жуков, Шапошников, Василевский высказали сомнения в реальности замысла. Но Верховный несколькими резкими репликами заставил всех быстро согласиться с ним: когда Сталин был в чем-либо уверен, его было трудно поколебать, даже разумные доводы на него не действовали. Было решено нанести удары войсками Северо-Западного, Калининского, Западного фронтов, а также силами Ленинградского, Волховского, Юго-Западного, Южного, Кавказского фронтов и Черноморского флота.

Как мы сегодня знаем, наступательные операции советских войск в той летне-осенней кампании успеха не имели. Ставка пережила разочарование, когда Северо-Западный фронт не смог разгромить демянскую группировку. Имея заметное превосходство в силах, в течение всего мая более двадцати советских дивизий пытались сломить сопротивление немецких войск, но безуспешно. Сохранилось несколько грозных телеграмм Сталина командованию фронта. Не помогло... Просто тогда еще немцы умели воевать лучше нас. Небольшой так называемый «рамушевский коридор» 11-я и 1-я армии так и не смогли перерезать встречными ударами. Войска действовали шаблонно, без выдумки. Дежурные советы Сталина «активнее использовать авиацию», создавать «ударные кулаки», будучи весьма общими пожеланиями, помочь фронту не могли. В это же время истекала кровью полуокруженная 2-я ударная армия генерал-лейтенанта Власова. Сталин обвинил командующего Ленинградским фронтом М. С. Хозина в «безынициативности и безответственности», а это было уже много. Как раз тут, в разговоре со Сталиным, Жданов сообщил о сигналах заместителей комфронта Запорожца и Мельникова о «недостойном поведении Хозина». Сталин бросил в трубку: «Разберись и доложи».

Жданов запросил у Хозина объяснения по поводу обвинений, предъявляемых ему политработниками. 3 июня 1942 года Хозин написал письмо на имя Жданова, в котором указывал: «Запорожец обвинил меня в бытовом разложении. Да, два-три раза у меня были на квартире телеграфистки, смотрели кино... Меня обвиняют в том, что я много расходую водки. Я не говорю, что я непьющий. Выпиваю перед обедом и ужином иногда две, иногда три рюмки... С Запорожцем после всех этих кляуз работать не могу». Жданов позвонил через

два дня. После очередного доклада, в конце, добавил: «А Хозина лучше освободить... Не идет с ним дело».

Приказом Ставки от 9 июня генерал-лейтенант М. С. Хозин был отстранен от командования Ленинградским фронтом. Правда, вскоре Сталин назначил его командующим армией, а немного позже, присвоив звание генерал-полковника, командующим Особой группой. Затем Хозин стал заместителем командующего войсками Северо-Западного фронта, далее — заместителем командующего Западным фронтом. Порой трудно понять смысл бесконечных перебрасываний тех или иных генералов с места на место, однако за их передвижениями Сталин пристально следил и промахов не прощал. Тот же Хозин 8 декабря 1943 года опять попал в приказ Ставки:

«Генерал-полковника Хозина Михаила Семеновича за бездеятельность и несерьезное отношение к делу снять с должности заместителя командующего Западным фронтом и направить в распоряжение начальника Главного управления кадров НКВД».

И. Сталин
Жуков».

Однажды, уже после Сталинграда, когда ветер победы стал все сильнее надувать его паруса, Верховный, заслушав А. И. Антонова, нового начальника Оперативного управления и первого заместителя начальника Генерального штаба, неожиданно «разоткровенничался». Но сделаем одно отступление.

Сталин долго присматривался к Антонову, которого рекомендовал в Генеральный штаб Василевский. Он не любил часто менять около себя людей. Помнится, что, даже когда в 1938 году арестовали жену Поскребышева как «пособницу шпионских действий своих родственников», он не стал слушать настоятельных рекомендаций Берии заменить своего первого помощника. В его возрасте привыкать к новым людям непросто, а здесь — ежедневные доклады по оперативным вопросам войны. Когда Василевский выезжал в войска, ему докладывал заместитель начальника Генштаба по политчасти Ф. Е. Боков, не очень сильный в оперативных вопросах. Но где-то в конце марта 1943 года Сталин наконец приказал доложить в первый раз Алексею Иннокентьевичу Антонову. Доклад был кратким, но обстоятельным. Сталин не подал вида, что «проба» прошла хорошо, и сухо распрощался. А уже через два-три месяца частое общение Верховного с четким, умным и немногословным моложавым генералом сделало Антонова одним из ближайших военных помощников Сталина.

Так вот, «откровения» Сталина были, возможно, результатом накопившегося недоумения, а с другой стороны, Верховный, видимо, хотел поглубже «прощупать» Антонова. Когда тот спросил разрешения идти, Сталин неожиданно обратился к нему с вопросом:

— Товарищ Антонов, вы никогда не задумывались, почему многие наши наступательные операции в сорок втором году оказались незавершенными? Посмотрите, Ржевско-Вяземская операция двух фронтов, операция по деблокаде Ленинграда, зимнее наступление войск Южного и Юго-Западного фронтов. Кстати, ведь вы были начальником штаба у Малиновского?

— Да, товарищ Сталин...

— В Крыму имели две армии и потерпели поражение, а затем Харьков... Чем вы объясните эти провалы? Только не говорите мне сейчас: соотношение сил было не то, распылили средства, авиацию и танки плохо использовали...

Антонов, до войны бывший преподавателем общей тактики, не растерялся и довольно четко изложил свое видение причин неудач:

— В прошлом году, да еще и сейчас нередко, мы действовали шаблонно, без выдумки. Мы не научились прорывать оборону сразу на нескольких участках, слабо использовали танковые соединения для развития успеха...

— Начали вы правильно, а затем стали детализировать... Главное заключается в том, — Верховный взглянул на Антонова, — что, научившись обороняться, мы до сих пор не умеем наступать. Короче говоря, плохо еще умеем вое-

вать... — Сталин опять посмотрел на Антонова, неожиданно улыбнулся, что бывало с ним крайне редко, и негромко сказал: — Идите.

В конце декабря 1942 года, заслушивая доклад начальника Главного политуправления А. С. Щербакова о политической работе в армии, Сталин, завершая беседу, с нажимом сказал: «Надо настраивать бойцов на конкретную задачу: 1943 год должен стать концом фашистских мерзавцев! Дайте указания в политорганы об усилении работы по укреплению морального духа. Будем много и широко наступать. Да, именно наступать! Без наступления одной обороной фашистов не разгромить». Сталин понимал, что, кроме умения наступать, которого не хватало бойцам, командирам, но особенно высшему руководящему составу, нужны высокий моральный дух, способность и готовность людей проявить твердую волю к борьбе и победе. Ее, этой воли, тоже часто не хватало. По указанию Щербакова в политуправлениях фронтов, политотделах армии, корпусов, дивизий проходили специальные занятия с политработниками, партийным активом, где речь шла о формах и методах поддержания высокого наступательного порыва. В партийном архиве сохранился доклад Л. З. Мехлиса, с которым он выступил 9 января 1943 года перед политработниками 2-й ударной и 8-й армий Волховского фронта. Направленность доклада определенная: «О политической работе в наступательной операции».

Мехлис, побитый и пониженный в должности и звании Сталиным за крымскую катастрофу, тем не менее каждый абзац начинает со славословия или упоминания Верховного: «Год 1943-й, по указанию Сталина (об этом же говорили и в начале 1942 года.— Д. В.) должен стать годом полного разгрома немецких захватчиков. Мы не можем выиграть войну обороной. Как говорится в недавно вышедшем Сталинском «Боевом уставе пехоты», наступление для советских войск — основной вид боя».

Далее Мехлис попытался подвести «теорию» под политическую работу по наращиванию морального потенциала. «На войне плоть находит выражение в животном инстинкте-самосохранении, страхе перед смертью. Дух находит выражение — в патриотическом чувстве защитника Родины. Между духом и плотью происходит подсознательная, а иногда и сознательная борьба. Если плоть возьмет верх над духом — перед нами вырастет трус. И наоборот». Ну и, конечно, особое внимание Мехлис уделил необходимости пропаганды уверенности в мудром сталинском руководстве. «Во главе страны, во главе армии стоит великий полководец товарищ Сталин, чья гениальность, воля к победе, твердость не имеют себе равных среди современников». Мехлис, разумеется, не стал говорить о своем «методе» создания наступательного порыва, когда он в Крыму, где было десантировано очень большое количество войск, запретил рыть глубокие окопы. Командиры робко пытались возражать, Мехлис безапелляционно заявлял:

— Окопы — это оборонная психология. В ближайшие дни идем в наступление. Товарищ Сталин поставил задачу в кратчайшее время освободить Крым...

Скученно сгрудившиеся, как в таборе, дивизии, с едва обозначенной «мелкой» обороной, выдвинутыми чуть не на передний край штабами армий и тяжелой артиллерией, стали объектом сокрушительного удара немецкого кулака. Козлов и Мехлис, думавшие только о «наступлении», привели фронт к тяжелому поражению.

Нет возможности рассматривать конкретные «главы» войны — операции (более подробно коснусь лишь Сталинградской) и роль Верховного Главнокомандующего в их осуществлении. Мне бы хотелось лишь сказать, что после Сталинграда заметно повысилось оперативное мастерство не только командиров, штабов и руководимых ими войск, но и эффективнее стала работать Ставка. Сталин, обладая хотя и догматическим, но сильным, волевым умом, смог придать стратегической деятельности высшего военного органа больший динамизм, целеустремленность и обоснованность решений.

Война — суровый учитель. Миллионные жертвы, неудачи, катастрофы рядом с невиданным мужеством советских людей не могли не научить военачальников и полководцев военному искусству. Ведь многие из них поднялись в верх-

ние этажи военной структуры буквально накануне войны. Кровавые уроки войны не могли бесследно пройти и для Сталина: он стал действовать более осмысленно, продуманно, целеустремленно, хотя его стиль — силовой, жесткий, часто карательный в отношении неудачников — остался. В Сталине кое-что менялось с годами, но диктаторская, цезаристская сущность лишь укреплялась и «совершенствовалась». Его тяжелую руку, безапелляционность, категоричность и подозрительность чувствовали многие, кто с ним соприкасался в годы войны.

О характере действий Верховного в наступательных операциях могут сказать нам некоторые выдержки из его директив, распоряжений и приказов во втором и третьем, последнем, периодах войны.

«Южный фронт,
товарищам Еременко, Хрущеву.
Копия: тов. Малиновскому

Захват Батайска нашими войсками имеет большое историческое значение.

Со взятием Батайска мы закупили армии противника на Северном Кавказе, не дадим выхода в район Ростова, Таганрога, Донбасса 24 немецким и румынским дивизиям. Враг на Северном Кавказе должен быть окружен и уничтожен, так же, как он окружен и уничтожается под Сталинградом...

23.01.43. 06.30 мин.

И. Сталин

Утверждено по телефону. Боков»

Но, увы, Сталинград повторить трудно. Желание Сталина опять не было подкреплено ни мастерством, ни возможностями советских войск. Часть сил 1-й танковой армии вермахта прорвалась через Ростов в Донбасс, а остальная часть отошла на Таманский полуостров и низовья Кубани. И опять директива:

«Юго-Западный фронт

тов. Федорову (Ф. И. Толбухину. — Д. В.)

Вместо предложенного Вами плана операции лучше было бы принять другой план с ограниченными задачами, но более осуществимыми в данный момент. Общая задача фронта на ближайшее время — не допустить отхода противника в сторону Днепропетровска и Запорожья и принять все меры силами всего фронта к тому, чтобы зажать донецкую группу противника в Крым, закупорить проходы через Перекоп и Сиваш и изолировать таким образом донецкую группу противника от остальных войск на Украине. Операцию начать возможно скорее. Ваше решение прислать в Генеральный штаб для сведения.

11.2.43 г. 04 ч. 05 мин.

Васильев.

Передано по телефону товарищем Сталиным. Боков».

Из текста телефонограммы уже чувствуется полная уверенность Сталина в своих действиях. Он с легкостью отклоняет план Толбухина и диктует свой, без предварительной проработки в Генштабе. А решение Толбухина, как явствует из шифровки, должно полностью исходить из приведенного выше распоряжения Сталина и выслать его в Генштаб нужно лишь «для сведения». Если раньше Сталин подобные решения сам единолично не принимал, больше полагаясь на Генштаб, то теперь он уже способен на самостоятельные крупные, ответственные шаги. Другое дело, насколько они мудры и обоснованны; можно, например, по-разному оценить стремление «зажать» и «закупорить» немецкую группировку в Крыму.

Сталин учился руководству боевыми действиями и теперь старался, чтобы учились все. По его инициативе в войска было направлено не одно директивное письмо, в соответствии с которым предписывалось активнее овладевать опытом наступательных действий. Вот один из таких документов, направленных в мае 1944 года командующим фронтами: «Во всех фронтах организовать разборы проведенных наиболее характерных операций и боев. Разборы проводить с командующими и начальниками штабов армий, корпусов и начальниками родов войск фронта и армий — под руководством командующих фронтами,

с командирами дивизий, полков и соответствующими начальниками родов войск под руководством командующих армиями. На разборах, наряду с показом положительных сторон боевых действий своих войск, вскрывать имевшие место недостатки в организации и ведении операции и боя, в частности, недостатки в использовании родов войск, в организации их взаимодействия, в управлении войсками, и давать указания о способах их устранения».

Может быть, подобная учеба, приплюсованная к реальной боевой, кровавой обстановке, помогла советским войскам мощно провести последний год войны?

В редкую минуту отдыха Сталин мысленно возвращался к проведенным операциям, заново «прокручивая» их в своей усталой голове. Почти с каждой из них у него было связано какое-либо воспоминание, ушедшая в прошлое тревога, жесткое требование, угроза командующему, честолюбивое чувство очередной удачи. Действительно, как много «прошло» через его сознание операций в 1943 году, но особенно в «благополучном» 1944-м, победном сорок пятом году: Орловская, Белгородско-Харьковская, Смоленская, Донбасская, Черниговско-Полтавская, Новороссийско-Таманская, Нижне-Днепровская, Киевская, Ленинградско-Новгородская, Крымская освободительная, Выборгско-Петрозаводская, Белорусская, Львовско-Сандомирская, Яско-Кишиневская, Восточно-Карпатская, Белградская, Будапештская, Висло-Одерская, Венская, Восточно-Померанская, Пражская...

Нет, даже мысленно Сталин не мог их вспомнить сразу все. Это «прошло» через голову и сердце, сразу сильно состарив немолодого уже Верховного. Он думал сейчас о себе, а не о том, что народ, миллионы его соотечественников тоже «пропустили» эту войну не только через ум и сердце, но и реки своей крови, заплатив за Победу ценой своих жизней.

Сталин давно привык оперировать жизнями миллионов людей. Это масса, а он вождь; был убежден, что так было всегда в истории, так и будет. Ознакомившись со многими сотнями оперативных документов, продиктованных или подписанных Верховным за четыре года войны, я не встретил, кажется, ни одного, где бы он поставил задачу беречь людей, не бросать их в неподготовленные атаки, проявлять заботу о жизнях своих сограждан. Нет, пожалуй, я не прав. Есть такой документ, очень не похожий на «творчество» Сталина в этой области. Приведем его:

«Командующему Западным фронтом тов. Жукову
Члену ВС Зап. фронта тов. Булганину
Зам. ком. Зап. фронта тов. Романенко
Командующему 61 армией тов. Белову
Командующему 16 армией тов. Баграмяну
17 августа 42 года, 22 часа 00 мин.

По донесениям штаба Западного фронта, 387, 350 и часть 346 сд 61 армии продолжают вести бой в обстановке окружения и, несмотря на неоднократные указания Ставки, помощь им до сего времени не оказывается. Немцы никогда не покидают свои части, окруженные советскими войсками, и всеми возможными силами и средствами стараются во что бы то ни стало пробиться к ним и спасти их. У советского командования должно быть больше товарищеского чувства к своим окруженным частям, чем у немецко-фашистского командования. На деле, однако, оказывается, что советское командование проявляет гораздо меньше заботы о своих окруженных частях, чем немецкое. Это кладет пятно позора на советское командование».

Но и здесь Сталин взывает к заботе «о своих окруженных частях», пожалуй, больше потому, что «немцы никогда не покидают свои части, окруженные советскими войсками». Мотив не просто странный, но и унижительный. Проявить заботу об окруженных потому, что ее проявляет противник. У многих комфронта, командармов, командиров и политработников разных рангов было сильно чувство боевого товарищества, боль за утраченные жизни, горечь напрасных потерь, но только не всегда они могли их реализовать.

Сталин считал, что война, будучи жестокой по своей сути, оправдывает и самые крупные потери. Неумелые наступательные операции, лобовые, прямолинейные атаки немецких позиций были долгими и кровавыми, пока командиры и личный состав не научились действовать по всем правилам военного искусства. А их суть в конечном счете сводится к простой максиме: достигать поставленных целей, победы с минимально возможными жертвами.

Часто даже благожелательные зарубежные аналитики в действиях Сталина видели только конечный результат, а он был победным. И это давало основание в превосходных степенях оценивать в целом полководческое искусство Верховного. В своей интересной книге «Моя Россия» Питер Устинов, например, пишет: «Вероятно, никакой другой человек, кроме Сталина, не смог бы сделать то же самое в войне, с такой степенью беспощадности, гибкости или целеустремленности, какой требовало успешное ведение войны в таких нечеловеческих масштабах». Не могу согласиться с главным: «никакой другой человек». Если это касается «степеней беспощадности» — да, это, возможно, так. Но что касается связанного с «гибкостью и целеустремленностью» — Россия никогда не была бедна на таланты.

...Сталин, «перебирая» в сознании десятки проведенных операций, все же выделял две из них, особо близкие сердцу: Сталинградскую и Берлинскую. После первой он вновь почувствовал себя не только политическим вождем, но и полководцем. Вторая из упомянутых венчала чудовищную по напряжению и ожесточенности четырехлетнюю битву. Это был венец триумфа, сразу «списавший», как ему казалось, все просчеты, ошибки, оправдавший бесчисленные жертвы. После поражений было много побед, но Сталинград, город, носящий его имя, знаменовал собой решающее, поворотное событие в ходе не только Отечественной, но и всей второй мировой войны.

Сталинградское озарение

О Сталинградской битве написаны десятки книг. Мы совсем не намерены реставрировать картину выдающейся операции, она хорошо известна. Нас интересует роль Верховного Главнокомандующего в этой переломной схватке.

Обжегшись на неверной оценке в определении направления главного удара перед войной, когда немецкие войска приблизились к Москве фактически на расстояние полета снаряда дальнобойного орудия, Сталин сосредоточил основные стратегические резервы в центре советско-германского фронта. Однако, когда во второй половине июня 1942 года противник, сконцентрировав крупные силы, начал мощное наступление на юго-западном и южном направлениях, выяснилось, что сил для его отражения явно недостаточно. К началу июля оборона наших войск на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов оказалась прорванной на большую глубину. В результате сильного удара и маневров наступающих группировок немецких войск 21-я и 40-я советские армии оказались окруженными.

Сталин срочно направил на юг А. М. Василевского. Но сообщения от него шли крайне неутешительные. В течение недели немецкие войска расширили прорыв до 300 километров. Ударная группировка за несколько дней продвинулась на 150—170 километров, охватывая с севера основные силы Юго-Западного фронта. К этому времени последовал новый удар немцев в направлении Кантемировки. Сталин, рассматривая во время очередного доклада карту с грозной обстановкой, отчетливо увидел призрак второго (как в 1941 году) катастрофического окружения Юго-Западного фронта. Но сейчас он уже кое-чему научился в понимании конкретных вопросов стратегии и фактически не противился предложению об отводе войск 28-й, 38-й и 9-й армий Юго-Западного фронта, как и 37-й армии Южного фронта. Ставка дала указание срочно готовить Сталинградский оборонительный рубеж.

Верховный имел возможность, если бы он был элементарно самокритичной личностью, оценить свою непредусмотрительность. Еще в мае Василевский после

харьковской катастрофы предлагал усилить стратегические резервы на юго-западном и южном направлениях, но Сталин не согласился — он боялся за Москву. Теперь пришлось срочно перебрасывать огромные массы войск в условиях острого стратегического кризиса. Обстановка усугублялась тем, что отход многих соединений осуществлялся беспорядочно. Вновь в сознание людей вползало: «окружили», «обошли»... Немало дивизий и частей по несколько дней не имели связи с вышестоящими штабами. Знойная пыль сопровождала нестройные группы тысяч отступавших бойцов. В воздухе вновь хозяйничали «юнкерсы» и «мессершмитты». Порой создавалось впечатление хаоса, полной неразберихи и повторения самых худших ситуаций сорок первого года.

В военных архивах сохранился целый ряд грозных телеграмм Сталина командующим фронтами: привести в порядок отступающие соединения, стоять насмерть, не отходить без приказа с отмеченных рубежей. Вот одна из них: «Сталинград. Василевскому, Еременко, Маленкову.

Противник прорвал ваш фронт небольшими силами. У вас имеется достаточно возможностей, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. Соберите авиацию обоих фронтов и навалитесь на прорвавшегося противника. Мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге Сталинграда. Пользуйтесь дымами, чтобы запутать врага. Деритесь с прорвавшимся противником не только днем, но и ночью. Используйте всю артиллерийские и зресовские силы.

Лопатин во второй раз подводит Сталинградский фронт своей неумелостью и нераспорядительностью. Установите над ним надежный контроль и организуйте за спиной армии Лопатина второй эшелон.

Самое главное — не поддаваться панике, не бояться нахального врага и сохранить уверенность в нашем успехе.

23 августа 1942 г. 16 ч. 35 мин. И. Сталин.

Продиктовано тов. Сталиным по телефону. Боков».

Вождь вновь почувствовал себя как бы в Царицыне. Тогда он тоже особые надежды возлагал на бронепоезда, также призывал «навалиться», «драться не только днем, но и ночью», использовать «вовсю» артиллерию. Но ситуация явно выходила из-под его контроля. Десятки его телеграмм — это не стратегические или оперативные указания, решения, а обращение к сознанию, воле и чувствам людей, обращение к долгу с угрозой применения репрессий. Тут же он отвечает наркому внутренних дел по поводу его инициативы под Сталинградом:

«Товарищу Берия Л. П.

Против организации 3-х лагерей НКВД для проверки отходящих частей возражений не имеется.
24.8.42 г. 3 часа 35 мин.

И. Сталин

Продиктовано тов. Сталиным по телефону. Боков».

Кто знает, что может думать диктатор, привыкший олицетворять собой как бы волю миллионов? Диктаторы в душе одиноки, как бы много людей их ни окружало. Они всегда боятся даже приоткрыть створки своей души — люди сразу увидят их абсолютную моральную уязвимость; груз бесконтрольной власти придавил в них все человеческое...

В июльские и августовские дни сорок второго года Василевский ходил к Сталину, как на закланье. Хозяин не сдерживал бешенства, часто принимал импульсивные решения, иногда по одному и тому же вопросу требовал направлять одну за другой телеграммы аналогичного содержания. Вновь началась чехарда со сменой и перемещениями командующих. Часто требует соединить себя то с одним штабом, то с другим, но его приказания и требования однообразны: стоять насмерть! Обычно в разговорах Сталин не в состоянии дать дельный оперативный совет или решение. А войска все отступали... После очередного доклада Василевского, нервно похаживая вдоль стола с картой, Сталин неожиданно заговорил не об оперативных вопросах:

— Приказ Ставки номер двести семьдесят от шестнадцатого августа прошлого года в войсках забыли. Забыли! Особенно в штабах! Подготовьте новый приказ войскам с основной идеей: «Отступление без приказа — преступление, которое будет караться по всей строгости военного времени».

— К какому времени доложить вам приказ?

— Сегодня же... Как только документ будет готов — заходите.

Вечером Сталин после собственной радикальной правки, испещрившей текст, подписал знаменитый приказ народного комиссара обороны Союза ССР № 227 от 28 июля. Долгое время после войны он был тщательно спрятан в военных архивах. Теперь приказ доступен и опубликован в различных изданиях. Мы не будем воспроизводить его полностью, лишь приведем те его положения, которые отражают непосредственное творчество Верховного, его формулировки и личную редакцию:

«Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население... Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором...

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке, этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам.

После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории. Стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину...

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв».

Сталин несколько раз подчеркнул слова: «ни шагу назад!»

«Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. Паникеры и трусы должны истребляться на месте».

Далее Сталин редактирует особенно тщательно те конкретные меры, которые он разрабатывал утром:

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения...

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций...

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных батальона (по 300 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников».

Здесь Сталин вновь возвращается к идее, впервые изложенной им в директиве всем фронтам 12 сентября 1941 года. Тогда он, помнится, продиктовал: «В каждой стрелковой дивизии иметь заградительный отряд из надежных бойцов численностью не более батальона (в расчете по одной роте на стрелковый полк), с задачей приостановки бегства одержимых паникой военнослужащих, не останавливаясь перед применением оружия». Теперь Сталин эту «старую» идею изложил в новой редакции:

«Сформировать в пределах армии 3—5 хорошо вооруженных заградительных отряда (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу

неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов... Сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой)... Ставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной...

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.

Народный комиссар обороны И. Сталин».

Буквально через два дня части 192-й и 184-й дивизий, недавно сформированные, оставили без приказа позиции в районе Майоровский и отошли в Верхне-Голубую. Сталин расценил, что его приказ № 227 до войск на фронтах не доведен. На имя командующего Сталинградским фронтом Гордова и члена Военного совета фронта Хрущева пошла грозная телеграмма:

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Немедленно донести Ставке, какие меры в соответствии с приказом НКО за № 227 предприняты Военным советом фронта и военными советами армий по отношению к виновникам отхода, к паникерам и трусам, как в указанных дивизиях, так и в частях 21 армии, оставивших без приказа Клетская.

2. В двухдневный срок сформировать за счет лучшего состава прибывших во фронт дальневосточных дивизий заградительные отряды до 200 человек в каждом, которые поставить в непосредственном тылу и прежде всего за дивизиями 62 и 64 армий. Заградительные отряды подчинить военным советам армий через особые отделы. Во главе заградительных отрядов поставить наиболее опытных в боевом отношении особистов.

Об исполнении донести не позднее утра 3 августа 42 года.

И. Сталин.
А. Василевский.

Доложено т. Сталину и утверждено по телефону 31.7.42 г.

Василевский».

Паника вновь, как и в сорок первом году, нашла пристанище в некоторых частях. До войны психологической закалке личного состава не уделялось должного внимания, тем более что кадрового состава в войсках почти не осталось, он был выбит. А ведь известно, что отрицательная эмоциональная реакция на опасность в условиях повышенной напряженности и утраты уверенности в достижении цели чревата действиями, трудно контролируемыми. У человека просыпается чувство стадности: теряется способность трезво оценивать обстановку. Сталин пытался решить эту проблему заградотрядами и штрафными ротами, менее всего обращая внимание на повышение роли командиров и политработников в этих экстремальных условиях.

Нам неизвестно, знал ли Сталин то место из книги Наполеона «Мысли», которое однажды отчеркнул Ленин, но его стоит привести сейчас: «В каждом сражении бывает момент, когда самые храбрые солдаты после величайшего напряжения чувствуют желание бежать; эта паника порождается отсутствием доверия к своему мужеству; ничтожного случая, какого-либо предложения достаточно, чтобы вернуть им это доверие: высокое искусство состоит в том, чтобы создавать их». Личное мужество командира, твердое управление, уверенность в себе, решительные команды играют в подобной ситуации огромную роль. Ведь в любой обстановке человек не потерпел поражения до тех пор, пока не признал себя побежденным. Пока не сломлена воля к борьбе, боец способен выполнять свои обязанности.

Вернуть «доверие к собственному мужеству» могли и должны были только командиры и политработники. Но Сталин, не будучи ни военным человеком, ни тонким психологом, уповал больше на силовые, карательные меры. В то же время на многочисленных краткосрочных курсах психологической закалки совсем не уделялось внимания. Сталин полагал, и не без основания, что уверенность

личному составу могут вернуть лишь новые победы, а их пока не было. Более того, призрак новой катастрофы не исчезал, а, наоборот, приближался.

Еще раз напомню, как на аналогичные ситуации смотрел Л. Д. Троцкий: «Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. Надо ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади». Сталин, не ссылаясь, конечно, на Троцкого, говорил фактически то же самое: впереди смерть почетна, а позади — позорна.

Однако этим Сталин не ограничился. В окружение попадали, в том числе и в 1942 году, большие массы военнослужащих, некоторые — группами или в одиночку — пробивались к своим. Командиры сразу же направлялись в спецлагеря НКВД. Теперь же, в июле — августе 1942 года, сложилась столь критическая обстановка, что Сталин пошел дальше, на еще более «смелый» шаг:

«Командующему войсками Московского военного округа
Командующему войсками Приволжского военного округа
Командующему войсками Сталинградского военного округа
Народному комиссару внутренних дел т. Берия

В целях предоставления возможности командно-начальствующему составу, находившемуся длительное время на территории, оккупированной противником, и не принимавшему участия в партизанских отрядах, с оружием в руках доказать свою преданность Родине приказываю:

Сформировать к 25 августа с. г. из контингентов командно-начальствующего состава, содержащихся в спецлагерях НКВД, штурмовые стрелковые батальоны». Далее шли названия спецлагерей, где находились в заключении вышедшие из окружения командиры и политработники: Люберецкий, Подольский, Рязанский, Калачевский, Котлубанский, Сталинградский, Белокалитвинский, Георгиевский, Угольный, Хонларский... Штурмовые подразделения определялись численностью в 929 человек каждое.

«Батальоны предназначаются, — говорилось в директиве, — для использования на наиболее активных участках фронта». В директиве, подписанной Сталиным 1 августа 1942 года под грифом «особо важная», предусмотрены даже такие «мелочи», как: «повозочных, кузнецов ковочных, портных, сапожников, поваров, шоферов, — также укомплектовать за счет спецконтингента». А слово «спецконтингент» расшифровывалось: «бывшие командиры, начиная от роты и выше».

Часто вина этих людей заключалась лишь в том, что в результате неудачно сложившихся боев или бездарного командования вышестоящих штабов они оказывались в окружении, из которого пробирались к своим неделю, другую, а то и месяц. Но, как удалось нам установить по документам, бывшие командиры были рады, чтобы их использовали «на наиболее активных участках фронта». Большинство их там, на этих «активных участках», и положат головы. Но эта смерть давала надежду освободить себя и семью от бесчестия и кары. Правда, Сталин прикажет добавить в директиву: после участия в боях на активных участках фронта «при наличии хороших аттестаций может быть назначен в полевые войска на соответствующие должности командно-начальствующего состава».

Думается, Сталинград в памяти Верховного остался тем далеким Царицыным, сыгравшим столь важную роль в его судьбе. Похоже, после Царицына Ленин поверил в способность немногословного наркомнаца — уполномоченного по продовольственным делам на юге России — решать сложные задачи военного, политического и экономического характера. После Царицына еще больше поверил в себя и Сталин, малоизвестный тогда член партийного руководства. Сегодня Сталинград стал для Верховного, как и для всего народа, символом способности противостоять новому отчаянному натиску врага.

Для Сталина события на Волге развивались в смысле напряжения по восходящей. Июль, август, сентябрь, октябрь знаменовали нарастание напряжения до кульминации в ноябре. Сталин еще не знал: когда судьба Сталинграда висела на волоске, Василевский поручил группе генштабистов в составе

А. А. Грызлова, С. И. Тетешкина, Н. И. Бойкова, других товарищей, в глубокой тайне проработать вариант охвата с севера и юга далеко вклинившейся ударной группировки врага. Сохранилась карта, на которой нанесены первые контуры будущей знаменитой операции в исполнении Н. И. Бойкова. Но, повторяем, Сталин тогда еще не знал об этом. Год, который он объявил «годом разгрома немецких оккупантов», грозил вылиться в новую крупную катастрофу.

Верховный по несколько дней не уезжал из кабинета, забываясь тревожным сном в комнате отдыха, предварительно поручая Поскребышеву разбудить его через несколько часов.

Когда однажды Поскребышев (а когда спал он сам, Сталин не спрашивал), пожалев погрузившегося в глубокий сон смертельно уставшего человека, разбудил Сталина на полчаса позже указанного срока, тот, взглянув на часы, выругал помощника:

— Филантроп тоже нашелся! Пусть мне позвонит Василевский. Быстро! Филантроп лысый...

Круглое лицо Поскребышева, переходящее в обширную лысину, как всегда, внешне ничего не выражало. Помощник издал какой-то негромкий звук, похожий на «слушаюсь», и тут же исчез за дверью.

Позвонил Василевский, который два дня как прилетел из Сталинграда. Сталин, сухо поздоровавшись, сразу же спросил: введены ли в сражение 1-я гвардейская, 24-я и 66-я армии, подвезли ли боеприпасы, которых там к сентябрю почти совсем не оказалось. Василевский доложил обстановку к вечеру 3 сентября: одно из танковых соединений группы армий «Б» прорвалось в пригороды Сталинграда... Хозяин не выдержал и зло перебил Василевского:

— Они что, не понимают там, что если сдадим Сталинград, то юг страны будет отрезан от центра и мы едва ли сможем его защитить? Там понимают или нет, что это катастрофа не только Сталинграда?! Потерять главную водную дорогу, а вскоре и нефть?!

Василевский переждал поток возмущенных излияний Верховного и спокойно, но с внутренним напряжением в голосе продолжал:

— Все, что есть под Сталинградом боееспособного, мы подтягиваем к угрожаемым участкам. Думаю, шансы отстоять город еще не потеряны.

Через несколько минут Сталин вновь позвонил Василевскому, но его не оказалось на месте. У аппарата был генерал-майор Боков. Последовало распоряжение Сталина немедленно найти в Сталинграде Жукова, который незадолго до этого, 26 августа, решением ГКО был назначен заместителем Верховного Главнокомандующего, и передать ему распоряжение. Сталин, помолчав с минуту, продиктовал его:

«Особо важно. Генералу армии тов. Жукову.

Положение со Сталинградом ухудшилось. Противник находится в трех верстах от Сталинграда. Сталинград могут взять сегодня или завтра, если северная группа не окажет немедленной помощи. Потребуйте от командующих войсками, стоящих к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь к сталинградцам. Недопустимо никакое промедление. Промедление теперь равносильно преступлению. Всю авиацию бросьте на помощь Сталинграду. В самом Сталинграде авиации осталось очень мало.

Получение и принятые меры сообщить незамедлительно.

И. Сталин.

3.9.42 г. 22.30 Передано по телефону товарищем Сталиным.

Боков».

Жуков вскоре ответил, что утром 4-го 1-я гвардейская и 66-я армии начнут наступление. Идет подготовка. Сталин отреагировал коротко:

«Жукову, Маленкову, Василевскому.

Ответ получил. Жду от вас дальнейшего форсирования удара, дабы не допустить падения Сталинграда.

И. Сталин.

4.9.42. 2 часа 25 мин. Передано по телефону тов. Сталиным. Боков».

Через каждые два-три часа он требовал сводку из Сталинграда, несколько

раз разговаривал с Жуковым, Василевским, которого вновь направил туда, — переговоры с Маленковым его мало удовлетворяли. Человек, абсолютно беспомощный в военных делах, похоже, был направлен Верховным лишь как «соглядатай», способный лишь напоминать о его требованиях и собирать «впечатления» от работы штабов. В части Маленков выезжал раз или два, все остальное время находился в каком-либо штабе в специальном кабинете, изредка вызывая к себе политработников, руководителей особых отделов. Военачальники держались с Маленковым вежливо, но, понимая его роль на фронте, по своей инициативе в разговор с ним не вступали.

Жуков организовал 5-го, 6-го и 7 сентября несколько атак с севера, но, будучи слабо подкрепленными артиллерией и авиацией, они не дали заметного положительного результата. Сталин требовал продолжать атаки, полнее использовать авиацию (это дежурный лейтмотив его директив), другие средства. 6 сентября Жукову передали по телефону распоряжение Сталина: «Получите 2 полка истребителей. Один из Камышина, один с Воронежского фронта... Вы должны иметь в виду, что Ваши права неограничены, насчет переброски сил авиационных и всяких других со Сталинградского, Юго-Восточного фронтов на север и наоборот. Вы имеете все права маневрировать по части сосредоточения сил. Три тысячи снарядов Н-20 уже направлены к Вам».

Жуков вынужден был вскоре доложить по телефону, что теми силами, которыми располагает Сталинградский фронт, прорвать коридор и соединиться с войсками Юго-Восточного фронта в городе не удастся. Фронт обороны немецких войск значительно укрепился за счет вновь подошедших частей из-под Сталинграда. Дальнейшие атаки теми же силами и в той же группировке будут бесцельны, и войска неизбежно понесут большие потери. Сталин выслушал и вызвал Жукова и Василевского в Москву.

Именно здесь, посоветовавшись с операторами, посидев вдвоем над картой, Жуков и Василевский пришли к выводу, что нужно упорной обороной изматывать противника и одновременно исподволь начать подготовку к большому контр наступлению. Уже тогда оба военачальника решили, что основные удары должны быть нанесены по флангам немецкой группировки, которые прикрывали менее боеспособные румынские войска. Так родился замысел, с которым они пришли к Верховному вечером 13 сентября. Замысел, которому после материализации суждено было стать классикой второй мировой войны, одним из самых блестящих примеров в мировой истории военного искусства. Это было озарение. Но посетило оно не Сталина, а его окружение, помощников, быстро растущих военачальников.

Вначале Сталин не проявил особого интереса к этому замыслу, заметив, что сейчас главное — удержать Сталинград, не допустить немцев дальше, в сторону Камышина. Похоже, Сталин или не оценил дерзкого замысла, или счел его малореальным в настоящей обстановке. Все внимание Верховного было приковано к оборонительным боям в Сталинграде. Он понимал не только военное, но и политическое, экономическое и международное значение развернувшейся ожесточенной битвы. В мышлении Сталина, мы уже отмечали, прогностические способности явно отставали от способностей сиюминутного, текущего анализа. Озарение как проявление оригинальной идеи, основанной на скрытых от внешнего взгляда закономерностях и тенденциях реального бытия, Сталину было незнакомо. Он чаще шел к какому-то решению путем многих постепенных шагов, где интуиция не играла особой роли. Однако Сталин, наконец поняв идею, своей волей, приказами и директивами сделал ее собственной инициативой. И внутренне, и по форме — «сталинским мудрым решением».

Когда Верховный впервые ознакомился со смелым, дерзким замыслом своих военных помощников, в Сталинграде уже завязались ожесточенные уличные бои. Немцы ворвались в город, и с этого дня более двух месяцев невиданные по ожесточенности схватки велись днем и ночью. Одно из лучших описаний этой героической эпопеи советских воинов содержится в книге В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Если в начале наступления на юго-западе оккупанты измеряли его темпы десятками километров, затем — несколькими километрами, а в сен-

тябре — сотнями метров в сутки, то уже в октябре как большой успех расценивалось продвижение на 40—50 метров. К середине же октября и такое движение прекратилось. Вот когда приказ № 227 с его знаменитой фразой «Ни шагу назад!» был выполнен буквально. Хотя оккупанты в районе Сталинграда ввели в бой 22 дивизии и почти столько же соединений своих союзников, военная машина вермахта забуксовала.

Сталин имел возможность перевести дух, но он этого не позволял ни себе, ни другим. Члены ГКО, Ставки, руководители наркоматов тыла, НКВД буквально сутками занимались реализацией все новых и новых распоряжений Верховного — эн поверил в осуществимость смелой операции на окружение. Впрочем, чтобы открыть путь на юг, полуотрезанный прорвавшимися к Волге немецкими дивизиями, другого способа не было. Как в конце 1941 года, когда немцы готовились маршировать по улицам Москвы, так и теперь они видели с захватом Сталинграда обреченный Кавказ с его нефтью.

И вновь народ невиданным, по существу, нечеловеческим напряжением сделал почти невозможное. С 1 июля по 1 ноября 1942 года по решению Ставки на сталинградское направление были переброшены 72 стрелковые дивизии, шесть танковых и два механизированных корпуса, 20 стрелковых и 46 танковых бригад. Сталин торопил, торопил, торопил... Многие части направлялись к Волге недоукомплектованными. Численность большинства соединений не превышала 65 процентов, а наличие артиллерии и танков — 50—60 процентов. Решениями Верховного заметно были усилены 8-я и 16-я воздушные армии, и уже в ноябре противник лишился господства в воздухе.

Сталин в это время, занимаясь и другими военными делами, постоянно возвращался к предстоящей операции трех фронтов: Сталинградского, Юго-Западного и Донского. В Генштабе операции дали условное наименование «Уран». Верховный не возражал, но жестко потребовал, чтобы замысел, время, характер и последовательность операции знало предельно ограниченное число людей, буквально считанное число. Координация действий фронтов была возложена Сталиным на Василевского, одного из главных авторов идеи контрнаступления.

Когда 19 ноября оно началось, Сталин, пожалуй, впервые в войне был достаточно уверен в успехе. Не потому, что в результате сосредоточения сил и средств удалось достичь заметного превосходства в людях и технике, а прежде всего потому, что пока ни одна операция не готовилась так тщательно. Правда, еще за неделю до ее начала у Сталина были сомнения: в авиации, по сути, удалось добиться лишь равенства, а положению в воздухе, как мы отмечали, Сталин всегда уделял особое внимание. Это был его «пунктик», и он не скрывал, что считает себя особо компетентным в авиационных вопросах. Сомнения на этот счет были столь существенны, что Сталин был готов даже на перенесение сроков операции, о чем он и сообщал Жукову:

«Особо важно. Тов. Константинову

Если авиаподготовка операции неудовлетворительна у Иванова (А. И. Еременко.— Д. В.) и Федорова (Н. Ф. Ватутина.— Д. В.), то операция окончится провалом. Опыт войны с немцами показывает, что операцию против немцев можно выиграть лишь в том случае, если имеем превосходство в воздухе... Если Новиков думает, что наша авиация сейчас не в состоянии выполнить эти задачи, то лучше отложить операцию на некоторое время и накопить побольше авиации. Поговорите с Новиковым и Ворожейкиным, растолкуйте им это дело и сообщите мне Ваше общее мнение».

В проведении операции Сталин полностью полагался на Жукова, давая тому возможность уточнять состав группировок, многие важные детали, сроки. Верховный в душе чувствовал, что Жуков значительно глубже понимает природу и истоки происходящего, скрытые от внешнего наблюдения внутренние пружины войны. Он все больше рассчитывал на него. За четыре дня до начала операции Сталин шлет Жукову еще одну шифровку, уполномочивающую окончательно уточнить сроки:

«Особо важно
Только лично
Товарищу Константинову»

День переселения Федорова и Иванова можете назначить по Вашему усмотрению, а потом доложите мне об этом по приезде в Москву. Если у Вас возникает мысль о том, чтобы кто-либо из них начал переселение раньше или позже на один или два дня, то уполномочиваю Вас решить и этот вопрос по Вашему усмотрению.

15.11.42 г. 13 часов 10 мин.

Васильев.

Передано товарищем Сталиным по телефону. Боков».

И Жуков воспользовался этим правом: войска Юго-Западного фронта перешли в наступление (начали «переселение») 19 ноября, как и Донской фронт, а Сталинградский фронт двинулся «переселяться» 20 ноября. 23 ноября было завершено окружение сталинградской группировки противника.

Обычно Сталин ложился отдохнуть в четыре-пять часов утра. В дни сталинградской эпопеи он нарушил этот порядок: ему докладывали чаще обычного, в том числе и в шесть утра. Верховный с красными от бессонницы глазами подходил к окну, вдыхал из форточки свежесть морозного утра, смотрел на темный двор Кремля. Он где-то читал, что звезда надежды видна только утром, но рассмотреть ее в промозгом ноябрьском рассвете Сталин не мог, однако чувствовал, верил, знал, что она горит...

Сталин постепенно научился «читать» карту. Он и раньше любил подолгу рассматривать карту страны, политические карты Европы, Азии. Теперь Верховный имел дело со специальными военными картами, на которые генштабисты быстро наносили новую обстановку. Красные и синие стрелы, зубчатые ленты полос обороны, овалы районов сосредоточения резервов, пункты выдвижения ромбиков танковых колонн, множество поясняющих надписей... Когда 23-го вечера он увидел большое красное кольцо внутреннего обода окружения, которое составляли 62-я, 64-я и 57-я армии Сталинградского фронта, 21-я армия Юго-Западного фронта и 65-я, 24-я и 66-я армии Донского фронта, то испытал сложное чувство радости и тревоги. Радости, что наконец свершилось! И где — под Сталинымградом! Разве это не символично?! Он еще не знал точно численности окруженных войск (их окажется более 330 тысяч человек), но понимал, что если доведут дело до конца, то это будет началом великого перелома. А тревога... Глядя на внешний фронт окружения, Верховный чувствовал, что немецкое командование сделает все, чтобы выручить 22 окруженные дивизии 6-й и 4-й армий вермахта. Он не забыл, как, завершив окружение под Демянском, так и не смогли уничтожить вражескую группировку в кольце.

Да, и здесь, как случилось потом, дело по уничтожению окруженной группировки оказалось сложнее, чем ожидалось. Создание прочного внешнего фронта, как выяснилось, дело более простое. К концу декабря группировка противника, начавшая деблокировать окруженные немецкие войска в Сталинграде, была отброшена на 200—250 километров на запад, и стратегическая инициатива в конце 1942 года оказалась в руках Советской Армии. С армией же Паулюса пришлось серьезно повозиться. Среди документов, которые ежедневно докладывали Сталину, однажды оказался приказ Паулюса, адресованный окруженным войскам и попавший в руки наших войск. Вот он:

«Приказ по армии. Довести до сведения вплоть до рот.

За последнее время русские неоднократно пытались вступить в переговоры с армией или подчиненными ей частями. Их цель вполне ясна: путем обещаний в ходе переговоров о сдаче надломить нашу волю к сопротивлению. Мы все знаем, что нам грозит, если армия прекратит сопротивление: большинство из нас ждет верная смерть либо от вражеской пули, либо от голода и страданий в позорном сибирском плену. Одно точно: кто сдается в плен, тот никогда больше не увидит своих близких! У нас есть только один выход: бороться до последнего патрона, несмотря на усиливающиеся холод и голод. Поэтому всякие попытки

вести переговоры следует отклонить, оставлять без ответа, а парламентаров прогонять огнем.

В остальном мы будем твердо надеяться на избавление, которое находится уже на пути к нам.

24 декабря 1942 г.

Паулюс, генерал-полковник».

Сталин, отложив в сторону этот приказ, мог подумать: вот на таких генералах, офицерах и солдатах основываются гитлеровские планы. В безнадежном положении, но сражаются. И как...

Однажды Жуков, уже после победы под Москвой, рассказывал Верховному о нескольких допросах пленных, которые он сам лично провел осенью сорок первого. Тогда они поразили его своей самоуверенностью, убежденностью в правоте Гитлера. Нацистский дух был особенно силен у молодых солдат и офицеров, летчиков и танкистов. Но при этом надо отдать должное, говорил Жуков, выучке, организованности и дисциплинированности, упорству немецкого солдата. Огромное значение для них имело то обстоятельство, что у них за плечами были многочисленные победы почти над всей Европой, их слепая уверенность в своем расовом, национальном превосходстве, внушенные геббельсовской пропагандой. Романтизированная история предков, шовинистический дурман, целая система духовного оболванивания с иерархией фюреров, слепая вера в особое арийское предназначение дела человека в мышиной униформе фанатичным исполнителем чужой воли. Гитлер любил повторять слова Ницше: «Вашей доблестью пусть будет послушание! Для хорошего воина «ты должен» звучит приятнее, чем «я хочу». И все, что вам дорого, должно быть сперва вам приказано!» Сначала так говорил лишь один Гитлер и его бонзы, вскоре за ними эти слова стала повторять почти вся нация, марширующая навстречу войне. Это было фанатичное опьянение ложной идеей. Миллионы листовок, которые советские органы спецпропаганды пытались распространять над территорией, оккупированной гитлеровцами, обратили на себя внимание немецких солдат лишь после того, как они испили чашу поражения в Сталинграде. Прозрение на фронте приходит обычно не от побед, а от поражений.

Когда Верховный прочитал приказ Паулюса, подписанный 24 декабря 1942 года, ни немецкий полководец, ни сам Сталин еще не знали, что менее чем через два года, в октябре 1944 года, Паулюс, ставший в дни катастрофы генерал-фельдмаршалом, подпишет совсем другой документ. Он сохранился в личном фонде Сталина. Приведем из него лишь некоторую часть:

«Немцы!

26 октября 1944 года. Генерал-фельдмаршал фон Паулюс.

Я чувствовал, что мой долг по отношению к родине и возложенная на меня, как на фельдмаршала, особая ответственность обязывают меня сказать своим товарищам и всему нашему народу, что теперь остался только один выход из нашего кажущегося безвыходным положения — разрыв с Гитлером и окончание войны.

Наглой ложью является утверждение г-на Гимmlера о том, что с немецкими солдатами в русском плену обращаются бесчеловечно, что с помощью кнута и под дулом револьвера их заставляют выступать с пропагандой против своего отечества. В Советском Союзе с военнопленными обращаются гуманно и корректно». Паулюс еще не знает, что он проведет в Советском Союзе долгих десять лет. И хотя ему были созданы соответствующие условия, поверженный полководец тосковал по Германии.

А теперь сделаем небольшое отступление. В конце февраля 1952 года С. Н. Круглов докладывал Сталину: «В ночь на 26 февраля 1952 года у содержащегося на спецобъекте под Москвой военнопленного фельдмаршала германской армии Паулюса Фридриха произошел обморок с кратковременной потерей сознания... Оказана необходимая медицинская помощь. Питанием обеспечивается вполне удовлетворительно. Вместе с Паулюсом проживают и обслуживают его: личный ординарец солдат Шульте и личный повар военнослужащий Жорж. Вследствие длительного пребывания в плену и неизвестности решения вопроса

о его репатриации в последнее время он стал проявлять нервное беспокойство». «Высочайшее» решение — репатриировать на родину — после необходимых формальностей было наконец принято. Но это все произойдет через десять лет, а пока армия Паулуса сражалась.

Только теперь, когда завершалась сталинградская эпопея, когда остались считанные недели до момента пленения Паулуса, его генералов и остатков армии, Сталин впервые во всей глубине осознал значимость свершенного. Он понимал, что дело не только в уничтожении и пленении многих тысяч немецких солдат, не в освобождении даже огромных территорий, которые так бесславно были отданы на поругание оккупантам летом и осенью 1942 года, и что само по себе имеет теперь, после этого грандиозного успеха, огромное значение, и опять же не в широчайшем международном резонансе от Сталинграда, а дело в том, что разгром немцев на Волге рождал в толще общественного сознания нашего народа неодолимую уверенность в освобождении и в той же степени разрушал веру и способность Германии бороться в этой войне до победы, как она ее своеобразно понимала тогда.

После Сталинграда Верховный поверит в себя как полководца и, повторяем, как-то быстро забудет, что озарение блестящей идеей контрнаступления, родившейся в момент, когда казалось, что новое катастрофическое поражение неминуемо, пришло не к нему. Не он автор! И не только к Жукову и Василевскому. Скромные, незаметные операторы Генштаба своими прикидками, расчетами «дovedут» идею до кристальной ясности: простую, пожалуй, даже элементарную идею окружения глубоко вклинившегося в оборону противника они разработают до изящного, до мелочей продуманного в железной последовательности плана.

Правда, в стратегии едва ли есть элементарные вещи. Мне представляется, что замечательной идеей является не сам замысел окружения немецкой группировки силами трех фронтов, нет,— попыток окружения и реальных актов окружения в минувшей войне будет осуществлено немало. Интеллектуальной вершиной стратегической идеи сталинградской наступательной операции, по моему мнению, предстает способность прийти к этому решению в кульминационный момент тяжелой обороны, чреватой новым поражением. Увидеть жар-птицу возможной победы, когда сплошные пожары над Сталинградом не могли скрыть отчаянного положения сражающихся частей и соединений,— это подлинное озарение. Не знаю, чувствовали или нет авторы этой идеи то, что задуманная операция с ее блестящим финалом поможет всему народу разглядеть контуры грядущей желанной победы, но это гениально. Это было коллективное озарение.

Мы уже отмечали, что Сталин вначале не оценил смелости идеи,— вдохновение пришло не к нему. Он не оказался способным на стратегическое прозрение, которое еще не раз посетит Жукова, Василевского, Антонова и других советских военачальников, равно как и скромных генштабистов. Но Верховный потом смог по достоинству оценить это деяние, которое со всех точек зрения выглядело шедевром военного искусства. В этом свете те частные, натужные успехи, достигнутые в 1941-м и 1942 годах и сыгравшие свою роль, с точки зрения изящества стратегической идеи были весьма далеки от сталинградской наступательной операции.

Когда после детальной проработки вопросов на оперативных картах, длинных колонок расчетов материально-технического снабжения, рекогносцировок в районы Серафимовича, Клетского, других мест Жуков и Василевский принесли карту-план контрнаступления, Сталин впервые не стал ее рассматривать — он уже жил этой идеей и всячески старался верить в нее. В углу карты Верховный размашисто поставил: «Утверждаю. И. Сталин». Внизу, у обреза карты, стояли подписи Жукова и Василевского.

...После 1945 года появятся первые апологетические публикации по отдельным операциям Великой Отечественной войны, и Сталина неприятно поразит тот факт, что, кроме него, «творца гениального стратегического замысла Сталинградской наступательной операции», упомянут и его заместитель Г. К. Жуков, начальника Генерального штаба А. М. Василевского, командующих фронтами

Н. Ф. Ватутина, К. К. Рокоссовского, А. И. Еременко, членов военных советов А. С. Желтова, А. И. Кириченко, Н. С. Хрущева, начальников штабов Г. Д. Стелымаха, М. С. Малинина, И. С. Вареникова и других военачальников. Он уже свываясь с мыслью, что Сталинград, операция по снятию блокады Ленинграда, контрнаступление под Курском, освобождение Правобережной Украины, как и завершающие операции Великой Отечественной войны, — это прежде всего плоды только его полководческого дара. Он уже никогда не сможет делить лавры с кем-либо.

Одна из причин опалы Жукова после войны, как и некоторых других полководцев, заключается в нежелании «разделить» с ними славу. Хотя, конечно, никто и не пытался ее «делить». Просто в статьях, докладах, выступлениях, фильмах, где действовал лишь один непогрешимый полководец, иногда в перечислении, списком назывались командующие фронтами, члены военных советов, начальники штабов. О командармах речь уже обычно не шла, а главный герой минувшей войны — народ — был лишь фоном блестящих деяний «непобедимого полководца». Хотя сегодня, ознакомившись с сотнями, тысячами оперативных, политических, партийных документов, касающихся минувшей войны, можно с полной убежденностью сказать, что свою роль Верховного Главнокомандующего И. В. Сталин смог исполнять только благодаря наличию в Ставке, Генеральном штабе, фронтах, флотах незаурядных полководцев и военачальников.

Наша страна, Россия, и это свидетельствует о ее неиссякаемой жизненной силе, смогла после высечения Сталиным перед войной большей части высшего командного состава возродить в муках, страданиях, крови своей, если так можно выразиться, полководческий потенциал. В этой среде рождалось военное искусство Великой Отечественной войны, то, что в связи со Сталинградом мы назвали «озарением». Сталин научится его прагматически использовать.

Верховный и полководцы

Во время войны Сталин ничего, кроме донесений, шифротелеграмм, оперативных сводок, планов операций, отчетов наркоматов, дипломатической переписки, не читал. Его библиотека и на даче, и в кремлевской квартире могла покрыться пылью. Но несколько книг он все же просмотрел. Мне довелось столкнуться с запиской Поскребышева Сталину, где перечислялись «книги о полководческом искусстве». Приведем этот список, составленный, по-видимому, по указанию вождя. Итак:

1. С. Борисов. Кутузов. М. 1938.
2. М. Драгомиров. 14 лет. 1881—1894. СПб. 1895.
3. А. Зыков. Как и чем управляют люди. Пб., 1909.
4. К. Клаузевиц. 1812 год. М. 1937.
5. Н. А. Левицкий. Полководческое искусство Наполеона. М. 1938.
6. Г. Леер. Коренные вопросы (Военные этюды). СПб. 1897.
7. Ф. Меринг. Очерки по истории войн и военного искусства. М. 1940.
8. Н. П. Михневич. Суворов-стратег (сообщения профессоров Академии Генерального штаба). СПб. 1900.
9. Мольтке. Военные поучения. М. 1938.
10. Наполеон. Избранные произведения, т. 1. М. 1941.
11. К. Осипов. Суворов. М. 1938.
12. А. Петрушевский. Генералиссимус князь Суворов. СПб. 1900.
13. А. В. Суворов. Наука побеждать. М. 1941.
14. Е. Тарле. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 г. М. 1938.
15. Фош. О ведении войны. М. 1937.
16. Б. Шапошников. Мозг армии. М. 1927.

Поставлены четыре галочки, вероятно, рукой Сталина, напротив номеров первого, одиннадцатого, тринадцатого и шестнадцатого. Возможно, при его колоссальной работоспособности он просмотрел эти и, может быть, другие книги о выдающихся полководцах и о различных гранях такого сложнейшего явления, как война. Совсем не случайно с началом войны приказал повесить в своем кабинете в Кремле портреты Суворова и Кутузова. Вполне объяснимо и то, что во время

своей короткой речи на Красной площади во время парада 7 ноября 1941 года, обращаясь к войскам, патетически произнес: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»

Сталин не раз обращался к теням великих полководцев прошлого, черпая в их славе, легендах, жизнеописаниях веру в победу, уверенность в достижении тех целей, которые он сформулировал в своей речи 3 июля 1941 года. Именно по его инициативе были учреждены полководческие ордена Суворова, Кутузова, а также Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Нахимова и Ушакова. Сталин понимал, что в условиях войны боевые традиции выступают как концентрация боевого опыта, сплав былинного и народного эпоса, животворный источник национального самосознания, чести и достоинства. Не случайно Мехлис, а затем Щербаков специально сообщали Сталину о выпуске и распределении по фронтам и армиям брошюр о знаменитых русских полководцах и военачальниках. В данном случае начальники ПУРов докладывали о выполнении одного из указаний Сталина.

На становление Сталина как Верховного Главнокомандующего, повторим еще раз, оказали наибольшее влияние четыре советских полководца и военачальника: Б. М. Шапошников, Г. К. Жуков, А. М. Василевский и А. И. Антонов. Эти фамилии названы не произвольно, не из-за «вкусовых» или личных пристрастий. Анализ многих сотен документов Ставки, военной переписки, директив и приказов Верховного Главнокомандующего, личных телеграмм и докладов свидетельствует, что названные выше три Маршала Советского Союза и один генерал армии наиболее близко сотрудничали в годы войны со Сталиным и оставили наиболее заметный след в сознании такой сложной личности, какой был Сталин.

Разумеется, Верховный хорошо знал почти всех командующих фронтами и командармов и имел многочисленные личные контакты практически со всеми крупными военачальниками. На основе опять же анализа документов архивов и мемуарной литературы можно сказать, что Сталин с немалой симпатией относился к К. К. Рокоссовскому, Н. Ф. Ватулину, А. Е. Голованову, Н. Н. Воронову, Л. А. Говорову, А. В. Хрулеву. Судя по телеграммам, запискам, резолюциям, Верховный весьма ценил как военачальников И. С. Конева, П. С. Рыбалко, П. А. Ротмистрова, Д. Д. Лелюшенко, И. И. Федюнинского, М. В. Захарова, И. С. Исакова, С. К. Тимошенко, Р. Я. Малиновского.

Многие из тех, кто был выдвинут перед войной в связи с огромным количеством «вакансий», не доказали делом свою способность быть военными руководителями большого ранга. Война устроила суровый отбор, безжалостно отсеяв безвольных, неумелых, случайных. Но главным «селекционером» в этом отборе был сам Сталин. Десятки генералов, которых он считал виновными в тех или иных поражениях, просчетах, или исчезли навсегда, или осели в самом низу военной иерархии.

В конце мая 1940 года, когда на Политбюро рассматривался список командиров, которым 4 июня 1940 года постановлением Совнаркома будут впервые присвоены генеральские и адмиральские звания, Сталин еще не знал, что из более чем тысячи удостоенных этой чести уже через год с небольшим погибнут и попадут в плен более двухсот человек, а несколько десятков будут арестованы по его санкции и многих будет ждать расстрел. Война унесет жизни нескольких сотен нового слоя военачальников, поднявшихся вместо уничтоженных накануне войны. И те, и другие были патриотами, но Сталин оценивал их только через призму личной преданности. Подумать только, трагедия тысяч военачальников своим истоком имела подозрительность одного человека! Ведь если бы он оставил эту страшную мясорубку, то террора бы просто не было! Такова чудовищная сторона единовластия.

Разумеется, при своей внутренней замкнутости и недоступности Сталин редко демонстрировал свои симпатии публично. Его «тяжелую» руку имели возможность не раз почувствовать многие полководцы и военачальники: Г. К. Жуков, И. Х. Баграмян, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, В. Н. Гордов, И. Ф. Даши-

чев, Д. Т. Козлов, И. С. Конев, А. И. Лопатин, В. А. Мишулин, Д. И. Рябышев, И. В. Тюленев, Н. В. Фекленко, М. С. Хозин, Я. Т. Черевиченко, С. М. Штеменко и многие другие.

Благодаря упомянутой нами «четверке» — Шапошников, Жуков, Василевский, Антонов, каждый из которых в разное время был начальником Генерального штаба, а также представителем или членом Ставки или заместителем Верховного Главнокомандующего, — Сталин смог проявить себя и как военный руководитель. При наличии такого блистательного окружения просто трудно было не проявить себя. Подавляющее большинство директив, решений Ставки были «пропущены» через «мозг армии» — Генштаб, через большую группу операторов и, конечно, эту четверку. Каждый из них — неповторимая военная индивидуальность. Мышление этих талантливых военачальников буквально питало решения и волю Верховного.

Смею утверждать, что большое влияние на Сталина, как, впрочем, и на Жукова, Василевского, Антонова и многих других, оказал Борис Михайлович Шапошников. Судьбе было угодно так распорядиться, что ему не довелось лично, непосредственно быть причастным к крупным победам, за исключением битвы под Москвой, не удалось прямо участвовать в наступательных операциях 1943—1945 годов, не пришлось дожить до долгожданного, выстраданного дня Великой Победы. Но его интеллектуальное влияние на военно-стратегический эшелон советского руководства значительно. Не случайно Сталин среди четырех книг исторического характера по вопросам стратегии и военного искусства отметил выдающуюся работу теоретика и полководца Шапошникова.

У маршала и профессора было счастливое сочетание: высокая военная культура, отличное образование, большой командный опыт, теоретическая глубина и огромное личное обаяние. Сталин, будучи очень сильной, волевой натурой, своей безапелляционностью обычно подавлял всех, с кем имел дело. Но, узнав ближе Шапошникова, Верховный быстро почувствовал свою военную «мелкость» перед эрудицией и логикой маршала, его умением терпеливо убеждать.

Шапошников не был ярко выраженным волевым человеком. Он, например, не мог долго настаивать на своем мнении, перечить Сталину. Это слабый «пункт» маршала. Но «обычность» воли компенсировалась тонким, гибким и масштабным умом. Жестокая, бескомпромиссная природа всесоюзного «единоначальника» как-то пасовала перед интеллектом, выдержкой, культурой представителя старой русской военной школы. Особое отношение вождя к Шапошникову знали все. Г. К. Жуков, которому пришлось не раз выслушивать жесткие и часто незаслуженные упреки Верховного, так пишет о Сталине: «Большое уважение он питал, например, к Маршалу Советского Союза Борису Михайловичу Шапошникову. Он называл его только по имени и отчеству и в разговоре с ним никогда не повышал голоса, даже если не был согласен с его докладом. Б. М. Шапошников был единственным человеком, которому И. В. Сталин разрешал курить в своем рабочем кабинете».

Подчеркивания в книге Шапошникова «Мозг армии» свидетельствуют о том, что Сталин изучал эту работу. В частности, в труде жирно отчеркнуты такие строки: «Круг военных познаний должен иметь каждый государственный деятель. оперирующий на политическом поле, — это является неопровержимым. Не желаем погружать его с головой в тайны стратегии, тем более тактики. Но считаем, что понимание природы войны не должно быть чуждо политике, ибо нельзя хорошо действовать орудием, не зная условий его применения». Шапошников, будучи теоретиком и практиком подготовки стратегических и оперативных резервов, помог Сталину постичь искусство их накопления, выдвижения и использования. Характерно, что, когда Б. М. Шапошников по состоянию здоровья ушел начальником Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, Сталин довольно часто звонил ему, обращаясь за советом, приглашал на заседания ГКО и Ставки. Пожалуй, Шапошников был одним из очень немногих людей, к кому Сталин, не «стесняясь», обращался за разъяснением, советом, помощью. Диктатор имел слабость внимать голосу человека, у которого он признавал наличие высокого интеллекта. Пусть духовная власть Шапошникова над Сталиным была

частичной, неполной, но она была. Сталин, имея в своем политическом окружении почти одних «поддакивателей», «угадывателей», возвышаясь над ними, неожиданно встретил человека, чья эрудиция произвела на него столь сильное впечатление.

Шапошников, видя дилетантскую подготовку Сталина в военных вопросах, особенно заметную в первые месяцы войны, не затрагивая достоинства Верховного, умно предлагал принять те или иные меры. Так, в сорок первом году немецкие войска обычно прорывали оборону на стыках частей и соединений. Это стало частым и печальным фактом. Шапошников доложил об этом Сталину, пояснил суть вопроса, и, когда тот понял, в чем дело, положил перед ним директиву Ставки № 98, адресованную Главкомам направлений и командующим фронтами. В ней, в частности, говорилось: «Командующие и командиры соединений (частей) забыли, что стыки всегда были и есть наиболее уязвимыми местами в боевых порядках войск. Противник без особых усилий и часто незначительными силами прорывал стык наших частей, создавал фланги в боевых порядках обороны, вводил в прорыв танки и мотопехоту и подвергал угрозе окружения части боевого порядка наших войск, ставя их в тяжелое положение». Далее в директиве ставились конкретные задачи по обеспечению стыков, созданию полос «сплошного огневого заграждения путем организации перекрестного огня частей, действующих на фронте и расположенных в глубине». Верховный согласился, но поручил подписать директиву Шапошникову.

Маршал Б. М. Шапошников был носителем высоких этических принципов. Как рассказал однажды Молотов Сталину, Шапошников обычно называл своего собеседника «голубчик». Верховный имел возможность сам убедиться в исключительной деликатности маршала. Приведем воспоминания Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова, который однажды присутствовал при докладе Шапошникова Сталину. Во время сообщения маршал сказал, что, несмотря на принятые меры, с двух фронтов так и не поступило сведений. Сталин, перебив его, спросил начальника Генштаба:

— Вы наказали людей, которые не желают нас информировать о том, что творится у них на фронтах?

Борис Михайлович серьезно ответил, что он был вынужден объявить обоим начальникам штабов выговоры. Судя по выражению лица и тону, это дисциплинарное взыскание он приравнивал едва ли не к высшей мере наказания. Сталин хмуρο улыбнулся:

— У нас выговор объявляют в каждой ячейке. Для военного человека это не наказание...

В этих словах был весь Сталин...

Однако Шапошников серьезно напомнил старую русскую военную традицию: если начальник Генерального штаба объявляет выговор начальнику штаба фронта, виновник должен тут же подать рапорт об освобождении его от должности.

Сталин посмотрел на Шапошникова, как на неисправимого «идеалиста», но ничего не сказал. Бывший царский полковник старой русской школы своей интеллигентностью обезоруживал Верховного. Эта особенность натуры, несмотря на высокую образованность многих людей, и не только военных, изрядно растерянная в наши дни, помогала Шапошникову, решая повседневные оперативные дела, ненавязчиво, тактично «учить» Верховного пониманию стратегии, военного искусства и даже технико-тактических вопросов.

Когда начала поступать на вооружение реактивная артиллерия, Верховный стал требовать самого активного ее применения в войсках. Но, во-первых, было еще очень мало установок и боеприпасов, а во-вторых, некоторые командиры, получив эти установки, начали их немедленно использовать по площадям, плохо разведанным целям. Все это привело к тому, что ожидаемого эффекта новая техника пока не произвела. Шапошников доложил Сталину о причинах ее недостаточной эффективности и предложил послать командующим фронтами и армиями специальную, особой важности, директиву. Сталин согласился. Вот это распоряжение:

«Части действующей Красной Армии за последнее время получили новое мощное оружие в виде боевых машин М-8 и М-13, являющихся лучшим средст-

вом уничтожения живой силы противника, его танков, моточастей и огневых средств. Дивизионы и батареи М-8 и М-13 применять только по крупным, разведанным целям. Огонь по отдельным мелким целям категорически воспретить. Все боевые машины М-8 и М-13 считать совершенно секретной техникой Красной Армии...

И. Сталин.

Б. Шапошников.

1 октября 41 г. 4 ч. 00 мин.»

Если Шапошников помог Сталину постичь суровую логику вооруженной борьбы, значение эшелонирования при обороне и наступлении, роль и место стратегических резервов в операциях, познать другие «тайны» военного дела, то Г. К. Жуков, пожалуй, наш самый прославленный полководец, оказал другое воздействие на Верховного. Сталин видел в Жукове не только талантливого полководца, волевого исполнителя решений Ставки, но и в чем-то, как казалось Сталину, родственного себе человека в смысле решительности, силового напора, бескомпромиссности. Именно такое предположение высказал в разговоре со мной однажды А. А. Епишев, характеризуя отношение Верховного к Жукову.

Себя Сталин считал во время гражданской войны едва ли не главным уполномоченным Ленина на фронтах. Очень верил в то, что именно он оказал если не решающее, то существенное влияние на положение дел под Царицыном, под Пермью, в Петрограде, на Южном фронте. Он уверовал в институт представителей высшей власти на фронтах. Не случайно он так активно возродил метод направления представителей Ставки на фронты в годы Великой Отечественной войны. Сталин видел своим главным представителем (а затем сделал и заместителем) Г. К. Жукова. Почему? Да потому, что считал его наиболее способным, невзирая ни на что, провести его, Сталина, решение в жизнь, способным на жесткие, а иногда и жестокие шаги, волевою бескомпромиссностью. Жуков, по мнению Епишева, отвечал представлениям Сталина о современном полководце. Конечно, всеми этими качествами, видимо, Жуков обладал, но Сталин оценивал лишь волю полководца, а силу ума — недостаточно. Это последнее замечание человека, прошедшего всю войну от Сталинграда до Праги членом Военного совета армии, представляется весьма удачным.

Все мы сегодня знаем огромную роль Жукова в разгроме немецких войск под Москвой, спасении Ленинграда, в Сталинградской операции, десятках других «глав» войны. Характерно, что Сталин по мере роста популярности и известности Жукова, особенно в конце войны, все более сдержанно относился к нему. Не случайно, когда надо было координировать действия трех фронтов по взятию Берлина, Сталин не поручил это Жукову, а оставил за собой. Маршалу же дал командование 1-м Белорусским фронтом. Верховный думал о будущем, об истории, и ему хотелось, чтобы заключительный аккорд войны, взлет на вершину триумфа ни с кем не был разделен. Даже относительно.

Сталин понимал, что твердостью характера Жуков не уступает ему, Верховному Главнокомандующему. И особенно он почувствовал этот негибемый характер с началом войны, во множестве боевых фактов. В начале сентября, например, к Сталину обратились Ворошилов и Жданов из Ленинграда за разрешением минировать корабли КБФ и при угрозе сдачи Ленинграда затопить их. Сталин разрешил. И уже 8 сентября Военный совет Ленинградского фронта принял постановление, в котором, в частности, говорилось:

«2. Принять к сведению доклад адмирала Исакова, что проект плана был просмотрен и одобрен Наркомом ВМФ т. Кузнецовым...

5. Разрешить теперь же допустить к подготовке предварительных мероприятий следующих ответственных исполнителей:

Начштаба КБФ к-а Ралль

Начштаба эскадры к 1 р. Евдокимова

Замнаркома Судпрома т. Самарина

Замнаркома Морфлота т. Кириченко

Ком. Моробороны Ленингр. к-а Челпанова

Зам. ком. моробороны к-а Жукова и

Ком. отряда транспортов к 1 р. Янсона.

Еще раз обратить особое внимание на конспирацию при разработке и проведении всех подготовительных мероприятий, поручив наблюдение за этим адм. Исакову.

Командующий Ленингр.
фронтом Маршал СССР К. Ворошилов.

Член Военного совета
Жданов».

К моменту, когда было принято решение Военного совета, из Москвы прилетел Жуков с полномочиями Сталина. «Вот мой мандат,— сказал Жуков, передавая записку Верховного как новый командующий фронтом.— Я запрещаю взрывать корабли. На них сорок боекомплектов!»

Вспоминая этот эпизод в 1950 году, Жуков скажет: «Как вообще можно минировать корабли? Да, возможно, они погибнут. Но если так, они должны погибнуть только в бою, стреляя. И когда потом немцы пошли в наступление на приморском участке фронта, моряки так дали по ним со своих кораблей, что они просто-напросто бежали. Еще бы! Шестнадцатидюймовые орудия! Представляете себе, какая это силища?».

Когда Сталин узнал об отмене Жуковым решения Военного совета, а фактически и его, Верховного, распоряжения, он не мог не оценить смелости и дальновидности нового командующего фронтом. Выслушав Жданова по этому вопросу, Сталин не стал его никак комментировать, а перешел к другим делам, давая понять, что пусть все останется так, как решил Жуков. Сталин знал, что в критические минуты Жуков может быть безжалостным и бескомпромиссным. Верховному это импонировало, это было в его духе. Жуков беспощадно боролся с трусами и паникерами, был способен на самые крутые меры, если того требовала обстановка. Например, в критический момент обороны Ленинграда в том же сентябре 1941 года он продиктовал приказ № 0064, где говорилось: «Военный совет Ленинградского фронта приказывает объявить всему командному, политическому и рядовому составу, обороняющим указанный рубеж, что за оставление без письменного приказа Военного совета фронта и армии указанного рубежа все командиры, политработники и бойцы подлежат немедленному расстрелу.

Настоящий приказ командному и политическому составу объявить под расписку. Рядовому составу широко разъяснить».

Поставив свою подпись, Жуков дал расписаться и остальным членам Военного совета фронта: Жданову, Кузнецову и Хозину. Генерал армии Г. К. Жуков был способен добиться, казалось бы, невозможного. Для этого, бывало, ему приходилось прибегать и к подобным мерам.

В одном из своих донесений Сталину в качестве командующего уже Резервным фронтом о действиях войск на Рославльском направлении Жуков сообщал: «Отдельные командиры показали себя в этих боях трусами и паникерами. К таковым относятся командир 211 дивизии полковник Фурсин, разжалованный из генерал-майоров в советско-финляндскую войну; начальник штаба 211 сд полковник Аршинцев, начальник связи 211 сд капитан Дорошенко; начальник отделения по сбору трофейного имущества интендант 1 ранга Мокров; начальник артиллерии 211 сд майор Шокин; командир артиллерийского полка 211 сд капитан Вержбицкий; командир 887 сп майор Перхорович. Все эти лица подлежат аресту и преданию суду военного трибунала». Меры были жесткие, но порядок в дивизии Жуков навел.

Или еще пример. В июле сорок первого он направляет шифровку генерал-лейтенанту Герасименко В. Ф., командующему войсками 21-й армии: «Прикажете, через делегата, командиру 75 сд немедленно прекратить трусливое поведение и преступный отход. Если он этого не сделает, Ставка приказала его предупредить, что он будет расстрелян как трус — не выполнивший своего долга».

Естественно, не всем это могло нравиться, особенно пострадавшим: отстраненным от должностей, отданным под суд, сниженным в звании. К. Симонов в своих воспоминаниях «Глазами человека моего поколения» пишет, как во время обсуждения романа Казакевича «Весна на Одере», выдвинутого на соискание

Сталинской премии, Сталин заметил: «Не все там верно изображено: показан Рокоссовский, показан Конев, но главным фронтом там, на Одере, командовал Жуков. У Жукова есть недостатки, некоторые его свойства не любили на фронте, но надо сказать, что он воевал лучше Конева и не хуже Рокоссовского».

Сталин не раз был крут и несправедлив по отношению к Жукову не только после войны, но и в ее ходе, особенно в начале. В июле 1941 года, когда возникла критическая ситуация в районе Вязьмы, Жуков предложил нанести контрудар в районе Ельни с тем, чтобы предотвратить выход немецких войск в тыл Западного фронта. Сталин, не дослушав доклад, грубо оборвал Жукова:

— Какие там контрудары, что вы мелете чепуху. Наши войска не умеют даже как следует организовать оборону, а вы предлагаете контрудар...

— Если вы считаете, что я как начальник Генштаба годен только на то, чтобы чепуху молотить, я прошу меня освободить от должности начальника Генштаба и послать на фронт, где я буду полезнее, чем здесь,— ответил Жуков. Присутствовавший при разговоре Мехлис вмешался:

— Кто вам дал право так разговаривать с товарищем Сталиным?

Результатом разговора явилось назначение Жукова командующим Резервным фронтом. Однако Сталин без этого выдающегося полководца обойтись не смог, хотя Берия и Мехлис всячески пытались скомпрометировать его в глазах Хозяина. В первый период войны Жуков для Сталина был «палочкой-выручалочкой». Когда в результате неумелых действий советского командования группа армий «Центр» в начале октября прорвала оборону и окружила значительную часть войск Западного и Резервного фронтов, Сталин послал Жукова выправлять катастрофическое положение. Показав на карту, как вспоминал Жуков, Сталин с горечью бросил:

— Смотрите, что Конев нам преподнес. Немцы через три-четыре дня могут подойти к Москве. Хуже всего то, что ни Конев, ни Буденный не знают, где их войска и что делает противник. Конева надо судить. Завтра я пошлю специальную комиссию во главе с Молотовым...

Жукову ценой принятия экстраординарных мер удалось стабилизировать обстановку. Благодаря ему был спасен и Конев от суда военного трибунала — Георгий Константинович взял его к себе заместителем командующего Западным фронтом.

Сталин вскоре почувствовал, что уверенность, решительность, «твердая рука» Жукова не только способны вносить перелом в организацию боевых действий объединений, но и само присутствие полководца, которое каким-то необъяснимым, казалось, образом быстро становилось известно войскам, поднимало боевой дух личного состава. Вот что вспоминал бывший адъютант Жукова генерал Л. Ф. Минюк о действиях Жукова под Белгородом, когда командование Воронежского фронта — Голиков и Хрущев — перестало контролировать ситуацию. «В тревожно-критический час управление этими войсками фактически взял в свои руки Георгий Константинович. И — удивительно! — никто не увидел в Жукове растерянности! Наоборот, в минуты, когда, казалось, все рушится, все валится и можно впасть в отчаяние, он становился собранным, деятельным и решительным. Опасность не угнетала его, а наполняла еще большей волей, и он казался туго натянутой пружиной или суровой птицей, готовящейся встретить напор бури. В такие минуты я часто замечал привычку Жукова сжимать кулаком подбородок».

Верховный не мог не чувствовать, что Жуков стал олицетворять современный тип полководца: с гибким, отважным мышлением, огромной волевой решительностью, моральной привлекательностью для сражающихся командиров, политработников и солдат частей и подразделений.

У Сталина не было «любимчиков», просто он полагался на одних людей больше, на других меньше. Его не останавливало при принятии решения о судьбе того или иного военачальника какое-либо моральное соображение: близкое знакомство, старые «симпатии», былые заслуги. Для него не всегда имело значение «нашептывание» окружения, за исключением, может быть, Берия.

Известно, например, что Берия и Абакумов уже после войны фабриковали дело против Жукова. Использовали даже его фотоальбомы со снимками, где Ге-

оргий Константинович был изображен вместе с американскими, английскими, французскими военачальниками и политиками, подслушивали телефонные разговоры, рылись в личных архивах, почте. У Сталина хватило при всей его подозрительности чувства меры, чтобы остановиться. А по всей вероятности, готовился арест Жукова. На специальном заседании, которое провел Сталин и где, кроме группы высших военачальников, были Берия, Каганович, другие государственные деятели, на основе ряда показаний арестованных военачальников Жукову было предъявлено обвинение в «приписывании себе лавров главного победителя». Некоторые военачальники, например, П. С. Рыбалко, заступились за Жукова, и Сталин заколебался. Он решил готовящийся арест заменить отправкой на периферийные округа: сначала в Одесский, а затем Уральский. Окончательное решение тогда принял он сам, Сталин. И никто другой.

В приказе, подписанном Генералиссимусом 9 июня 1946 года, есть ссылка на одного крупного военачальника, приславшего письмо руководству страны, в котором сообщается «о фактах недостойного и вредного поведения со стороны маршала Жукова по отношению к правительству и Верховному Главнокомандующему». Мол, Жуков утратил скромность, приписывал себе заслуги в деле наибольшего достижения крупных побед, группировал вокруг себя недовольных. Но расправиться с прославленным полководцем единоподержец не решился.

При Сталине было непросто быть «серым кардиналом», таким, как, например, Суслов при Хрущеве и Брежнев. Прежде всего потому, что сам Сталин был «главным кардиналом», более темным, чем серый...

Приходится порой слышать, что Сталин бывал крут, но справедлив. Мне один защитник такой позиции сослался на судьбу сына Верховного Главнокомандующего; мол, Сталин не жалея его «снял». Да, снимал, но делал это потому, что Василий Сталин не столько дискредитировал себя, сколько отца. Снимал с поста Сталин своего сына не только после войны, но и в ее ходе. В мае 1943 года Берия сообщил ему о новых пьяных выходках Василия, бывшего к этому времени командиром авиационного полка. Рассвирепевший Сталин тут же продиктовал приказ:

«Командующему ВВС Красной Армии
Маршалу авиации тов. Новикову.

Приказываю:

1. Немедленно снять с должности командира авиационного полка полковника Сталина В. И. и не давать ему каких-либо командных постов впредь до моего распоряжения.

2. Полку и бывшему командиру полка полковнику Сталину объявить, что полковник Сталин снимается с должности командира полка за пьянство и разгул и за то, что он портит и развращает полк.

3. Исполнение донести.

Народный комиссар обороны И. Сталин

26 марта 1943 г.»

Сталин был в таком гневе, что, диктуя, не заметил: в одной фразе у него оказалось четыре раза слово «полк» и плюс два раза — «полковник»... Доброхоты, однако, после символического «снятия» вскоре доложили, что В. И. Сталин «осознал» и готов исполнять «командную должность». Приступив через некоторое время к командованию полком, сын Сталина в конце 1943 года выдвигается уже на должность командира авиационной дивизии... Так что о справедливости Верховного здесь едва ли стоит говорить: его больше беспокоило, повторяем, собственное реноме.

Вождь обычно бывал беспощаден и непреклонен в своих кадровых решениях. Он мог их, правда, изменять, но обычно позже и без видимого влияния со стороны. Думается, Сталин этим пытался дать понять окружению, членам ГКО, Ставки, что в своих решениях о назначениях для него нет иного критерия, чем дело, практика, поступки, способности человека. Например, когда встал вопрос о том, кому поручить окончательную ликвидацию окруженной группировки в Сталинграде, мнения разделились. А в действительности прояснился характер отношения к этому человеку самого Сталина. Берия предложил оставить коман-

дующего Сталинградским фронтом Еременко, Жуков отдал предпочтение Рокоссовскому. Выслушав «стороны», вспоминал Жуков, Сталин резюмировал:

— Еременко я расцениваю ниже, чем Рокоссовского. Войска не любят Еременко. Рокоссовский пользуется большим авторитетом. Еременко очень плохо показал себя в роли командующего Брянским фронтом. Он нескромен и хвастлив.

— Но Еременко будет кровно обижен таким решением,— возразил Жуков.

— Мы не институтки. Мы большевики и должны ставить во главе дела достойных руководителей.

Сталин смеялся Жукова, Конева, Еременко, Тимошенко, Хозина, Козлова, Ворошилова, Буденного. Баграмяна, Голикова, многих других военачальников. Нельзя сказать, что без оснований. Смещение Ворошилова, Буденного, Голикова. Козлова, других полководцев часто диктовалось суровой обстановкой. Но нередко Верховный давал шанс показать себя, проявить на деле, доказать, что промашка, упущение, неудача были случайными. Давая этот шанс, Сталин, однако, о старых грехах не забывал — говоря о сталинградских делах, припомнил Еременко его неудачи на Брянском фронте.

Сталин знал, что Жуков в стремлении выполнить приказ был способен не останавливаться перед крайними мерами. По инициативе и предложению Сталина летом 1942 года было решено провести ряд наступательных операций на западном и северо-западном направлениях с целью упрочения положения советских войск под Ленинградом и Ржевом. Операции начались. Западным фронтом тогда командовал Жуков. В августе, 27 числа, ему на фронт позвонил Поскребышев и сообщил, что он назначен заместителем Верховного Главнокомандующего и его направляют под Сталинград. А до этого Жуков по распоряжению Сталина пытался разгромить Зубцово-Кармановскую группировку противника и содействовать Калининскому фронту по захвату Ржева. До тех пор, пока Сталинград целиком не «захватил» Верховного, он часто звонил Жукову, требуя «активности». Но распыленность сил и средств делала успех весьма проблематичным. Одно можно сказать, что напряженные бои лишили возможности фашистское командование снять часть соединений и перебросить их на южный фланг советско-германского фронта. Многие дивизии группы армий «Центр» потеряли до пятидесяти процентов личного состава. Жуков не привык не исполнять приказы.

Во время организации прорыва 31-й и 20-й армиями немецкой линии обороны он прибег к способу, которым вряд ли потом мог гордиться. В письменном докладе Сталину, где стоит резолюция Верховного: «т. Василевскому. И Сталин», Жуков обстоятельно сообщил о ходе операции, в которой участвовало 14 стрелковых дивизий и 11 танковых бригад, и ее результате. В докладе есть абзац, говорящий о том, что Жуков, будучи обязанным Сталиным непременно, любой ценой выполнить приказ, использовал метод, который так насаждал Верховный в первый период войны:

«Для предупреждения отставаний отдельных подразделений и для борьбы с трусами и паникерами за каждым атакующим батальоном первого эшелона на танке следовали особо назначенные Военным советом армий командиры.

В итоге всех предпринятых мер войска 31-й и 20-й армий успешно прорвали оборону противника.

Жуков. Булганин.

7 августа 1942 года».

Если говорить о личностях, то Жуков был главным действующим лицом в обороне Москвы и разгроме фашистских войск на подступах к столице. Было исторически справедливо, чтобы человек, защитивший столицу Отечества, принял прямое участие в захвате и вражеской столицы, чтобы войска, которыми он командовал, брали Берлин. Поэтому Сталин пошел на рокировку, поменяв местами Жукова и Рокоссовского. Конечно, назначив маршала Жукова командующим 1-м Белорусским фронтом, которому предстояло сыграть главную роль в этой операции, Верховный сделал это не по моральным соображениям, хотя он питал «симпатию» (если они у него вообще к кому-либо всерьез были) к выдающемуся полководцу К. К. Рокоссовскому. Сталин просто хотел полностью исключить любую случайность. Назначение в ноябре 1944 года Жукова на этот пост факти-

чески означало признание Верховным первенства этого маршала по части таланта, надежности и решительности перед всеми остальными.

Жуков почти на память помнил приказ, который он получил от Ставки, где войскам 1-го Белорусского фронта предписывалось овладеть Берлином:

«Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т:

1. Подготовить и провести наступательную операцию с целью овладеть столицей Германии городом Берлин и не позднее двенадцатого — пятнадцатого дня операции выйти на р. Эльба.

2. Главный удар нанести с плацдарма на р. Одер западнее Кюстрин силами четырех общевойсковых армий и двух танковых армий. На участок прорыва привлечь пять-шесть артиллерийских дивизий прорыва, создав плотность не менее 250 стволов от 76 мм и выше на один километр прорыва.

3. Для обеспечения главной группировки фронта с севера и с юга нанести два вспомогательных удара силами двух армий каждый...

4. Начало операции согласно полученных Вами лично указаний.

Ставка Верховного Главнокомандования.

И. Сталин.

2 апреля 1945 г.

№ 11059

Антонов».

Сталин пристально следил за операцией, которая должна была увенчать его лаврами триумфатора. Он мало вмешивался в оперативные вопросы, предпочтя это делать самому Жукову и Антонову. Но утренние и вечерние доклады начинались тем, как идет подготовка, а впоследствии и ход Берлинской операции. Жуков сообщал, что немецкие войска практически прекратили сопротивление на Западе и ожесточенно бьются за каждый дом на Востоке. Сталин прореагировал в свойственном ему духе, жестко и бескомпромиссно, послав телеграмму Жукову:

«Командующему войсками 1-го Белорусского фронта.

Получил Вашу шифровку с изложением показания немецкого пленного насчет того, чтобы не уступать русским и биться до последнего человека, если даже американские войска подойдут к ним в тыл. Не обращайтесь на показания пленного немца. Гитлер плетет паутину в районе Берлина, чтобы вызвать разногласия между русскими и союзниками. Эту паутину нужно разрубить путем взятия Берлина советскими войсками. Рубите немцев без пощады и скоро будете в Берлине.

17 апр. 1945 г. 17 часов 50 мин.

И. Сталин».

Сталин с напряжением следил за сражением в Берлине. Его интересовал «мелкий» вопрос: пленение Гитлера. До полноты триумфа ему не хватало теперь лишь одного — взять живым немецкого фюрера и судить международным трибуналом. И хотя Жуков сообщал, что бои идут в рейхстаге, на подступах к имперской канцелярии, желанного сообщения не было. Наконец, 2 мая вечером пришла шифровка:

«Товарищу Сталину.

Докладываю копию приказа командующего обороной Берлина генерала Вейдлинга о прекращении сопротивления немецкими войсками в Берлине.

2 мая 1945 г.

Жуков.

Приказ

30 апреля 1945 года фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, поклявшиеся ему на верность, оставлены одни... По согласованию с Верховным Командованием Советских войск требую немедленно прекратить борьбу.

Вейдлинг — генерал от артиллерии и командующий обороной города Берлина».

«Успел, мерзавец», — подумал Сталин, откладывая телеграмму. Ему почему-то вспомнился довоенный рассказ Молотова о встрече с Гитлером, фанатичная уверенность в том, что он одолеет англичан. А ведь уже тогда думал, как смертельнее нанести удар по Советскому Союзу. Возмездия избежал...

Последние дни войны Сталин, давно уже успокоившийся за исход битвы и

больше думавший о послевоенных делах, все чаще поручал Антонову подписывать от его имени и Ставки оперативные документы. Но когда наступили дни незабываемого триумфа и на смену военным операциям все решительнее выходила дипломатия, Сталин без раздумий решил уполномочить Жукова подписать самый главный акт войны. Если многие документы в последнее время он утверждал заочно, по телефону, то с этой телеграммой он велел прийти к нему Антонову. Текст ее лаконичен, но, читая подлинник в архиве, подсознательно чувствуешь, как много стоит за этими несколькими строчками. Это было философией трагедии, обращенной назад, и триумфа, который предстояло пережить:

«Заместителю Верховного Главнокомандующего
Маршалу Советского Союза Жукову Г. К.

Ставка Верховного Главнокомандования уполномочивает Вас ратифицировать протокол о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. Сталин.
Начальник Генерального штаба Красной Армии
Генерал армии Антонов.

7 мая 1945 года
№ 11083»

Вождь, поставив свою подпись, сделал это так, словно он, а не Жуков, спустя считанные часы подпишет долгожданный протокол. Передавая телеграмму, Сталин поднялся и неожиданно крепко пожал руку Антонову, заглянув тому в усталые, но счастливые глаза.

Знакомясь с многочисленными документами Сталина, где говорится о Жукове, текстами его переговоров по прямому проводу, телеграммами, записками, сохранившимися в военных архивах, приходишь к выводу, что Верховный Главнокомандующий ценил его более чем кого-либо из советских маршалов. Трижды Герой Советского Союза (четвертый раз этого почетного звания он был удостоен в 1956 году), два высших военных ордена «Победа», орден Суворова первой степени под номером первым — высшая аттестация полководца. Понятно, что при всех огромных заслугах Жукова перед народом эти награды в то время санкционировать мог только «сам». Но Сталин уже в сорок четвертом году почувствовал, что следовало бы уложить славу Жукова в прокрустово ложе «одного из талантливых военачальников». Когда полководческая слава Жукова перешагнула рубежи Отечества, Сталин решил, что она уже бросает тень на него.

У вождя, например, остался крайне неприятный осадок от пресс-конференции для советских и иностранных корреспондентов, которую Г. К. Жуков по указанию Москвы провел 9 июня 1945 года в Берлине (на ней, правда, присутствовал и А. Я. Вышинский). Отвечая на вопросы английских, американских, французских и канадских журналистов, маршал долго и подробно рассказывал о подготовке и ходе Берлинской операции, о сотрудничестве с союзниками, о сроках демобилизации Советской Армии, о том, как поступят с военными преступниками, поделился соображениями о преимуществах немецкого солдата над японским и многим другим. И ни слова о Сталине! Ни слова! Лишь в самом конце пресс-конференции корреспондент «Таймс» Р. Паркер спросил Жукова, словно выручая его:

— Принимал ли маршал Сталин повседневное деятельное участие в операциях, которые вы возглавляли?

— Маршал Сталин, — коротко ответил Жуков. — деятельно и повседневно руководил всеми участками советско-германского фронта, в том числе и тем участком, на котором я находился.

Сталин несколько раз перечитал последнюю фразу Жукова, глубоко уязвленный «неблагодарностью» своего заместителя. Возможно, уже тогда созрело у него решение о дальнейшей судьбе маршала. Вскоре после войны Жукова почти на семь лет «задвинут» командующим второразрядными военными округами. Сфабриковать дело о «казнах, бонапартизме» при накопившихся навыках и опыте шельмования честных людей было делом простым. Вот только Жуков, талантливый полководец второй мировой войны, не мог знать, что эта опала не

последняя. Давно замечено, что судьбы таких открытых, честных, прямых людей никогда не бывают простыми.

Сталин, не умеющий никогда самокритично относиться к себе, не задумывался, какова роль Жукова в становлении его как Верховного Главнокомандующего. Возможно, он мог признать, что никто не был способен реализовывать решения Ставки так, как Жуков, проводить их в жизнь. Но Верховный, будучи сугубо кабинетным полководцем, чаще всего утверждал, освящая своей властью решения и замыслы, родившиеся в Генштабе. Реализовывали же их Жуков, Василевский, другие военачальники — представители Ставки, командование фронтов, а главное — солдатская и матросская масса, жизнь, быт, дела, страдания, муки которых Сталин представлял лишь по донесениям, рассказам вернувшихся с фронта представителей, военной кинохронике, к которой он пристрастился начиная с 1943 года.

Одним из военачальников, ставшим впоследствии крупнейшим советским полководцем, который постоянно своей деятельностью связывал Сталина с жизнью фронтов, смертельным дыханием сражений, был Александр Михайлович Василевский. Войну он встретил заместителем начальника оперативного управления; с 1 августа 1941 года стал начальником управления — заместителем начальника Генштаба, а с июня 1942 года до февраля 1945-го был начальником Генштаба, являясь одновременно и заместителем наркома обороны. Пришлось Василевскому командовать и 3-м Белорусским фронтом, а затем стать Главнокомандующим войсками Дальнего Востока.

Своей работой в Генштабе Василевский отразил своеобразие стиля работы Сталина в высшем военном органе управления — Ставке. Две трети своего времени Александр Михайлович провел на фронте как ее представитель, выполняя непосредственные указания Сталина и только одну треть времени занимаясь непосредственно оперативными делами Генштаба в Москве. По существу, Сталин взял за правило при подготовке особо ответственных операций, как и при возникновении кризисных ситуаций на фронте, обязательно отправлять туда Жукова или Василевского. А иногда, как это было под Сталинградом, обоих сразу. С декабря 1942 года, когда по личной просьбе Василевского Сталин согласился с кандидатурой Антонова и тот был назначен начальником оперативного управления, заместителем, а затем и первым заместителем начальника Генштаба, стало немного легче. Постепенно Алексей Иннокентьевич все больше брал на себя руководство главным стратегическим органом Ставки.

Сталин умел выделять в каждом полководце, военачальнике какие-то ведущие черты, способности, грани характера или таланта. Например, Ватутин, по его мнению, о чем он не раз говорил, «хорош для наступления», а Петров — «мастер обороны». В Жукове, как мы подчеркивали, он ценил прежде всего исключительную решительность и волю. Этот тип полководца ему больше всего был по душе. Шапошников, помню, любил за интеллигентность, Рокоссовского за неброскую, спокойную, но исключительно целеустремленную манеру руководства. Сталин имел возможность полностью разочароваться в Буденном, Ворошилове, Кулике, некоторых других военачальниках. Не раз он задавал себе вопрос: почему ни один из командующих приграничными округами, став командующим фронтом в 1941 году, не смог по-настоящему проявить себя? Как такое могло произойти? Но без критической оценки своей роли Верховному оказалось непосильно ответить на эти вопросы.

Но вернемся к А. М. Василевскому. Это был универсальный полководец и военачальник. Он мог проявить себя и как командующий, и как штабной работник. Сталин видел, что Александр Михайлович одинаково уверенно действует в критических ситуациях оборонительных боев и при организации крупных наступательных операций; в стратегическом планировании и в качестве представителя Ставки, и командующего фронтом.

Однажды Сталин спросил Василевского:

— Вам что-нибудь дало духовное образование? Не думали никогда над этим?

Василевский, несколько озадаченный вопросом, однако нашелся и с достойной мудростью ответил:

— Бесплезных знаний не бывает. Что-то оказалось нужным и в военной жизни...

Сталин с любопытством посмотрел на Василевского (настроение было неплохое, недавно освободили Минск) и в тон Василевскому добавил:

— Главное, чему попы научить могут, — это понимать людей.

Затем, сразу переключившись, Сталин сказал, что маршалу нужно взять не просто под свой личный контроль действия 2-го и 1-го Прибалтийских и 3-го Белорусского фронтов. До этого подобные обязанности были возложены на Г. К. Жукова — руководство операциями 2-го, 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. Это не были Главкоматы, но в то же время Сталин таким образом ввел новую форму управления боевой деятельностью фронтов со стороны Ставки. Это были его инициатива и решение. Жуков и Василевский увидели тут рост стратегической зрелости Верховного.

В годы войны в кабинете у Сталина ежедневно проходили пять — семь заседаний и совещаний: ГКО, Ставки, с руководителями отдельных наркоматов, ЦК партии, работниками Штаба партизанского движения, разведработниками, конструкторами, транспортной комиссией и многими другими органами и организациями. Рассаживались за длинным столом. Нередко только заканчивалось одно заседание, как Поскребышев впускал другую группу товарищей. «Конвейер» стал работать медленнее лишь в 1944 и 1945 годах, когда для всех стало ясно, что разгром оккупантов — дело времени. Работоспособность этого холодного человека с колючим взглядом была поразительной. О ней не раз говорил и Василевский.

Сталин всегда очень полагался на Василевского. По существу, тот не «вылезал» с фронтов и обладал умением без надрыва, чрезвычайных мер добиться желаемого или приемлемого результата. Маршал редко возражал вождю, не был строптивым, как Жуков, но мог мягко и в то же время настойчиво провести во время обсуждения оперативных вопросов с Верховным свою линию.

Трудно сказать, сколько тысяч километров он «налетал» за годы войны, мотаясь по поручению Сталина с одного на другой фронт и возвращаясь всего на несколько дней в Москву для доклада и получения новых указаний. Практически ежедневно в течение большей части войны, за редкими исключениями, Сталин имел разговор с Василевским. Александр Михайлович в своих воспоминаниях так пишет об этом: «Начиная с весны 1942 года и в последующее время войны я не имел с ним телефонных разговоров лишь в дни выезда его в первых числах августа 1943 года на встречи с командующими войсками Западного и Калининского фронтов и в дни его пребывания на Тегеранской конференции глав правительств трех держав (с последних чисел ноября по 2 декабря 1943 года)». Кроме оперативной необходимости, Сталин испытывал постоянную потребность посоветоваться с Василевским, услышать его неторопливый, лаконичный доклад, похожий на размышление.

Вторая половина войны, хотя до февраля 1945 года Василевский продолжал оставаться начальником Генерального штаба, связана в Ставке в основном с именем А. И. Антонова. Просматривая архивные материалы, обращаешь внимание на то, что с весны сорок третьего года большинство директивных документов высшего военного органа руководства подписаны Сталиным вместе с Антоновым или одним Антоновым от имени Ставки.

Прирожденный штабист, человек высокой культуры, Антонов довольно быстро завоевал расположение и доверие Сталина. Во второй половине войны Верховный стал менее прыжистым, импульсивным, постепенно вернулся к той форме поведения, которая была присуща ему до войны, — внешнее спокойствие, подчеркнутая выдержка при огромной внутренней работе. Перед войной, мы помним, Сталин, зная, что каждый его шаг, жест, слово на людях несут смысл, который все истолковывают по-своему, внимательно следил за собой. Самоконтроль, диктуемый вождистскими соображениями создать для окружающих привлекательный образ, выработал у него неторопливую походку, плавные жесты, лаконизм изречений, внешнюю доброжелательность, подчеркнутую скромность, стремление к

лозунговым резюме («Жить стало лучше, жить стало веселее!», «Кадры решают все!», «Главный наш капитал — человек!»).

Катастрофическое начало войны, когда все висело на волоске и когда Сталин почувствовал, что народ в праве спросить с него полной мерой, — все или почти все отработанные театральные, внешние приемы и стиль поведения как-то сразу отлетели, как сухие осенние листья. Верховный стал и внешне жестким, злым, нетерпимым, в речи появились нотки истеричности. Он мог в присутствии всех высших руководителей выразить свое отношение к событию, человеку, процессу площадной бранью, принять импульсивное, мало продуманное решение. Сталин стал таким, каким он был на самом деле.

Благодаря величайшему стоицизму народа, его сохранившейся вере в социалистические идеалы, русскому, советскому патриотизму, помноженному на жертвенную стойкость солдатских масс, страна постепенно оправилась от страшных кинжальных ран войны. Энергия размаха немецкого удара начала постепенно гаснуть. Ставка, как и фронты — органы стратегического управления войсками, накапливала опыт ведения не только оборонительных, но и наступательных операций. К Сталину потихоньку начали возвращаться его старые «манеры вождя», рассчитанные на рождение легенд, божественное поклонение, гениальность, неповторимость мессии и пророка. Мы все помним, сколько раз говорили и писали, показывали в фильмах, едва ли не с трепетом, как высшее откровение, как Сталин любил расхаживать по кабинету с трубкой в руке, поправляя концевой ее частью усы; мы знали, что набивает он ее только табаком из папирос «Герцеговина Флор», пьет лишь «Хванчкару»... Он понимал, что малейшие детали его жизни, быта, обрастая подробностями, становятся частью большого мозаичного портрета вождя, «единственного мудрого руководителя».

Когда Антонов был допущен к Сталину и стал бывать у него по два-три раза в сутки, то скоро мог заметить, что Верховный сам крайне редко выдвигает какие-либо новые идеи, оригинальные предложения, если не считать, что в любой операции он всегда сокращал сроки на их подготовку, всегда торопил, полагая, что темпы, размах, глубина продвижения наших войск могут быть большими.

Наблюдательный Алексей Иннокентьевич мог заметить, что некоторые привычки Верховного носят как бы ритуальный характер. Например, нередко Сталин, слушая доклад Антонова, порой в присутствии Молотова, Берии, Маленкова, прерывал его, звонил Поскребышеву, и тот приносил стакан чая. Все молча смотрели, как дальше священнодействует Верховный, — не спеша выжимает в стакан лимон, затем идет в комнату отдыха, обойдя письменный стол, открывает дверь, которую, пока Сталин ее не распахивал, нельзя было отличить от стены, и приносит бутылку армянского коньяка. При общем молчании Хозяин наливал одну-две ложки коньяка в чай, уносил бутылку в свой «запасник», усаживался за стол и только тогда, помешивая ложечкой в стакане, бросал:

— Продолжайте...

Даже это обычное чаепитие (присутствующим, кстати, чай предлагался редко) превращалось в некий ритуал, исполненный особого «высокого» смысла, который, казалось, понятен лишь одному Сталину. Все с благоговением наблюдали это «священнодействие».

Антонов понимал, что он, замещая долгими месяцами начальника Генштаба, а затем и заняв эту должность, находится в более выгодном положении, — самые страшные, тяжелые сцены войны состоялись в ее первом акте. К моменту его прихода в Генштаб сложился определенный порядок его круглосуточной деятельности, накопился значительный опыт работы в Ставке. Но, будучи педантичным, в хорошем смысле слова, Антонов, как, пожалуй, никто до него, внес немало нового в упорядочение деятельности главного органа Ставки. Им точно были установлены сроки обработки информации, время докладов представителей разведки, тыла, фронтов, резервных формирований. Он четко распределил обязанности между своими заместителями А. А. Грызловым, Н. А. Ломовым, С. М. Штеменко.

Чтобы придать «необратимый» характер организационному совершенствованию работы Генштаба и Ставки, Антонов расписал все на трех страницах и ре-

шил доложить Сталину. Было определено время (трижды в сутки) докладов Верховному — чаще по телефону; итоговый доклад, личный — Сталину; порядок подготовки и утверждения директивных документов; взаимосвязь с различными органами управления и другие положения. Когда в конце одного из ночных итоговых докладов за сутки Антонов попросил Сталина рассмотреть и утвердить регламент работы Ставки и Генштаба, тот удивленно молча посмотрел на генерала, затем внимательно прочел документ. И так же, не говоря ни слова, начертал: «Согласен. И. Сталин». Но при этом подумал, что, видимо, этот Антонов не так прост, как кажется. Фактически тот заставил самого Верховного регламентировать не только работу других, но и свою собственную.

Если до этого Сталин мог вызвать Антонова для доклада в любое время, то теперь он и сам старался придерживаться установленных часов. Антонов смог добиться, что основные функции Генштаба: первая — «работа» на Верховного, сообщение ему необходимой информации для принятия решений и вторая — передача указаний и оперативное руководство боевой деятельностью фронтов — с этих пор тесно увязывались с усилиями центральных и главных управлений наркомата обороны.

Пожалуй, Антонов, будучи одаренным штабным работником крупного масштаба, оказал на Сталина не меньшее влияние, чем Шапошников, Жуков и Василевский. Высокая штабная культура, организованность, продуманность как главной идеи, так и мелочей очень импонировали Сталину, который всегда был схематиком. Теперь рядом с ним работал человек, который по своему предназначению должен был все раскладывать «по полочкам» и делал это впечатляюще. К концу 1943 года Верховный так поверил в Антонова, что уже поручал от его, Сталина, имени подписывать большинство директив, распоряжений и приказов фронтам, управлениям наркоматов, внутренним округам.

Антонов быстро вырос и в военном звании. Придя в 1942 году в Генштаб генерал-лейтенантом, в апреле 1943 года стал генерал-полковником и в том же году генералом армии. Но Маршалом Советского Союза он так и не стал, несмотря на благожелательное отношение Верховного к начальнику Генштаба (с февраля 1945 года), — в дело вмешался Берия. У этого исчадия зла не были сильны позиции в высшем военном руководстве, а Берия очень хотел иметь там своих людей. Сегодня известно, что высший советский генералитет всегда относился к Берии с холодной настороженностью, сохраняя в душе глубокое недоверие к человеку с маленькими очками в форме змеиных глаз. Берия постоянно искал способы привлечь на свою сторону крупных военных. К их чести следует сказать, эти его попытки оказались бесплодными. Сам факт ареста, суда и ликвидации Берии в последующем именно военными, в частности, красноречиво говорит об их отношении к этому вурдалаку.

Во время своих поездок на Северо-Кавказский фронт Берия пытался «обращивать» генералов Тюленева, Масленникова, Сергацкого, Петрова, Штеменко, других военачальников. Но в ответ в адрес Сталина пошли телеграммы, сообщения с просьбой оградить боевую работу органов управления от «команды» Берии.

Возможно, что Берии удалось лишь в какой-то степени повлиять на генерала армии Масленникова, долго работавшего под его непосредственным руководством. Об этом свидетельствует заключение специально исследовавших этот вопрос в 1953 году генералов Генерального штаба Покровского и Платонова. В своем докладе «К вопросу о преступной деятельности Берии во время обороны Кавказа в 1942—1943 годах» они пишут следующее: «Для выполнения задачи обороны в восточной части Кавказского хребта 8 августа была создана Северная группа войск Закавказского фронта, командующим которой, видимо, по настоянию Берии был назначен генерал Масленников, до этого неудачно командовавший армией на Калининском фронте... Генерал Масленников, несомненно, пользуясь покровительством Берии, нередко игнорировал указания командующего фронтом и своими действиями задержал перегруппировку войск».

Мне не хотелось бы окончательно утверждать, что И. И. Масленников стал близким человеком Берии. Но, ознакомившись с рядом его писем к Берии в 1942 году, можно сделать вывод об особых отношениях между этими людьми.

Масленников, будучи командующим 39-й армией, через голову военных начальников обратился, например, с просьбами прямо к Берии: «В силу сложной и тяжелой обстановки, а также памятью Ваше обещание оказывать возможное содействие... С особым уважением к Вам. Масленников. 7 июня 1942 г.». Ознакомившись со статьей офицеров Завьялова и Калядина «Битва за Кавказ» в августовском номере за 1952 год журнала «Военная мысль», он прислал в адрес начальника Военно-научного управления Генштаба письмо, в котором выразил несогласие с освещением роли Л. П. Берии на кавказских фронтах. В письме говорилось:

«На странице 56, характеризуя мероприятия Ставки Верховного Главнокомандования СССР, авторы лишь вскользь и чрезвычайно бегло упоминают об огромной творческой работе и принципиальных политических и организационных мероприятиях, которые осуществил товарищ Лаврентий Павлович Берия, создавший коренной перелом, изменивший всю обстановку, несмотря на чрезвычайно трудное положение, сложившееся на кавказских фронтах к августу 1942 года.

Подобная характеристика деятельности товарища Л. П. Берии не дает исчерпывающей картины всех мероприятий, которые были проведены под личным и непосредственным руководством товарища Лаврентия Павловича Берия.

Л. П. Берия, владея сталинским стилем руководства, личным примером показал образцы большевистского, государственного, военного, партийно-политического и хозяйственного руководства Закавказским фронтом (август 1942 — январь 1943 гг.), блестяще претворил указание товарища Сталина».

Сталин не мог обходиться без Берии. В душе он где-то, видимо, презирал этого человека с капризным выражением лица. Но тот ему был нужен. Это был инквизитор, исполнитель и информатор. Например, Берия несколько раз докладывал, что Берлин давно готовит террористическую акцию против Верховного Главнокомандующего. По имеющимся данным, говорил нарком, на специальном самолете фирмы Мессершмитта «Арадо-332» должны забросить опытную группу террористов из власовской РОА, а по другим — немцы, отступая, оставили диверсантов. Нарком внутренних дел почти ежемесячно докладывал Сталину о дополнительных мерах безопасности Верховного. «Дальнюю» дачу Сталин распорядился еще в 1941 году отдать под госпиталь, а «ближнюю», как и подъезды к ней, усилили дополнительной охраной.

Но Берия был нужен Сталину и для многих других дел. Вот командующий ВВС Новиков вчера доложил, что из 400 истребителей, выделенных для участия в операциях Калининского и Западного фронтов, 140 самолетов через четырехдневные операции вышли из строя. Как это могло случиться? Поручил разобраться Берии: едва ли здесь обошлось без «вредительства». Нарком «неплохо» наладил проверку людей, бывших в окружении; около половины, по его донесениям, вновь можно использовать в боевых частях, под наблюдением, конечно. Но Сталину не нравилось, когда Берия без нужды совал свой нос в дела штабов, Генштаба. Вообще он слишком многое знает... Верховный не любил делиться воспоминаниями, но Берия о нем знал больше, чем кто-либо. Сталин бы не хотел (но это дело далекого будущего), чтобы Берия пережил его. А пока он нужен Верховному...

Берия был крайне одиозной фигурой. Его только боялись, симпатий к нему питать не мог никто. Никто! Однако, повторяем, Берии была нужна опора в армии. Он видел быстрое старение вождя, и уже в конце войны у него могли появиться далеко идущие честолюбивые планы, которые без поддержки армии в условиях системы, где демократия лишь форма, реализовать невозможно. Генерала армии Масленникова Берия с согласия Сталина взял работать в свою систему, может быть, поэтому тот и проявлял публично свои верноподданнические чувства. Попытки же Берии установить особые отношения с Антоновым ни к чему не привели, — генерал был сух и официален. Тогда, как это обычно делал Берия, он стал исподволь компрометировать Антонова, ставшего начальником Генерального штаба. Хотя Сталин, видимо, не очень верил нашептываниям монстра, тем не менее свое намерение в связи с победой присвоить Антонову, начальнику Ге-

нерального штаба Вооруженных Сил СССР, маршальское звание, реализовывать не стал. Более того, в 1946 году вновь вернул Антонова на должность первого заместителя начальника Генштаба, а в 1948 году опустил еще ниже, назначив его первым заместителем командующего Закавказским военным округом.

Вообще А. И. Антонову в нашей исторической (да и художественной) литературе не повезло — его фамилия почти не упоминается в длинных списках военачальников, имевших большие заслуги перед Родиной. Он не стал ни маршалом, ни Героем, но это для истории не столь важно. Важно другое: заслуги талантливого человека не оценены по достоинству. Это был примерный солдат и настоящий военный интеллигент с сильным мышлением и тонкими чувствами. Уже после войны Антонов признался, что он мечтал о дне, когда сможет поставить пластинку с любимой музыкой: Первым фортепианным концертом Чайковского или Третьим — Рахманинова. За войну пластинки покрылись слоем пыли, но в душе звучали.

«Мозг армии» — это не только мощь коллективного интеллекта, но и его организация. С помощью Антонова к исходу войны Ставка и Генштаб как ее главный орган работали, как хорошие часы. Сталин смог перевести дух после безумия катастроф, напряжения, неясностей, разочарований и нечеловеческой работы. В 1945 году он возобновил, правда, редко, посещения Большого театра...

Война минула. Верховный на триумфальной колеснице подобно Цезарю взлетел на капиitolий славы. Но если божественный Юлий долго ломал голову над тем, как отблагодарить своих верных легионеров, то Сталин постепенно отодвинул от себя тех, кто больше других своим присутствием и положением напоминал ему действительную роль каждого в великом триумфе. Человек, чья подпись последние два года войны чаще других стояла рядом с его росчерком, единственный генерал армии, удостоенный высшего ордена «Победа», в конце концов не был в полной мере оценен Сталиным. Он уже «забыл», что в 1944—1945 годах Жуков, Василевский, Антонов разрабатывали и подавали ему такие идеи операций, такие стратегические замыслы ведения войны, что ему уже не нужно было что-то искать, а чаще всего просто соглашаться, внося лишь частные, мелкие поправки. Эти поправки обычно касались, как мы уже не раз отмечали, сроков — Сталин их всегда хоть на день-два, но обязательно «урезал». Зная эту его особенность, военачальники в Ставке и на фронтах обычно запрашивали у Верховного время на подготовку операции, перегруппировку войск, сосредоточение резервов на несколько дней больше, чем обычно требовалось.

Сталин уже «забыл», что когда он стал Верховным Главнокомандующим, то имел весьма смутное представление о теории и практике военного искусства. К пониманию тесной взаимосвязи военной стратегии, оперативного искусства и тактики как составных частей военного искусства вообще он пришел постепенно, с помощью докладов, сообщений, разъяснений «четверкой» тех или иных конкретных ситуаций. Но «просвещать» Верховного приходилось осторожно: естественно, был недопустим менторский тон.

Сталин долго понимал термин «операция» упрощенно. Для него вначале любое крупное военное действие, сражение было операцией. Мало-помалу он постиг, что операция — это совокупность сражений, боев, ударов, проводимых одновременно (или последовательно) по единому замыслу и плану. Не каждое сражение — операция. И сами операции могут быть различными и многовариантными.

Война минула. Для Сталина был важен прежде всего результат, о цене победы он предпочитал говорить только в плоскости злодеяний фашизма. О собственных промахах не говорил никогда, за исключением его выступления 24 июня 1945 года на приеме в Кремле в честь командующих войсками Советской Армии. Но и там он, как известно, сказал не о своих просчетах, а об ошибках «нашего» правительства. К бесконечному спектру эпитетов: «великий вождь», «мудрый учитель», «непревзойденный руководитель», «гениальный стратег» — теперь добавилась и военная грань — «величайший полководец». Нам поэтому хотелось бы, добавляя все новые и новые штрихи к портрету этого человека, коснуться и стратегического мышления И. В. Сталина.

Мышление стратега?

Думаю, что некоторые читатели, увидев знак вопроса после слов «мышление стратега», захотят сразу возразить мне. Ведь ставится под сомнение то, что десятилетиями подавалось как абсолютная истина. И тут же в противовес моей «ереси» приведут немало цитат, высказываний наших выдающихся полководцев, говорящих об обратном. И, наверное, эти высказывания по-своему будут верными: в то время, когда писались мемуары замечательных советских полководцев, они могли сказать только то, что разрешалось говорить. Все негативные, критические высказывания в адрес Верховного расценивались как «очернительство».

Мне довелось проработать около двух десятков лет в Главном политуправлении СА и ВМФ. Было время, когда в отделе печати ГлавПУра в соответствии с высокими указаниями Сулова и его аппарата просматривались все мемуарные рукописи. Мне приходилось говорить с людьми, которые в 50-е, 60-е годы и позже знакомились с воспоминаниями военачальников. Рукописи долго ходили «по кругу» в высоких инстанциях, и авторам было хорошо известно, что можно было писать, а чего нельзя. Прежде всего благодаря этому фильтру в книги не попадали факты, выводы, события, статистика, наблюдения, размышления, оценки, которые могли «очернить» нашу историю, и потому она выглядела всегда вполне благополучной. Думаю, дело не в том, чтобы искать конкретных «виновников», а в том, чтобы понять: в литературе сложилась система, основанная на определенных посылах и ограничениях, укладывающая любое произведение в свое прокрустово ложе. Ни Главлит, ни многочисленные рецензенты не могли игнорировать оценки, предписанные идеологической литературной системой, основанной на одностороннем видении прошлого.

Я знаю, что не все написанное многими военачальниками вошло в их мемуары. Они, готовя их, нередко под влиянием внешних обстоятельств искали место и повод, чтобы упомянуть в книге «сильных мира сего», которых в годы войны часто нельзя было рассмотреть даже в очень сильную лупу. Знаю, как некоторые ретивые приспособленцы искали часть, где до войны служил Л. И. Брежнев; ту станцию, куда однажды сопровождал из Красноярска К. У. Черненко поезд к фронту с подарками... Многие хорошие работы были «травмированы», например, вынужденными ссылками на Брежнева, поводом, чтобы упомянуть его «заслуги». Ну и, конечно, следующая, например, «реприза» не могла попасть ни в одну книгу. Лектор ГлавПУРКА полковой комиссар Синянский, выезжавший в августе 1942 года в составе группы в 18-ю армию с проверкой хода выполнения приказа № 227, пишет, в частности, заместителю начальника Главного политуправления РККА Шикину о работниках политуправления Емельянове, Брежневе, Рыбанине, Башилове, что они «не способны обеспечить соответствующий перелом к лучшему в настроениях и поведении (на работе и в быту) у работников политуправления фронта... По словам полкового комиссара тов. Крутикова и старшего батальонного комиссара тов. Москвина, и другие работники подвержены в своей значительной части беспечности, самоуспокоенности, панибратству, круговой поруке, пьянке и т. д.». Мы не можем утверждать, что все написанное полковым комиссаром Синянским (а в записке говорится и о других подобных «грехах») является истиной. Нам хотелось лишь подчеркнуть, что любая критическая тональность по адресу Брежнева в свое время была исключена.

Мы были пленниками «ложного сознания». Часто люди невольно ставились в положение: или в книге все будет «как надо», или она не выйдет в свет. Ну и еще. Не хочу обидеть никого, но скажу: большинство мемуарных книг полководцев написаны литераторами, «литературными обработчиками», людьми, часто весьма далекими от пережитого авторами книг. Да, они пользовались материалами, рассказами мемуариста, но в конечном счете писали о них, а не «авторы» воспоминаний. В результате этой вторичности очень часто личностное восприятие автора теряется, слабеет. Мне однажды довелось услышать, как сказал И. Х. Баграмян о мемуарах: «Они в очень большой степени зависят — кому какой полковник достался». Писать через «посредника», что нередко и неизбеж

но,— это всегда значит терять нечто неповторимое, уникальное, истинно авторское.

Поэтому, написав «Мышление стратега?», я хотел бы лишь бросить беспристрастный взгляд на особенность стратегического мышления человека, стоявшего во главе нашего народа и армии в Великой Отечественной войне. Скажу сразу: у Сталина в мышлении были преимущества (в некоторых сферах) перед многими советскими полководцами, но были и такие области, где он не смог избавиться от дилетантства, односторонности, некомпетентности, шаблона до конца войны. Однако по порядку.

В полном смысле слова Сталин не был полководцем. Полководец — это военный деятель. К ним относят, пожалуй, не только по должности, а больше по таланту, творческому мышлению, глубокому стратегическому видению, военному опыту и компетенции, богатой интуиции и воле. Далеко не всеми этими качествами обладал Сталин. Это был политический руководитель: жесткий, волевой, целеустремленный, властолюбивый.

Сильная сторона Сталина как Верховного Главнокомандующего была predeterminedena его положением — абсолютной властью. Но не только это поднимало его над другими военными деятелями. Он имел преимущество перед ними в том, что в силу своего положения лидера страны глубже их видел зависимость вооруженной борьбы от целого ряда других, «невоенных» факторов: экономического, социального, технического, политического, дипломатического, идеологического, национального. Как многолетний руководитель партии и государства он лучше, чем люди из Ставки, Генштаба, командующие фронтами, знал реальные возможности страны, ее промышленности и сельского хозяйства. У Сталина было, если так можно сказать, более универсальное мышление, органически связанное с широким спектром невоенных знаний. Это преимущество, повторяю, определялось именно положением Сталина как государственного, политического, партийного деятеля. Полководческая, военная грань была лишь одной из многих, которая должна быть присуща государственному деятелю такого уровня. Его роль как Председателя ГКО более рельефна, чем как полководца-стратега, и предопределялось это его довоенным положением.

Можно сказать, что наиболее сильная сторона Сталина как полководца определялась не столько его личными достоинствами, сколько теми возможностями, которыми он обладал в силу своего политического статуса. Эта особенность непременно должна учитываться, когда мы попытаемся взглянуть на мышление Сталина как полководца, стратега. По своему статусу он был им, полководцем — Верховным Главнокомандующим. Но каким? Давайте еще раз обратимся к прошлому.

Военные историки часто ссылаются на Наполеона. Биография императора-полководца сделала его высказывания классическими. Бонапарт, рассматривавший соотношение ума и характера у полководца, считал: «Люди, имеющие много ума и мало характера, меньше всего пригодны к этой профессии. Лучше иметь больше характера и меньше ума. Люди, имеющие посредственный ум, но достаточно наделенные характером, часто могут иметь успех в этом искусстве». Разумеется, надо понимать под умом не только процесс отражения объективной реальности, дающий знание о существенных связях, свойствах и отношениях в реальном мире, но и компетентность в конкретной сфере военного дела.

Как писал советский ученый Б. М. Теплов в своей превосходной работе «Ум полководца», для такой интеллектуальной работы «типичны чрезвычайная сложность исходного материала и большая простота и ясность конечного результата. Вначале — анализ сложного материала, в итоге — синтез, дающий простые и определенные положения. Превращение сложного в простое — этой краткой формулой можно обозначить одну из самых важных сторон в работе ума полководца». Другими словами, мышление полководца позволяет видеть одновременно и целое, и детали, и движение, и статику. Подлинное мышление полководца — это синтетическая (обобщающая) сила ума, выражающаяся в конкретности мышления С помощью его, мышления, «добывается» истина, суть которой в освещении «тьмы».

Незнание врага, его дезинформация, поверхностное постижение «себя», сумерки завтрашнего — все это можно высветить лишь истиной, продуктом мышления полководца. Но у полководца должны быть одинаково сильны ум и воля, интеллект и характер. Мы знаем, что порой на первый план выходит то одно, то другое. Но всегда ум и воля должны выступать в единстве. Только тогда полководец способен проявить гибкость в отношении уже принятого решения, плана с одновременным упорством и твердостью в достижении цели.

Верховный, если так можно выразиться, мыслил по «схеме». Самой слабой стороной его стратегического мышления являлось господство общих соображений над конкретными. Правда, в обобщающем анализе это может выражать как раз сильную сторону. Политик в Сталине всегда брал верх над военным деятелем. Скажем точнее: искушенный, жесткий политик брал верх над военным-дилетантом.

Для стратега, безусловно, общие соображения всегда важны, но у Сталина они нередко заслоняли конкретные проблемы и наоборот. Когда он пытался сосредоточиться на чем-либо одном, конкретном, то у него «уплывали» из-под контроля сознания вопросы более общего порядка. Например, в те дни, когда назревала харьковская катастрофа — третья декада мая 1942 года, — Сталин, как явствует из анализа его работы, тогда активно занимался обеспечением проводки караванов судов в Баренцевом море, делами Волховского фронта, организацией «порчи аэродромов» противника на Западном фронте, выделением катеров для Ладожской военной флотилии, дальнейшей передислокацией войск для уничтожения демянской группировки. Ему не хватило стратегического «ума» для концентрации своих усилий, Генштаба, представителей Ставки на главном в тот момент «звене» советско-германского фронта. Сталин, как и Тимошенко, Хрущев, не сразу почувствовал глубину опасности. Игнорируя, как обычно, решения и действия главкоматов, Сталин в данном случае довольно беспечно подошел к выводам и заверениям командования фронтом и штаба юго-западного направления, да и интуиция вовремя не «подсказала» Верховному о грозной опасности.

Слабой стороной мышления Сталина как полководца была его известная оторванность от временных реалий, что отмечали и Жуков, и Василевский. Очень часто Верховный, загоревшись какой-либо идеей, требовал немедленной ее реализации. Нередко он, подписывая директиву фронту, отводил с момента ее отправления до начала осуществления указания всего несколько часов, что обычно обрекало штабы и объединения на неподготовленные, поспешные действия, ведущие к неудаче. Так, несколько раз Западному фронту в 1942 году следовали распоряжения и приказы Сталина, сопряженные с переброской соединений с одного участка фронта на другой на 50—70 километров, а времени на эти маневры давалось всего по пять-шесть часов. Но столько же требовалось и для того, чтобы приказ едва-едва успел дойти до непосредственных исполнителей. До конца войны Сталин не мог постичь истины: взмах руки Верховного еще не означает моментального исполнения его воли в полках и дивизиях. Этот недостаток мышления Сталина связан с исключительно слабым представлением о жизни войск, их быте, работе командиров, последовательности и порядке исполнения приказов и распоряжений.

Будучи невоенным человеком, Сталин, решая те или иные оперативные вопросы, больше полагался не на конкретное знание ситуации, обстановки, а на примат «нажима», давления на военачальников и штабы. При этом часто его распоряжения, выводы диктовались лишь соображениями здравого смысла, а не стратегической или оперативной оценкой. 5 октября 1942 года Сталин передает по телефону Еременко и Рокоссовскому:

«Заняв центр города и выдвинувшись к Волге севернее Сталинграда, противник намерен отобрать у Вас переправы, окружить 62 армию и взять ее в плен, а после этого окружить южную группу Ваших войск, 64 и другие армии и тоже забрать их в плен... Это говорит о Вашей плохой работе. Сил у Вас в районе Сталинграда больше, чем у противника, и несмотря на это, противник продолжает теснить Вас. Я недоволен Вашей работой на Сталинградском фронте и тре-

бую, чтобы Вы приняли все меры для защиты Сталинграда... та часть Сталинграда, которая занята противником, должна быть освобождена».

Никаких конкретных оперативных указаний, но общее высказано предельно ясно: Сталинград не сдавать; я вами недоволен. Это тогда значило немало.

Нередко Сталин, ведя переговоры по прямому проводу, с сарказмом, уничтожающе отбрасывал оправдательные аргументы неудачников. 4 июля 1942 года Сталин по «прямому проводу» разговаривает с Тимошенко:

«Сталин: Выходит, что триста первая и двести двадцать седьмая стрелковые дивизии находятся в окружении и вы их отдаете противнику? Верно ли это?

Тимошенко: Двести двадцать седьмая отходит следом за восьмой мотострелковой дивизией... Что касается триста первой стрелковой дивизии, до сегодняшнего дня обнаружить ее не можем. Полагать, что она в окружении, у нас нет оснований. Мы допускаем — она понесла поражение и отдельными группами просачивается, возможно, за двести двадцать седьмой. Все.

Сталин: Ваши догадки о триста первой и двести двадцать седьмой дивизиях очень похожи на сказку. Если вы так будете терять дивизии, скоро вам нечем будет командовать. Дивизии не иголки, и терять их мудрено».

Отчитывая Голикова за потерю связи со своими соединениями 30 июня 1942 года, Сталин в сердцах бросает командующему Брянским фронтом: «Пока вы будете пренебрегать радиосвязью, у вас не будет никакой связи, и весь ваш фронт будет представлять неорганизованный сброд. Плохо вы поворачиваетесь, и вообще вы опаздываете. Так воевать нельзя». Сталин вторгается здесь в обстановку скорее не как оператор, а как политический, государственный руководитель, требуя с плохо скрытыми угрозами улучшить руководство войсками.

Волевое начало в интеллекте Верховного обычно берет верх. Иногда его телеграммы просто констатируют убийственную ситуацию, без каких-либо выводов и распоряжений. Но эта «констатация» часто выглядит зловеще для военачальника:

«Командующему Северо-Кавказским фронтом.

Государственный Комитет обороны крайне недоволен тем, что от Вас нет регулярной информации о положении на фронте. О потерях территории Северо-Кавказского фронта мы узнаем не от Вас, а от немцев. У нас получается впечатление, что Вы, охваченные паникой, отступаете без пути и неизвестно, когда наступит конец Вашему отступлению.

10 августа 42 г. 20.45.

И. Сталин».

При огромном авторитете Сталина подобные напоминания Верховного действовали «мобилизующе». Стимулятор был испытанным: страх, боязнь быстрых решений, которые в лучшем случае могли опустить военачальника на несколько ступеней вниз по служебной лестнице, в худшем — таким руководителем могли заняться люди Берии.

В 1943—1945 годах Сталин как стратег, полководец постиг ряд важных истин оперативного искусства, о которых ему деликатно напоминали его военные помощники. Верховный понял, например, что к обороне нужно и можно переходить не только тогда, когда к этому принуждает противник, но и, как в некоторых операциях 1942 года, заблаговременно, а в последующем и преднамеренно, чтобы подготовиться к наступательным действиям. Сталин очень не любил оборону, с ней у него связаны самые мрачные воспоминания и переживания.

Он помнит, как 16 сентября 1942 года, кажется, вечером, Поскребышев вошел и молча положил перед ним экстренное донесение Главного разведуправления Генштаба за подписью генерала Панфилова о радиоперехвате берлинской трансляции. «Сталинград, — говорилось в сообщении, — взят доблестными немецкими войсками. Россия рассечена на северную и южную части, которые скоро впадут в состояние агонии».

Верховный несколько раз перечитал лаконичный текст, невидящими глазами уставился в окно кабинета, за которым там, далеко на юге, кажется, произошла катастрофа, где он почти четверть века назад так же боролся в критической ситуации. Но тогда выстояли... Почему не могут сейчас? Что за командиры? Только на днях он отстранил от должности командующего 62-й армией генерала Лоп-

тина, командиров корпусов Павелкина и Мишулина... Ему не приходило и в голову, что целому слою молодых командиров, которые за три-четыре года прошли путь от командиров рот до командиров корпусов, просто не хватало знаний, опыта, умения. Да дело не только в командирах. Сталин ни разу не сказал своим соратникам и помощникам, что недооценка опасности нового немецкого наступления на южном направлении дорого обошлась стране. Вглядываясь в щель полужащенного окна, боясь услышать подтверждение верности немецкого сообщения, Сталин уже думал о том, как продолжать дальше борьбу. Колебаний в этом вопросе у него не было, и он тихо сказал Поскребышеву:

— Соедините меня с Генштабом. Быстро...

Через минуту Верховный диктовал генералу Бокову телеграмму Еременко и Хрущеву: «Сообщите толком, что у вас делается в Сталинграде. Верно ли, что Сталинград взят немцами? Отвечайте прямо и честно. Жду немедленного ответа».

Сталин, повторимся, не любил оборонительные операции. Защищались часто неумело, натужно, компенсируя просчеты руководства большими потерями, оставлением все новых и новых территорий, но и беспримерным упорством бойцов. В конце войны он вспоминал первые полтора года войны как длинный и кошмарный сон. Пережил много разочарований. Сталину было трудно признаться самому себе, что остановить врага в конце концов удалось лишь ценой огромных территориальных, материальных и людских потерь. Не благодаря стратегии, а в результате подвижничества всего народа. Такова была мера платы за предвоенные ошибки, просчеты, террор, самоуверенность. Но сказать Сталину об этом было некому.

Для Сталина всегда была важна только цель. Его никогда не мучили угрызения совести, чувство горечи и боль от огромных потерь. Его лишь пугало, что в его руках не стало столько-то дивизий, корпусов и армий, но не людей. Ни в одном документе Ставки не видна озабоченность Сталина слишком большими потерями. Та, настоящая грань военного искусства, которая отражает его суть, — достижение поставленных целей с возможно меньшими потерями, — Сталина мало интересовала. Верховный считал, что как победы, так и поражения в войне непременно собирают скорбный урожай. Жертвы, массовые жертвы, по Сталину, — неизбежный атрибут современной войны.

Может быть, Сталин так считал, будучи Верховным Главнокомандующим огромной по численности армии? К концу войны в Вооруженных Силах насчитывалось около 500 стрелковых дивизий, не считая артиллерийских, танковых, авиационных! Это в два раза больше, чем накануне войны. Правда, по численному составу советские дивизии значительно уступали немецким, но Сталин, несмотря на неоднократные предложения военачальников, не пошел на укрупнение соединений. Сталину, обладая такой огромной военной мощью, хорошо налаженной системой пополнения войск, совсем было не обязательно, как ему казалось, ставить в зависимость достижение стратегических целей от уровня потерь. Для него были обычными такие страшные по своей сути добавления к директивам: «Верховное Главнокомандование обязывает как генерал-полковника Еременко, так и генерал-лейтенанта Гордова не щадить сил и не останавливаться ни перед какими жертвами». Нередко Сталин добавлял в телеграмме: в качестве своеобразного «приза» фронту, армии при успешном решении задачи выделить одну, две, а то и три дивизии.

Верховный «считал» дивизии десятками. Он всегда любил крупный масштаб, поэтому его тезис «не останавливаться ни перед какими жертвами» не просто моральная характеристика его интеллекта, но и характеристика стратегическая, характеристика предельно негативная. Достижение цели, по Сталину, повторяем, не должно ставиться в зависимость от количества жертв, которые часто просто не считали. Не случайно, что и теперь, спустя полвека после окончания войны, мы не знаем точной официальной цифры потерь — их тогда толком не учитывали.

Вместе с тем надо сказать, что Сталин в определенной мере причастен к развитию новых форм стратегических действий — операций групп фронтов. Это были сложнейшие и крупнейшие комплексы боев и сражений, подчиненные единому

замыслу, согласованные по цели, времени и месту. Некоторые из них «вбирали» в себя от 100 до 150 дивизий и больше, десятки тысяч орудий, до трех — пяти тысяч танков, пяти — семи тысяч самолетов. Это колоссальная мощь, проявляющая себя в соответствии с игрой стратегического воображения и планов Генштаба, управлений фронтов, учета многочисленных факторов и возможностей (как своих, так и противника). Именно здесь, в таких операциях, где участвовало несколько фронтов, Сталин по-настоящему почувствовал себя «полководцем».

Крупные масштабы действий не означали для него лишь количественное выражение используемой мощи. В них он видел большие возможности собственного стратегического «самовыражения» и утверждения. После Московской и Сталинградской битв Сталин постоянно пытался «сочлентить» усилия разных фронтов в новых и новых стратегических комбинациях. Курская, Белорусская, Восточно-Прусская, Висло-Одерская, Берлинская, Маньчжурская операции соответствовали не только объективному ходу дел, но и пристрастию Сталина ко всему крупному, масштабному, подавляюще огромному. А это были именно такие операции. Полоса наступления в них нередко достигала 500—700 километров по фронту и глубины до 300—500 километров, продолжительности до месяца. Верховный, как всегда, торопил с началом, был недоволен темпами, раздражался при заминках. Общий замысел наступательных операций, предлагаемых Генштабом, Сталин схватывал быстро, иногда предлагал некоторые детали, направленные на повышение мощи ударов.

Но принципиальные идеи как альтернативу предложенным Генштабом обычно не выдвигал — замысел рождался в «мозгу армии». Как правило, в операциях Сталин старался повысить роль, и мы уже говорили об этом, авиации; когда же летом 1942 года стали создавать танковые армии, то он обязательно уточнял их задачи, пристально следил за использованием таких мощных ударных объединений.

Анализ многих операций по архивным документам показывает, что их планирование, ход, развитие, завершение не носили явно выраженной «печати» влияния Верховного. Например, выслушав доклад Жукова о ходе сражения 9—10 июля 1943 года в районе Поньрей, Сталин среагировал таким образом, что как бы отдавал на откуп окончательное решение своему заместителю:

— Не пора ли вводить в дело Брянский фронт и левое крыло Западного фронта?

Последние полтора года войны Сталин уже неплохо разбирался в оперативных стратегических вопросах. Часто предлагал в той или иной наступательной операции осуществить окружение вражеской группировки — после Сталинграда этот вид операций стал у него приоритетным. Не раз, выслушав Антонова, как бы между прочим говорил:

— А еще один Сталинград здесь немцам устроить нельзя?

«Набор» форм боевых действий, которые он усвоил, был бедным. Но он постигал, оценивая по достоинству предложения, которые делались командующими фронтами, военными членами Ставки. Верховный, как мы уже сказали, питал слабость к такой форме наступательных действий, как окружение и уничтожение противника ударами нескольких фронтов (Белорусская и Яско-Кишиневская операции). Ему очень импонировала идея организации и проведения ряда последовательных операций с различными временными интервалами, на различную глубину. Придет время, и все хором будут говорить, что эта концепция — плод «стратегического гения Сталина». Однако для него стало откровением предложение Генштаба и фронта о нанесении нескольких «дробящих» ударов в Орловской операции с развитием их в глубину и на флангах; расчленение крупной группировки противника (в Висло-Одерской операции) и уничтожение ее по частям.

Сталин, допустивший крупные просчеты в определении направлений главных ударов фашистских войск в первый период войны, был более осмотрителен при определении основных усилий советских войск, когда они перешли в контрнаступление и наступление. Зимой 1942/43 и летом 1943 годов Сталин поддерживал мнение высших военных командиров добиться стратегического успеха на юго-западном направлении, но уже летом 1944 года стало очевидно, что

предложение Генштаба о перенесении центра тяжести наступательных операций вновь на западное направление может ускорить разгром фашистской армии.

Еще раз подчеркнем: сам Сталин, как правило, не выдвигал стратегические идеи операций, но в 1943—1945 годах был в состоянии оценить их по достоинству. Пожалуй, его «гениальность» во второй и третьей периоды войны чаще всего выражалась в понимании и одобрении рациональных предложений, выдвигаемых Жуковым, Василевским, Антоновым, командующими фронтами.

Мысль Сталина, опираясь на многофакторные основы понимания войны, по-своему искала пути повышения эффективности боевых действий, ускорения разгрома гитлеровских войск. Это проявлялось в нескольких отношениях. В частности, в 1943—1945 годах по инициативе Сталина неоднократно обращалось внимание командующих, штабов, резервных армий на усиление оперативной маскировки, улучшение управленческой работы штабов армий, корпусов и дивизий, ускорение прохождения команд, приказов и директив до исполнителей, создание специальных контрбатареинных соединений, использование авиации и танковых соединений. Сам спектр этих вопросов стратегического, оперативного и даже тактического характера, одобренных Верховным, свидетельствует, что он уже немалому научился у войны, у своих профессиональных военных помощников в Ставке, стал интуитивно чувствовать слабые и сильные стороны некоторых своих решений.

Вместе с тем Сталин по-прежнему уделял особое внимание поиску путей активизации боевой деятельности исполнителей, особенно в оперативном звене командования. Тут его решения, принимаемые, как правило, единолично, были радикальными.

Иногда Сталину приходили на ум идеи, которые внешне были алогичными, но тем не менее сыграли заметную роль. Таким было, как мы уже упоминали, решение провести парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, таким же неожиданным для его окружения было предложение провести большую массу немецких военнопленных через Москву летом 1944 года.

— Это еще больше поднимет моральный дух народа и армии, ускорит разгром фашистов. Как думаете? — обратился он к соратникам.

Молчавшие Молотов, Берия, Воронцов, Калинин после короткого замешательства стали наперебой соглашаться:

- Мудрый шаг, Иосиф Виссарионович!
- Это только вы могли такое предложить!
- Гениальное решение!

Уже через неделю, 13 июля, Берия докладывал Верховному план необычной «моральной» операции:

— В соответствии с вашими указаниями, Иосиф Виссарионович, семнадцатого июля сего года через Москву будет проведено пятьдесят пять тысяч военнопленных и в том числе: восемнадцать генералов, тысяча двести офицеров. В Москву с Первого, Второго и Третьего Белорусских фронтов доставим двадцать шесть эшелонов. Генералы Дмитриев, Миловский, Горностаев и комиссар госбезопасности Аркадьев этими вопросами уже вплотную занимаются. Ответственные за охрану и конвоирование по Москве—работники НКВД Васильев и Романенко. К вечеру шестнадцатого июля на ипподроме и на плацу мотострелковой дивизии НКВД сосредоточим всех. Рассчитали: двадцать шесть эшелонов — двадцать шесть колонн. Маршрут движения: Московский ипподром, Ленинградское шоссе, улица Горького, площадь Маяковского и далее по Садовому кольцу: Садово-Триумфальная, Садово-Каретная, Садово-Самотечная, Садово-Сухаревская, Садово-Спасская, Садово-Черногрязская, Чкаловская, Крымский вал, Смоленский бульвар, по Баррикадной и Краснопресненской улице возвращение на Московский ипподром... Начало движения с девяти утра; завершение — к шестнадцати часам. (К слову сказать, затем будут меняться и маршрут, и время. — Д. В.)

- Выдержат ваш поход колонны? — перебил Сталин.
- Выдержат, товарищ Сталин.
- А что после?

— Рано утром следующего дня с одиннадцати пунктов (вокзалов и станций) — отправка в лагерь на восток.

Берия хотел докладывать дальше, но Сталин не захотел больше слушать. «Дашь идею — исполняют, — глядя с неприязнью на соратников, размышлял Верховный. — А сами не могли додуматься?»

Большое значение Сталин придавал моральному стимулированию бойцов и командиров в действующей армии. Например, по его предложению в начале сентября 1943 года были разработаны своеобразные критерии награждения командиров за успешное форсирование рек. После правки Сталина директива Ставки военным советам фронтов и армий в этой части выглядела так:

«За форсирование такой реки, как река Десна в районе Богданово (Смоленской области) и ниже, и равных Десне рек по трудности форсирования представлять к наградам:

1. Командующих армиями — к ордену Суворова 1-й степени.
2. Командиров корпусов, дивизий, бригад — к ордену Суворова 2-й степени.
3. Командиров полков, командиров инженерных, саперных и понтонных батальонов — к ордену Суворова 3-й степени.

За форсирование такой реки, как река Днепр в районе Смоленск и ниже, и равных Днепру рек по трудности форсирования названных выше командиров соединений и частей представлять к присвоению звания Героя Советского Союза.

И. Сталин.

9 сент. 1943, 2 часа

Антонов».

Такие директивы не единичны. Сталин периодически перед трудными рубежами, которые следовало преодолеть, использовал моральные стимулы, не без оснований полагая, что щедрое поощрение отличившихся является существенным фактором в создании и поддержании боевого порыва наступающих войск.

Правда, в наградах Сталин был довольно щепетилен, понимая, что «переборщивание» может работать уже против него. Он не согласился, например, в 1949 году, когда отмечали его семидесятилетие, с предложением Г. М. Маленкова о награждении его второй Золотой Звездой Героя Советского Союза (вождь был удостоен двух «Звезд»: Героя Социалистического Труда в 1939-м и Героя Советского Союза в 1945 году). Сталин посчитал: после награждения его вторым орденом «Победа» надо «остановиться». Рассказывают, что, когда президента де Голля хотели наградить высшим орденом, он остановил ретивых: «А разве Франция может наградить Францию?». Сталин пресек погон заград, но это не было мудростью, а просто элементарным пониманием того, что «перебор» тут же превратится в свою противоположность.

Но Брежнев, Черненко этого сделать не смогли, потому что хотели этого потока... Человек в положении «первого лица» Советского государства до недавнего времени мог награждать себя по любому поводу (и без повода), это не прибавляло ему авторитета, а, наоборот, снижало. В итоге у Сталина было орденов почти столько же, сколько, например, у Мехлиса, и в четыре-пять раз меньше, чем у Брежнева. Но «щепетильность» к наградам у Сталина проявлялась не в этом: он не жаловал политработников, штабистов, тыловых офицеров. Верховный мог дать звание маршала рода войск командующему танковой армией, а, например, последовательно занимавшему высокие должности генерал-лейтенанту Телегину К. Ф. — члену Военного совета МВО, Московской зоны обороны, фронтов: Донского, Центрального, Белорусского, 1-го Белорусского, Группы советских оккупационных войск в Германии — звание генерал-полковника «не разрешил».

Однажды вождю стало известно, что командующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал армии Еременко наградил орденами и медалями, не учтя мнение члена Военного совета, группу работников газеты «Вперед на врага». Особисты доложили о «разночтении» в подходе командующего и члена Военного совета. Сталин тут же продиктовал приказ народного комиссара обороны № 00142 от 16 ноября 1943 года, в котором говорилось:

«1. Приказ командующего 1-м Прибалтийским фронтом от 29 октября 1943... о награждении правительственными наградами работников редакции фронтовой газеты отменить. Выданные ордена и медали — отобрать».

2. Пункт приказа Военного совета 1-го Прибалтийского фронта от 24 сентября о награждении редактора газеты «Вперед на врага» полковника Кассина как незаконный — отменить. Выданный Кассину орден Отечественной войны отобрать.

3. Разъясняю генералу армии тов. Еременко, что ордена и медали установлены правительством для награждения отличившихся в борьбе с немецкими захватчиками бойцов и офицеров Красной Армии, а не для огульной раздачи кому попало...

4. Редактора газеты полковника Кассина... снизить в воинском звании до подполковника и назначить на меньшую работу.

И. Сталин».

Вот таким был Сталин, что столь резко мог реагировать на ошибки, по его мнению, в «наградной политике». Для него ордена и медали были лишь стимулом для достижения успеха, а не наградой за сделанное.

Подписав директиву о форсировании р. Вислы, Сталин продиктовал Антонову еще одну, которая пошла командующим 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами как самостоятельная:

«Придавая большое значение делу форсирования Вислы, Ставка обязывает Вас довести до сведения всех командармов Вашего фронта, что бойцы и командиры, отличившиеся при форсировании Вислы, получают специальные награды орденами вплоть до присвоения звания Героя Советского Союза.

И. Сталин.

29 июля 1944 г. 24 часа.

Антонов».

Пока шла война, полководцы, за редчайшим исключением, Сталину не возражали. Но со смертью вождя и особенно после XX съезда стали известны частные или общие «ревизии» во взглядах на полководческий «дар» Верховного. В качестве иллюстрации стратегического «инакомыслия» мне хотелось бы привести один факт, о котором, уверен, сегодня мало кто знает.

В своих мемуарах «Конец третьего рейха» и в ряде других публикаций и выступлений Маршал Советского Союза В. И. Чуйков высказал мысль, что Берлин можно было взять не в мае, а в феврале 1945 года. Ему возразили Г. К. Жуков, А. Х. Бабаджанян, другие военачальники, в том числе и в печати. Чуйков попытался ответить на критику в «Военно-историческом журнале», но ему отказали в публикации. Тогда он написал в ЦК партии, откуда посоветовали провести «соответствующую» работу со «строптивым» маршалом. По поручению со Старой площади 17 января 1966 года у генерала армии Епишева собрались советские маршалы, генералы, специалисты, чтобы «вразумить» Чуйкова. После доклада генерал-полковника К. Ф. Скоробогаткина слово взял Чуйков, который вновь сказал, что «советские войска, пройдя 500 километров, остановились в феврале в 60 километрах от Берлина... Кто же нас задержал? Противник или командование? Для наступления на Берлин у нас было войск вполне достаточно. Два с половиной месяца передышки, которые мы дали противнику на западном направлении, помогли ему подготовиться к обороне Берлина».

Оппоненты Чуйкова — генерал армии А. А. Епишев, маршалы И. С. Конев, М. В. Захаров, К. К. Рокоссовский, В. Д. Соколовский, К. С. Москаленко, другие участники встречи — пытались убедить своего коллегу в том, что наступательный заряд войск к этому времени иссяк, отстали тылы, устали войска, нужно было пополнение, боеприпасы...

Возможно, истина была на стороне большинства, но я вижу в этом совещании нечто другое: уже начался период «моратория» на критику Сталина. Рассматривая вопрос, была или не была возможность осуществить Берлинскую операцию раньше, все участники встречи у Начальника Главного Политического Управления СА и ВМФ, как будто договорившись, совершенно не связывали его с решением Ставки и Сталина. Даже теоретическое рассмотрение возможности начать операцию раньше было решительно осуждено. А. А. Епишев, подытоживая результаты обсуждения, заявил, что взгляды Чуйкова по этому вопросу «не-

научны», что нельзя «очернять нашу историю, иначе не на чем будет воспитывать молодежь».

Старые пути догматического мышления, к формированию которого столько сил приложил Сталин, цепко держали этих почтенных людей тогда, в немалой степени удерживают нас и сейчас. Дело не только в том, возможно было или нет ускорить начало последней операции войны, а в том, что даже сама постановка вопроса представлялась еретической. Сталина давно не было, но стиль его мышления существовал. Даже люди такого высокого ранга и стратегического ума не были готовы обсудить его действия как Верховного Главнокомандующего. А ведь маршалы очень многое знали о нем, но вырваться из своего времени дано немногим...

Когда Сталин окончательно почувствовал, что время работает на победу союзников (после Сталинграда), он начал выкраивать, чаще ночью, 30—40 минут, чтобы посмотреть фронтовую кинохронику. Иногда просмотр таких лент подталкивал его к принятию широкомасштабных решений. Мысль кабинетного полководца, получавшая дополнительную информацию, трансформировалась через присущие ему стереотипы тоталитарности, цезаризма, подозрительности, недоверия, настороженности.

В одной из кинолент были, например, кадры, когда во фронтовой полосе, где-то в полусожженном колхозном сарае, поймали двух полицаяев, которые не успели скрыться или сдать. Тут же Сталин приказал направить распоряжение командующим фронтами (в копиях — Берии) с требованием неукоснительно выполнять директиву Ставки от 14 октября 1942 года. Согласно этому документу устанавливалась прифронтовая полоса, из которой без всякого исключения отселялось население в целях «недопущения в расположение частей вражеских агентов и шпионов». Сталин своей рукой написал: «Особо важно. Прифронтовая зона должна стать неприступной для шпионов и агентов врага. Пора понять, что населенные пункты, расположенные в ближайшем тылу, являются удобным убежищем для шпионов и шпионской работы». Нет, в директиве ни слова не говорится об отселении ради безопасности мирных жителей (ведь это советские граждане!), о проявлении заботы о них... «Шпионское» мышление Сталина и здесь усмотрело прежде всего опасность от освобожденных граждан. В этом отношении Сталин так никогда и не изменился...

Мы уже отмечали, что Верховный не обладал хорошими прогностическими способностями. Это объяснить можно: склонный к догматическому мышлению ум труднее схватывает те тенденции, которые как бы «скрываются» за горизонтом завтрашнего дня. Он, например, ставил задачу сделать 1942 год годом разгрома гитлеровских захватчиков и ошибся. Затем год 1943-й и, наконец, год 1944-й. Тоже не получилось. Причем не просто ставил задачу, а выражал «уверенность» в реальности осуществления этой программной установки, но это были эфемерные прогнозы.

Практичный, цепкий ум Сталина плохо видел в сумерках неизвестности. Это объясняется тем, что он так никогда по-настоящему и не овладел диалектикой, ее законами. Часто не располагал достоверными данными как о своих войсках, так и о противнике. Установлено: ему нередко в преувеличенном виде говорили о потерях противника, здорово округляли в большую сторону силы немцев в надежде получить дополнительное подкрепление.

Эта искаженная фронтовая статистика, которая делает невозможной реальную, трезвую оценку обстановки, анализ соотношения сил серьезно ослабляла прогностические способности Ставки и самого Верховного Главнокомандующего. Но в этом он виноват сам — ложь давно уже чувствовала себя хозяйкой в его цезаристской жизни. Сталин жестко наказывал, даже снимал военачальников со своих постов за преувеличенные или преуменьшенные данные, но до конца искоренить случаи деформации истины в донесениях не удалось. Сталин уличал в этом даже Жукова, полагавшегося на непроверенные донесения снизу:

«Тов. Юрьеву (Г. К. Жукову. — Д. В.)

Получил Вашу телеграмму, где Вы просите подать Вам свежий штурмовой

авиакорпус, так как на I Украинском фронте в строю имеется, как Вы утверждаете, всего 98 штурмовиков... Вас, должно быть, ввели в заблуждение.

На самом деле у Вас в строю имеется 98 штурмовиков, плюс к этому 95 штурмовиков в составе 224 штурмовой дивизии, расположенной в Прилуки. Всего, значит, в строю имеется у Вас 193 исправных штурмовика. К этому надо добавить 143 штурмовых самолета, направляющихся к Вам россыпью для пополнения штурмовых дивизий. Стало быть, всего у Вас на фронте будет 336 исправных штурмовых самолетов.

16 марта 1944. 1 час 45 мин.

Иванов (И. В. Сталин.— Д. В.)».

Данные у Верховного и его заместителя: 98 и 336 самолетов. Разница слишком большая. Скорее всего и та, и другая цифра неточны, но это свидетельствует о заинтересованности некоторых командиров, штабов в существовании искаженной статистики.

Если в начале войны Сталин доверялся любым сообщениям, то позже самые драматические известия он уже воспринимал спокойнее. Кардинально Гитлер уже ничего не мог изменить — время работало только на союзников. Поэтому, когда поступали непроверенные сигналы, Сталин жестко отчитывал командующих, а заодно и представителей Ставки, находившихся на том или ином фронте. Вот еще директива:

«Командующему 1-м Прибалтийским фронтом
генералу армии Еременко. Копия — тов. Воронову

Шум, который Вами был поднят о наступлении крупных сил противника, якобы до двух танковых дивизий со стороны Езерице на Студенец, оказался ни на чем не основанным, паническим донесением... Впредь не допускать представления в Ставку и Генеральный штаб донесений, содержащих непроверенные и непродуманные панические выводы о противнике.

12 ноября 1943 г. 24.00.

И. Сталин».

Сталин, вероятно, чувствовал свою неполноценность как полководца, не представляющего конкретно жизни фронта. Этот комплекс уязвимости он испытывал еще больше оттого, что часть его соратников благодаря его же решениям побывала на фронтах. Жданов был тесно связан с Ленинградом, видел своими глазами блокаду и как член Военного совета фронта был в гуще военных дел. Не «вылезал» с фронта и Хрущев. Довольно длительное время просидел в блиндаже штаба Сталинградского фронта Маленков, но, будучи полностью беспомощным в военных делах, он только изредка подписывал телеграммы Сталину вместе с командующим. Ни в одной части на передовой Маленков так и не побывал. Правда, Сталин еще раз послал Маленкова на фронт в апреле 1944 года.

От члена Военного совета Западного фронта Л. З. Мехлиса, постепенно оправившегося от сокрушительного крымского фиаско, однажды поступило личное письмо Сталину. Содержание его осталось неизвестным, однако 3 апреля Сталин издал приказ, в котором говорилось: «Поручить Чрезвычайной комиссии в составе члена ГКО тов. Маленкова (председатель), генерал-полковника Щербакова, генерал-лейтенанта Кузнецова, генерал-полковника Штеменко и генерал-лейтенанта Шимонаева проверить в течение 4—5 дней работу штаба Западного фронта». Трудно сейчас сказать, что писал Мехлис, что проверяли, какие сделали выводы, но только после отъезда комиссии командующий фронтом генерал армии В. Д. Соколовский пошел на понижение: его перевели начальником штаба 1-го Украинского фронта.

Сталин в течение всей войны держал Маленкова возле себя для различных поручений в аппарате, а также для контроля за авиационной промышленностью. Когда дела с выпуском самолетов наладились, Верховный санкционировал в сентябре 1943 года присвоение Маленкову звания Героя Социалистического Труда. Почти одновременно сделал его Председателем Комитета при СНК по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации.

Сталин решил попробовать и Кагановича на военной работе. В июле 1942 года он направил его на Кавказ, назначив членом Военного совета Северо-Кавказского фронта. К слову сказать, тем же приказом начальником штаба этого фронта был назначен генерал-лейтенант А. И. Антонов, будущий начальник

Генштаба. Каганович ничем положительным на фронте себя абсолютно не проявил — как и Маленков, был статистом в военной игре и простым «соглядатаем» Сталина в штабе и политуправлении фронта. Но грозные филиппики Сталина и до него дошли.

Когда Северо-Кавказский фронт в середине августа 1942 года без санкции Ставки отошел с занимаемых рубежей, Сталин телеграфировал Военному совету (Буденному, Кагановичу, Корницу и другим):

«Нужно учесть, что рубежи отхода сами по себе не являются препятствием и ничего не дают, если их не защищают... По всему видно, что вам не удалось еще создать надлежащего перелома в действиях войск и что там, где командный состав не охвачен паникой, войска дерутся неплохо... Суворов говорил: «если я запугал врага, хотя я его не видел еще в глаза, то этим я уже одержал половину победы; я привожу войска на фронт, чтобы добить запуганного врага».

Здесь, похоже, Сталин что-то «сочинил» за Суворова, но Верховному очень хотелось вдохновить Военный совет фронта, в котором Каганович, один из его бывших фаворитов, выглядел запуганным стрелочником. Правда, одно «фронтное» задание Каганович все же исполнил успешно. В тяжелые дни и недели прорыва немцев на юге Сталин поручил ему вместе с Берией наладить работу трибуналов, прокуратуры, других элементов карательной системы, способной, по мысли Верховного, заставить людей стоять насмерть.

Сталин часто привлекал Берия к вопросам обеспечения фронтового тыла, «просеивания» в лагерях вышедших из окружения, «мобилизации» сотен тысяч заключенных на работы, стройки, связанные с нуждами фронта. Берия принимал участие в формировании некоторых соединений и частей. Например, 29 июня 1941 года Ставка своим приказом возложила на Берия формирование 15 дивизий на базе частей НКВД. А в августе 1942-го и марте 1943 годов Берия находился на Кавказе, куда его послал Сталин для оказания помощи в обороне этого региона. Оттуда нарком внутренних дел слал депеши Сталину о том, что он изымает чеченцев и ингушей из воинских частей как не заслуживающих доверия; давал оценки действиям Буденного, Тюленева и Сергацкого; докладывал о своих решениях по военным назначениям (например, заместителем командующего 47-й армией был назначен сотрудник НКВД подполковник Рудовский, совсем незнакомый с оперативными вопросами). В соответствии с докладами Берия по национальным вопросам Сталин отдавал соответствующие распоряжения.

Приведем, например, директиву от 20 августа 1942 года:

«Командующему Закавказским фронтом
Зам. НКО т. Щаденко

1. Изъять из состава 61 стр. дивизии 3767 армян, 2721 азербайджанца и 740 чел. дагестанских народностей...

2. Изъятых из 61 сд армян, азербайджанцев и дагестанских народностей направить в запасные части Зак. фронта, а некомплект в личном составе, полученный в дивизии в результате изъятия, покрыть из ресурсов фронта за счет русских, украинцев и белорусов...

Исполнение донести».

Берия был настоящим провокатором. В национальном вопросе они вместе со Сталиным во время войны осуществили немало антиленинских шагов, эхо которых мы слышим и сегодня. Когда Берия вернулся в Москву, то, рассказывая Сталину о своей поездке, не преминул сказать о «своих личных впечатлениях», о «переднем крае», «бомбежках», «бездарности» некоторых «подозрительных» руководителей.

Сталин, слушая разглагольствования лоснящегося от сытости Берия, выглядевшего совсем не усталым после таких «напряженных» дел, где-то в глубине души почувствовал свою уязвленность. После октябрьской (в 1941 году) неудавшейся поездки на фронт, когда доехал лишь до Волоколамского шоссе и увидел всполохи приближающегося к Москве фронта в 10—15 километрах от места, ку-

да добралась его кавалькада, Сталин больше не собирался на передовую. После рассказов Берии, а затем и Маленкова о своих «боевых крещениях» он решил твердо, хотя бы для «счета», ради символики побывать на фронте. И такая поездка, чрезвычайно тщательно, в огромной тайне готовившаяся, состоялась. Сталин побывал на Западном и Калининском фронтах в начале августа 1943 года. После этого, по его мнению, уязвимых мест в его биографии как полководца не осталось.

1 августа от Кунцева Сталин отбыл на специальном поезде. Были подобраны старенький паровоз, полуразбитые вагоны. К небольшому составу прицепили для маскировки и платформу с дровами. Сталина сопровождали Берия, помощник вождя Румянцев, переодетая усиленная охрана. Прибыв в Гжатск, Сталин повстречался с командующим Западным фронтом В. Д. Соколовским, членом Военного совета Н. А. Булганиным. Заслушав начальников и высказав общие пожелания, Сталин, переночевав, отправился в сторону Ржева, на Калининский фронт к А. И. Еременко.

Здесь он остановился в деревне Хорошево, в домике простой крестьянки, стоявшем на отшибе от других, но хозяйку предварительно со всем скарбом отсюда выселили. Этот домик, с резным карнизом и мемориальной доской, стоит и поныне, напоминая о фронтовых «коллизиях» Верховного. Рассказывают, что именно из этого домика Сталин распорядился издать приказ о первом орудийном салюте в честь взятия Орла и Белгорода. Встретившись здесь с командующим фронтом, поехать в войска фронтов и повстречаться с командирами и бойцами Сталин не пожелал. Без всяких драматических происшествий (в первую поездку у Сталина, помнится, засела машина в грязи на проселочной дороге) после ночевки в Хорошеве на автомобилях вместе с Берией под особой усиленной охраной Верховный вернулся в Москву. Он мог быть теперь удовлетворенным: никто не смел думать (говорить-то, естественно, совсем никто не мог!), что полководец «видел» фронт лишь с помощью кинокадров хроники, докладов генералов Генштаба да представителей Ставки, которые почти безвылазно находились на фронтах.

Возможно, действительно Верховному незачем было ездить на фронт? Ведь не бывал же Сталин на заводах, а вот возглавил такой рывок в индустриализации страны! Он один раз побывал в селах, а какую там «революцию сверху» провернул! Поле брани разве может быть исключением? Сталин умел все видеть из своего кабинета в Кремле. Ему даже не понадобился специальный защищенный пункт управления Ставки для руководства страной во время войны (на «Кировской», пункте Управления ПВО Москвы, он бывал совсем немного, когда фашисты были под Москвой). Верховный был непревзойденным мастером кабинетного руководства, поэтому его касательное посещение линии фронта (в действительности он был очень далеко от него) понадобилось ему не для ознакомления с делами двух фронтов, не для обогащения впечатлениями от встреч с личным составом частей, готовящихся к наступлению. Нет. Это нужно было для истории. Сталин, уверен, думал о своем историческом реноме. Будущие летописцы должны были соответствующим образом отразить сей акт его полководческой деятельности. В его биографии должна быть страница его вдохновляющего приезда в действующую армию.

Но Сталин посчитал необходимым, чтобы союзники о посещении им фронта узнали от самого Верховного Главнокомандующего. Вот несколько выдержек из его писем к Ф. Рузвельту и У. Черчиллю.

Сталин — Рузвельту. 8 августа 1943 года:

«Только теперь, по возвращении с фронта, я могу ответить Вам на Ваше последнее послание от 16 июля. Не сомневаюсь, что Вы учитываете наше военное положение и поймете происшедшую задержку с ответом... Приходится чаще лично бывать (разрядка моя.— Д. В.) на различных участках фронта и подчинять интересам фронта все остальное».

Сталин — У. Черчиллю. 9 августа 1943 года:

«Я только что вернулся с фронта и успел уже познакомиться с посланием Британского Правительства от 7 августа... Хотя мы имеем в последнее время на

фронте некоторые успехи, от советских войск и советского командования требуется именно теперь исключительное напряжение сил и особая бдительность в отношении к вероятным новым действиям противника. В связи с этим мне приходится чаще, чем обычно (разрядка моя. — Д. В.), выезжать в войска, на те или иные участки нашего фронта».

Нет, Сталин это писал не только для того, чтобы отказаться от поездки в Скопа-Флоу для встречи с лидерами двух стран. Для этого было достаточно ссылки на сложность обстановки на фронте. Верховному хотелось, чтобы он не прослыл кабинетным полководцем.

К удовольствию Сталина, Ф. Рузвельт и У. Черчилль в своем совместном послании Верховному 19 августа 1943 года по достоинству оценили его «непосредственное» руководство фронтами: «Мы полностью понимаем те веские причины, которые заставляют Вас находиться вблизи боевых фронтов, фронтов, где Ваше личное присутствие столь содействовало победам».

Сталин был во главе народа и армии в войне. Его воля и целеустремленность как политического и государственного деятеля сыграли свою роль в разгроме фашизма, который он хотел одно время представить «другом»! Если считать, что он как лидер такой огромной и мощной страны имел различные грани, то его полководческая сущность не была сильнейшей (впрочем, разве мы можем хотя бы одну грань его характера, натуры назвать позитивной?!). Его в значительной мере дилетантское и некомпетентное руководство, особенно в первые полтора года, выражается прежде всего в катастрофических материальных и людских потерях. Их смог вынести лишь советский народ, который устоял не благодаря, а вопреки «гению» Сталина. Ссылки на внезапность, неподготовленность, вероломство Гитлера, ошибки военачальников и т. д. не оправдывают Сталина, а лишь подчеркивают его стратегическую близорукость и ущербность. Верховный Главнокомандующий, возглавляя Вооруженные Силы, привел их к победе ценой невообразимых потерь. Н. Бердяев, опираясь на свое религиозно-философское мировоззрение, писал, что «война есть вина, но она есть также искупление вины». Он мог бы добавить: искупление невинными вины других. Война унесла в вечность тысячи, миллионы жизней людей, не успевших пройти всю длину своей, уготованной судьбой тропы до конца.

Мы знаем, что подлинный талант, стратегическое мышление полководца как раз и ценятся за способность достичь самые высокие цели с наименьшими жертвами. Этого таланта у Сталина не было. Более двадцати миллионов человеческих жизней (а мы далее скажем о наших подсчетах) пришлось положить советскому народу на алтарь Победы. По данным профессора А. Кваши, основывающимся на математических расчетах, анализе многочисленных точных данных и сопутствующих тенденций, прямые потери нашего народа в годы войны составили примерно 26—27 миллионов человек. По моим подсчетам, которые близки к этим, такой страшной цены не платил за свою свободу и независимость ни один народ в истории. Но, кроме прямых, огромна цифра и потерь косвенных (от падения рождаемости и так далее). Повторимся: истории неизвестны доселе масштабы таких потерь. И если сопоставить их с «полководческим гением» Сталина, то сразу станет очевидной неуместность по крайней мере приписывания Верховному особых заслуг в победе. Эти заслуги целиком принадлежат простым советским людям, народу, переборовавшим непростительные просчеты Сталина и его окружения накануне войны, а также в ходе ее.

Сталинские слова: «ценой любых жертв», которые мы привели в этой главе, — не случайны. Они в значительной мере характеризуют Верховного, отдававшего предпочтение, говоря словами известного русского теоретика М. Драгомирова, «волевому», а не «умовому» стилю руководства. Гармонии этих слагаемых Сталин не добился. В общем конечном успехе нельзя переоценить и ту роль, которую сыграли в стратегическом руководстве военные органы, те люди, которые при Сталине оставались часто как бы в тени.

Вольтеровские слова эпитафии к этой главе напоминают: полководец, одержавший в конце концов победу, в глазах людей как бы вовсе не совершал оши-

бок. Эти слова как нельзя лучше относятся к Сталину — ему никто и никогда не говорил о его «ошибках». Зато многие, а их миллионы, говорили о величии полководца «всех времен и народов». Генералиссимус Советского Союза и сам не сомневался в своей «гениальности», едва ли подозревая, что история своим судом вынесет иное решение.

В конце войны Сталин, занимаясь военными делами, все больше времени уделял множеству других вопросов. Единодержец, диктатор, сконцентрировавший всю полноту власти, обрек себя на бесконечный конвейер дел, но его сознанию это льстило: все в его власти, все в русле его воли. Полководец, которого уже давно и дружно все называли «великим», постепенно переключался на другие сферы. Впрочем, многие из этих дел были по-прежнему прямо связаны с войной. Большие и малые, важные и менее значимые.

Вот, например, сегодня, 16 марта 1945 года, Берия доложил, что Цанава в полосе Белорусского фронта обнаружил родственников Рокоссовского. Бог с ними... Еще сообщение, что в Москве давно ждет его приема заместитель католикоса всех армян Георг Чеорекчян. Интересно, что ему от него нужно? Что он пишет? «В дни Отечественной войны армянская церковь со своим духовенством и верующими в СССР и за границей не отстала от других церквей Советского Союза. Она на деле доказала свою историческую верность великому русскому народу и Советскому государству». Это ясно. Но что он просит? Ага, понятно: разрешения на восстановление святого Эчмиадзина, открытие Духовной академии, типографии и журнала «Эчмиадзин», согласия на построение разрушенного храма «Звартноц», возможность приезда в Армению заграничных духовников, открытие инвалидного счета в Ереванском банке и многое другое...» Что же, кое-что придется разрешить. Православная церковь, и не только она, сделала немало для поддержки его, вождя, в самые трагические месяцы войны.

Что еще положил сегодня в папку Поскребышев? «Лагеря лесной промышленности НКВД, — читал Сталин, — за годы Отечественной войны выполнили государственные планы лесозаготовок и обеспечили выполнение заданий по оборонной продукции... авиационная фанерная береза, крепежный лес, спецкупорка». Просят о «награждении орденами и медалями работников лагерей лесной промышленности». Пусть награждают... Что еще? Доклад Серова о встречах в Варшаве с представителем польского эмигрантского правительства Янковским и руководителями польских подпольных партий «Стронництво людове», «Стронництво пращи», «Стронництво демократичне», «Стронництво народных демократов», «ППС»... Надо прежде, чем решать, как быть с этими партиями, посоветоваться с Берутом и Осубко-Моравским. А вот проект Постановления ГКО: выделить для охраны президента Чехословакии Бенеша и его правительства батальон войск НКВД и один зенитный полк. Надо согласиться — Бенеш ему раньше оказывал важные услуги и сейчас пока ведет себя очень лояльно...

Сталин перелистывал одну за другой десятки бумаг: о количестве военнопленных в лагерях СССР, о работе фильтрационных пунктов по приему возвращающихся на Родину советских граждан (где-то отметил, что многие десятки тысяч оттуда — напрямик в лагеря НКВД), об усилении банддвижения в Прибалтике, о чекистской войсковой операции под руководством Кобулова, Цанавы и Бельченко в западных районах Белоруссии «по изъятию антисоветских элементов и ликвидации вооруженных бандгрупп», о создании новых спецлагерей для проверки советских военнослужащих, освобождаемых из плена... Берия сообщает, что многие районы страны на востоке охвачены жестоким голодом, особенно Казахстан, Забайкалье. Ни конца, ни края докладам, справкам, сообщениям. А скоро уже придут военные с очередным докладом.

Верховный Главнокомандующий к концу войны часто чувствовал, что груз свинцовой усталости, словно полная солдатская выкладка, давил на плечи. Задерживался дольше обычного утром на даче, уже не раз днем вытягивал онемевшие ноги на диване в комнате отдыха. Вместе с ростом славы надвигалась и старость... А после военных придет Молотов: скоро настанет время говорить не пуш-кам, а дипломатии. Во весь голос.

Сталин и союзники

Факел войны, зажженный несколько лет назад Гитлером в Берлине, вот-вот должен был погаснуть, и также в Берлине. В последние дни апреля — начале мая Сталину ежедневно следовали доклады Антонова о встречах с союзниками.

Войска союзников... Для Верховного Главнокомандующего это была та сторона, грань войны, с которой у него (да и не только у него) связаны долгие ожидания, надежды, разочарования, торги, подозрительное недоверие, вновь надежды и, наконец, достаточно отлаженное военное сотрудничество. Антонов, кроме обобщенной справки Генштаба о соприкосновениях с войсками союзников, положил на стол Сталину целую папку донесений: штаба 58-й гвардейской стрелковой дивизии, штаба 1-го Белорусского фронта, командующего войсками 61-й армии, командующего войсками 2-го Белорусского фронта, политического отдела 5-й гвардейской армии, политического отдела 13-й армии, штаба 3-го Украинского фронта, политического управления 2-го Белорусского фронта, других штабов и политорганов. Сталин специально запросил донесения из войск — он хотел почувствовать непосредственные настроения генералитета, офицеров, сержантского и рядового состава, узнать о поведении союзников, выверить свой курс на отношения с ними в будущем. Ведь война заканчивалась только на западе.

Лидеры союзников, пожав друг другу руки в Тегеране, Ялте (и вскоре в Потсдаме), сделали тем самым несколько крупных шагов к тому, чтобы люди планеты, живя в одном космическом доме, несущемся в бесконечных пространствах Вселенной, поняли истину, которая встанет перед ними во весь рост менее чем через полвека после общей победы. Ни Сталин, ни Черчилль, ни безвременно умерший Рузвельт в то время, видимо, еще не думали, что наша цивилизация уникальна и, вероятно, одинока в беспредельном мироздании. Пока никто не доказал обратного. Вокруг нет обитаемых островов и подобных Земле кораблей. Поэтому всякая попытка одной части земель уничтожить другую, которая живет и думает иначе, может разрушить бесценный очаг. Человечество, завершая один из актов своей драмы, еще не знало, что вступает в ядерно-космическую эру. Тогда, весной сорок пятого, казалось, что союз бывших недругов прочен и долговечен. При всей своей ортодоксальности Сталин во имя антифашистской коалиции пожертвовал Коминтерном, далеко отодвинул в сторону идеологические постулаты, закрыл глаза на долгий и глубокий антисоветизм Черчилля и западных демократий. В самые критические, переломные моменты на первый план у него всегда выходили прагматические соображения.

Обычно Верховный Главнокомандующий читал лишь сводки Генштаба, донесения фронтов, доклады представителей Ставки. А сейчас, в эти дни приближающегося триумфа, он просмотрел немало сводок иного информационного содержания. Вот одна из них: «В 15.30 25 апреля 1945 года в районе моста, что вост. Торгау, произошла встреча между офицерским составом 173 гв. сп и патрулями войск союзников, принадлежащих первой американской армии, 5 армейскому корпусу, 69 пехотной дивизии. На вост. берег р. Эльба для переговоров переправилось пять человек во главе с офицером американской армии Робертсоном... Рудник».

Кто такой Рудник? (С. Р. Рудник — начальник штаба 58-й гвардейской стрелковой дивизии.) Как эти «рудники» поведут себя в контактах с армиями союзников, но из того, капиталистического мира? Будут братания или трения?

Сталин вспомнил, что тремя неделями раньше он получил «особо важную» телеграмму от Абакумова. На основе доклада отдела «Смерш» 68-го района авиационного базирования в Полтаве, аэродром которого использовался летом 1944 года американской авиацией для «челночных» операций, он сообщал о действиях генерал-майора Ковалева, заявившего: «С американцами у нас не клеится. Не исключена возможность здесь, в Полтаве, вооруженного столкновения с американцами». В связи с этим Ковалев приказал провести ряд мероприятий «на всякий случай».

Сталин, прочитав шифровку, тогда негромко чертыхнулся:

— Откуда берутся дураки? Ведь даже план боевых действий составил этот Ковалев...

Наискось документа он размашисто наложил резолюцию:

«Т-щу Фалалееву (ВВС)

Прошу унять г. Ковалева и воспретить ему самочинные действия.

И. Сталин».

А теперь вот сообщают: «Встречи с американскими и английскими войсками проходят в восторженной обстановке. Вот какие радости происходили во время встречи генералов: командира 58 сд Русакова и командира 69 американской пехотной дивизии Рейнхардта... Тосты, речи, подарки, ура. Начальник политотдела 5 гвардейской армии Катков сообщает, что на этой встрече американцы старались заполнить на память в качестве сувениров звездочки, погоны, пуговицы... Генерал писал, что советские солдаты удивлены тем, что у американцев трудно отличить генерала от рядового. У всех одинаковая форма. То ли дело у нас: генерал виден издали».

Сталин в душе был согласен с советскими солдатами, ведь он сам любил маршальскую форму и теперь не расставался с ней, нередко задерживаясь на минуту-другую у зеркала. Американцы со своей гнилой демократией не понимают: в обществе должна быть иерархия. В форме она сразу видна для всех... Кстати, на встрече, пишет Катков, был и писатель Константин Симонов. Неплохо пишет о войне, отметил попутно про себя Верховный. Сейчас вот братаются, а сколько стоило сил наладить союзное сотрудничество!

Долгий период недоверия, подозрительности между СССР и западными демократиями надо было перешагнуть. То, что не удалось сделать до войны, было осуществлено с «помощью» Гитлера. Фюрер, ведя войну на два фронта, невольно сделал СССР и западные страны союзниками. Сталин помнит, как 12 июля 1941 года (двумя днями раньше он стал Председателем Ставки) в Кремль прибыл посол Великобритании Криппс со своими сотрудниками, а также с составом британской миссии. Сталин с Молотовым в сопровождении Б. М. Шапошникова, Н. Г. Кузнецова, А. Я. Вышинского встретились в зале с англичанами. Вождь еще не мог никак отойти от жестокого потрясения, испытанного после начала войны. Ему стоило большого труда надеть на себя маску обычного величавого спокойствия. Только сейчас, за полчаса до этой официальной встречи, Шапошников доложил Сталину: два дня назад 2-я и 3-я танковые группы немцев и часть сил 9-й армии группы «Центр» вышли на широком фронте на рубеж рек Западная Двина и Днепр...

Подумать только: немцы на Днепре! Немецкие армии численностью около 70 соединений готовились после начавшегося Смоленского сражения нанести смертельный удар дальше, по Москве... Сталин, лишенный душевного равновесия, как-то механически обменялся рукопожатиями с англичанами и отрешенно смотрел на спины В. Молотова и С. Криппса, подписывавших Соглашение о совместных действиях двух стран.

Он помнит, как через неделю посол СССР в Лондоне И. Майский и министр иностранных дел Чехословакии Я. Масарик подписали аналогичное соглашение, а потом, в том же июле и тоже в Лондоне, Соглашение между СССР и польским правительством о взаимной помощи в войне против Германии. По настоянию польской стороны первым пунктом Соглашения стояло: «Правительство СССР признает советско-германские договоры 1939 года касательно территориальных перемен в Польше утратившими силу».

30 июля 1941 года Сталин встретился в Москве с личным представителем американского президента Д. Рузвельта Гарри Гопкинсом. Американец по поручению президента заявил, что тот, кто сражается против Гитлера, является правой стороной в этом конфликте и они намерены оказать помощь этой стороне. Сталин коротко изложил просьбы о технической помощи, выразив надежду, что президент понимает положение СССР. Соглашение о помощи будет заключено позже, но ознакомительная поездка Гопкинса положила начало налаживанию сотрудничества.

Через год М. Литвинов, посол СССР в США, подпишет вместе с госсекре-

тарем Кордэллом Хэллом соглашение о принципах «ведения войны против агрессии». Еще во время беседы с Гопкинсом Сталин, рассказав о критическом положении на фронтах, попросил (он это совсем не умел делать, поскольку никогда, ничего и ни у кого не просил) у Соединенных Штатов как можно быстрее при-слать зенитные орудия среднего калибра, крупнокалиберные зенитные пулеметы, винтовки, алюминий для строительства самолетов и высокооктановый бензин. «В последующем, — негромко, но настойчиво говорил Сталин, — прошу передать просьбу президенту, нам будут нужны самолеты. Много самолетов».

Еще в июле Сталин направил специальную миссию во главе с генералом Ф. И. Голиковым в Англию. Он лично проинструктировал генерала, поручил это же сделать Шапошникову, Тимошенко, Микояну по конкретным вопросам. Голиков поехал с двумя основными задачами: стимулировать стратегический интерес к высадке англичан в Европе или в Арктике, а также способствовать более быстрому переводению в практическую плоскость военно-технической помощи. После возвращения в Москву и получасового доклада Сталину Голиков сразу же получил распоряжение в том же месяце направиться и в Соединенные Штаты. Здесь Сталин концентрировал внимание на главном вопросе: налаживание военных поставок в широком объеме и в возможно близкие сроки. Перед лицом угрозы поражения Сталин в военно-политической области проявлял большую активность. Идеологический антагонизм как-то сразу отошел на второй план, показав свою вторичность и преодолимость.

Сталин, будучи типичным прагматиком, быстро переступил через идеологические предрассудки и решительно пошел навстречу западным демократиям. Впрочем, иного выбора у него не было. Вообще надо сказать, что в создании антигитлеровской коалиции Сталин сыграл заметную роль (если бы она была создана до войны!). По мере обретения душевного равновесия советский лидер стремился заручиться поддержкой как можно большего числа стран, делал все, чтобы не допустить сползания с позиций нейтралитета по отношению к СССР Японии и Турции. Но, естественно, особые надежды возлагал на Великобританию и США.

Будучи человеком практического ума, с первых шагов Сталин стремился перевести зарождавшееся сотрудничество в деловую плоскость. Так, едва ли не в первом послании Черчиллю 18 июля 1941 года он прямо ставит вопрос: «Мне кажется... что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе (северная Франция) и на Севере (Арктика)». Во всех своих последующих переговорах, переписке, обменах телеграммами Сталин не устанет напоминать об идее второго фронта. Правда, в том же послании Сталин, как бы «отсекая» свои предвоенные маневры и действия, оправдывая территориальные изменения, с которыми были не согласны на Западе, от нынешних реалий, пишет: «Можно представить, что положение немецких войск было бы во много раз выгоднее, если бы советским войскам пришлось принять удар немецких войск не в районе Кишинева, Львова, Бреста, Белостока, Каунаса и Выборга, а в районе Одессы, Каменец-Подольска, Минска и окрестностей Ленинграда».

Мы знаем, что Черчилль уже 26 июля ответил о фактической невозможности открыть второй фронт во Франции. Верховный, будучи поставленным в августе немецкими войсками в критическое положение, вновь направляет личное послание Черчиллю в предельно откровенном, даже беспощадном по отношению к себе и союзникам тоне. Рассказав о новых крупных стратегических неудачах на советско-германском фронте, Сталин ставит вопрос: «Каким образом выйти из этого более чем неблагоприятного положения?» — И отвечает: «Я думаю, что существует лишь один путь выхода из такого положения: создать уже в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий оттянуть с восточного фронта 30—40 немецких дивизий и одновременно обеспечить Советскому Союзу 30 тысяч тонн алюминия к началу октября с. г. и ежемесячную минимальную помощь в количестве 400 самолетов и 500 танков (малых или средних).

Без этих двух видов помощи Советский Союз либо потерпит поражение,

либо будет ослаблен до того, что потеряет надолго способность оказывать помощь своим союзникам...

Я понимаю, что настоящее послание доставит Вашему Превосходительству огорчение. Но что делать? Опыт научил меня смотреть в глаза действительности, как бы она ни была неприятной, и не бояться высказать правду, как бы она ни была нежелательной».

Приходила ли ему мысль, когда он диктовал эти строки, что он поспешил в августе 1939 года? Кто знает, прояви он терпение, а Лондон и Париж прозорливость, антифашистская коалиция могла бы быть создана еще два года назад. Однако Сталин никогда не показывал своих сомнений. Он уже давно усвоил, что люди должны верить в его провидчество.

Сталин в своих письмах обуславливает необходимость действенной, эффективной помощи в связи с возможной угрозой поражения СССР. И если в конце концов ему удалось добиться благодаря доброй воле союзников крупной военно-технической помощи, которая, к сожалению, в наших военно-исторических трудах долго недооценивалась или явно преуменьшалась, то его усилия по открытию второго фронта оказались малопродуктивными. Мы помним, что уже в июле 1941 года Сталин обратился к Черчиллю с этим предложением. Но прошел тяжелейший сорок первый, тяжелый сорок второй, затем и нелегкий сорок третий год, и лишь в июне сорок четвертого начнется операция «Оверлорд». К слову сказать, когда Верховный спросил Молотова, что означает это английское слово, и услышал в ответ: «владыка», «властелин», он был покороблен. Ему казалось, что настоящий владыка судеб войны идет к Берлину с востока. Черчилль не исправим, это его творчество...

К этому моменту советские войска подготовились (об этом говорят директивы Сталина №№ 220112—220115 от 31 мая 1944 года) серией ударов освободить Белоруссию и Западную Украину, восточные районы Польши и Чехословакии и выйти к границам Германии. Второй фронт был открыт тогда, когда уже ни у кого не вызывала сомнений способность СССР самому, один на один, завершить разгром гитлеровской Германии.

Сталин, будучи Председателем ГКО и Ставки, теперь был вынужден уделять все большее внимание дипломатическим вопросам. Чем ближе были видны контуры долгожданной виктории, тем чаще у него допоздна засиживался Молотов, больше обычного приходилось встречаться с представителями союзников. Верховный понимал, что в сложившемся антифашистском союзе Англия и США действовали в подавляющем большинстве случаев согласованно, представляя как бы единую западную силу. Но вместе с тем Сталин еще в начале войны почувствовал определенные оттенки в позициях партнеров. Сам очень хитрый человек, Сталин пытался рассмотреть за конкретными дипломатическими шагами Рузвельта и Черчилля скрытый смысл, выгоду, которые они хотели извлечь из складывавшейся ситуации. Председателя ГКО больше всего заботило, часто вызывая негодование, стремление союзников бесконечно откладывать и переносить открытие второго фронта в Европе. Получая по дипломатическим и разведывательным каналам данные о Первой (декабрь 1941-го — январь 1942 года), Второй (июнь 1942 года) и Третьей (май 1943 года) Вашингтонских конференциях, англо-американских встречах в Касабланке и Квебеке, других контактах, Сталин, обсуждая с Молотовым эти сообщения, видел стремление союзников начать действовать в Европе лишь наверняка, при критическом состоянии Германии и ее вооруженных сил.

В мае — июне 1942 года Молотов по настоянию Сталина совершил поездку в Лондон и Вашингтон. Предсовнаркома поставил перед наркомом иностранных дел главную задачу — провести переговоры о принятии союзниками конкретных обязательств по открытию второго фронта в 1942 году. Но Рузвельт и Черчилль делали многочисленные оговорки. Правда, в совместном англо-советском коммюнике, принятом в Лондоне, говорилось, что во время переговоров «была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 г.». Но уже вскоре стало ясно, что союзники не намерены выполнять свои обязательства.

Сталин не скрывал своего разочарования, раздражения и недовольства. Это можно почувствовать из его послания Черчиллю, отправленного 23 июля 1942 года. В нем, в частности, говорилось:

«Что касается... вопроса... об организации второго фронта в Европе, то я боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер. Исходя из создавшегося положения на советско-германском фронте, я должен заявить самым категорическим образом, что Советское Правительство не может примириться с откладыванием организации второго фронта в Европе на 1943 год».

После такой телеграммы Черчилль, как он вспоминал позже, не мог ограничиться лишь ответным посланием. Он выразил готовность к личной встрече со Сталиным на территории СССР. Сталин дал согласие, и 12 августа Черчилль прибыл в Москву в сопровождении начальника генерального штаба Брука, заместителя министра иностранных дел Кадогана, других официальных лиц.

В воспоминаниях Черчилль так пишет о своем настроении во время перелета из Каира в Москву: «Я размышлял о моей миссии в это угрюмое большевистское государство, которое я когда-то настойчиво пытался задушить при его рождении и которое вплоть до появления Гитлера я считал смертельным врагом цивилизованной свободы. Что должен был я сказать им теперь? Генерал Уэйвелл, у которого были литературные способности, суммировал все это в стихотворении, которое он показал мне накануне вечером. В нем было несколько четверостиший, и последняя строка каждого из них звучала: «Не будет второго фронта в 1942 году». Это было все равно, что везти большой кусок льда на Северный полюс».

Сталин, несмотря на исключительно тяжелую, критическую обстановку на Сталинградском и Юго-Восточном фронтах, провел много часов в беседах с Черчиллем. В них участвовали с советской стороны Молотов и Ворошилов, с английской — посол Керр и личный представитель американского президента А. Гарриман. Черчилль был вынужден прямо сказать, что в 1942 году второго фронта не будет. Если бы союзники попытались его открыть, то, по словам премьер-министра, наиболее вероятным результатом этой акции было бы их поражение. Сталин долго, многословно возражал, выдвигая, правда, преимущественно нравственные соображения.

— Тот, кто не хочет рисковать, никогда не выиграет войну. Не надо только бояться немцев, — приводил «рыцарские» доводы Черчиллю Сталин.

— Но второй фронт в Европе — это не единственный второй фронт, — не сдавался английский премьер. Он пытался увлечь Сталина планами союзников по проведению операции в Северной Африке.

Переговоры Сталина с Черчиллем 12 августа, о чем бы они ни шли, настойчиво возвращались советским лидером к теме второго фронта. Его, повторяем, заставляла это делать сама безрадостная фронтовая обстановка. Но Черчилль с помощью Гарримана искал все новые и новые аргументы невозможности открыть фронт на западе в 1942 году. Тогда Сталин, посоветовавшись с Молотовым, сделал на завтра необычный ход. Во время очередной встречи он вручил собеседнику «меморандум» по вопросу о втором фронте. Хотя 12-го, как вспоминал в последующем Черчилль, Сталин якобы «уступил, признав, что это решение неподвластно его контролю», в своем меморандуме советский лидер фиксирует для истории официальный отказ союзников от согласованного решения, подписанного в англо-советском коммюнике от 12 июня 1942 года.

Черчилль был обескуражен. Сталин, находясь в критическом положении, когда на волоске висела судьба Сталинграда и, возможно, всего юга страны (а может быть, и большего!), решил переложить перед лицом истории значительную долю ответственности на своих союзников. В тексте меморандума те же слова, с которыми Сталин накануне обращался к Черчиллю и Гарриману. Английский премьер и его сопровождение сразу же ознакомились с его содержанием:

«Отказ Правительства Великобритании от создания второго фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, осложняет положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб планам Советского Командования... Мы считаем поэтому, что именно в 1942 году возможно и следует создать второй фронт в Европе.

Но мне, к сожалению, не удалось убедить в этом господина Премьер-министра Великобритании, а г. Гарриман, представитель Президента США при переговорах в Москве, целиком поддержал господина Премьер-министра.

13 августа 1942 года.

И. Сталин».

Естественно, Черчилль ответил на следующий же день «памятной запиской», где отмечалось, что «переговоры с г-ом Молотовым о втором фронте, поскольку они были ограничены как устными, так и письменными оговорками», не могли быть основанием «для изменения стратегических планов русского верховного командования».

До середины 1944 года в самом центре дипломатии Сталина был, разумеется, вопрос о втором фронте. Правда, когда ветер победы стал все сильнее надуть его паруса, Верховный Главнокомандующий уже не обострял до предела проблему, как он это делал в начале войны. Например, когда в октябре 1942 года через посольство США в Москве к Сталину обратился корреспондент «Ассошиэтед Пресс» Кэссиди, то он не был принят Председателем ГКО, но получил предельно лаконичные ответы на свои вопросы письменно. Приведем некоторые из них:

«1. Какое место в советской оценке текущего положения занимает возможность второго фронта?

Ответ. Очень важное, — можно сказать, — первостепенное место.

2. Насколько эффективна помощь союзников Советскому Союзу?..

Ответ. В сравнении с той помощью, которую оказывает союзникам Советский Союз, оттягивая на себя главные силы немецко-фашистских войск, — помощь союзников Советскому Союзу пока еще малоэффективна».

Сталин, размышляя о линии своего поведения с союзниками, прекрасно понимал, что им, и его партнерами движет только суровая необходимость. Игрою исторических обстоятельств (к которой прямо причастны как его нынешние союзники, так и он, Сталин) они оказались в одном военном лагере. Но Сталин ничего не забывал. Он помнил высказывания Вильсона, Черчилля, Чемберлена, Даладье, других буржуазных деятелей о Советском Союзе, о «новых порядках» в его стране. Однако сейчас, когда перед союзниками возникла общая грозная опасность, это толкнуло их друг к другу. Так бывало в истории не раз.

Сталин, будучи прагматиком (как, пожалуй, все политики), уже в сорок втором году определил свою принципиальную позицию по отношению к союзникам. Он полагал, что статус страны, несущей на своих плечах главную тяжесть борьбы с фашизмом, полностью оправдывает его линию на особое положение в союзе. Особое, с точки зрения его права выдвигать предложения (звучащие как требования) о помощи. В защите интересов страны Сталин проявил себя жестким, неуступчивым политиком, чем, впрочем, заработал уважение у своих партнеров. В глазах Рузвельта, Черчилля, де Голля Сталин был жестоким, но умным диктатором. Председатель ГКО это знал и не пытался изменить их впечатление.

С другой стороны, Верховный, стремясь к максимально большей помощи союзников, особенно в военно-технической области (и надо сказать, что она, повторяем, действительно была внушительной), искал пути к ослаблению роли идеологических препятствий. Когда в августе 1942 года Сталин ночью беседовал с Черчиллем в Кремле, оба знали, что от них на расстоянии нескольких кварталов находится Исполком Коминтерна как выразитель глубокой классовой неприимности к тем силам, которые олицетворял не только Гитлер, но и британский премьер-министр. Поэтому решение Сталина, оформленное как решение Коминтерна, о самороспуске Коммунистического Интернационала для проникательных аналитиков не явилось неожиданным. Сталин вновь, как и в сентябре 1939 года, не остановился перед крупными идеологическими «издержками» во имя конкретной цели.

Его не очень беспокоила и тщательность камуфляжа истинной причины. Выступая 6 ноября 1942 года на торжественном заседании, посвященном 25-й годовщине Октября, как выразился Сталин, с «отчетным докладом» за истекший год, он подчеркнул, что различие в идеологии членов союза не является помехой в военно-политическом сотрудничестве. «Создавшаяся угроза, — сделал упор Ста-

лин,— повелительно диктует членам коалиции необходимость совместных действий для того, чтобы избавить человечество от возврата к дикости и средневековым зверствам». Слова эти, безусловно, адресованы фашизму, ведь Сталин никогда не считал свой кровавый террор «средневековым зверством»! По сути, в его докладе проведена мысль, что классовая логика в период борьбы за выживание не имеет решающего значения. К этому выводу и, надеемся, навсегда, приходит человечество в наши дни. В устах Сталина это выглядело как афоризм: «Выходит, что логика вещей сильнее всякой иной логики».

Судьба Коминтерна была предрешена. Весной 1943 года столицы государств узнали: международная организация трудящихся, которая после Октябрьской социалистической революции, казалось, покроет кумачовыми стягами весь мир, самораспустилась. Сталин, отвечая 28 мая 1943 года корреспонденту Агентства Рейтер Кингу, подчеркнул: «Роспуск Коммунистического Интернационала является правильным и своевременным, так как он облегчает организацию общего натиска всех свободолюбивых наций против общего врага — гитлеризма... разоблачает ложь гитлеровцев о том, что «Москва» якобы намерена вмешиваться в жизнь других государств и «большевизировать» их».

Прагматизм Сталина не остановил его перед ликвидацией Коминтерна, он же, этот политический прагматизм, подтолкнул его и к улучшению или даже налаживанию отношений с православной церковью. Бывший семинарист дотеле не баловал вниманием церковь. Более того, по инициативе Сталина партийное руководство не разрешало с 1925 года избирать на вакантное место главу Русской православной церкви. Этот религиозный пост был заменен временным — Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием. Сталин не давал согласия и на созыв Поместного Собора, что, в свою очередь, не позволяло пополнить состав Священного Синода, который долго не функционировал. И вдруг Сталин 4 сентября 1943 года приглашает к себе на дачу Председателя Совета по делам Русской православной церкви Г. Г. Карпова.

Во время беседы, в которой приняли участие Маленков и Берия, были обсуждены вопросы роли церкви в условиях войны. Надо сказать, что Русская православная церковь неоднократно вносила большие денежные суммы на военные нужды страны, передала крупные ценности в фонд государства. Священнослужители использовали свое влияние для укрепления веры народа в окончательную победу над агрессором.

Выслушав Карпова, Сталин предложил сегодня же принять высших священнослужителей. Уже через несколько часов у него были митрополиты Сергей, Алексей и Николай, немало удивленные высоким вниманием. В долгой беседе, состоявшейся у Сталина, было одобрено проведение Собора, избрание Патриарха, открытие религиозных учебных заведений. Верховный Главнокомандующий, любясь своим «великодушием», пообещал материальную помощь, различные послабления, многозначительно поглядывая при этом на Берия. Думаю, Сталин наслаждался невообразимой возможностью бывшего семинариста влиять не только на судьбы высших церковных деятелей, но и религии в целом. Справедливости ради надо заметить, что определенная часть обещаний, которые он давал, тогда была выполнена.

На следующий день, 5 сентября 1943 года «Правда» сообщила о знаменательной (единственной подобной до 1988 года) встрече: «Митрополит Сергей довел до сведения Председателя Совнаркома, что в руководящих кругах (сталинский штамп, надолго осевший в бюрократических писаниях.— Д. В.) православной церкви имеется намерение в ближайшее время созвать Собор епископов для избрания Патриарха Московского и всея Руси и образования при Патриархе Священного Синода.

Глава Правительства тов. И. В. Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и заявил, что со стороны Правительства не будет к этому препятствий».

Почему Сталин вдруг вспомнил о церкви? Думаю, из-за двух обстоятельств. Первое: Верховный Главнокомандующий увидел патриотическое значение церкви в войне и хотел поощрительно отнестись к этой деятельности и впредь. Другое

обстоятельство связано с международными делами — Сталин готовился к первой встрече в верхах, которая должна была состояться в конце года в Тегеране. Он ставил перед собой цель не только добиваться скорейшего открытия второго фронта, но и увеличения объема военной помощи. Немалую роль в этом мог сыграть Комитет помощи Советскому Союзу в Англии, возглавляемый одним из руководителей англиканской церкви, Х. Джонсоном. Сталин, получивший от настоятеля Кентерберийского собора несколько посланий, решил сделать публичный жест, который бы свидетельствовал о его более лояльном отношении к церкви вообще. Сталин понимал, что этот сигнал на Западе обязательно будет замечен и вызовет благожелательную реакцию. Не тщеславие бывшего недоучившегося семинариста двигало в конечном счете советским лидером, а сугубо прагматические расчеты в контактах со странами антигитлеровской коалиции.

Отношения с союзниками для Сталина нашли наибольшее выражение во встречах «большой тройки». Известно, что Тегеранская конференция (28 ноября—1 декабря 1943 года), Крымская (4—14 февраля 1945 года), Берлинская (17 июля — 2 августа 1945 года) были пиками военно-политического сотрудничества государств, столь разных во всех отношениях. Может быть, эти конференции, как и сотрудничество, уже тогда показали первенство общечеловеческих ценностей и приоритетов над классовыми и идеологическими. Содержание конференций и их роль хорошо известны, мы лишь коснемся некоторых вопросов отношения Сталина к проблемам, обсуждавшимся там.

Сталин был «домоседом». Он был готов встретиться с лидерами союзных государств, но не желал далеко и надолго отлучаться. Черчилль и Рузвельт предлагали местом встречи Каир, Асмару, Багдад, Басру, другие пункты южнее СССР. Черчилль даже рассчитывал, что Сталин согласится на встречу в пустыне, где можно было бы, по словам английского премьера, организовать три палаточных лагеря и совещаться в безопасности и уединении. Но Верховный настоял на Тегеране, поскольку, по его словам, оттуда он мог продолжать осуществлять «повседневное руководство Ставкой». Черчилль и Рузвельт после долгой переписки были вынуждены согласиться.

Сталин, разумеется, не сказал, что он весьма побаивался полетов на самолете. В его жизни это был первый полет. Он не любил личного риска, не хотел вносить в свою жизнь какой-нибудь элемент случайности. Вождь шел к зениту своей славы, и даже сама вероятность, пусть очень незначительная, какого-либо нежелательного события тревожила и пугала Сталина.

За два дня до вылета он направил Ф. Рузвельту и У. Черчиллю телеграммы аналогичного содержания: «Ваше послание из Каира получил. Буду готов к Вашим услугам в Тегеране 28 ноября вечером». Фраза «буду готов к Вашим услугам» в устах Сталина звучит более чем необычно. Но советский лидер хотел выглядеть джентльменом.

Сталин сделал все для того, чтобы вопрос о втором фронте на Тегеранской конференции стоял в центре переговоров. Правда, во время встречи вечером 28 ноября с Рузвельтом они говорили о погоде в Советском Союзе, событиях в Ливане, Чан Кайши, де Голле, Индии, но не о втором фронте. Разговор зашел даже о будущей политической системе в Индии, и Рузвельт неожиданно сказал, что «было бы лучше создать в Индии нечто вроде советской системы, начиная снизу, а не сверху. Может быть, это была бы система советов». Сталин истолковал это по-своему и ответил, что «начать снизу — это значит идти по пути революции».

Сталин, оказавшись впервые на международной конференции за пределами своего государства, внимательно присматривался к партнерам. Все для него было внове. Черчилль его интересовал сейчас меньше — он уже с ним встречался и убедился в незаурядном уме и хитрости этого политика. Рузвельт, с его пронзительными глазами, печатью усталости и болезни на лице, чем-то ему сразу понравился. Может быть, своей доброжелательностью и открытностью. Так, в заключительной беседе со Сталиным 1 декабря он внешне простоудушно заявил, что не хотел бы сейчас публично обсуждать польские проблемы с границами, поскольку на будущий год он, возможно, вновь выдвинет свою кандидатуру на пост

президента. А в Америке имеется шесть-семь миллионов граждан польского происхождения, и он, будучи «практичным человеком, не хотел бы потерять их голоса». Сталину понравилась его прямота, хотя сам маршал далеко не всегда следовал правилу говорить то, что думает.

Рузвельт был самым молодым среди «большой тройки» и, высказываясь первым при открытии конференции, назвал ее участников «членами новой семьи». Черчилль добавил, что в лице лидеров, собравшихся здесь, видна «величайшая концентрация мировых сил, которая когда-либо была в истории человечества». Рузвельт и Черчилль посмотрели на Сталина: что скажет он в эти первые минуты конференции?

— Я думаю, что история нас балует, — неожиданно сказал Сталин. — Она дала нам в руки очень большие силы и очень большие возможности. Я надеюсь, что мы примем все меры к тому, чтобы на этом совещании в должной мере, в рамках сотрудничества, использовать ту силу и власть, которые нам вручили наши народы. А теперь давайте приступим к работе...

Главный вопрос, который Сталин давно добивался решить, наконец был согласован. На завтраке глав делегаций 30 ноября Рузвельт, памятуя настойчивые требования Сталина во время бесед в предыдущие дни, развертывая салфетку, с улыбкой обратился к советскому лидеру:

— Сегодня мы вместе с господином Черчиллем на основании предложений объединенного комитета начальников штабов приняли решение: операцию «Оверлорд» начать в мае с одновременной высадкой десанта в южной Франции.

— Я удовлетворен этим решением, — ответил как можно более спокойно Сталин, словно речь шла о блюде на завтрак.

В свою очередь, он преподнес сюрприз Черчиллю и Рузвельту: к моменту начала десантных операций русские подготовят сильный удар по немцам. Домашняя «заготовка» произвела очень благоприятное впечатление на собеседников. Члены «новой семьи» были взаимно довольны. Они и действительно выглядели «баловнями истории» — судьба войны была в их руках.

В Декларации трех держав, подписанной Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем 1 декабря 1943 года, в заключение говорилось: «Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными друзьями по духу и цели». При обсуждении вопросов о Югославии, Турции, Финляндии, борьбе с Японией на Тихом океане, послевоенной Германии, послевоенном сотрудничестве в обеспечении прочного мира Сталин имел свое определенное мнение и позицию. В Тегеране, как затем в Крыму и Берлине, значительное место в переговорах «большой тройки» занял «польский вопрос». На последнем пленарном заседании, перед тем как объявить перерыв, Черчилль огласил предложение, согласованное, видимо, с Рузвельтом:

— Очаг польского государства и народа должен быть расположен между так называемой линией Керзона и линией реки Одер, с включением в состав Польши Восточной Пруссии и Опельнской провинции.

— Если англичане согласны на передачу нам указанной территории (незамерзающих портов Кенигсберга и Мемеля. — Д. В.), то мы будем согласны с формулой, предложенной Черчиллем, — ответил Сталин.

Конечно, многое из того, что говорилось на конференциях лидеров «большой тройки», выглядит сегодня достаточно цинично в политическом отношении. Но не будем забывать, что гармония силы и разума никогда в прошлом не достигалась в международных отношениях. Человечеству, прежде чем подойти к рубежу, откуда началось овладение новым мышлением, потребовалось ни много ни мало, как возникновение угрозы самоуничтожения. Тогда сама жизнь, а точнее, долгосрочные интересы великих держав заставляли трех лидеров склоняться над политической картой мира. Они думали в то время во многом иначе, чем мы сегодня. Ныне мы знаем: национальные, территориальные ревизии опасны всегда. Сегодня — еще более, чем раньше.

Обмениваясь своими соображениями о Польше уже на Крымской конференции, за три месяца до разгрома гитлеровского фашизма, Сталин изложил давно им выношенную позицию так: польский вопрос «является не только вопросом

чести, но также и вопросом безопасности. Вопросом чести потому, что у русских в прошлом было много грехов перед Польшей. Советское правительство стремится загладить эти грехи. Вопросом безопасности потому, что с Польшей связаны важнейшие стратегические проблемы Советского государства... На протяжении истории Польша всегда была коридором, через который проходил враг, нападающий на Россию... Почему враги до сих пор так легко проходили через Польшу? Прежде всего потому, что Польша была слаба. Польский коридор не может быть закрыт механически извне только русскими силами. Он может быть надежно закрыт только изнутри собственными силами Польши. Для этого нужно, чтобы Польша была сильна. Вот почему Советский Союз заинтересован в создании мощной, свободной и независимой Польши. Вопрос о Польше — это вопрос жизни и смерти для Советского государства».

Сталин, обсуждая «польский вопрос», давал понять, что для него более важным является проблема правительства, а не границ. Он сразу сказал, что согласен на линию Керзона с отклонениями от нее в некоторых районах на несколько километров в пользу Польши. А вот правительство... Нет... Здесь он на уступки не пойдет, хотя в начале войны именно он проявил волю к сотрудничеству. Он помнит, как 18 августа 1941 года по его указанию генерал-майор А. М. Василевский подписал Военное соглашение между Верховным Командованием СССР и Верховным Командованием Польши. С польской стороны стояла подпись генерал-майора С. Богуш-Шишко. Советская сторона брала на себя не только расходы по содержанию создаваемой на территории СССР армии, но и согласилась на установление советской военной миссии при Польском Верховном Командовании в Лондоне. Но ведь теперь Черчилль и Рузвельт законное правительство Польши называют «люблинским», хотя оно уже в Варшаве и контролирует положение в стране! Сталин, заняв однажды определенную позицию в «польском вопросе», «гнулся», но не сдавался. Ведь именно по его настоянию Рузвельт и Черчилль согласились на приращение территории Польши на севере и на западе.

В конце войны и сразу после нее на Сталина «навалилось» так много дел, если так можно выразиться, «военно-дипломатического» характера, что он и не ожидал. Помогал, правда, здесь немало Молотов. Привлекали и его заместители: А. Я. Вышинский, С. И. Кавтарадзе, И. М. Майского и других лиц. Но часто Верховный, памятуя о договоренностях с союзниками и своих интересах, немедленно сам принимал решения. Его раздражало, когда Черчилль слишком часто совал нос в дела Восточной Европы. Сюда пришли советские войска, и, считал Сталин, приоритет в решении текущих дел принадлежит Москве. Разумеется, в согласии с друзьями, теми антифашистскими, демократическими силами, которые помогали и помогают ликвидировать гитлеризм.

Сталин еще раз убедился, каким непреклонным исполнителем его воли является Молотов. Директива, инструкция вождя для него — важнее партийного устава. Уже после войны, где-то в декабре 1945 года, сидя за ночным столом, на «ближней» Молотов расскажет вождю, как его 15 октября чуть не «изнасиловал» Гарриман, но он установку Сталина выполнил.

Сталин тогда собирался уезжать в первый после войны отпуск, а в это время к нему настойчиво стал проситься на прием американский посол. Вождь сказал Молотову:

— Принимай сам. Я не буду. Передашь потом мне, что там им нужно.

— Так вот,— говорил Молотов,— пришли ко мне Гарриман и первый секретарь посольства Пейдж. Состоялся разговор, который я записал в своем дневнике (приведу его на основании дипломатического дневника Молотова почти полностью.— Д. В.):

«Г а р р и м а н. Я получил от президента для Генералиссимуса телеграмму. Мне поручено лично вручить послание и лично обсудить со Сталиным некоторые вопросы.

М о л о т о в. Сталин выехал на отдых примерно на 1,5 месяца. Он, Молотов, проинформирует Сталина о просьбе президента.

Г а р р и м а н. Президент знает, что Сталин на отдыхе, но надеется, что его,

посла, все же примет. Речь идет о Лондонской конференции. Он, Гарриман, готов ехать куда угодно.

Молотов. Генералиссимус Сталин не занимается сейчас делами, т. к. находится на отдыхе далеко от Москвы.

Гарриман. Президент надеется, что Сталин сможет принять его.

Молотов. Он сообщит Сталину.

Гарриман. Президент считает, что Генералиссимус заслужил отдых.

Молотов. Все мы считаем, что Сталин должен получить настоящий отпуск.

Гарриман. Во время физкультурного парада он обратил внимание, каким крепким выглядел Сталин.

Молотов. Сталин действительно крепкий человек.

Гарриман. В кинофильме о физкультурном параде Генералиссимус Сталин выглядит очень бодрым и жизнерадостным.

Молотов. Все советские люди рады видеть Сталина в хорошем настроении.

Гарриман. Хотел бы получить этот фильм.

Молотов. Конечно, получите.

Гарриман. Мне больше нечего добавить к изложению цели своего визита.

Молотов. Он информирует Сталина о беседе, который сейчас находится на полном отдыхе.

Гарриман. Нет необходимости говорить о важности вопроса...

Молотов. Да, понятно.

Гарриман. Он хотел бы приехать к Сталину как друг...

Молотов. Он передаст Сталину. Но Генералиссимус на отдыхе».

Может быть, Гарриман вспомнит и этот эпизод, когда в своей книге «Специальный посланник Рузвельта к Сталину» напишет: «Я должен сознаться, что для меня Сталин остается самой непостижимой, загадочной и противоречивой личностью, которую я знал. Последнее суждение должна вынести история, и я оставляю за ней это право».

В. Павлов, записавший этот поразительный диалог, несмотря на внешнюю пустоту разговора, зафиксировал упорство не только Молотова, но и Гарримана. Никакие «конференции», просьбы президента не могли поколебать Молотова, превыше всего на свете почитавшего волю вождя. Вот так Молотов исполнял инструкции вождя, о гибкости не могло быть и речи. Сталинская школа.

Вождь, выслушав этот долгий монолог, после молчания за столом, вдруг сказал:

— А может, и впрямь тогда Гарриман хотел что-то важное передать от Трумэна?

Молотов с Берней переглянулись: они не поняли — шутит ли Сталин, или всерьез жалеет об упущенной возможности?

Поскребышев завел несколько папок дел, в которых содержались материалы с распоряжениями Хозяина относительно действий в освобожденных странах. Их так много! В памяти еще свежи маневры Рюти в Хельсинки. От Коллонтай из Стокгольма стали поступать сигналы, что финны «созрели» для выхода из войны, и вдруг после приезда Риббентропа в Хельсинки 26 июня Рюти выступает с публичным заявлением: «Я, как президент Финляндской республики, заявляю, что не заключу мира с Советским Союзом иначе, как по соглашению с Германской империей, и не разрешу никакому правительству Финляндии, назначенному мной, и вообще никому предпринимать переговоры о перемирии или мире, или переговоры, преследующие такую цель, иначе как по согласованию с правительством Германской империи».

Реакция Сталина была быстрой — ускорить проведение наступательной операции Карельского фронта. Он давно уяснил: сильные удары всегда делают противника уступчивее и сговорчивее. Так и случилось, хотя операция прошла менее успешно, чем ожидал Сталин. В конце войны он был более требователен и не менее суров к тем, кто не оправдал его доверия. Да, финны уже 4 сентября

1944 года примут советские условия о прекращении военных действий против СССР, но Сталин все же, будучи верен себе, даст оценку тем, кто должен был ускорить сговорчивость теперь уже Маннергейма. Оценку в своем духе:

«Командующему Карельским фронтом
члену Военного Совета Карельского фронта

Ставка Верховного Главнокомандования считает, что последняя операция левого крыла Карельского фронта закончилась неудачно в значительной степени из-за плохой организации руководства и управления войсками; одновременно Ставка отмечает засоренность фронтового аппарата бездейственными и неспособными людьми. Кроме того, на ряде командных должностей стояли офицеры финской национальности, которые, естественно, не били по-настоящему действующих перед нашими войсками, родственников им по национальности финнов и в силу этого не могли пользоваться доверием со стороны подчиненных им войск». Дальше Сталин делал выводы, к которым он уже привык: «Военному Совету Карельского фронта наладить твердое управление войсками и изгнать бездельников и людей, не способных руководить войсками...

Заместителя командующего Карельским фронтом генерал-полковника Ф. И. Кузнецова откомандировать в распоряжение начальника Главного управления кадров НКЮ. Начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Пигаревич Б. А. как не обеспечившего должного руководства штабом фронта освободить от занимаемой должности и откомандировать в распоряжение начальника Главного управления кадров НКЮ. Начальника Оперативного управления штаба фронта генерал-майора Семенова В. Я. откомандировать в распоряжение...».

Фронт своими действиями способствовал выходу из войны вражеской страны, а Сталин был недоволен. Он видел: победа над Гитлером и его сателлитами — рядом, но и сейчас оставался верен союзническим обязательствам — переговоры с Финляндией по его настоянию вели представители СССР и Англии, выступавшей от имени Объединенных Наций. 19 сентября 1944 года соглашение о перемирии было заключено.

Перебирая в памяти события последних месяцев, Сталин видел, что многоцветность мира, складывающаяся ситуация в международных вопросах проявляются в самых разнообразных отношениях, на которые он, Верховный Главнокомандующий, вынужден был реагировать. Вот, например, его «особо важная» директива командующим фронтами, Председателю СКК в Венгрии Ворошилову; зам. Председателя СКК в Румынии Сусайкову; в Варшаву — Шатилову:

«За последнее время участились случаи посадки иностранных, в том числе английских и американских, самолетов на территорию, занятую нашими войсками. Вредное благодушие, ненужная доверчивость и потеря бдительности... способствуют использованию этих посадок враждебными элементами для переброски на территорию Польши террористов, диверсантов и агентов польского эмигрантского правительства в Лондоне».

А вот еще один документ, подписанный им:

«Особо важная.

Командующему 2-м Украинским фронтом

Командующему 3-м Украинским фронтом

Копия: Маршалу тов. Тимошенко

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Командующему 2-м Украинским фронтом в 10.00 31.8. ввести войска в Бухарест. Войска в городе не задерживать и после прохождения через город перейти к выполнению задач, поставленных Директивой Ставки № 220191, стремясь возможно быстрее занять район Крайова. При прохождении войск через Бухарест иметь в воздухе под городом возможно большее количество самолетов.

2. Командующему 3-м Украинским фронтом моторизованный отряд 46А, вошедший в Бухарест, направить на Джурджу с задачей занять переправы через р. Дунай...

3. Обратит внимание на порядок и дисциплину в войсках, проходящих через Бухарест...

30 августа 1944 г.

И. Сталин.

20 часов 15 минут.

Антонов».

А ведь Антонеску еще в начале месяца был у Гитлера в его ставке, пытался организовать оборону по линии Галац — Фокшаны, затем, правда, круто повернулся к англо-американским войскам. Но надеждам диктатора задержать наступление советских войск и дожидаться союзного вторжения тоже не суждено было сбыться. Патриотические силы, воспользовавшись победоносным продвижением Красной Армии, 23 августа покончили с фашистской диктатурой Антонеску. Уже после подписанного перемирия Сталину доложили, что кое-где «органы» стали помогать вылавливать фашистских деятелей. Верховный тут же отреагировал:

«Командующему 3 Украинским фронтом
Командующему 2 Украинским фронтом
и тов. Тевченкову

Ставка Верховного Главнокомандования воспрещает производить аресты в Болгарии и Румынии. Впредь никого без разрешения Ставки не арестовывать...»

Подумал: кто же к нему будет обращаться за «разрешением»? Пусть сами разбираются...

Еще одна, «Особо важная» телеграмма Сталина:

«Маршалу Тито

Копия — Маршалу Толбухину

Вы обратились к Маршалу Толбухину с требованием вывести болгарские войска из Сербии и оставить их только в Македонии. Кроме того, Вы указали Толбухину на неправильные действия болгарских войск при распределении захваченных у немцев трофеев. Считаю необходимым сообщить Вам по этим вопросам следующее:

1. Болгарские войска действуют на территории Сербии по общему плану, согласованному с Вами и по Вашей просьбе, изложенной в телеграмме от 12.10.44 за № 337, оказывая советским войскам существенную помощь... Поскольку на территории Югославии остается еще крупная группировка немцев, выводить сейчас болгарские войска из Сербии нам нельзя...

2. По вопросу о трофеях. Закон войны таков, что трофеи получает тот, кто их захватывает».

18 октября 1944 г. 19.10 мин.

Алексеев (Сталин.— Д. В.), друг».

Листая подписанные им документы, Сталин поражался: чем только ему не приходилось заниматься! Сколько различных дел, и нигде нельзя допустить промашки. Молодец Антонов, наловчился, многие телеграммы международного характера составляет так, что и Молотову делать нечего. Вот, например:

Особо важная.

Командующему войсками 3 Украинского фронта
члену Военного Совета фронта

На Ваше донесение от 4.4 за № 024/ж Ставка указывает:

1. Карлу Реннеру оказать доверие.

2. Сообщить ему, что в деле восстановления демократического режима в Австрии командование советских войск окажет ему поддержку.

3. Сообщить ему, что советские войска вступили в пределы Австрии не для захвата территории Австрии, а для изгнания фашистов-оккупантов.

4.4.45.

И. Сталин.

19 часов 30 мин.

Антонов».

Сталин продолжал медленно перебирать копии документов, которые он написал только за последнее время. Нужно будет спросить Антонова: сколько директив и приказов за войну издала Ставка? Но разве это все? А постановления ГКО, Политбюро, Наркомата обороны? Задали они работы историкам... У него мелькнула мысль: надо поручить надежному человеку посмотреть его переписку, распоряжения, директивные документы. Не должно остаться ничего, что могло бы бросить тень на его деятельность в годы войны. Хотя, он помнит, большинство «сомнительных» распоряжений он отдавал устно.

Вот целая папка «взлгерских» бумаг. Доклад Сталину о беседе генерал-полковника Кузнецова с генерал-полковником Венгерской армии Вереш Яношем о

создании нескольких венгерских соединений. Здесь же копии приказов командующего войсками 9-й гвардейской армии генерал-полковника Глаголева о включении в состав объединения 2-й и 6-й венгерских пехотных дивизий, распоряжения Сталина начальнику продовольственного снабжения Красной Армии генерал-лейтенанту Павлову о передаче правительственному комиссару по снабжению Будапешта большого количества продуктов. Следом за этими документами телеграмма Белы Миклоша, Председателя Временного Национального правительства: «Маршалу Сталину.

Со времени освобождения доблестной Красной Армией гор. Будапешт от проклятого немецкого владычества трудящиеся города уже вторично чувствуют влиятельную помощь Советского Союза, которая вызывает значительное улучшение дотеперешнего горького общественного снабжения... Согласно постановлению Венгерского Временного правительства выражаю искреннюю благодарность и приветствую великого маршала Советского Союза».

Сталин отложил в сторону телеграмму Миклоша и подумал: какие бы маневры ни предпринимал Хорти с тем, чтобы союзники пришли на территорию Венгрии раньше, ничего не получилось. Его обращения то к Гитлеру, то к союзникам, то, наконец, к нему, Сталину, окончились арестом Хорти немцами. Судьба маррионеток всегда такова — в конечном счете они не нужны никому. Последний союзник Германии рухнул. Но Сталин настоял, чтобы форма выхода Румынии, Болгарии, Венгрии из фашистского блока была активной — все они объявили Германии войну. Союзники не могли бросить камня в огород Сталина — о всех своих шагах, действиях в странах, куда вступили советские войска, Верховный Главнокомандующий информировал главные державы антигитлеровской коалиции.

Вот документ, который подписал он на днях:

«Командующему войсками 2 Украинского фронта и маршалу Тимошенко.

В связи с отходом противника перед 4 Украинским фронтом Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Главные силы войск фронта развернуть на Запад и нанести удар в общем направлении на Йиглава, Улабинг, Гарн, в дальнейшем выйти на р. Влтава и освободить Прагу.

2. Частью сил правого крыла фронта продолжать наступление в направлении Оломоуц.

2 мая 1945 г.

19 часов

И. Сталин.

Антонов».

А вот документ, который в день Победы принес Берия. Да, у него свои заботы... Сталин, правда, подписал директиву через два дня, заставив отразить в ней судьбу граждан союзных стран:

«Особо важная.

Командующим войсками 1, 2 Белорусских,

1, 2, 3, 4 Украинских фронтов. Тов. Берия, тов. Меркулову,

тов. Абакумову, тов. Голикову, тов. Хрулеву, тов. Голубеву.

В целях организованного приема и содержания освобожденных союзными войсками на территории Западной Германии бывших советских военнопленных и советских граждан, а также передачи освобожденных Красной Армией бывших военнопленных и граждан союзных нам стран Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

Военным Советам сформировать в тыловых районах лагеря для размещения и содержания бывших военнопленных и репатрируемых советских граждан на 10 000 человек каждый лагерь. Всего сформировать: во 2 Белорусском фронте — 15, в 1 Белорусском фронте — 30, в 1 Украинском фронте — 30, в 4 Украинском фронте — 5, во 2 Украинском фронте — 10, в 3 Украинском фронте — 10 лагерей. Размещение лагерей частично можно допускать и на территории Польши.

Проверку в формируемых лагерях бывших советских военнопленных и освобожденных граждан возложить: бывших военнослужащих — на органы контрразведки «Смерш»; гражданских лиц — на проверочные комиссии представителей

НКВД, НКГБ и «Смерш», под председательством представителя НКВД. Срок проверки не более 1—2 месяцев.

Передачу освобожденных Красной Армией бывших военнопленных и граждан союзных нам стран представителям союзного командования производить распоряжением военных советов и уполномоченного СНК СССР...

11 мая 1945 г.

И. Сталин.

24 часа 00 мин.

Антонов».

Сталин прикинул: около сотни лагерей... Сколько же выжило в плену, в неволе? А сколько там оказалось всего? Но сейчас, когда он, триумфатор, на виду у всего мира, не хотелось об этом думать. Когда-нибудь он поручит Берии назвать официальную цифру для историков и писателей, а пока вот еще документ, который он сам продиктовал Штеменко:

«Командующим войсками 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов.

При встрече наших войск с американскими или английскими войсками Ставка Верховного Главнокомандования приказывает руководствоваться следующим:

1. Старшему войсковому начальнику, на участке которого произошла встреча, в первую очередь связаться со старшим начальником американских или английских войск и установить совместно с ним разграничительную линию. Никаких сведений о наших планах и боевых задачах наших войск никому не сообщать.

2. Инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать. При встречах с союзными войсками относиться к ним приветливо. При желании американских или английских войск организовать торжественную или дружескую встречу с нашими войсками».

Половодье «братаний», встреч, вечеров его уже начинало раздражать. Вот и Жуков вместе с Вышинским вылетают по приглашению Эйзенхауэра во Франкфурт-на-Майне. Жуков в своей телеграмме просит у Сталина разрешения наградить десять офицеров штаба Эйзенхауэра орденом Красного Знамени и десять человек медалью «За боевые заслуги»... Сначала они американцев наградят, а затем сами получают награды... Ликуют, торжествуют, а еще послевоенные дела не улажены. Сталин имел в виду подготовку к Берлинской конференции руководителей трех союзных держав, которая должна многое решить в устройстве послевоенного мира. Да и война ведь еще не кончилась... Он не будет тянуть, как его партнеры, со вторым фронтом. Свое обязательство, данное в Ялте — вступить в войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии,— он безусловно выполнит.

Только сегодня, 28 июня, он, Сталин, подписал несколько директив с грифом «Совершенно секретно. Особой важности» о подготовке к 1 августа всех необходимых мероприятий для «проведения по особому приказу Ставки Верховного Главнокомандования наступательной операции». В директивах командующему войсками Дальневосточного фронта, Приморской группы и Забайкальского фронта (с началом боевых действий Приморская группа будет переименована в 1-й Дальневосточный фронт, а Дальневосточный фронт — во 2-й Дальневосточный) ставились подробные задачи по разгрому Квантунской армии японцев. «Все подготовительные операции,— говорилось в одной из директив,— провести с соблюдением строжайшей секретности. Командующим армиями задачи поставить лично, устно без вручения письменных директив фронта». Сталин уже решил, что пошлет на Восток, кроме Василевского, также Мерецкова, Пуркаева, Иванова, Масленникова, Шикина; остальных военных руководителей пусть предложит Главное управление кадров. Воевать теперь умеют многие...

(Продолжение следует).

« М ы в с е — беспризорные дети...»

Кирилл Померанцев — талантливый поэт со своеобразным голосом, своей темой и своей дорогой в литературе. Большая часть его жизни — а сейчас ему за восемьдесят — прошла за границей, в отрыве от Родины.

Судьба его была обычной для многих, кто в послереволюционные годы покинул Россию. В 1920 году родители Померанцева стали беженцами — их путь лежал из Новороссийска в Константинополь.

В своей повести «Итальянские негативы», в которой сливаются фантастические и автобиографические мотивы, Померанцев вспоминал: «Константинополь. Галата. Январский полуснег. Мои родители и я, вместе с другими беженцами, только что сошли на берег. Там, за липким холодом, Золотым Рогом, за Черным морем остался бабушкин сад, розовая кашка, стрекоза в папиросной коробке, Хопер... Россия...»

Французский сержант вел не то в казарму, не то в барак нашу нищую толпу. Если бы тогда, в тот тупой январский день, мы хоть на мгновение могли увидеть, во что каждый обратится через год, два, три или десять, кто бы после увиденного не сошел с ума?

Мы плелись кривой, набухшей грязью улицей. Мне было тринадцать лет. Взрослые толковали — как долго в Константинополе? До Пасхи? До Рождества?»

Оказалось, что большинство из них рассталось с Россией навсегда. Их ждала другая, отдельная от Родины жизнь, горькие воспоминания, запоздалые признания. Предстояло жить, как писал Георгий Иванов, «с рапроклятой судьбой эмигранта».

Один из эмигрантов «третьей волны», покинувший СССР сравнительно недавно — в семидесятые годы, бросил фразу: мы выехали, чтобы высказаться. Перед поколением Померанцева стояла другая задача — создать себя как человека, как творческую, незаурядную личность.

В Константинополе Померанцев окончил Британскую школу для русских детей. В 1925 году он решил уехать: в эти годы русские постепенно перебирались из Константинополя дальше — кто в Белград, кто в Берлин, кто в Париж. В ожидании визы будущий поэт «разгружал пароходы на угольном складе в Караксе, на Босфоре. ...Угольные корзины на спине казались манной небесной: они приносили полторы лиры в день, хотя и весили по пятьдесят килограммов. Но что такое пятьдесят килограммов перед восемнадцатью годами?! Я работал по десять часов. Затем бросался в Босфор, смывал с себя угольную пыль и перетасканные корзины и возвращался домой».

В 1927 году Померанцев приехал во Францию. В эти годы Париж уже был признанным культурным и литературным центром русского зарубежья: здесь выходили газеты, журналы, книги, возникали и распались многочисленные литературные группы.

С присущим ему юмором К. Д. Померанцев в письме от 24 января 1969 года рассказывал мне о первых годах своей парижской жизни: «В 1927 переехал (один) в Париж, где получил стипендию в высший техникум. Его не кончил, а пошел работать по заводам: «таков был, друг, тот век суровый». Это было время большого экономического кризиса. В свободное время увлекался велосипедом (чудная вещь, куда лучше автомобиля!), даже участвовал в гонках, брал какие-то дурацкие призы».

В годы Второй мировой войны Померанцев становится участником Сопротивления. «Когда немцы вторглись в СССР, — пишет он мне в другом письме, от 14 марта 1969 года, — я был буквально захлестнут волной национализма и патриотизма, перебрался из Парижа в Лион и там присоединился к небольшой группе русских «резистантов». Мы саботировали немецкий тыл, помогали русским пленным бежать из Франции в Швейцарию, даже --- с помощью тех же пленных — выкрали секретный немецкий шифр. По ночам слушали английское и со-

ветское радио и выучили почти все советские военные песни... Теперь начинаю задумываться — что было в этой национально-патриотической волне: захватившая меня русскость или ненависть к гитлеризму? Думаю, и то, и другое».

Сходные настроения появились тогда у многих. Вот строки одной из газетных заметок, опубликованной в нью-йоркском «Новом русском слове» в 1945 году, после визита в советское посольство во Франции видных представителей русской эмиграции:

«Русская политическая эмиграция в Париже в лице ее наиболее авторитетных представителей вступила на путь полного примирения с советской властью. 12 февраля советского посла Богомолова посетила делегация, во главе которой стоял представитель Эмигрантского комитета, В. А. Маклаков». «Я испытываю чувства глубокого волнения и радости, что дожил до дня, когда я, бывший русский посол, могу здесь, в здании русского посольства, приветствовать представителя Родины и принять участие в ее борьбе с врагами-захватчиками,— передавал корреспондент Я. Я. Кобецкий содержание речи В. А. Маклакова.— Далее Маклаков подчеркнул, что за 27 лет эмиграции существовали определенные предубеждения, создалась особая психология. Нужно время, чтобы исчезла несогласованность, чтобы сгладились все шероховатости и чтобы на основе любви к общей Родине вернулись взаимный контакт, понимание и доверие». Жаль, что эти надежды тогда не сбылись.

В послевоенные годы наряду с работой в декоративном ателье «ради хлеба насущного» («в нашем положении нужно все уметь, даже красить дамские платочки и шарфики»,— из письма от 24 января 1969 года) К. Померанцев много пишет. С начала 1950-х годов его широко публикуют различные периодические издания русского зарубежья — «Возрождение», «Новый журнал», «Мосты», «Опыты», «Континент», «Русская мысль» и другие. В далеко не полном библиографическом указателе Т. А. Осоргиной, где упомянуты только журнальные публикации, указано более пятидесяти работ К. Д. Померанцева с 1951 года до начала 80-х годов. Здесь и стихотворения, и философские статьи, и проза — «Итальянские негативы», и критические отзывы... В одном из его писем, хранящихся у меня, есть такие строки: «Я очень много писал о стихах и был довольно строг к пишущей братии: обижались на меня все — от С. К. Маковского до Ю. Терапиано,— и совершенно понятно, что еще более строгое отношение к стихам я перенес на мои собственные писания: «Поэзия — точнейшая наука».

Может быть, таким «строгим отношением» к своим стихам и можно объяснить то, что К. Д. Померанцев за сорок лет литературной работы не собрал ни одной поэтической книжки — хотя его стихотворения входят во все наиболее значительные антологии поэзии русского зарубежья, признаны и любимы читателем.

К. Померанцев писал мне: «...Моим учителем был замечательный поэт Георгий Иванов, который, по моему мнению, достиг предела стихотворного ремесла: абсолютной точности и адекватности формы и содержания». К этой же «абсолютной точности» стремится в своей поэзии и сам Померанцев. Его стихи музыкальны, выверены по мысли. Обращенность в себя, в свой внутренний мир, более того, вознесенность «я» человека над миром — вот, пожалуй, черты, характерные для его поэзии. И вместе с тем как пронзительно звучат слова, обращенные к родной земле, с которой он чувствует тесную, внутреннюю связь:

Мы все — беспризорные дети
Когда-то волшебной страны,
На этом безрадостном свете
Под светом ущербной луны,

Струящей сквозь ветви сухие
На черную Сену огни...
Россия, стихи о России:
Да разве возможны они?

Кирилл Дмитриевич Померанцев любезно предоставил редакции «Октября» свои стихи разных лет.

Русский человек и русский поэт, проживший долгую жизнь на чужбине, он вернулся на Родину своими стихами.

Игорь ВАСИЛЬЕВ

* * *

Парижская сутолока, вечер,
Сердце металлический стук,
Я знал лишь случайные встречи,
Залог неизбежных разлук.

А счастье мне даже не снилось,
Да я и не верил ему,
И все-таки как-то прожилось,
Но как, до сих пор не пойму.

* * *

На исходе двадцатого века
В лабиринте космических трасс —
Чем пополнили мы картотеку
Барабанных, штампованных фраз?
Декларации, лозунги, речи...
Смена веж и дорог без конца...
Чем приблизили лик человеческий
К лучезарному лику Отца?
Легкой дымкой небесная слава
Поднималась над стойкой бистро,
И в Париже Булат Окуджава
Что-то пел о московском метро.
Вот она, эта малая малость,
Чем, воистину, жив человек,
Что еще нам от Света осталось
В наш ракетно-реакторный век.
Постараемся ж не задохнуться,
Добрести, доползти, додышать,
Этой малости не помешать,
Предпоследнему дню улыбнуться.

* * *

Как унизительно стареть
Так невпопад, так неумело,
И, съезжившись у печки, греть
Свое слабеющее тело.

И все же верить и любить,
Как будто молодость продлится,
И ничего не позабыть,
И ничему не научиться!

* * *

Люблю перекресточный веер
Штурмующих дали дорог —
Дорог, уходящих на север,
На запад, на юг, на восток.

Давай, мы с тобой помечтаем,
Давай, мы с тобой улетим.
В Италию. Хочешь в Италию?
В Неаполь, в Милан или в Рим?

Люблю их графически строгий,
Ритмически песенный лад:
Дороги, повсюду дороги,
Дороги вперед и назад.

Давай, превратимся в движение,
В поэзию, в солнечный блик:
Ведь ты — мое воображенье.
А я — твой послушный двойник.

Дороги в безвестье, в не знаю,
Дороги, как линии рук...
Давай, я тебе погадаю,
Мой воображаемый друг.

Люблю, приближаясь к итогам,
Под жизни стихающий шум
В вечернюю мглу по дорогам
Бездумно лететь наобум.

* * *

Как звездные тени, ложатся
Осенние листья в саду.
И мне начинает казаться,
Что сам я по звездам иду.

И звезды горят подо мною,
Как будто сквозь холод и зло
Осеннее тихое пламя
На скорбную землю сошло.

* * *

Бог увидал: «все хорошо зело».
И в день седьмой почил от дней творенья.
Но человек, его предназначенье —
Пройти сквозь мрак, отчаянье и зло.

Так, день восьмой был создан во Вселенной,
День грешников и блудных сыновей,
Дабы по истечении всех дней
Была на небе радость совершенней.

* * *

Мне совершенно безразлично, —
Что неприлично, что прилично,
Что тошнотворно, что смешно:
Мне совершенно все равно.

Крушение наперебой.
Блажен,
кто этой жизни рад,
Кто каждый миг благословляет.

Что помню? Вереницу войн
И вереницу революций,
Глухой аэропланной вой
Да невозможных конституций

Но тот блаженнее стократ,
Кто цену всем блаженствам знает
И чашу Смерти, как Сократ,
Благоговеино выпивает.

* * *

Сегодня день почти вчерашний,
Почти преодоленный день.
С неотвратимостью всегдашней
Ложится от калитки тень.

И так безжизненно застыла
На скошенной траве она,
Как будто вечность наступила
И не окончилась война.

* * *

«Все это было, было, было»,
И это все прошло, прошло.
И даже память позабыла
Тех дней бессмысленное зло.

Так жизнь пройдет, и не заметишь,
Но за последнею чертой
Не то ужасно, что там встретишь,
Но то, что принесешь с собой.

* * *

Вот и все... — волшебное решенье.
Страшновато только:
Ну, а вдруг
Не конец потом, а продолженье
И все тот же там порочный круг,

Погляди, что ты сделал с собою
В мертвой хватке за будущий рай,
Как покрыл планетарной тюрьмою
Свой бескрайний, безвыходный край.

О, святая, немая бездонность
Пустоты эмигрантского дня...
Я в тебе, ты — моя обреченность,
Ты во мне — обреченность твоя.

* * *

От пораженья к пораженью,
От униженья к униженью,
Из тупика в другой тупик, —

И так от самого рожденья
«До тошноты, до отвращенья»,
До боли, перешедшей в тик,
До боли, ставшей монополией,
До белены.

Чего ж вам более?

* * *

Провода, паровозы, пути —
Полустанок железнодорожный...
От людей еще можно уйти,
От себя убежать невозможно.

Поезд мается, время бежит,
Ветер сушит, и годы калечат...
И сложнее становится жить
Не с людьми, а с собою, конечно.

* * *

Мне снова снился всевозможный вздор:
Что я карабкаюсь на Гималаи,
Что разрешен неразрешимый спор
О Боге, о бессмертии, о рае.

Я видел флорентийские дворцы,
Где спят атласно-кружевные дожи
И нежатся святые мертвецы,
Безликие шагреневые рожи.

Мне чудилось шуршание беды
В фантазмагории двойного зренья,
И я среди всей этой чехарды
Не то творец, не то ее творенье.

* * *

Сумерки... Море... Любовь... Вдохновение...
Лунный пейзаж восхитительно мил.
Только, увы, это все повторение
Старых, избитых, затасканных тем.

Все мы любили, страдали бессонницей,
Пили вино, толковали о зле...
Только с тех пор бронированной конницей
Черные годы прошли по земле.

Сумерки... Море... Вино... Вдохновение...
Каждый по-своему жизнь загубил,
Каждый по-своему, до отвращения,
И ненавидел, и нежно любил.

* * *

Робкий вечер, как мальчик влюбленный,
Торопился, чтоб не опоздать,
Чтобы путник, путем утомленный,
Мог спокойно и радостно спать.

И, с блаженной мечтой засыпая,
Он наутро, проснувшись, узнал,
Что лишь тот удостоится рая,
Кто в себе этот рай заключал.

* * *

Бывает так: встает тревога,
Глухая спутница тоски,
И щупальцами осьминога
Сожмет холодные виски.
И в тишине почти могильной,
Подушку нервно теребя,
Неисправимый и бессильный,

Увидишь самого себя.
Всего насквозь.
Все помышленья,
Каким ты стал,
каким мог быть.
Чтоб с сладострастьем отвращенья
Все оправдать и все простить.

* * *

Я давно примирился со всем,
Я давно ко всему безразличен,
Как лакей, я со всеми приличен,
Как послушник, не спорю ни с кем.

Никаких доказательств не нужно;
И доказывать — просто смешно:
Предраассветное небо жемчужно,
Потому что жемчужно оно.

* * *

Распутин, распутье, распятые...
Как четко пророчат слова!
Вы все — во Христе, мои братья,
Мы все — Колыма и Москва.

Мы все — беспризорные дети
Когда-то волшебной страны,

На этом безрадостном свете
Под светом ущербной луны,

Струящей сквозь ветви сухие
На черную Сену огни...
Россия, стихи о России...
Да разве возможны они?



Э т а п

РАССКАЗ

Теплушка, мерный перестук колес, голубое в серебро небо, безбрежные солончаковые степи, проплывающие за чуть приоткрытой зарешеченной дверью. Все это, такое мирное, вечное, безоблачное, не давало им ни забыть, ни покоя.

Горе объединяло их, таких разных недавно и таких одинаковых сейчас, когда состав специального назначения вез их в неизвестное. Судя по переносимой жаре и солнцу, которое все время было по ходу впереди, чуть справа, поезд шел на юго-восток. Шел в основном по ночам, почти не останавливаясь. А днями простаивал на каком-нибудь безлюдном, забытом богом, безмянном полустанке.

Несмотря на изнуряющую жару, тесноту, грязь, оторванность от всего — детей, родных, близких — и полную неизвестность впереди, самое страшное оставалось позади. Гнетущий, панический, парализующий мысли и волю страх. Когда боишься всего. Стука, шагов, шума проезжающей ночью машины. Когда не знаешь за собой вины и не понимаешь, за что, почему может обрушиться на тебя, твоих близких этот ужас. И нет силы, способной отвратить беду. Когда нет никого, к кому можно было бы обратиться. Когда в мыслях мучительно перебираешь, где, что сказал... Когда не веришь никому и никто тебе не верит. Когда от тебя могут отвернуться самые близкие и поверить, что ты и впрямь в чем-то виноват. Но в чем? Когда каждый забрался в свою скорлупу и молчит. Думает: может, пронесет. Когда молчат миллионы и многие считают, что этот бессмысленный ужас лучше, чем хаос. Когда молчат герои и липкий страх охватывает и их. Когда неизвестность, непонимание того, что происходит. Когда не знаешь, что делать. Как? Против чего бороться? Против своих же идеалов? Когда ты в тунике и нет выхода, разве наложить на себя руки... Знает ли Он? Что Его обманули. Что истинное зло приноровилось, приспособилось, понимая, что не может победить в открытой борьбе и, прибрав глупость к рукам, именем Его делает свое грязное, черное дело. Когда враги, а их не может не быть, ибо не прошло и двух десятилетий после Октября, стараются уничтожить истинных сторонников нового, людей чистых, преданных идеям революции, и все превратить в абсурд. Когда запущенная страшная карательная машина становится неуправляемой и способна снести все, снести любую голову, миллионы голов... И нет силы, могущей остановить ее, кроме времени. И, понимая это, многие, пользуясь ситуацией, стряпают свои темные делишки, убирают своих соперников, оппонентов, противников.

Жаль хороших людей. А есть ли они, хорошие? Если и они молчат, если все, что творится, происходит с их молчаливого согласия? Но все-таки настоящие люди есть. Они пытаются как-то помочь, поддержать. Как ни странно, таких людей немало в наркомате внутренних дел. Быть может, потому, что механизм происходящего им яснее, чем другим.

Вот и сейчас конвоиры стараются помочь, чем могут. Отворачиваются и делают вид, что не видят, когда они выбрасывают письма из вагона в надежде, что кто-нибудь их подберет и перешлет адресату. Держат приоткрытыми двери, чтобы можно было дышать, что категорически запрещено.

И в тюрьме врач делал все, чтобы как-то облегчить положение, вселяя в него веру, что не все кончено, что будут еще светлые дни, что настанет время, когда сегодняшнее забудется, как кошмарный, мучительный сон.

Вчера всю ночь поезд простоял на какой-то большой станции. Когда рассветло, они увидели через несколько путей напротив такой же состав, окруженный охраной. В теплушках были женщины. Тогда они углем на белом полотенце написали: «Кто вы?»

Женщины оживились. Они, видимо, долго искали, чем и на чем написать. Некоторое время спустя к приоткрытой двери подошла женщина в белой кофточке. Она повернулась спиной. На спине крупными красными буквами, вероятно, чудом сохранившейся помадой, было четко выведено: «ЧСИР», что означало — члены семей изменников Родины.

Ропот, стон, возгласы возмущения сотрясли состав. Конвоиры быстро наглухо позакрывали двери как у них, так и у женщин. А когда приоткрыли, ибо дышать было нечем, состава напротив не было.

Долго еще стояли они на этой станции. Солнце было в зените, крыша раскалилась, и было ощущение, будто они в печке. Наконец поезд тронулся. Легкой прохладой повеяло от чуть приоткрытой двери. Бесконечная степь поплыла в полуденном мареве, необъятная, меняющаяся. И нет-нет вспыхивали на зеленом ковре темными, багровыми пятнами дикие тюльпаны. Поезд шел, не торопясь, медленно. И хотелось, чтобы он шел и шел и никогда не останавливался. Что может быть лучше мирного стука колес поезда и совершеннее природы! И что может быть страшнее того, что позволяет себе человек.

Видимо, в человеке не хватает истинного совершенства, есть что-то большое, противоестественное. Изошренная жестокость к себе подобным, какой нет ни в одном звере. Ибо зверь способен лишь убить, и то только из инстинкта. Человеческий же «интеллект», возводя инстинкты в степень, создал на протяжении зримой истории не один институт чудовищной жестокости. Держать людей в тюрьмах, подвалах, в загаженных камерах? Издеваться над ними? И даже не издеваться, а просто заставлять их видеть весь этот ужас. А потом приходиться домой, гладить головки своих детей, сидеть за столом, рассуждать о возвышенном и считать себя человеком? Непонятно. И лучшие никогда не поймут этого и потому всегда будут страдающей стороной. Потому что, чтобы защитить себя от жестокости, подлости, мерзости, подчас превращаемых законом в мораль, нужно самому стать и жестоким, и подлым. Нужно позволить себе все. Или ждать, что кто-то за тебя сделает это. А ты останешься чистеньким. Чистеньким? Надолго? И почему кто-то должен думать, действовать, рисковать, быть ответственным за тебя? Так что все претензии могут быть только к себе. Каждый выбирает свою судьбу. Или борись, или будь овцой и покорно жди своего часа. И вся философия человечества не придумала ничего, чтобы изменить это. Никакие законы, ни одна религия, ни одна социальная формация, даже самая идеальная, не могут гарантировать справедливости, потому что все, даже самое святое, можно использовать во зло. Всегда все зависело, зависит и будет зависеть от мудрости, гуманности и, конечно, твердости власти. А сколько страданий сейчас... Но это еще терпимо, если относиться только к мужчинам. Но когда страдают женщины, дети, беззащитные старики, которые не в состоянии ни выбрать, ни защищаться! Или это еще одно из изощренных изобретений человеческого гения? Потому что ради элементарной безопасности близких человек может пойти на все, вплоть до преступления. Его можно заставить предать, донести, оклеветать. И все это нарастает, как снежный ком, захватывая все новые слои. Ловкачи пользуются этим. Посредственность уничтожает людей одаренных, талантливых, инициативных. Гибнет генетический код. Все темные силы приведены в движение: зависть, подлость, трусость, невежество. И уцелеть в этом водовороте зла — дело случая.

Ему здорово повезло. Следовательно, к которому попало его дело, был младшим братом приятеля по гимназии. Когда его на второй день после ареста привели к Сергею, тот молча приложил палец к губам и стал задавать стандартные вопросы:

— Фамилия? Имя? Отчество? Год рождения? Место рождения? Кто был отец? Мать? Где учились? — Потом неожиданно встал, многозначительно посмотрел на красную папку, лежавшую на столе, на которой четкими черными буквами были выведены его фамилия, имя, отчество, и вышел. Он сначала не понял, но быстро сообразил, придвинул папку к себе и начал быстро перелистывать страницы, знакомясь с тем, что ему инкриминировали. Ордер на арест, анонимки, показания, доносы. Ничего неожиданного в деле не нагел.

Все было так, как он и предполагал. Писали завистники, обиженные, враги, жена, с которой он разошелся. Но вся ложь приобретала весомость в сочетании с тем, что он дворянин, что действительно окончил юнкерское училище, что дрался на стороне меньшевиков. Что после развода с первой женой женился на дочери погибшего белогвардейского генерала. И даже то, что он по своей воле не эмигрировал, а остался и верой и правдой служил, истолковывалось как тонкий расчет внедрения в командный состав армии. Расстроили его показания Одинцова, арестованного год назад, очень порядочного человека. Видимо, того заставили, выбили показания. Все было ясно, доказать непричастность к состряпанному делу было практически невозможно.

Вошел Сергей. Они долго, молча, понимающе смотрели друг на друга.

— Отпираться бесполезно, искреннее раскаяние и содействие следствию могут облегчить наказание,— сказал Сергей.— И не стройте из себя героя, как ваш комбриг. Это ничего не изменило, а ему дорого обошлось,— предостерегающе добавил он, имея в виду Одинцова.

— Значит, доказать свою непричастность к тому, что мне приписывают, невозможно?

Сергей молча покачал головой, но вслух сказал:

— Попробуйте, но в деле вашем неопровержимые доказательства вашей виновности.

— Дайте мне время все обдумать,— попросил он.

— Пожалуйста, вот вам бумага, карандаши. Подумайте. Если напишете объяснение, это упростит дело,— сказал Сергей.

Он долго писал объяснение, тщательно взвешивая каждое слово, будто решая сложнейшую математическую задачу со многими неизвестными, дабы не подвести под удар невинных, порядочных людей. Красная папочка помогла. Помогла и не пощадить подлецов, врагов истинных, ловко подставивших его под гильотину террора. И не только его, а многих честных, преданных делу людей.

Когда неделю спустя он передал объяснение Сергею, тот медленно, внимательно прочел его, кое-что уточняя в деталях.

— Часть ваших показаний придется проверить, но думаю, что здесь все верно,— сказал Сергей.— Правильно,— добавил он многозначительно и чуть развел руками, смотря на него сочувственным взглядом, показывая, что большего для него сделать не в состоянии.

Десять лет лагерей строгого режима, без права переписки было минимальным наказанием по статье, по которой проходило его дело.

Смешно, что он, являясь ярким Его сторонником и в ликвидации нэпа, при котором вылезла вся мерзость, бросившаяся тут же в дикий разгул, и в коллективизации, и в индустриализации страны, и в вопросах идеологии,— он, верный Его приверженец, стал жертвой режима своего кумира. Смешно! Смешно и закономерно. Идет борьба. И она не может не идти, ибо за два десятилетия существования государства невозможно повернуть психологию людей на сто восемьдесят градусов. Борьба идет на всех этажах. И там, наверху, тоже не все дышат синхронно. И то, что устраивает одних, неприемлемо для других. И суть трагедии в том, что в этой мясорубке гибнут лучшие, ни в чем не повинные, и их абсолютное большинство. Действует испытанная историей тысячелетняя модель. Машина тирании работает вовсю, продлевая во времени остывающий, отравленный нэпом революционный экстаз.

Одинцов тоже здесь, в этом же вагоне. Целыми днями молчит, уставившись в угол бессмысленным взглядом. Не разговаривает ни с кем, однозначно отвечает на задаваемые ему вопросы: «Да. Нет». Говорят, что дважды разгрызал себе вены в тюрьме, но умереть ему не дали.

— Простите меня, голубчик,— обратился к нему Одинцов при встрече.— Мне не повезло. Следователь попался с явными признаками патологии. Дело не в боли. Ее вынести можно, любую. Я не в состоянии был вынести унижений, ужасных. Вы не представляете. Тошно, стыдно, лучше умереть, чем жить, потеряв уважение к себе...

Он, как мог, успокаивал Одинцова, но успокоить не мог.

— Гадок, мерзок я себе,— говорил Одинцов,— после того, что со мной проделали. Где-то я прочел, что жертвой быть так же позорно и унизительно, как и палачом. Раньше я не понимал этого, а сейчас...

Он вдруг умолк и тупо обратил внезапно потухший взор к потолку. Больше они не разговаривали.

Вообще говорили в вагоне мало. Каждый был углублен в свои мысли. Только трое грузин наверху, на нарах, о чем-то беспрерывно страстно спорили. Спорили, собственно говоря, двое из них. Третий, старший по возрасту, больше молчал. Но когда казалось, что спорящие кинутся друг на друга, в это критическое мгновение третий с невозмутимо серьезным видом бросал какую-то короткую, по всей видимости, одну и ту же реплику, и всех троих вдруг охватывал неудержимый приступ смеха. Несмотря на то, что никто ничего не понимал, смех этот в этой непостижимо трагической обстановке действовал ободряюще. Глаза у многих оживали, в них появлялась надежда. Но были и другие. Лишь чудо могло оживить их глаза. Но чудес не бывает. Практически с ними было покончено.

Под вечер поезд остановился возле очередного полустанка. Небольшой, аккуратно побеленный домик, окруженный стройными, молодыми тополями, встал прямо перед дверью их вагона. Чуть погодя из домика вышел старик с длинной окладистой бородой, в серой домотканой, тщательно отутюженной толстовке, видимо, из старообрядцев. Он размахисто перекрестился и пошел прямо к их вагону. Подойдя ближе и поняв назначение состава, остановился шагах в шести от вагона и перекрестился еще раз.

— Дедушка! Дорогой! Брось, пожалуйста, в почтовый ящик,— попросил кто-то и выбросил письмо.

Старик поглядел на конвоиров, куривших возле последнего вагона, нагнулся и поднял письмо.

— И мое! И мое! — просили другие, и белые треугольники писем посыпались к ногам старика.

Старик наклонился и начал собирать брошенные ему письма.

Тогда он не понял, что остановило его и заставило спрятать письмо обратно в карман. Только потом до него дошло, что он не бросил письмо, потому что старик удивительно походил на Павла, родственника его первой жены. Богомольного, чинного, не пропускавшего ни одной службы, выкравшего у них семейные драгоценности и скрывшегося неизвестно куда. Его долго искали, но безуспешно. А потом прошел слух, что старика убили, узнав, что у него краденые драгоценности. С тех пор он питал недоверие ко всем, тщательно холившим свои бороды, будто для того, чтобы спрятать в ней свое истинное лицо, а также к тем, кто нарочито подчеркивал свою набожность, религиозность или просто приверженность к тому или иному.

Старик тем временем, собрав все письма и аккуратно сложив их в пачку, пошел назад, в хвост поезда, к демонстративно отвернувшимся конвоирам и, что-то строго им выговорив, передал письма одному из них. Потом повернулся и твердым, пружинистым шагом направился к своему домику.

— Сволочь! Мерзавец! Святоша! Сколько дерьма на свете! — гудел вагон.

«Всех сортов», — думал он. Страшно вновь и вновь разочаровываться в людях, терять и так уже основательно поколебленную веру в них. Он еще верил в добро, в великое назначение и будущее человека, верил в какую-то непонятную, недоступную человеческому разуму божественную силу, верил в Христа как в величайшую, необыкновенно трагическую историческую фигуру. Но ему всегда, с раннего детства претила религия в ее лицемерно-бутафорском обрамлении, с ее ложью и жестокостью. «Христианство, — думал он, — это подсадная утка, подкинутая миру для того, чтобы властвовать над народами, принявшими его в той или иной социальной форме». И перед его мысленным взором вставал старик с белоснежной холеной бородой, осеняющий себя крестным знаменем, в котором все было ложь и лицемерие.

Удобно и просто не думать. Действовать, как тебе предлагают. И всю свою несостоятельность, трусость и грязь оправдывать верой в то или иное. Поэтому настоящие люди всегда были вольнодумцами и, следовательно, всегда были не в чести.

Вот и сейчас, когда великое и святое, рожденное в муках и крови революции и гражданской войны, обрастает культовой обрядностью и застывает чуть ли не в религиозном догмате, гибнут лучшие, талантливые, инициативные, мыслящие нестандартно. И если сегодня обретенные этим путем дисциплина, порядок, энтузиазм обеспечивают положительные сдвиги и удивительные успехи почти во всех областях, то через два-три десятилетия это обернется трагедией. Потому что сегодняшний второй эшелон, дисциплинированные исполнители, придя к высшей власти, не смогут дать ничего нового. А на старом далеко не уедешь, и понадобятся десятилетия, чтобы вывести

страну из состояния рутины и закостенелости. И для этого опять понадобится неординарная личность, которая вынуждена будет взять на себя непосильную и неблагодарную миссию очищения там, где словами и убеждениями не обойдешься, ибо личных позиций никто никогда без боя не сдает. А в бою не обойтись без жесткости. Жесткость в отдельных случаях является высшим проявлением гуманности. Потому что своевременное устранение утративших элементарные нормы поведения, бюрократившихся божков спасет миллионы. Главное — не опоздать и не переусердствовать. Ни в коем случае не допустить создания всеобщей атмосферы недоверия и страха.

Сегодня на обед опять селедка. Селедка великолепная, пряного посола. Но хочется пить, а с водой плохо. Нечем дышать, духота, вонь. К двери не пробиться,— там сердечники. Медикаментов никаких. Все ждут прохлады и ночи.

По ночам ему особенно тяжело — бессонница. Одолевают мысли о доме, о жене, дочери. Он старается не думать о них, гонит от себя воспоминания. Но это выше его сил. Невозможно уснуть под бессвязное бормотание, стоны, вопли и крики забывшихся в ужасе людей. Это какой-то ад. Иногда ему удается не уснуть, а ненадолго провалиться куда-то. И тут все пережитое встает в каком-то диком кошмаре. Он прилагает усилия и из кошмара сна возвращается в кошмар действительности.

Как-то, проснувшись, он услышал разговор. Говорили тихо из опасения навлечь на себя новую беду.

— Какое ты имеешь право упрекать меня? — шепотом, в котором чувствовалось возмущение, спросил один.

— Имею, я ничего не подписал! — зло ответил второй.

— А я подписал, чтобы меня не пытали, как тебя. Доказать ничего невозможно. Так зачем же давать возможность еще издеваться над собой? Пусть убьют, расстреляют, но издеваться над своей плотью не позволю, лучше руки на себя наложу.

— Трус!

— Не герой, конечно, но и не дурак.

— Подлец!

— Поосторожней, здесь за себя я постоять могу, и если еще одно слово...— Он помолчал.— Пойми, все дело в возможностях. Плетью обуха не перешибешь. Один с этой машиной, в которую впряжены миллионы «энтузиастов» по доброй воле, ничего не сделаешь. Беда в том, что подвергнутое определенному психологическому воздействию, давлению власти, давлению авторитета абсолютное большинство можно заставить делать все, внушая ему, с одной стороны, возвышенные нравственные идеалы, а с другой — прививая беспринципное приспособленчество, умение защищать свои интересы за счет интересов других. И меня не так пугают патологические, антисоциальные элементы, их немного, как старательные чиновники, утратившие человеческий облик в результате выполнения бесчеловечных приказов. И мы хороши — осторожные. Уйдя в сторону ради самосохранения, мы уступили свои позиции, дав возможность уничтожить себя. Каждый из нас выбрал свою роль, и мы не персонажи, мы соавторы сегодняшней общественно-политической драмы и поэтою тоже ответственны за ее исход.

— И я ответственен? — с иронией спросил второй.

— Ответственны и ты, и я, — продолжал первый. — За свою инерцию, покорность. Конечно, ерунда — принцип равной ответственности. Это оправдание конкретных виновников и всеобщая безответственность. Ведь те, кто сострепал твоё дело, кто пытал тебя, делали это не из природной агрессивности, а из послушания, считая себя лишь исполнителями высшей воли. Они искренно считают, что за то, что они проделали с тобой, ответственности не несут. Они, видишь ли, только выполняли приказ.

— Нет, они ответственные.

— Конечно, ответственные, — сказал первый. Он опять помолчал, видимо, что-то обдумывая. — В каждом человеке сидят одновременно и охотник, и жертва, — продолжал он. — И человек может стать и тем, и другим в зависимости от времени и обстоятельств. Это не парадокс. Это действительность. Страшно сейчас другое. Страшна деиндивидуализация общества, несущая в себе аморальность, отсутствие внутреннего мира, внутренних ценностей, чести, достоинства, элементарной порядочности, что подчиняет все в человеке ин-

стинкту самосохранения. А там, где дело доходит до инстинктов, кончается человек.

— Что же делать?

— Мы уже ничего не сделаем. Думаю, что наши дети тоже не добьются ничего. Может, внуки... Дело даже не во времени. Нужна личность. Нужен герой, который сможет внушить людям отвращение к обществу, основанному на страхе, насилии и равнодушии, в котором все понятия извращены, где низость и предательство возведены в закон, где честь и достоинство считаются непозволительной роскошью, плата за которую чрезвычайно высока. Некоторым это стоило жизни. Вот тогда, когда такая личность появится, все станут смелыми, честными, справедливыми. В том числе и наши оппоненты. Они больше других будут возмущаться, критиковать, разоблачать сегодняшний день. Эта категория людей всегда — о, как держит нос по ветру! Ловкачи! Оборотни.

— Не понимаю, как ты, так тонко все понимающий и чувствующий, мог подписать эту чудовищную ложь? — спросил второй.

— Я тебе уже объяснял. Но не все ложь. Возьми Николаева, который настоял на строительстве химкомбината без очистительных сооружений, из-за чего погибло осетровых на полтора миллиона рублей. Возьми Зарецкого, который в целях экономии нарушил технику безопасности, в результате чего погибли люди. И если карманного вора за вытянутую им десятку или хулигана, избившего такого же хулигана, судят и заключают под стражу, почему Николаев, вольно или невольно, это неважно, нанесший огромный урон государству, обществу, природе, и Зарецкий, из-за которого погибло двадцать шесть человек, не должны ответить перед законом за свои просчеты, головотяпство, глупость? Им еще мало дали. Конечно, они не вредители, не враги народа, но держать ответ за преступления, которые совершили, должны.

— А наше дело? — спросил второй.

— Наше дело сложнее... Тут уже не чья-то ошибка, не глупость, не зависть. Тут чья-то рука. Рука опытная, профессиональная. Убрав нас, лучших специалистов по крекингу, они затормозили развитие отрасли минимум лет на десять, а то и двадцать.

— Ты пытался объяснить это?

— Вначале пытался. Потом понял, что бесполезно. Меня бы все равно взяли.

— Почему?

— Умный я очень! — Послышался нервный, короткий смешок. — Все понимаю и уже только поэтому опасен для власти. Для любой власти. Кстати, по-настоящему умные люди стараются, чтобы этого не замечали. Подчас играют в дурачков — и они в порядке. А мне, идиоту, хотелось, чтобы все знали, какой я умный. Вот и доигрался. Давай закурим! — Они закурили, огоньки то вспыхивали, то гасли.

— Но что это? — внезапно спросил второй. — Рука в чем-то липком.

— Давай я посвечу, — сказал первый и зажег спичку.

— Кровь! Откуда? — Они начали искать, откуда текла темная, еще теплая тоненькая струйка крови.

Проснулись и другие, проснулся весь вагон. Одинцов лежал в углу, вытянувшись во весь свой огромный рост, глядя куда-то вверх тусклыми, уже неживыми глазами. Крови было много. В правой руке он крепко сжимал маленький кусочек жести, видимо, от консервной банки, которым перерезал себе вены. Выражение лица было строгим и суровым.

— Отмучился, — сказал кто-то.

— Не трогайте ничего, пока не разберутся, — сказал другой.

— Нет, этого удовольствия я им не доставлю. Я их всех переживу, обязан пережить. Мы все обязаны! — воскликнул один из грузин.

Поезд мчался под уклон, будто бежал от греха. Земля вырывалась из-под колес, выстукивающих какие-то незнакомые, непонятные ритмы. Ковыли и осока летели навстречу, убегали назад и исчезали, словно смятые бешеным смерчем. Ущербная луна то исчезала, что заглядывала в приоткрытую дверь, точно налившийся кровью глаз какого-то чудовища. И только Марс, холодный и загадочный, бесстрастно сиял над горизонтом.

Светало. На зардевшемся востоке начала вырисовываться степь с небольшими холмами, напоминающими по форме барханы. Поезд шел все тише и тише и наконец остановился.

Они сообщили охране о случившемся. Конвоиры открыли дверь и остались внизу, став полукругом возле вагона с ружьями наперевес. В вагон поднялись двое: немолодой начальник конвоя, прибалт, судя по произношению, и человек в штатском. Они опросили несколько человек. Быстро и деловито составили протокол, попросили расписаться в нем троих и расписались сами. Принесли носилки. Они были коротки, и ноги Одинцова свешивались вниз, мешая тому, кто держал носилки сзади. Конвоиры, стоящие внизу, приняли носилки и опустили их наземь.

— Свободен, — промолвил кто-то.

— Не опережайте событий, — обратился к ним начальник конвоя. Помолчал и добавил: — И сдайте немедленно оставшиеся режущие и колющие предметы.

Человек в штатском молчал. Они спрыгнули вниз. Вагон снова закрыли решеткой, прикрыли дверь, оставив небольшую щель. Где-то рядом запел жаворонок.

Он смотрел на виднеющуюся справа глинобитную кошару, возле которой стояли, замерев, два ослика, нежно прижавшись друг к другу, с будто переплетенными шеями. Сердце защемило от этой картины, где было все: и горе, и страх одиночества, и обреченность. Были ласка и нежность, которыми жизнь так редко балует нас, живущих в этом огромном непонятном мире. Обычно с тех пор, как его взяли, он гнал от себя эти мысли. Но сейчас ему хотелось думать о матери, о жене, о дочери, о нежности и ласке.

Странно, думал он. Смерть эта не ослабила, а, наоборот, придала ему силы. Оказывается, даже в крайних обстоятельствах человек имеет свободу выбора и остается хозяином своей судьбы. Сломленный Одинцов сумел распорядиться собой. Смерть ставит точку над всем, и все равны перед ней. И если не забывать об этом, не страшно ничего. А когда нет страха — можешь все. Наверное, только тогда и становишься человеком. Жаль, что так поздно ему открылась эта истина.

Солнце поднималось все выше и выше. Становилось все жарче и жарче. Дышать было нечем, но ощущение, что происшедшее сделало его сильнее, не проходило.

А поезд все шел и шел между длинными увалами по волнистой, бескрайней степи, местами пересекаемой старыми, высохшими руслами рек. И тогда, переезжая мостки, колеса выстукивали звонче.

Ранняя весна одела степь нежной зеленью трав и кустарника. Редкие здесь саксаулы, прячущиеся в небольших котловинах, окруженные тамариском и полынью, достигали порой размера небольших деревьев. И все это пестрело и искрилось непостижимыми в своем разнообразии яркими красками тюльпанов, начиная с бледно-розовых, красных вплоть до пурпурных в черноту.

Он не мог оторвать взгляда от этой первозданной, ничем не тронутой красоты. Не видно было никаких строений, ни людей, ничего... Только буйная, полная жизни степь в апогее своего расцвета. Через неделю-две все это чудо будет безжалостно сожжено немилосердным солнцем. И жизнь затаится, чтобы перенести невыносимый зной и безводье, когда земля корчится в муках и трещины, словно морщины, пересекают ее. Затаится от свирепых ветров, лютых морозов, чтобы через год вспыхнуть с новой силой.

«Все становится на круги своя, — думал он. — Возможно, и человечество движется по каким-то неведомым, неопознанным орбитам».

Поезд, непонятно почему, неожиданно резко затормозил. Между вагонами лягнуло, заскрежетало. Состав судорожно дернулся и остановился.

Вдруг он увидел их. Несмотря на расстояние, стройные фигуры в белом четко вырисовывались на фоне степи. Легко и уверенно бежали они к поезду, держась за руки, словно дети. Когда до состава оставалось совсем немного, они остановились и он поднял ее на руки. Но, поняв назначение состава, опустил наземь, и они вместе, так же держась за руки, медленно подошли к их вагону.

Юноша пытливо рассматривал их, и на его приятном лице вдруг заиграли желваки. В светло-карих, с желтыми искорками глазах сверкнул вызов. Девушка растерянно улыбалась, цветы выпали из ее рук.

— Что мы можем сделать для вас? — спросил юноша.

— Если вас не затруднит, перешлите письмо. Адрес указан, но конверта и марок, к сожалению, нет. Это чревато, — счел необходимым предупредить он.

— Пусть вас это не беспокоит, давайте быстрее,— сказал юноша, подошел к двери, поднял брошенное ему письмо и передал девушке.

Подошли два конвоира.

— Отойдите от вагона. Нельзя,— строго сказал старший.

— Почему нельзя? — укоризненно спросила девушка.

— Вы же видите — арестованные,— ответил ей молодой конвоир.

— Пойдем! — бросил старший товарищу, и они отошли к соседнему вагону.

— Так можно надеяться? — спросил он юношу.

— Не беспокойтесь, перешлем, дойдет обязательно,— ответил молодой человек.

Девушка, прощаясь, взмахнула рукой, в которой белел треугольник письма. Молодой часовой состроил страшное лицо и щелкнул затвором. Девушка и юноша рассмеялись и, держась так же за руки, побежали обратно в степь. Их стройные фигуры становились все меньше и меньше...

Он смотрел им вслед и думал о том, что ждет их впереди. Что они, сами не ведая того, вернули ему веру в жизнь, в доброту, в человека. Вернули надежду, что все еще впереди. Мир снова представился полным смысла и гармонии. Мысли становились четкими, ясными. Не может же мир вечно стоять на крови и несправедливости.

Да благословенна юность, не ведающая страха, освященная в своей чистоте любовью и мудростью.

PS. Письмо это дошло до адресата и вот уже полвека хранится как ценнейшая семейная реликвия вместе с конвертом, адрес на котором выведен крупным незнакомым почерком, с вложенными в него пурпурными, словно высохшая кровь, засохшими лепестками тюльпанов. Автор письма реабилитирован посмертно в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году.

1988 г.



Михаил КАПУСТИН

Камо грядеши?

Мы будем истинно свободны... лишь с того дня, когда вполне уразумеем пройденный нами путь, когда из наших уст помимо нашей воли вырвется признание во всех наших заблуждениях, во всех ошибках нашего прошлого, когда из наших недр исторгнется крик раскаяния и скорби, отзвук которого наполнит мир. Тогда мы естественно займем свое место среди народов, которым предназначено действовать в человечестве не только в качестве таранов или дубин, но и в качестве идей.

Петр ЧААДАЕВ.

Сокрушение гуманизма

«Железному канцлеру» Германии прошлого века приписывают следующее довольно зловещее изречение: «Если хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко». История выбрала Россию. Да, в XX веке история выбрала нас в качестве невиданной человеческой «гекатомбы» — колоссальной жертвы за все всемирно-исторические поиски Пути и социальные ожидания человечества.

Мы, по Маяковскому, «повернули истории бег», за что и последовала чудовищная расплата. «На нашу страну,— писал Ленин,— падают теперь особенно тяжелые муки первого периода начавшегося акта родов» — родов Нового общества. Этот «первый период» — гражданская война — унес более 15 миллионов человеческих жизней, из которых около двух миллионов эмигрантов, кои сами остались живы, но для которых родина умерла, а это тоже смерть наполовину.

В эпоху Троянской войны, согласно «Илиаде» Гомера, река Ксанф, огибавшая холм, где происходила долгая битва, вдруг потекла... человеческой кровью; поэт же нашего «нового общества» Багрицкий видит, как сам «чернозем потек болотом от крови и пота». А это уже как бы второй период — ужасы сплошной коллективизации, жертвами которой также стали многие миллионы, и страшного голода 1933 года, вызванного не только засухой, то есть природным яв-

лением, но и изъятием у крестьян семенного фонда, то есть голода, организованного людьми. Третий — конец 30-х годов, когда массовыми репрессиями был замучен и погублен цвет нации во всех слоях партийной, государственной, военной, общественной, научной и культурной интеллигенции. И, наконец, Отечественная война, поистине Великая — прежде всего по беспрецедентным в истории масштабам человеческих потерь.

Всякому общественно-историческому бытию соответствует определенное ему время, которое хронологически не всегда совпадает с реально текущим. Поясно: есть народы, особенно с тысячелетним прошлым, которые и сегодня продолжают жить духовно этим своим прошлым, дышать в основном своим животворным вечным наследием, как, например, народы Индии. Другие народы, особенно те, у кого короткая история, скажем, североамериканцы, напротив, живут преимущественно своим настоящим — им ближе, дороже и волнительнее всего то, что происходит с ними сейчас, здесь, сию минуту. Ну и встречаются случаи, когда массу людей не устраивает ни их настоящее, ни их прошлое. Тогда им не остается ничего другого, как только жить будущим. Таковы, по видимому, мы, русские. Один из наиболее популярных «неистовых» умов XIX столетия, Виссарион Белинский, собственно, так и говорил: «Россия по преимуществу страна будущего». Да и на цивилизованном Западе те, кто уже с начала прошлого века интересовался грядущими

судьбами мира, отмечали, как Виктор Гюго, что «Россия восходит».

Автор пророческой птицы-тройки, которой, «косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства», однажды назвал даже примерную дату исторического совершенствования национального характера. Говоря о Пушкине, Гоголь заметил, что это явление чрезвычайное и даже единственное для своего века, поскольку это «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Последующее за футуроориентированным гоголевским прогнозом и посмотрим, каким же стал в действительности «русский человек в его развитии», правда, не через 200 лет, а спустя всего лишь сто лет после смерти Пушкина.

Это 1937 год. Но что-то не очень он нас вдохновляет по части осуществления исторически оптимистических прогнозов, особенно если вспомнить, что, по Пушкину, главной его заслугой перед народом, грядущими поколениями было восславление свободы в тот «жесточайший век» и «призывание милости к падшим», то есть к горстке революционеров, пятеро главарей из которых были казнены. Ну, а что касается «пробуждения добрых чувств», то выходит вроде бы как и вовсе наоборот...

«Отец» философии новейшего времени Иммануил Кант предлагал всю историю человечества рассматривать прежде всего как историю развития понятия Свободы — сверхценности, которая реализовывалась в гражданские, правовые свободы в результате великих революций. Собственно говоря, всегда — от взятия Бастилии до штурма Зимнего дворца — революции и совершались прежде всего именно ради этого.

Свобода, или, иначе говоря, освобождение человека от всяческого угнетения, физического и духовного рабства, и была той святой идеей, страстью, которая овладевала всем существом революционеров и зажигала громадные массы угнетенных; ей отдавали свои судьбы и самые жизни лучшие люди Отечества, цвет нации. Освобождение человека и человеческого, развитие «человеческой силы как таковой, как самоцели и истории» (Маркс) — вот величайшая из всех ценностей человеческого бытия. Но для осознания этого принципа гуманизма понадобилась вся история мировой культуры, начиная с выработки золотого правила нравственности.

Впрочем, традиция революционного рационализма, идущая от Гегеля через Маркса к ленинизму, ориентировалась на человека довольно абстрактно, как на «совокупность общественных отношений» — ее более всего интересовала масса, а не отдельная личность. Традиция же, идущая, с одной стороны, от «свободы» Канта, а с другой — от «веры» Кьеркегора, привела общественное сознание в XX столетии к учениям о свободе и гуманизме (экзистенциализм) и о

личности (персонализм). По иронии истории и то и другое учения были провозглашены представителями именно тех двух стран, кои окажутся более всех остальных призванными сокрушить и гуманизм, и личность. Я имею в виду Россию и Германию.

Устами Николая Бердяева, высланного из России в 1922 году, век провозгласил понимание внутренне свободной «соборности» личности, противопоставленное принудительной социальности классов, наций, партий, церкви («персоналистический социализм»). Устами же Карла Ясперса был утверждён бюргерский гуманизм и поиск путей общечеловеческой «коммуникации» между странами (народами) и веками поверх всех государственных границ и социальных барьеров. Но для достижения их целей сама идея человека и человечности должна была подвергнуться жесточайшему сомнению — прежде всего именно на родине этих философов-пророков.

Однако как же так могло получиться, что именно тогда, когда эта ценность Свободы и Личности наконец-то была осознана передовыми нациями, их общественно-культурным сознанием, когда осуждено и, казалось бы, навсегда отринуто извечное противопоставление «своих и чужих», именно на XX век и приходится тотальное уничтожение человека, всего человеческого, удушение гуманизма, достигаемого столь долго и столь мучительно, но высвеченного лучшими умами в качестве необходимого идеала всеобщего исторического развития?! Да, именно в XX веке и именно в цивилизованных странах происходит в беспрецедентных масштабах поспрание, глумление и уничтожение человеческого — всего, что было накоплено, любовно и беззаветно создано всемирной культурой.

Самые страшные акции были совершены против других народов немецким гитлеризмом, а против собственного народа — сталинизмом. Гитлеризм не скрывал своих человеконенавистнических целей; он не только возродил вновь вековечный принцип ксенофобии — ненависти к «чужим», — он как бы вернулся в доисторические, каннибальские времена, провозгласив «сверхчеловеками» «своих» — арийцев, другие же народы — славян, — объявив предназначенными для рабства, а иные просто подлежащими уничтожению. Вот три лозунга-директивы нацистской ксенофобской доктрины: «техника обезлюдивания» (Гитлер), «ставка на негодяя» (Геринг), «вперед, по могилам» (Геббельс).

На древних и старых архитектурных сооружениях были разные надписи, символы тех эпох: в античности — «Познай самого себя» (храм Аполлона в Дельфах); в эпоху Ренессанса — «Делай, что хочешь» (Телемская обитель в романе Рабле). В середине XX века сердце Европы обогатилось чудовищной иронией

перевертышем «Iedem das Sein» — «Каждому свое» (ворота в Бухенвальде).

В советских концлагерях не было подобной издевательской символики, потому что у сталинизма была собственная «тайная доктрина» (в отличие от явной у нацизма), суть которой в том, что макиавеллиевский лозунг «разделяй и властвуй» был тайно, скрытно проведен сверху вниз по социальной вертикали (партия, государство, все этажи социального управления) и по горизонтали (семья, социальные группы, классы, этнос). Но никакое громадное, даже великое дело не совершается без воодушевляющей идеи, разбуживающей гражданские страсти (идейный или национальный фанатизм и т. п.), поэтому, думается, были такие идеи и у вдохновителей двух режимов — и у Гитлера, и у Сталина. Мы не будем здесь проводить сравнительный анализ этих личностей, сойдемся на том, что это, так сказать, два лица сатаны XX века, пришедшего распотать все шесть тысяч лет цивилизации, опрокинуть и изнасиловать историю, сотворившую немислимыми усилиями и жертвами именно человека и человеческого — homo humanus — в каждом экземпляре рода.

Исторический сатана бесконечно превзошел все свои литературно-христианские прообразы от Люцифера до Мефистофеля, поскольку оказался призванным уничтожить истинных людей, для которых Вера, Добро, Красота, Культура дороже жизни. Тех же, кто послабее и которых, конечно, много больше, подчинить своему макабрическому культу, раздавив в них все человеческое, превратив в холуев, в ничтожества, в «вошь», по определению Достоевского.

Смысл истории XX века поразителен и страшен — это обесмысливание самой себя, подвергание предельному сомнению саму историю как историю Человека и человеческого, параллельную ходу другой великой эволюции всего живого, дабы под лозунгом и маской революции погубить «творческую эволюцию» жизни. Это настолько страшное, настолько чудовищное преступление, что его смысл — «тайная доктрина» — до сих пор, спустя почти столетия, не вмещается в нормальной человеческой голове. И в это поистине сатанинское в масштабе огромной страны и великого в прошлом народа, столь же громадное в еро-л о м с т в о, то есть ломание костей и хребта Вере, Духу, Богу, трудно, почти невозможно поверить.

Вот почему при тоталитарном режиме к вершинам власти по трупам лучших поднимались в основном подонки, насильники и негодяи или же льстецы, трусы и подхалимы, готовые принести холуйски безропотно в жертву своих жен и близких. Такова была, в частности, сталинская «проверка на дорогах». Для других — нормальных, порядочных людей — «навверху» с трудом находилось место, и их, даже тех, от кого во многом

зависело существование самого государства, как, например, от военачальников, их также стремились сбросить во всеобщую мусорную яму, куда был отправлен весь народ. А чтобы осуществить это, нужна была, конечно, грандиозная, умопомрачительная ложь, осуществляемая на уровне партийного руководства, правовой системы, всех госучреждений и средств массовой информации. Известный публицист И. Клямкин посвятил этому вопросу специальную статью в журнале «Новый мир», где, в частности, говорит: «Да, это был обман, равных которому в истории не сыщешь... Ни одной серьезной проблемы Административная Система разрешить не может и не сможет, и, пока она не сломана, источник лжи сохраняется».

Для обоснования практики лжи требуется все же авторитетная, хотя бы по форме, идеология, взятая напрокат, поистине «миф XX века». В случае с Гитлером и Розенбергом они взяли идею Гобино о «неравенстве человеческих рас» и приспосobili к ней ницшеанскую идею übermensch — «сверхчеловека», «белокурой бестии». Сталин же в своих целях использовал идеологию Ленина, чей ослепительный свет в свое время преобразил угнетенное сознание угнетенных миллионов, а дальше уже достаточно было лишь поддерживать его горение — и ничего не надо было изобретать самим. Единственное, что изобретали фашисты и сталинисты, — это способы, формы и методы уничтожения человека и человеческого, свободы и личности. Вот уж тут-то они изощрялись с тем самым — сатанинским! — воображением, напоминая истязателей средневековой инквизиции, лишь приспособлявая оную к техническим новшествам и массовым масштабам своего времени.

Одним из первых, кто глубоко уяснил это, был Артур Кестлер, познавший на собственной тяжелой и горькой судьбе все прелести и того и другого режимов. Один из героев его книги «Слепящая тьма» от имени проигравшего свою политическую игру поколения партийных деятелей 30-х годов, рассуждал так: «Никогда еще столь малая группа людей не сосредоточивала в своих руках такой полной власти над будущим человечества. Каждая неверная идея, которой мы следовали, превращалась в страшное преступление перед грядущими поколениями. Поэтому нам приходилось карать за порочные идеи, как за тягчайшие преступления — то есть смертью. Нас считали маньяками, ибо мы доводили каждую мысль до ее логического конца и поступали согласно сделанным выводам. Нас сравнивали с Инквизицией, ибо мы постоянно ощущали на себе бремя ответственности за спасение человечества. Подобно инквизиторам, мы искореняли семена зла не только в людских деяниях, но и в помыслах».

Другое до сих пор неизвестное признание, ошеломляющее своей искренно-

стью и горчайшей исповедальностью, принадлежит Иоганнесу Р. Бехеру, выдающемуся немецкому поэту. В свое время вместе с большинством своих современников он, по собственному признанию, восхитался Сталиным, как «никем более среди живых». Этот свой восторг он выразил во множестве стихов и прежде всего потому, что Сталин «избавил нас (честных, культурных немцев. — М. К.) от коварного врага, называвшего себя немцем и олицетворяющего собой кошмар Германии». Однако позже, размышляя над итогами XX съезда КПСС, Бехер был потрясен тем, что сам избавитель как глава режима, оказывается, страдал весьма похожими недугами. Поэт записал тогда эти свои впечатления и даже было подготовил их к печати в 1957 году, но в последнюю минуту остановился и вычеркнул из гранок ряд фрагментов на эту крайне болезненную тему. Они увидели свет лишь совсем недавно, и «Литературная газета» с небольшими сокращениями перевела их. Хотелось бы здесь привести одно из горестных размышлений Бехера по интересующему нас вопросу.

«Основная ошибка моей жизни¹, — писал он, — состояла в том, что я полагал, будто социализм покончит с человеческими трагедиями и положит конец трагизму человеческого существования вообще. В этой основной ошибке выразилось, с одной стороны, мелкобуржуазное, мещанское и в то же время идиллическое представление о социализме, а с другой — слишком усердное стремление апологетизировать социалистический эксперимент, практическое осуществление которого происходило на наших глазах. Однако действительность оказалась прямо противоположной ожиданиям, и надо было принять к сведению этот ужасный факт и постараться сделать выводы. Казалось, что при социализме человеческая трагедия началась снова, только в иной форме, прежде неизвестной и для нас совершенно непонятной. Социализм предоставил неограниченный простор человеческому трагизму. Трагедия превзошла в нем самое себя, и преумножилась, и пообещала нам не «светлое будущее»... а такую эпоху, трагическое содержание которой и сравнить нельзя было ни с одной из предшествовавших. Кто думает и мечтает о социализме как о рае земном, как о счастье для всех, получит страшный урок: он узнает, что социалистический строй порождает и тип людей, готовых на все, если и без прямого применения варварских методов прошлого, то и без окончательного от них отказа, доказательства чему мы как раз получили недавно».

Ну и уж совсем недавно, в 80-е годы, мы получили доказательства не только странной «дружбы» между фашистскими Германией, Италией и сталинским СССР, но и согласия последнего принять уча-

стие в Тройственном пакте — Германии, Италии, Японии, где речь фактически шла о разделе мира на сферы влияния между этими четырьмя «дружественными государствами». Именно об этом говорит большое послание Рыббентропа Сталину от 13 октября 1940 года, в ответ на которое 12 ноября в Берлин для уточнения деталей прибыл Молотов. Сталин охотно согласился с гитлеровским руководством на совместный раздел Польши и на общую границу с Германией. 13 октября 1949 года по случаю образования ГДР «отец всех народов» в поздравительной телеграмме В. Пику и О. Гротеволу писал следующее: «Опыт последней войны показал, что наибольшие жертвы в этой войне понесли германский и советский народы, что эти два народа обладают наибольшими потенциальными в Европе для совершения больших акций мирового значения (?). Разумеется, тут народам приписываются экспансионистские замыслы, которыми на самом деле отличались управляющие ими политические режимы того времени. Что же в действительности имел в виду Сталин, говоря о свершении «больших акций мирового значения», поведала нам его дочь Светлана Аллилуева, которая в своей объемной книге «Только один год» писала: «Он не угадал и не предвидел, что пакт 1939 г., который он считал своей большой хитростью, будет нарушен еще более хитрым противником. Именно поэтому он был в такой депрессии в самом начале войны. «Эх, с немцами мы были бы непобедимы», — повторял он, уже когда война была окончена... Но он никогда не признавал своих ошибок».

Однако для тех революционеров, которые унаследовали культурные традиции преемственного, то есть эволюционного, развития, в свое время наступил час расплаты и за собственные, и за общие ошибки. Это оборачивалось для них личными трагедиями, поскольку ошибки были слишком велики и непростительны, следовательно, и расплата была чрезвычайной. И тут мне на помощь придет удивительный по своей силе философско-художественный документ той эпохи — эпопея Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». В середине XX столетия, по мысли писателя, при гитлеризме и сталинизме социальная норма и патологии поменялись местами: мысль, нравственность, культура оказались растлеваемы и преследуемы за колючей проволокой, а подлость, жестокость, вероломство, насилие оказались у власти как по ту, так и по другую сторону колючей проволоки. Страну, собственно, и превратили в гигантский лагерь, где властвуют бандиты-уголовники и следователи, где все ценности и идеалы оказались опрокинутыми лицом в лагерную парашу, как это делали с политическими зэками, оказавшимися недостаточно послушными, и в мозг вбит гвоздь. Помните эпизод: рассердившийся уголовник однажды ночью приставил к уху спящего, на коего он

¹ Здесь и далее разрядка моя. — М. К.

осерчал, большой гвоздь и затем сильным ударом вогнал его в голову? И никто из сотни рядом лежавших на нарах не поднял головы, не закричал — люди притворялись спящими. Но эта мертвящая покорность была не от пустяков, а «рождена опытом, знанием лагерных законов», в том числе и «законов» страны, превращенной в лагерь.

Не всякий оказывался в силах выдюжить: «мелкое и подлое лагерное чувство — побывать в кругу сильных», то есть заправлявших всем бандюг, подминает даже бывшего кавалерийского комбрига, кавалера двух орденов Красного Знамени, который теперь, будучи окликуемым, «с заискивающей улыбкой подходил к воровскому столу, а двадцать лет назад вел в бой кавалерийские полки добывать мировую коммуны». Познав все это и ужаснувшись разверзшейся бездне, один из бывших большевиков, ныне зэк, перед тем как удавиться, в предсмертной исповеди признается своему бывшему другу и учителю: «Мы ошиблись. Наша ошибка вот к чему привела — видишь... Мы с тобой должны просить прощения у него (очередного покойника — пылинки из «лагерной пыли» — М. К.) ...Да какое уж там каяться. Сего не искупить никаким покаянием. Это я хотел сказать тебе. Раз. Теперь — два. Мы не понимали свободы. Мы раздали ее. И Маркс не оценил ее: она — основа, смысл, базис под базисом. Без свободы нет пролетарской революции. Вот два, и слушай — три. Мы проходим через лагерь, тайгу, но вера наша сильнее всего. Не сила это — слабость, самосохранение. Там, за проволокой, самосохранение велит людям меняться, иначе они погибнут... — и коммунисты создали кумира, погоны надели, мундиры, исповедуют национализм, на рабочий класс подняли руку, надо будет, дойдут до черносотенства».

Если «Тихий Дон» дал широкую панораму переломной судьбы простого народа в первую четверть века, а «Доктор Живаго» отразил в основном судьбу интеллигенции в тот же период, то эпопея Гроссмана — это жизнь и судьба всего нашего (в основном) и германского (в частности) народов, многих различных слоев общества времен Сталинградской битвы и в ретроспективном взгляде на 30-е годы, то есть период разгула сталинизма и фашизма, схватившихся в смертной схватке и втянувшей в этот адский водоворот многие, многие миллионы человеческих судеб. Вот как пишет об этом В. Гроссман: «И уже не десятки тысяч и даже не десятки миллионов людей, а гигантские массы были покорными свидетелями уничтожения невинных. Но не только покорными свидетелями: когда велели, голосовали за уничтожение, гулом голосов выражали одобрение массовым убийствам. В этой огромной покорности людей открылось нечто неожиданное...

О чем говорит она? О новой черте, внезапно возникшей, появившейся в приро-

де человека? Нет — эта покорность говорит о новой ужасной силе, воздвигнувшейся на людей. Сверхнасиле тоталитарных социальных систем оказалось способным парализовать на целых континентах человеческий дух.

...В помощь инстинкту (на который ориентировался национал-социализм.— М. К.) приходит гипнотическая сила мировых идей (на которые опирался сталинский социализм.— М. К.). Они призывают к любым жертвам, к любым средствам ради достижения величайшей цели — грядущего величия родины, счастья человечества, нации, класса, мирового прогресса.

И с инстинктом жизни наряду с гипнотической силой великих идей работала третья сила — ужас перед беспредельным насилием могущественного государства, перед убийством, ставшим основой государственной повседневноности. Насилие тоталитарного государства так велико, что оно перестает быть средством, превращается в предмет мистического, религиозного преклонения, восторга», прошедшего, добавим, на место вытесненной гитлеризмом и раздавленной сталинизмом традиционной религии.

И сталинизм, и гитлеризм — это антропофагия XX века, где людоедом становится вся государственная машина, в буквальном смысле слова пожирающая человека и все человеческое, то есть культурные и нравственные завоевания всей истории человечества.

Когда убийца и насильник растлевают и уничтожают одну, две, три жертвы, они внушают гнев, презрение и отвращение как изгой цивилизации и именуется уголовными преступниками-рецидивистами. Когда же число жертв на счету убийцы превышает некую «норму» (то есть число, которое можно хоть как-то понять и объяснить с точки зрения здравого смысла, признавая, что слово «норма» по отношению к убийствам, конечно же, звучит чудовищно), ну, допустим, десять или даже двадцать человек, мы вообще отказываемся признать такого злодея за человека и обозначаем его как «маньяка», «садиста» или, согласно современному особому разделу криминологии, специально занимающемуся этим феноменом, называем его «безмотивным убийцей». Он уже внушает нам панический страх, который может охватить даже многомиллионный город, где такой маньяк или «безмотивник» разгуливает на свободе до тех пор, пока его не поймут.

Ну, а если число жертв на счету кого-то превышает все предельные для нормального рассудка пределы и достигает даже не многих тысяч, а нескольких миллионов?! Тогда конструктор и хозяин такой государственной машины, перемоловшей миллионы, внушает уже не просто смертельный страх, а inferнальный трепет, Великий ужас. Великий именно

в силу своих необычайных, сверхчеловеческих масштабов. И, как это ни странно звучит, но все, что несут в себе те или иные характеристики «сверх», то есть чрезвычайно огромные масштабы, вызывает некоторую... эстетическую реакцию, близкую к тому, которую культурные люди переживают при восприятии возвышенного. В свое время Чернышевский первым в истории европейской мысли попытался найти материалистическое объяснение для основных эстетических реакций и, истолковывая материалистическую суть возвышенного, отметил, что оно содержит в себе все великое, то есть всё, что резко превышает обычные размеры и представления.

Крупномасштабные ужасы XX века — массовые злодеяния и убийства, чудовищный геноцид («сверхзло»), то есть сверх обычных человеческих, культурных представлений, — вызывают этот парадоксальный эстетический эффект: сверхнизменное начинает восприниматься как ужасающе возвышенное (ужасное, но возвышенное). Сокрушение гуманизма как принципа истории сделало более невозможным какую-либо поэтизацию зла, модную со времен «Цветов зла» Бодлера. Содеянное макросоциальным злом подлечит уже не «эстетизации», а всеобщему оплакиванию — грандиозному Реквиему, как в поэзии, это у А. Ахматовой, или как ныне в музыке, у В. Артемова.

К. Симонов, хорошо знавший Сталина и оставивший посмертно огрубленную своего рода летопись, вкратце определил его так: «Велик, но страшен». Объяснить подобное восприятие личности можно следующим образом: велик потому, что сверхстрашен... Таинственная бездна, заполненная, используя гооголевское определение, «страхами и ужасами России», в необозримом количестве на всем ее громадном пространстве маячит за его по-диктаторски мелкой фигурой с узкими плечами, рябым, невыразительным лицом, узким лбом и желтыми глазами. И вот она-то — бездна! — и вызывала безмерный ужас.

Прецеденты такого рода были и во всеобщей истории — Чингис-хан, Тимурленг (железный хромец), и в нашей национальной — Иван IV. Но только русские с присущей им былой жалостливостью и всепрощенчеством, покоящимися, быть может, на базе общенационального чувства покорности как судьбе, так и ее олицетворению в царящем тиране, эстетически обозначили своего первого национального тирана не Кровопийцей, не Людоедом, а именно эдак эстетически — Грозным. Тоже по-своему, наверно, был «велик, но страшен». Даже песни про него слагали и сказы (в фольклоре), поэмы (Лермонтов), оперы («Царская невеста») и совсем недавно — балет.

Как при Петре, Русь вошла в Европу «при стуке топора и грома пушек», так и при Сталине Россия, объединившая в своем составе более ста народов, вышла

на авансцену планеты индустриальным звоном, а потом еще раз громом пушек и «катюш» и экспортом революции через Победу. Здесь уместно вспомнить одно providенциальное рассуждение Маркса: «Настанет русский 1793 год; господство террора этих полуазиатских крепостных будет невиданным в истории, но оно явится вторым поворотным пунктом в истории России, и в конце концов на место мнимой цивилизации, введенной Петром Великим, поставит подлинную и всеобщую цивилизацию».

Этот феномен для вновь потрясенного мира, и не только Европы, был страшен, но и велик. Примерно так и охарактеризовал его У. Черчилль. Посему и на том, кто, раздавив и уничтожив всех своих актуальных и потенциальных противников, бесслесно стоял во главе движения, невольно сошлись, как в фокусе, лучи от «светоэффекта» этого феномена. Р. Роллан точнее других определил его так: «Я не Сталина защищаю, а СССР». Для современников Хозяина, учитывая субъективный эффект «оптического обмана», присущего герою в истории, он был еще более усилен перевертышем: велик, но страшен. Для нашей эпохи десталинизации возникает, помимо, еще и такой новый оттенок: велик наводимым страхом и кровавым ужасом, сквозящий который все равно проглядывает историческое величие странной, таинственной державы, в итоге занявшей свое место среди первых сверхдержав мира и после Победы все-таки участвовавшей — и отнюдь не на последних ролях! — в своеобразном «переделе мира» среди четырех держав, правда, уже в другом составе, нежели предполагалось в 1940 году. Но и это последнее обстоятельство лишь прибавило лавров Сталину — единственному, кто устоял из той, прежней четверки.

Когда на нашей вырубленной полосе общественной мысли все же поднимется здоровая философия истории, она, вероятно, объяснит странный смысл, тоже своего рода «сверхсмысл», истории XX века, вздыбившейся и восставшей в лице гитлеризма и сталинизма, а затем в лице грозного сверхоружия — всеобщей ядерной смерти — против самой истории как таковой. Вот почему вслед за Шиллером, предсказавшим «обезбожение земли», и Ницше, диагностировавшим «смерть Бога», европейский философ середины XX века Мишель Фуко провозгласил, что и «человек умер». Для столь откровенного диагноза — мы поняли это только теперь, поскольку еще вчера Фуко, как и всех западных мыслителей, мы третировали, — увы, есть все основания. И наиболее адекватный аспект «смерти человека» — растение, плоды которого мы пожинаем сейчас, после того, как упорно топтали, насилывали и за несколько десятилетий выкорчевали в народе то, что выращивалось на протяжении всей национальной и всемирной истории. Деформирован и

извращен национальный характер великого народа, человек оскотинен, переполовинены и раздавлены другие народы, малые народности согнаны со своей родины на чужие земли, встретившие их свирепо и потому с неизбежностью озлобившие их, в свою очередь, против себя надолго.

И мы еще удивляемся, почему это «вдруг» сейчас обнаружился всплеск межнациональной розни?

Или отчего наши люди, прежде всегда славившиеся своей добротой и душевной жалостливостью, «вдруг» стали отличаться бессердечием, душевной некоммуникабельностью и грубостью? Да потому, что — и тут заключен второй аспект — таково последствие сталинизма, таково, как при ядерном облучении, «лучевая болезнь» социального духа.

Попробуем теперь набросать общий абрис нашей вероятной философии истории.

Начиная с Дарвина, развитие животного мира на Земле понимается как эволюция видов в результате естественного отбора, смысл органического бытия был понят как всеобщее развитие. Новейшие экспериментальные изыскания этологии подтверждают и наглядно убеждают в верности такого взгляда. Но ведь homo sapiens — тоже один из биологических видов, возможно, высший, и, будучи аналогичным ингредиентом живой природы, является соучастником всеобщего эволюционного процесса. Следовательно, история человечества на биологических часах — это короткий скачок с предыдущих витков спирали развития на новый виток, определяемый как революция «внутри» несравнимо более длительного процесса эволюции.

В свою очередь, человек разумный, произведя скачок, подчиняется всеобщему закону эволюции как постепенному накоплению признаков и самовоспроизведения — об этом писали Дарвин, Бергсон, Шарден, Лоренц. Следовательно, история людей есть тоже эволюция, только социальная: развитие по этнической горизонтали (роды — племена — народности — нации) и социальной вертикали (классы — касты — слои — группы). Время от времени в ходе этого спонтанного объективного процесса накапливаются признаки, которые, сгустившись, образуют своего рода «мутации» — войны («по горизонтали») и революции («по вертикали»).

Поскольку в истории в отличие от природы действует и субъективный фактор, то эти взрывные революционные процессы в известном смысле не подчиняются законам эволюции, а противоречат им: они либо пытаются ускорить процесс, либо затормозить, но чаще всего искривляют его. В любом случае в действие вступают сами участники эволюционного процесса — люди.

Вклад классического марксизма в мировую мысль состоял в том, что он су-

мел не иллюзорно, а материалистически, то есть реально, объяснить исходные объективно-материальные предпосылки эволюционных процессов и их переходы в революционные. Марксизм раскрыл диалектику эволюции и революции в истории, но именно их диалектику, то есть их борьбу и единство, а также их сочетание, вместо ошибочного превалирования одного из двух, и дальнейшее утверждение одного компонента за счет другого.

Специфика истории общественного развития в XX веке состоит в том, что вдруг в традиционно наиболее развитых регионах Земли общество полностью откачалось от эволюции, от нормального спонтанного развития и силою субъективного фактора — вождей и созданных ими партий — ввергло себя в поистине перманентно революционный, взрывной процесс с требованием еще большей абсолютной перманентности (как в троцкизме) — и по горизонтали (две мировые войны), и по вертикали (Октябрь, гражданская война с собственным народом в 30—40-е годы).

Плеханов и все крыло марксистской партии, стоявшие за сохранение эволюционного начала, за равновесие революции с эволюцией, так называемые меньшевики, вероятно, предвидели негативные последствия, таящиеся за победой взбунтовавшихся масс (это предчувствовали люди художественного мышления, в частности В. Г. Короленко, о чем говорят его известные письма Луначарскому). Вот почему плехановцы вслед за классическим марксизмом, приспособивая его к условиям XX столетия, проповедовали необходимость постепенного вхождения в социализм, через утверждение революции во всех или во многих странах, то есть тогда, когда сама революция будет носить не экспортно-субъективный, навязанный, насильственный характер, а как бы естественный, объективный, словом, опять-таки эволюционный.

Ленинизм с его духом диалектики быстро понял, к каким крайностям ведет абсолютизация революции — впадение в «революционаризм» (в частности «военный коммунизм») — и отказался от этого пути. Сталинизм, устранив физически своего истинного, внутреннего конкурента — троцкизм, пошел вглубь по тому же, в сущности, пути «дальше, дальше, дальше», пошел без оглядки, что называется, закусив удила. Начав с уничтожения актуальных и потенциальных конкурентов и противников, он таким образом пришел к искусственному созданию ситуации гражданской войны, вернувшись нарочито к «военному коммунизму» в 30-х годах, который принял тогда уже казарменный, или еще точнее, феодальный характер.

Трудно сказать, какое из существовавших в истории обществ было вполне совершенным, «наилучшим из возможных миров» (Лейбниц), то есть действитель-

но свободным, справедливым, где бы все его члены могли быть счастливы. Все общества были классовыми, и, следовательно, понятия справедливости, свободы и вообще нравственности выработались господствующими классами, и это, разумеется, при том, что в глубине имелись в конечном счете и общечеловеческие параметры, так же, как относительная истина содержит в себе некоторую частицу абсолютной.

Пролетарская революция поначалу ставила задачу разбить господствующую иерархию, уничтожив все былые социальные перегородки. Совершив это путем революции, затем следовало перейти на рельсы эволюции, спонтанного развития, а не дальнейшего «завинчивания гаек». Но сталинизм пошел именно последним путем — и вглубь (по отношению к собственному народу), и вширь (к другим народам), — и тут он пересекся с неотроцкизмом: экспорт революции в Китай, Монголию, Восточную Европу. Тут-то он и столкнулся со своим могучим и непредвиденным конкурентом — национал-социализмом. И, как это ни странно звучит, странам буржуазной демократии в общем-то не оставалось ничего другого, как ждать их неизбежно-взаимного столкновения и взаимоуничтожения. А отсюда, в том числе и оттяжка второго фронта, его фактическое открытие почти на исходе войны летом 1944 года.

Итак, «весь мир голодных и рабов», «заклейменный проклятым» былого классового общества, восстал в Октябре и разрушил былую социальную иерархию. Но вот когда тот, кто «был ничем», «стал всем», он начал строить свой, по Хаксли, «дивный новый мир». Социально-исторический смысл сталинизма заключается в том, что, устраивая новое общество, он ввел свою новую иерархию, создал новый класс, партийную бюрократию как управленцев над управленцами и ту силу, что их охраняет. Разветвляясь через сеть доноительства в массах, эта система развращает всех. Причем попасть в ряды новых господ в социалистическом обществе в отличие от старой иерархии было совсем несложно: порой было достаточно лишь отказать от нравственности и культуры и, будучи подонком, соорудить доносы на тех, кто рядом, чтобы занять их опустевшие места.

И снова трудовой народ оказался там, где он был до революции, — в условиях беспросветного труда и угнетения, в крепостничестве (крестьяне) и рабстве (зеки, десятки миллионов). Только верхний слой иерархии резким образом изменился — место изгнанного и вырубленного до самых глубинных корней цветка нации (дворянства, интеллигенции) заняли люди без стыда и совести, да к тому же и без всякой компетенции. У них не было другого способа сохраниться, как ценою лжи и лицемерия: тут и бесконечная словесная лезть народу, и различные способы за-

искивания перед ним, а также окружения себя, «властвующей элиты», себе подобными, — найти все пути, дабы усидеть до упора на занятых должностях. Так сталинское и особенно постсталинское общество выколачивало гигантскую серую массу всюду — в управлении производством, государством, нацией, культурой, живой общественной мыслью.

По закону дарвиновской эволюции, в борьбе за существование побеждает и выживает сильнейший, то есть наиболее достойный с точки зрения природной, биологической целесообразности. По закону сталинистски понятой революции — авторитаризма и бюрократии — побеждает и выживает подлейший, то есть наиболее недостойный с точки зрения социально-культурной, общечеловеческой целесообразности.

Длительное существование такого режима, воспитавшего не менее двух поколений, привело наше общество к духовно-нравственной дегенерации, когда правящая элита оказалась человечески наиболее недостойным материалом. Начались убийственные процессы самовыврождения — мы можем воочию наблюдать, так сказать, социальных динозавров, — последствия которых привели к тяжелым провалам в общественной практике, реакцией на что и стали сегодня национальные волнения, политическая почва для которых на заре новой власти все же была ликвидирована; экономическое бездорожье и хаос, а в духовном, нравственном плане — безверие и апатия.

Итак, перед нами не просто крушение, так сказать, «локомотива истории». Особое качество этой катастрофы видится в том, что ее не могло не быть: она вызрела и в невиданных никогда прежде масштабах, потому что она была подспудно «заправлена», как своим «горючим», неизбежностью, внутренней исторической необходимостью, по-видимому, проверяющей на стойкость, на способность выжить саму историю человечества как историю человека и человечности.

Крушение это готовилось долго...

Древнейшая эпоха, античность с ее системой рабства и мифологической картиной мира — трагедия Рока с катарсисом, — ушла в небытие легко, саморефлектируя, как в философии эллинизма, или смеясь, как в сатирах Лукиана. Христианская эпоха с ее феодальными отношениями, религиозной картиной мира — «сумма теологии» — безулыбчиво передала Божественную комедию человеческой драме. Буржуазная эпоха с ее частным предпринимательством и научно-технологической картиной мира — здесь уже «сумма технологий» — не просто вошла, а ворвалась в XX век самоуверенно и дерзко, срывая маски с бога и человека: диагноз «смерть» в культуре того и другого от Ницше и Фрейда до Мишеля Фуко. Социализм с его классовой солидарностью и социально-иллюзорной картиной мира — «свободное развитие всех», «сумма идеологии» — тем

не менее взорвал традиционный путь истории, осуществив себя на деле как Антиутопию. Но в середине XX века авантюрный капитализм — фашизм и ура-революционистский социализм сложили все свои пожитки, каждый на свой собственный поезд, и отправились навстречу друг другу по одной колее осатанелого тоталитаризма на всех парах, набирая обороты...

Да, крушение долго готовилось, но развывалось стремительно. Западная эволюция и восточная революция налетели друг на друга, сомкнулись и... гигантский взрыв и аннигиляция. Затем возрождение из руин, каждый в своем стане, и постепенное освобождение от собственных крайностей, приведших к крушению. В Германии народ приходит к признанию «немецкой вины», в России наступает «оттепель» с тенденцией перманентного «похолодания» в лице постсталинизма.

Но что же породило революцию на восточной оконечности Европы, разве не идеи социального ускорения эволюции, появившиеся на свет в середине XIX века и в центре европейского пространства?

Да, социальное ускорение — насильственное «изменение мира», оно, как вечный Сатурн, пожрало собственных детей. Это и есть всемирная трагедия века XX.

Трагедия же нашего общества, детища революции, вызвавшей всемирный резонанс — она все-таки стала «перманентной»! — заключается в том, что оно тоже пожрало всех своих любимых детей. Выходит, это и уничтожение, и вместе с тем как бы и самоуничтожение и людей, и идей, причем тех и других все лучших, талантливых, ярких.

Что ж, после стольких опустошений и мытарств повернем-ка на исконный, испытанный, многострадальный, но до боли родной путь. И то, и другое, то бишь и мытарства, и повороты, — дело привычное. Недаром национальный, русский писатель современности, коего ввели в ранг «деревенщиков», именно этим простым и глубоким народным реченьем назвал свой лучший роман.

Да, наше «привычное дело» — жить, умирать и воскресать...

Парадоксы революции

Крах наших иллюзий...

Н. БУХАРИН,
февраль 1924 года.

Призрак бродит по планете — призрак сталинизма.

В середине прошлого века это был еще преимущественно бумажный, теоретический «призрак коммунизма», сошедший с огненных страниц «Манифеста Коммунистической партии». А менее чем через столетие произошла грандиозная по масштабам и оттого еще более дра-

матическая трансформация научного коммунизма в ... сталинский социализм, сталинизм. Это был первый в истории реализованный грандиозный опыт воплощения задуманного и спланированного «изменения мира», чем, собственно, объясняется мировой резонанс и ленинизма, и сталинизма по сей день, несмотря на всю трагедийность негативной изнанки последнего. Во главе с Лениным реализовывались идеи революции, во главе со Сталиным — идеи социализма.

Ленинская (нэповская) модель нового строя просуществовала всего несколько лет: с 1921-го по 1928—1929 годы «великого перелома» ее станового хребта. Сталинский же ура-революционистский, антинэповский, хотя и под флагом ленинизма, вариант благополучно просуществовал более полувека: с конца 20-х до середины 80-х годов, если иметь в виду и его «застойную» модификацию времен постсталинизма. Это в нашей стране. В некоторых других, особенно на Дальнем Востоке, народ, вдохновленно построивший эту модель «нового общества», национализированного на свой лад, и сегодня трепетно внимает указаниям, кои раздает «великий вождь» или «любимый руководитель».

Так что «свободный мир» судит о коммунизме именно по сталинской модели социализма, которая переделывает и общество, и природу по своей воле, превращает человеческую, социальную жизнь в бесконечный бой, условием которого как минимум является наличие врага. Точнее, это создаваемый машиной пропаганды «образ врага», каковым долгое время выступали «акулы империализма» и их якобы тлетворное влияние на наше «новое общество». В ответ на это «свободный мир» время от времени объявлял свои «крестовые походы против коммунизма». И только наш решительный отказ от этого наследства и радикальная десталинизация нашего общества разом — и столь же радикально! — изменили к нам отношение со стороны всего остального мира.

Однако призрак этот не исчез и со своей родной исторической сцены — сей Каменный гость протягивает нам руку и призывает следовать за ним, а именно «не поступаться принципами», «следить за чистотой идеи социализма», и, следовательно, все, что не отвечает его стальному духу, рьяно выметать, как мусор, и истреблять. Ну, а чтобы с перестройкой не случилось того же, что с отважным Дон Гуаном — «О, тяжело пожатье каменной его десницы!», — нам следует не сражаться с ним на равных, по-рыцарски, а взять в руки молот и разбить истукана на части. Навсегда! Так, как это было в свое время сделано с миллионными тиражами его скульптурных изображений. Бывают случаи в истории, когда, как говаривал «рыцарь духа» Фридрих Ницше, следует «философствовать молотом». «А каковы эти вещи, если их опрокинуть?» — и таким путем

философ может разрешить свои сомнения.

Так вот, несмотря на ослепительный и в чем-то беспрецедентный для нас свет гласности, где-то мы все еще продолжаем жить в привычном застарелом мраке политической мифологии и самомистификации или смотреть на мир через странные очки теоретического оптимизма, выворачивающего реальность наизнанку и выдающего идолов за идеалы и наоборот.

А каковы эти вещи, если их опрокинуть? Да таковы, что их пора разбить вдребезги.

Вот идол первый: идея, неизменная для коммунистов с 1916 года, уместная для того времени, но безнадежно устаревшая сейчас, о неизбежном «загнивании» капитализма и, следовательно, неизбежном его самоуничтожении, а то так и просто уничтожении — логично ведь помочь истории «изменить мир» по научной модели! Эта идея была доведена до логического конца в сталинско-ждановской интерпретации и дошла до наших дней в форме «повелительной необходимости» дальнейшего «обострения идеологической борьбы».

Или еще идол второй: якобы столь же неизбежные «исторические преимущества» социализма хотя бы на том основании, что это «более прогрессивная» формация (скажем, от сталинского якобы снижения цен до брежневской Продовольственной якобы программы. Да и сегодня достаточно любую статистику с «темпами прироста» показать в перевернутый бинокль прогноза до 2000 года, как она почему-то сразу становится радужной).

А ведь дело-то обстоит во многом как раз наоборот!

Да, автор «Капитала» сформулировал абсолютный, всеобщий закон капиталистического накопления, согласно которому нищета пролетариата «прямо пропорциональна мукам» его труда. «Чем больше нищенские слои рабочего класса и промышленная резервная армия, тем больше официальный пауперизм». Но ведь этот вывод был сделан на основе анализа фабрично-заводского труда в условиях 60-х годов XIX века! О каком «пауперизме» можно говорить сейчас, в нынешних условиях цивилизованного общества буржуазной демократии?! Достаточно сравнить, скажем, автомобильные заводы «Фиат» с их сплошными автоматическими линиями, которые обслуживаются несколькими сменными операторами, с купленным по лицензии у них же нашим заводом ВАЗ, где на конвейерной линии по сборке «Жигулей» регулярно не хватает нескольких сотен рабочих.

Да, русский преемник идей «Капитала» исследовал «Империализм, как высшую стадию капитализма» и сделал вывод о том, что обозначенный в названии процесс происходит на определенной, очень высокой ступени своего развития,

когда некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность, когда по всей линии сложились и обнаружались черты переходной эпохи от капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу». Это заявлено было в 1916 году, когда вопрос о социализме мог ставиться только чисто теоретически.

Ленин полагал, что исторический опыт построения социализма даже в одной, отдельно взятой, стране не должен подтверждать концепции «государственного социализма», особенно военно-казарменного толка, а, напротив, должен бы их опровергнуть: «Социализм не создается по указам сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий есть создание самих народных масс». Однако реальный опыт, увы, опроверг эти ожидания живого творчества масс, а следовательно, и более высокого общественно-экономического уклада.

Н. И. Бухарин и его «школа» тщетно зывали к продолжению не на словах, а на деле ленинского пути. В так называемом «Меморандуме Бухарина—Каменева» (лето 1928 года) четко говорилось, что Сталин и его клика «ведут Революцию к гибели». Но ничто уже, однако, не смогло остановить железную поступь военно-казарменного социализма, который, естественно, никак не смог поднять общество на более высокую социально-экономическую ступень. Напротив, как это становится по-настоящему очевидным только теперь, он отбросил общественное развитие России... назад, к феодализму, только трансформированному на новом витке спирали истории. И началось это, по-видимому, с того этапа, когда в конце 1929 года нэп и основывавшаяся на ней возможность разбужения творческой инициативы масс во всех областях общественного бытия были «отброшены к черту» сталинизмом.

Ученик Бухарина М. Н. Рютин в самом начале 30-х годов написал капитальный теоретический труд «Сталин и кризис пролетарской диктатуры». Труд этот был вскоре арестован и, по-видимому, погиб, как и его автор, но с выводами Рютина мы можем познакомиться по недавно опубликованному Обращению «Ко всем членам ВКП(б)», составленному Рютиным в 1932 году. Помимо того, что это блистательный образец гражданского мужества, он еще и весьма поучителен в плане пророческого предсказания ближайшего будущего социализма и высвечивания нынешних адептов «борьбы за чистоту принципов».

Итак, цитирую: «Партия и пролетарская диктатура Сталиным и его кликой заведены в невиданный тупик и переживают смертельно опасный кризис. С помощью обмана, клеветы и одурачивания партийных лиц, с помощью невероятных насилий и террора, под флагом борьбы за чистоту (!) принципов большевизма и единства

партии, опираясь на централизованный мощный партийный аппарат, Сталин за последние пять лет отсек и устранил от руководства все самые лучшие, подлинно большевистские кадры партии, установил в ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру (и аппарата вместо объявленной на словах диктатуры пролетариата. — М. К.), порвал с ленинизмом, стал на путь самого необузданного авантюризма и дикого личного произвола и поставил Советский Союз на край пропасти.

Спрашивается: почему этот документ 1932 года смогли опубликовать только сейчас, равно как и бьющее не в бровь, а в глаз письмо Х. Раковского «Нет ничего опаснее пассивности масс»? Ответ может быть только один: эти документы с поразительной точностью уже тогда зафиксировали черты социального управления, которым суждено было в той или иной форме доминировать все годы существования этого варианта социализма.

Думается, что сейчас, в условиях ожесточенной борьбы с нашей сегодняшней бюрократией за требование ее подотчетности, полной выборности и права на отзыв руководящих лиц со стороны народных контролеров, было бы весьма полезным издать сборник первых социальных критиков партийной бюрократии в пору ее зарождения и становления. Так, например, А. Солыц, которого называли «совестью партии», уже через два с небольшим года после Октября отмечал, что «долгое пребывание у власти в эпоху диктатуры пролетариата возымело свое разлагающее влияние и на значительную часть старых партийных работников... отсюда чрезвычайное злоупотребление своим привилегированным положением в деле снабжения. Выработалась и создалась коммунистическая иерархическая каста». В 1926 году Бухарин вскрывает изнанку правящей власти, причем в пору, когда сам пребывает в зените своей славы: «Известная часть коммунистических кадров может вырождаться на базе своего единовластия... Наша форма власти есть форма диктаторской власти, наша партия есть господствующая партия в стране».

Такого рода документы показывают, что сталинской клике — авторитарной бюрократии — было кого опасаться, и она уничтожала своих критиков, чтобы выжить самой, сохранив привилегии. Подобные анализы генезиса диктатуры бюрократа, заступившей место объявленной диктатуры пролетариата, чрезвычайно важны сейчас, потому что тогдашняя мысль была еще свежа, остра, не заражена этой упорной болезнью привилегированности.

Но вернемся к Обращению Рютина. Автор его указывал на развал и дезорганизацию всей экономики страны, несмотря на постройку десятков (добавим сюда из опыта последующих десятилетий — сотен и даже тысяч) крупнейших предприятий; авантюристические темпы индустриализации, влекущие за собой колоссальное снижение заработной платы рабочих и служащих; непосильные открытые и замаскированные налоги, инфляцию, рост цен и падение стоимости червонца (потом рубля). Уже тогда Рютин увидел и обличал авантюристический дух коллективизации, направленной главным образом против середнячков и бедняцких масс деревни, экспроприацию деревни и удушение крестьян-кормильцев путем насильственного загона их в колхозы.

Далее, качество продукции в результате погони за выполнением дутых темпов чрезвычайно низко; всякая личная заинтересованность убита, труд держится на голом принуждении. Насильственно созданные колхозы (добавим из опыта будущего — и совхозы) становятся убыточными и разваливаются. Цены повышаются. На почве бестоварья и расстройств всей экономики страны пышным цветом расцветает во всех формах спекуляция. Воспетое идеологами-трубадурами планирование превратилось в сплошное очковитательство и обман. Всюду происходят неизбежные прорывы, а в это время, подчеркнул Рютин, «Всесоюзная партконференция сталинских чиновников, нагло и цинично издеваясь над партией, пролетариатом и всеми трудящимися, заявляет, что мы вступили в социалистическое общество» (добавим из опыта 70-х годов — в «развитое»), что у нас «растет недостижимыми для капиталистических стран темпами народный доход, уничтожены безработица и нищета... растут из года в год благосостояние и культурный уровень рабочих и трудящихся крестьян». Все это привело «страну к глубочайшему кризису», говорится в финале Обращения Рютина.

Как же поступила правящая политика с подобным диагнозом? Вместо того, чтобы хоть как-то внять голосу разящей трезвой критики и ответить на нее «самокритикой», как то предусматривает Устав партии, сталинизм физически устранил всех критикующих, всякое инакомыслие. Что же касается кризиса, то он был доведен до конца, «несмотря на постройку крупнейших предприятий» (на которую, собственно, и кивала восторженно придворная наука и пресса) в 30-е, 40-е и в начале 50-х годов. Попытки десятилетней «оттепели» 1956—1966 годов были слишком слабы и половинчаты, чтобы радикально сломать сложившуюся систему и повернуть развитие в другую сторону, а постсталинизм 70—80-х годов, слегка перестроив бюрократический авторитаризм 30—50-х в авторитарную бюрократию, загнал перманентно-кризисное состояние общества в стагнацию. Спрашивается, так на каком же тогда основании обществоведение до сих пор талдычит об «исторических преимуществах социализма» и его «более передовой формации»?

**Обществоведение:
миражи в пустыне**

Откроем соответствующие справочники даже не 60-х или 70-х годов, а текущего года — «Краткий словарь по научному коммунизму» (М., Политиздат, 1989) и выпишем оттуда поименно эти «исторические преимущества социализма» как совокупность характеристик, «ставящих его на более высокую, нежели капитализм, ступень развития человеческой цивилизации».

«Планомерно организовывать производство во имя обеспечения полного благосостояния и свободного, всестороннего развития всех членов общества».

Да, было время, когда советский человек готов был восторженно повторять за своим поэтом: «Я наших планов люблю громаде». Но чем более ширились «размаха шаги саженьи», тем почему-то все далее, как линия горизонта, отступала желанная и долго (уже семь десятилетий) жданная граница «полного благосостояния». А что касается планов, то ведь в них регулярно входили и громоздкие, экономически не оправданные стройки вроде БАМа, и гигантские, экологически преступные проекты вроде поворота рек, и перманентная политика «Даешь вал!», и уходящие водой в песок государственные инвестиции.

Бывало в нашем плановом хозяйстве и то, что случается с не очень культурным лекарем, который пытается лечить не больного, а лишь заболевшую часть организма, не думая обо всем остальном, и тогда одно лечит, а другое калечит. На мартовском (1989 года) пленуме ЦК КПСС сообщалось, что за последние два десятилетия в результате реализации «непродуманных проектов» строительства гидростанций страна лишилась более десяти миллионов гектаров пойменных лугов и пастбищ, и это в условиях тотальной нехватки мяса, когда и без того недостает кормов!

Наконец, наши планы — это радужные цифры, цифры, цифры вплоть до 2000 года «и далее», хотя людям куда важнее знать, что с ними будет сегодня и завтра, а не через десяток лет, хорошо «спланированных», но весьма сомнительно предсказуемых.

«Вместо присущего капитализму эгоизма социализму присущ коллективизм, основой которого является общественная собственность на средства производства».

Государственный эгоизм? Но если говорить о сегодняшнем капитализме, то достаточно указать хотя бы на щедрую, бескорыстную — и столь оперативную! — помощь пострадавшей Армении, а также на постоянно предлагаемые нам всесторонние услуги в поддержку нашей перестройки, скрытых противников которой,

кажется, больше даже здесь, нежели там.

Что же касается коллективизма, действительно выработанного советским обществом и действительно специфически противостоящего западному индивидуализму, то дело не столько в средствах производства, сколько в том, говоря словами того же поэта, что коллективизм стал нашим «общим памятником, построенным в боях». На место былого массового энтузиазма пришла апатия; государственные интересы, которым люди самоотверженно отдавали себя, ныне вытеснены сугубо личными, камерными, а милосердие, как национальная черта в прошлом, теперь осталось разве лишь в специально созданных обществах, чтобы сохранить для потомков память об этом исчезающем движении души.

«Вместо эксплуатации и угнетения — свобода и равенство людей, наций и народностей».

Для трудящегося человека безразлично, кто у него отбирает прибавочную стоимость, — частное лицо или государство, в любом случае его эксплуатируют. Хуже всего, если при этом ему лицемерно объясняют, что сие делается для его же блага: «Все во имя человека, все для блага человека». Эта лицемерная идеология, освященная «Моральным кодексом строителя коммунизма», сложится в пору застоя; но уже в самом начале задействованной модели социализма нашелся теоретик, который усомнился в правоте официальной догмы, кажущейся само собой разумеющейся: эксплуатация рабочего класса невозможна-де в «рабочем государстве». Хотя Бухарин (а это был он) и сам готов был порою повторить данную догму в публичном выступлении как пропагандист, но как аналитик общественно-го процесса он рано понял, что правящий класс не обязательно должен фактически владеть средствами производства. Если он правящий, то он организует экономику. Применяя богдановскую теорию «организационной науки»¹ к сложившейся ситуации огромного бюрократического аппарата, перерастающего в «новый класс», Бухарин еще в первой половине 20-х годов предостерегал партию от того, что класс эксплуататоров возможен и без частной собственности, а именно: он базируется на «монополистической» власти и привилегиях. «Наша же задача состоит в том, чтобы не допустить вообще такого

¹ По Богданову, основной источник эксплуатации заложен в отношениях организатора к организуемому; поэтому пока пролетариат не созреет в качестве класса, способного быть организатором, социалистическая революция преждевременна. В отличие от пролетариата бюрократия как раз и созрела в качестве «класса, способного быть организатором», поэтому-то она и стала классом как таковым. Но класса «организаторов навсегда» вообще не должно быть, он должен быть регулярно сменяемым, обновляемым, отзываемым, и рекрутироваться этот слой «управляющих» должен через механизм выборов из цвета нации, интеллектуального цвета всех классов, социальных слоев и прослоек.

«эволюционного» возврата к эксплуататорским отношениям», — писал Бухарин.

В становлении «нового штата чиновников» и «привилегированных групп коммунистов», безразличных к реальным нуждам масс и обладавших «абсолютным иммунитетом», то есть гарантией, что избиратели не могут их отозвать, он и видел новую форму эксплуатации.

Бухарин был первым в советской общественной науке, кто затронул эту острую и важнейшую проблему, «судьбоносную» для революции, совершавшейся во имя освобождения трудящихся от всякой эксплуатации, он же, кажется, и остался последним на этом пути. Поэтому поневоле при рассмотрении всего весьма «щекотливого» вопроса и до сих пор, увы, приходится обращаться только к нему одному.

А теперь кратко остановимся на второй части изложенной формулы — на «свободе и равенстве людей, наций и народов». Видимость «свободы и равенства», объявленных еще сталинской Конституцией, сохранялась внешне до тех пор, пока продолжал действовать механизм государственного страха, держащего в узде и личность, и нации. Перестройка ослабила вечно натянутые вожжи — полагаю, платоновский образ «упряжки государства» вполне применим и в нашем случае: одни везут тяжелый воз, другие — возниче — управляют, показывая, куда везти...

Отверзлись очи, проснулось забытое прежде чувство собственного достоинства, попираемое десятилетиями чувство свободы разом подняло голову, и бурно развивающиеся национальные движения современности наглядно обнаруживают, какова была действительная цена объявленному на словах социалистическому равенству.

«Вместо тирании меньшинства — народовластие».

В описываемой модели социализма на место одной тирании — царизма, аристократии и буржуазии — пришла другая тирания — авторитарная бюрократия. Причем эта система оказалась поразительно живучей, она не исчезла даже после разоблачения культа личности Сталина. Отчего это могло быть? По-видимому, оттого, что на данной национальной почве, то есть в России, авторитарная бюрократия социализма сумела опереться на куда более исторически длительную и прочную традицию, нежели на тот недолгий опыт буржуазной демократии, что был приобретен после первых русских революций. То была, с одной стороны, феодальная традиция авторитаризма, присущая вековечному русскому царизму, и с другой — традиция тирании (диктатуры) сословия.

Таким образом, сталинизм и отчасти постсталинизм, перешагнув назад через головы ненадолго добытых свобод при нэпе и еще ранее при буржуазной демократии, сомкнулся с многосотлетней традицией феодальной социального управ-

ления. Поэтому мы вправе с высоты сегодня открывающегося исторического понимания обозначить этот странный феномен, не предвиденный классиками марксизма-ленинизма, как феодальсоциализм. А при постсталинизме (застое) он сменился авторитарно-бюрократическим.

Что же касается народовластия, то за последние семьдесят лет мы подошли к нему вплотную только сейчас, осуществляя лозунг демократической революции «Вся власть — Советам». Это ясно обнаружилось в обстановке реальной выборной борьбы в Верховный Совет СССР в 1989 году. Здесь уместно вспомнить, что Советы — детище отнюдь не Октября, а именно первых, буржуазно-демократических революций, начиная с 1905 года. Не потому ли они и оказались фактически элиминированными, то есть безгласными и безвластными, в сталинской модели вместе со всеми другими завоеваниями буржуазной демократии?

«Вместо стихийной и жестокой игры общественных сил — растущая роль разума и гуманности, социальная защищенность человека и справедливость».

В свете сегодняшней гласности приведенный тезис звучит как издевательство над исторической реальностью нашего общества, которая, к несчастью, является диаметральной противоположностью сказанному. Вместо «растущей роли разума» десятилетие за десятилетием во имя оголтелого отстаивания «чистоты принципов» этого социализма накапливались одни и те же просчеты и ошибки. Скажем, фанатичное упорство в желании вернуться на рыночно-товарный путь хозяйства, насильственное отчуждение крестьян от земли и вообще работника от своей работы, поскольку она нужна не ему, а «всем», то есть никому.

Вместо «гуманности» в 30-е годы существовала жесткая ориентация на «дальнейшее обострение классовой борьбы», а во все последующие десятилетия — борьбы идеологической. Ни дня без борьбы. «Социальная защищенность» же личности распределяется между стольким количеством бюрократических инстанций, что об их пороги каждый, кто приходит поклониться и найти управу, расширяет свой лоб. Жалобами и стенаниями несправедливо обиженных и страждущих людей буквально наводнена вся наша пресса.

«Вместо распри, розни и войн — общечеловеческое единение и мир».

В принципе определенные «распри и розни» заложены в биосоциальной природе человека, и это убедительно показала социология. Вся до сих пор существовавшая история была историей борьбы классов, народов и отдельных личностей с обществом или какими-то его частями. Поэтому думать сегодня, что это была лишь «предыстория», довольно странно,

если исходить из действительного, а не только из желаемого. Тем более странно думать, что со всем этим неистребимым наследственным багажом, основанным на природе человека, можно разом покончить; и уж совсем непонятно, как это можно официально на весь мир заявлять, что мы-то вот уже и покончили со всем этим злом, а если что и осталось, то лишь по причине «пережитков проклятого прошлого» или вредоносного «буржуазного влияния». Путь к общечеловеческому все же слишком тернист, мучителен и бесконечен.

«Все во имя человека, все для блага человека», что находит свое выражение в повышении благосостояния, в создании благоприятных условий для формирования способностей и их наилучшего применения».

Касаемо самого лозунга, выше уже шла речь об этом, так же как и о «повышении благосостояния», вместо которого мы наблюдаем доселе сплошной перманентный дефицит и товаров, и продовольствия. Вспомним в связи с этим хотя бы то, что говорилось на мартовском (1989 года) Пленуме ЦК КПСС: «Дефицит продовольствия создает социальную напряженность, вызывает не просто нареkania, а уже недовольство людей. Такая ситуация с продовольственным снабжением сохраняется многие годы». Если бы Пленум был посвящен не только аграрному вопросу, надо думать, аналогичный диагноз был бы поставлен и в других областях, где существует долгий товарный голод.

Нельзя не отметить также, что было сделано все для того, чтобы способности личности, буде они обнаружатся, никак не могли бы найти своего достойного применения. — порукой тому горемычная судьба тысяч рационализаторских и изобретательских предложений. Другой разоблачительный пример — система просвещения и образования, которая по-прежнему ориентирована на что угодно, но только не на личность учащегося. Система по-прежнему продолжает формировать узкого специалиста, а не критически мыслящую индивидуальность; функционера, то есть человека, полностью «вмещающегося» в должность или выполняемую им функцию, а не нравственно ответственную личность. Категория нравственности тоже реликт, исчезающий вид, и в пору создавать соответствующие общества и по ее охране.

Из «преимуществ» данного ряда обычно кивают еще и на бесплатное медобслуживание и дешевую жилплощадь. Спору нет, последняя дешева, но, во-первых, каково ее качество, если сразу же после вселения начинается ремонт? И, во-вторых, каждый из читателей так же, как и автор этих строк, на собственной шкуре знает, какова цена добывания сей недорогой услуги соцбыта, являющейся материальной основой нашей жизни, ибо

все-таки «мой дом — моя крепость». Везде, на всех предприятиях страны бесконечные очереди на жилье до 2000 года и дальше, дальше, дальше...

Что же касается бесплатной медицины, то уж лучше бы она была разная, в том числе и законно платная, нежели, унижая себя и медработника, «совать» ему тайно то, чего он, безусловно, недобирает при своей зарплате.

«Социализм возвышает человека труда, утверждает... отношения товарищеского сотрудничества и взаимной помощи».

С данным тезисом можно было бы и согласиться, поскольку отсутствие принципа конкуренции, этого мощнейшего двигателя индивидуального и социального развития, предполагает включение иных мотивов, в том числе и взаимопомощи. Это реализовывалось отчасти, например, в институте наставничества. Вся беда, однако, в том, что любое дело даже из самых лучших побуждений у нас непременно формализуется и затем превращается в собственную противоположность. Так было и с «ударниками» труда, и с их добровольными переходами в отстающие звенья: первых по неволе склоняли к припискам, а у вторых, конечно, тоже невольно, поощряли леность и неумение работать.

Возвышение человека производственного труда — в целом дело хорошее, демократичное, но и тут есть свои туники, созданные все той же авторитарно-бюрократической системой. Во-первых, это происходит за счет представителей умственного труда. Только при социализме инженер или педагог получают зарплату много ниже рабочего, поэтому и возник отток бывших специалистов с высшим образованием в сферы обслуживания, где реальный заработок больше. А во-вторых, подобное «возвышение» того или иного рабочего человека, присвоение ему кастовых привилегий быстро приближает его к психологии бюрократа, и он перерождается как личность.

«Основной принцип социализма: «От каждого — по способностям, каждому — по труду».

Из всего, что было сказано, становится совершенно ясно, что этот принцип у нас до сих пор не был осуществлен для преобладающей части населения, за исключением разве только некоторых групп и представителей творческих профессий.

Как мы уже выяснили, система попросту не требует от личности никаких способностей, скорее наоборот: куда надежнее и спокойнее быть, «как все», ведь с выдающейся личностью хлопот не оберешься. Что же касается оплаты «по труду», то страна потому и пришла к экономическому кризису, что таковой оплаты не было никогда, и, следовательно, у работника не было необходимой материальной заинтересованности, ре-

зультат чего емко и хлестко обозначен в известной формуле городского фольклора, которая отражает не лозунговое, а реальное состояние дела: «Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем».

Вот чем оборачивается в действительности лозунговая, идеализованная форма данной модели социализма!

«Подлинное равенство прав и свобод, равенство всех перед единым для всех законом».

Этот последний тезис, как и все предыдущие, опять выдает желаемое за действительное. Если мы только сейчас идем к правовому государству, значит, до сих пор оно было... бесправным (для личности, разумеется). На базе вышеописанной методологии право, закон становятся послушным орудием, «дышлом» в руках авторитарной бюрократии. Так что если, скажем, деспотизм отличается суровостью законодательства («око за око»), то описываемая модель общества — фиктивностью законодательства, поскольку власть может устранить со своего пути всех, кто мешает ее полновластия, обвиняя инакомыслящих в чем угодно: тунеядстве, нарушении порядка или даже в психической неполноценности, и, нисколько не смущаясь, по ложному обвинению осуждать и интернировать или репрессировать.

Итак, мы видим, что объявленные миру «преимущества» социализма — вовсе не исторические, то есть реальные, а лишь чисто теоретические, идеальные, предполагаемые. Это — мираж в пустыне. Говоря еще определеннее, идеологический мираж в социально-экономической и правовой пустыне. И наше обществоведение, вместо того чтобы исходить из реального опыта, трудного и противоречивого, на протяжении десятилетий апеллирует только к миражам идеальных предпосылок (гипотезы классиков марксизма), развесив «висячие сады» социального рая, то бишь «развитого социализма». Поскольку все основное, что заявлено, уже якобы есть, то дело оставалось за его «дальнейшим совершенствованием», которое, в частности, выражалось в дальнейшем разрастании бюрократического аппарата. Например, в 1924 году в СССР было 11 наркоматов, в 1940-м — до 40; после XX съезда несколько подсократили. Так что в 1957 году оставалось 37 министерств, но в 1974-м — уже более 60, в 1977-м — 80, а к началу 1987 года — более ста (!) министерств и приравненных к ним ведомств.

Сам термин «развитой социализм» под натиском реальной политики ныне исчез, но словесные-то райские кущи, как видим, остались, любовно возделываются и поныне, даже в справочных изданиях четвертого года перестройки, которые в силу своей коллегальности все-таки должны бы быть более ответственными.

Впрочем, они и отвечают на определенный социальный заказ. Поэтому я ставил своей задачей раскрыть миражную суть не столько самого ответа, сколько негласного заказа, ибо последний исходит от той самой авторитарной бюрократии, которая и составляет политическую суть описываемой модели социализма.

Таким образом, революция, инициированная ленинизмом с целью вывести старое общество из тупика, разбудить «живое творчество масс» и пробудить в каждом человеке человека, в последующем сама оказалась в тупиковой ситуации. И великий «кремлевский мечтатель», как назвал Ленина великий западный фантаст XX века, в последние дни своей жизни поразительным образом провидел эту тупиковую ситуацию.

Недавно в нашей печати была опубликована одна запись личных секретарей Ленина М. И. Гляссер и Л. А. Фотиевой, сделанная под диктовку Ильича в самом конце 1923 года (хотя эта датировка, видимо, требует уточнения).

По сути, это перепечатка в нашей прессе того, что осуществил за рубежом бывший до Поскребышева секретарь Сталина Б. Бажанов. В свое время ему удалось через южные горы сбежать от тирана за кордон. В 1983 году в Париже—Нью-Йорке вышли его воспоминания, где и приводится данная запись. Те, кого шокирует этот материал, естественно, подвергают сомнению его подлинность, так же как, например, и документы о связи Сталина в 1906—1912 годах с царской охранкой. Но, во-первых, ничто не мешает нам подвергнуть документ экспертизе, в том числе и машинной, по стилистике, а во-вторых, он достаточно соответствует тем тревожным настроениям вождя, которые обуревали его с 1922 года, несмотря на мало известные ему успехи нэпа, в связи с ростом красного террора и параллельно бюрократизма. Да и Бухарин, помнится, обозначил это как «крах наших иллюзий».

Итак, вот эта запись:

«Конечно, мы провалились. Мы думали осуществить новое коммунистическое общество по щучьему велению. Между тем это вопрос десятилетий и поколений. Чтобы партия не потеряла душу, веру и волю к борьбе, мы должны изображать перед ней возврат к меновой экономике... как некоторое временное отступление. Но для себя мы должны ясно видеть, что попытка не удалась, что так вдруг переменить психологию людей, навыки их вековой жизни, нельзя. Можно попробовать загнать население в новый строй силой, но вопрос еще, сохранили бы мы власть в этой всероссийской мясорубке».

Откуда «вдруг» взялся этот пессимистический взгляд вопреки историческому оптимизму, прежде прорезавшему подобно лучу прожектора «Россию во мгле»? В том-то и дело, что сие «вдруг» кажется таковым только для нас, привыкшим благодаря официальной истории

ографии ходить лишь по солнечной стороне отечественной истории. А ведь была же и тeneвая, ночная, и это неизбежно настолько, насколько за днем следует ночь. Приоткроем же над нею полог в надежде, что историки в будущем сделают это более основательно.

Горестный ленинский вывод, приведенный выше, даже если он не был сделан самим Владимиром Ильичем, верен по существу. Если же все-таки был, то можно только поражаться тому, сколь рано оказались предвидены им результаты грозной социальной болезни в ее самом начальном, еще латентном периоде. Лениным же был найден и способ лечения — нэп, но сам врачеватель, пораженный личным недугом, уже не в переносном, а в прямом, чисто медицинском смысле, не успел в наикратчайшие сроки увидеть первые признаки выздоровления социального организма. Поэтому-то вполне вероятно, что, не зная об успехах нэпа, Ленин как бы провидел черты дальнейшего усугубленного развития авторитарно-бюрократической формы социализма, которая приведет общество к крушению первоначальных целей и идеалов, — «мы провалились». Этот вывод обаяны были бы сделать и партийные руководители на рубеже 80-х годов, если бы они обладали ленинской самокритичностью. Но у них недостало ни ума, ни мужества признать, что благодаря их «руководящей роли» «загнивающим-то» оказался вовсе не капитализм, а их социализм.

Теперь, судя по этим итогам социалистической революции в России, целесообразно вспомнить о том, что ей предшествовало.

«Буржуазно-демократическое содержание революции, — писал Ленин, — это значит — очистка социальных отношений (порядков, учреждений) страны от средневековья, от крепостничества, от феодализма». Произвол, насилие власти, присущие феодализму, сменяются свободой личности, выборностью; монархия — парламентом; авторитарность управления — авторитетом руководителя; аристократия — бюрократией, а впоследствии — менеджментом.

В нашей стране, как сообщают учебники, произошло «перерастание» буржуазно-демократической революции в социалистическую, которое ввергло страну и народ в гражданскую войну, это мучительнейшее, экстремальное состояние. А «гражданской войны, — писал Ленин, — необходимого условия и спутника социалистической революции, без разрухи быть не может... Мыслима ли многолетняя война без одичания как войск, так и народных масс? Конечно, нет. На несколько лет, если не на целое поколение, такое последствие... безусловно неизбежно».

«Такое последствие» оказалось многократно усугубленным искусственно возбужденной сталинизмом гражданской войной 30-х годов, которая постепенно

внедрила систему правления авторитарной бюрократии, переставившей все на оборот: от выборности управляющих к назначаемости и несменяемости бюрократии, от авторитета к авторитарности. Следовательно, это не просто «кризис», как казалось отдельным умам в 30-е годы — Бухарину, Рютину, — если он затянулся не на одно поколение. Ведь «кризис», по определению словарей, это «резкий, крутой перелом, тяжелое переходное состояние». Если подобное «тяжелое переходное состояние» продолжается не пять лет (с 1927-го по 1932-й, как полагал М. Рютин), а пять с лишним десятилетий, то оно должно быть определено уже как-то иначе. Имя ему не просто «кризис», а и нволюция, от латинского *involutio* — свертывание, то есть обратное развитие, эволюция наоборот (при том, что в каких-то моментах сохраняется и прогрессивное движение, например, в научно-технической области).

В нашей общественной науке этот термин не был принят — он существует только в математике и биологии, — наверное, не случайно, как «не принято» было публиковать документы вроде рютинского Обращения. Правда, есть другое, весьма близкое ему понятие «регресс», но и о нем говорится как-то бегло, вскользь, неохотно, не то что о «прогрессе»! Поэтому в ожидании более фундаментальных исследований возникает надобность попытаться хотя бы кратко охарактеризовать основные признаки и социальной инволюции (регресса), используя для этой цели идеологически нейтральные справки и подставив туда реальные социально-исторические значения.

Черты портрета инволюции

Набросок этого портрета составлен мною по общедоступным энциклопедическим справочникам.

Итак, черта первая: «Обратное развитие» обозначает уменьшение, упрощение, редукцию главным образом в связи с утратой функции какого-либо органа».

Такой функцией применительно к интересующему нас предмету является социалистический демократизм.

В первой половине 1918 года В. И. Ленин сделал набросок статьи, так и незавершенной, «О демократизме и социалистическом характере Советской власти». В осуществление нашего теперешнего поворота вновь к тезису «Вся власть — Советам!» не худо вспомнить, что этот ленинский отрывок был впервые опубликован лишь после XX съезда, а именно в 1957 году. Почему? А потому, что в нем указывалось: «Демократизм Советской власти и ее социалистический характер выражается в том, что верховной государственной властью являются Советы, которые составляются из представителей трудящегося народа (рабочих,

солдат и крестьян), свободно выбираемых и сменяемых в любое время массами». Другой такой утраченной (или не реализованной до наших дней) функцией является главная экономическая категория, именуемая только на словах (!) основным принципом социализма, — «каждому — по труду».

Черта вторая: «Вырождение... под влиянием неблагоприятных условий, причем [вырождающиеся элементы] принимают необычную для них — инволюционную — форму».

Примером подобного вырождения в СССР является крестьянство. В целях научной беспристрастности мне придется только фиксировать общественные факты, отвлекаясь от социально-нравственного аспекта проблемы, о чем с тревогой и болью говорят наши известные писатели и публицисты.

Известно, что Маркс в набросках ответа на знаменитое письмо Веры Засулич (1881 год) так сетовал на разложение высоко ценой им русской сельской общины: «Попробуйте сверх определенной меры отбирать у крестьян продукт их сельскохозяйственного труда — и, несмотря на вашу жандармерию и вашу армию, вам не удастся приковать их к их полям!» Поэтому «средние цифры за последние десять лет показывают не только застой, но даже падение сельскохозяйственного производства. Наконец, впервые России приходится ввозить хлеб, вместо того чтобы вывозить его... Нужно создать средний сельский класс из более или менее состоятельного меньшинства крестьян... Если революция произойдет в надлежащее время, если она сосредоточит все свои силы, чтобы обеспечить свободное развитие сельской общины, последняя вскоре станет элементом возрождения русского общества и элементом превосходства над странами».

Но на этот провидческий совет организаторы колхозов и совхозов за всю историю Советской власти не обратили ни малейшего внимания, и произошло то, что теперь всем нам хорошо известно и от чего предостерегал еще Радищев: «Крестьянин в законе мертв». Вот почему и спустя сто лет России все еще приходится ввозить хлеб. Горестная статистика насильственного «вырождения» нашего крестьянства свидетельствует: в 1926 году его доля составляла еще 75 процентов населения; в 1939 году уже около 50, в 1959 году — около 32, в 1981-м — 13,8. сегодня — менее 12 процентов.

И это в бывшей аграрной стране, где само русское слово «крестьянин» до XIV столетия совпадало с понятием «христианин, человек». Сравним у Даля: «крестьянин... крещеный человек». Следовательно, уничтожение крестьянства и глумление над ним почти равно самоуничтожению народа. И до самого последнего времени политика, как при Радищеве, то

есть крепостном праве, была ориентирована на «умерщвление крестьянства в законе», поскольку, как утверждал Философский энциклопедический словарь в 1983 году, «дальнейшее развитие производительных сил в условиях развитого социализма ведет к постепенному преобразованию сельскохозяйственного труда в разнородность индустриального» (?!). В итоге и колхозы и совхозы повсеместно оказались убыточными.

Как видим, «вырождение под влиянием неблагоприятных условий» — почти законченный процесс, причем «вырождающиеся элементы», в данном случае крестьяне, «принимают необычную для них — инволюционную форму», то бишь «колхозников». Подите назовите иных жителей какого-нибудь колхоза имени XX—XXV и так далее партсъездов крестьянами, обидятся, как на оскорбление...

Черта третья: «Инволюция характеризуется далее понижением уровня организации системы».

Именно в России, одной из первых стран мира, где раньше кибернетики и общей теории систем появилась всеобщая организационная наука («тектология» А. Богданова, 1913 год), вовсе не науке суждено было стать основой социального управления. Ею стала директива, понимаемая как «прямой призыв к действию в такое-то время и таком-то месте», призыв, обязательный для партии. «Искусство стратега и тактика, — учил Сталин, — состоит в том, чтобы умело и своевременно перевести лозунг агитации в лозунг действия, а лозунг действия так же своевременно и умело отлить в определенные конкретные директивы». Озадачивает чрезмерная жесткость подобной раскладки, никак не могущей учесть не всегда предсказуемые повороты изменяющейся жизни и потому смахивающей на мертвящий схематизм.

В отличие от Ленина Сталин не обладал гибкостью, «эволюционистскими» чертами политика, необходимыми для того, чтобы считаться с изменяющимися условиями. Спустя четверть века, уже после Великой Отечественной войны, которая, зная, потому и оказалась для Сталина полной неожиданностью, что противоречила его личной внешнеполитической «раскладке», он переиздает свою раннюю брошюру «Об основах ленинизма», где была изложена процитированная «стратегия и тактика» и, несмотря на изрядную историческую и социальную дистанцию, вновь полностью сохраняет свою верность раз обозначенному «стилю работы», хотя на словах и отрещивался от того, чтобы все задачи «решать коммунистическим декретированием».

Все вышеобозначенное должно было получить какое-то теоретическое обоснование, поскольку, как говаривал Хозяин, «практика без теории слепа». Мы знаем, какой вид приняла «общая теория» того

времени, — она была изложена в катехизисе «Краткого курса» 1938 года. Это была на словах «марксистско-ленинская диалектика», а на деле — диалектика по директиве, освящающая систему бюрократического авторитаризма.

В 70-е годы после проведенной своего рода «рокировки» данных понятий также понадобилось теоретически подкрепить установившуюся систему авторитарной бюрократии. Это было мягко названо «социальным управлением». Леонид Ильич на XXIV съезде партии доложил: «Совершенствование системы управления — не разовое мероприятие, а динамичный процесс решения проблем, выдвигаемых жизнью. Эти проблемы и впредь должны будут находиться в центре нашего внимания».

Тут же была создана целая библиотека книг по социальному управлению. «Задача науки, — как следовало из директивной установки, — и прежде всего общественной, состоит в том, чтобы всемерно помочь партии, государству в решении все новых и новых проблем, выдвигаемых жизнью в области управления. Совершенствование управления экономикой, всеми сферами жизни(!) советского общества — непременное условие успеха коммунистического строительства». Все это звучало как будто бы и неплохо, только возникла одна заковыка — это «совершенствование управления экономикой» почему-то привело ее к почти окончательному развалу, во всяком случае, сельское хозяйство, а управление всеми остальными «сферами жизни» — к полной атрофии демократии. Единственное, в чем управление, несомненно, совершенствовалось, так это в изощрении аппарата власти над народом.

В другом, не менее фундаментальном труде столь же серьезно постулировалось следующее: «Под социальным (общественным) управлением понимается воздействие на общество в целом или его отдельные звенья — экономику, социально-политическую и духовную жизнь», и так далее.

Спрашивается, однако, а кто же осуществляет это «воздействие на общество»? Субъект «воздействия» скромно не назван, поскольку «имя господа все не употребляют». Но сейчас-то можно — и нужно! — произнести вслух это имя: авторитарная бюрократия, властвующие управленцы.

Авторитарная (директивная) политика в экономике и других сферах социального бытия обеспечивает свое самовоспроизводство только при опоре на достаточно широкую и тоже самовоспроизводящуюся бюрократическую систему, которая является приводным ремнем между директивной и адресатом — трудящимися массами. Диктатура пролетариата, как мы уже говорили, уступила место диктатуре бюрократов. Налицо резкое снижение уровня организации авторитарно-бюрократической системы управления из-за ее предельной

негибкости, жесткости, отсутствия обратной связи.

Черта четвертая: математическое понятие инволюции обозначает «соответствие между элементами некоторого множества, сохраняющееся при повторности какого-либо преобразования над этими элементами».

В самом деле. Соответствие между элементами авторитарности и бюрократии, которое в эпоху сталинизма работает как бюрократический авторитаризм, сохраняется «при повторности» в эпоху постсталинизма как «преобразование» в авторитарную бюрократию (подробнее об этом феномене мы говорили в предыдущей статье в «Октябре» в прошлом году).

Черта пятая: регресс как синоним инволюции включает «моменты застоя, возврата к изжившим себя формам и структурам». Эти «моменты» уже настолько обстоятельно проанализированы в нашей политической литературе и публицистике, что не требуют здесь никаких дополнительных комментариев.

Черта шестая: полагаю возможным в одном отношении использовать также понятие биологического регресса. Этот последний, по А. Н. Северцеву, связан со «снижением численности особей в пределах вида или какой-либо другой группы, сокращением ее ареала, количества занимаемых местообитаний и подгрупп... Такой регресс может завершиться вымиранием группы или превращением ее в редко встречающуюся реликтовую форму. В природе биологический регресс одних, менее конкурентоспособных групп нередко концентрирует процветание других».

Поскольку общество является частью органической природы, на него распространяются ее всеобщие закономерности. Правда, при наличии субъективного фактора, к тому же произвольно развязанного, «вымирание» здесь заменится «выбыванием» (выбраковкой «врагов народа»), а что касается других, более «конкурентоспособных» групп, то «победа» обуславливалась только тем, что они попирали любые ограничения и самоограничения, введенные человеческой моралью. Так, вымирание тех, конечно, обусловило процветание этих, а уничтожение генофонда цвета нации привело к тому, что интеллигентность, доброта, милосердие превратились в «реликтовые формы».

Черта седьмая: регресс системы может наступать в результате «общего постепенного регресса всех ее элементов, — или относительно быстрого регресса ряда ведущих элементов системы, — или в результате систематического истощения основной группы элементов системы в пользу относительного прогресса другой группы элементов».

Конечно, между прогрессом и регрессом существует сложная связь: отдельные регрессивные изменения происходят в рамках общего прогрессивного разви-

тия системы, а, с другой стороны, при нарастании регрессивных изменений в целом отдельные ее составляющие сохраняют прогрессивное направление развития. Так, скажем, и при сталинизме были честные и искренние, и стахановцы, и ученые, хотя нередко и третируемые, и при постсталинизме были достойные имена. Скажем, журнал «Новый мир» умел «сохранять прогрессивное направление развития».

Черта восьмая: в финале следует отметить, что все же большая история, согласно Ленину, «не стоит на месте и во время контрреволюций. История шла вперед и во время империалистической бойни».

Так и наша инволюция в конечном счете была локальной. И, вписываясь в большую историю, то есть всемирную, и будучи одним из первоотчиков последней (Октябрь 1917 года стал катализатором многих революций на планете), взаимодействует со всеми прогрессивными движениями в мире, так или иначе влияя на них и, в свою очередь, испытывая встречное воздействие, может быть, и даже вопреки собственным желанием. История все равно идет вперед.

Итак, в свое время наша великая революция перешла в свою перманентную крайность — безудержный революционизм, превратившийся в гражданскую войну, а затем в войну с собственным народом; в результате искусственно и насильственно прерванный эволюционный социально-исторический процесс обернулся долгой, трудной и мучительной инволюцией. Обществу, осознавшему это, не остается ничего другого, как вернуться к мировому процессу общеисторической спокойной эволюции, не отвлекаясь на соблазны никаких быстрых ура-революционных «свершений».

Вот я и обращаюсь ко всем тем, кто до сих пор «не может поступаться принципами» и по-прежнему с пеной у рта ратует за «чистоту» все тех же революционных принципов: не пора ли наконец осознать все, что с нами произошло, и повернуть придавившее нас колесо инволюции в сторону освобождающей естественной эволюции? Ведь это, как оказывается, были «принципы» отнюдь не эволюции и даже не революции, а и н в о л ю ц и и социализма.

Однополушарное мышление

Писатель всегда будет в оппозиции к политике, пока сама политика будет в оппозиции к культуре.

Михаил Булгаков.
Из письма Сталину.
1930 год.

Может быть, такой же жребий выну.
Горькая детоубийца — Русь!
И на дне твоих подвалов сгину
Иль в кровавой луже

поскользнусь,

Но твоей Голгофы не покину.

От твоих могил не отрекусь.

Максимилиан Волошин.

На дне преисподней.

Памяти А. Блока и Н. Гумилева.

1922 год.

Все мы заметили, что пыл целой плеяды наших публицистов-экономистов, вдруг обнаружившийся после Апреля, как-то постепенно стал угасать: пока отличали прорехи и провалы, все было на месте, интересно и увлекательно, но как только дошли до дела — ценообразования, ликвидации товарного голода и так далее, — весь пафос сразу померк. Вроде бы и специалистов много, и к ним, экономическим советникам, прислушиваются, и что-то вроде бы постоянно делается — кооперативы растут, как грибы, индивидуальная деятельность хотя бы в узком секторе почти процветает, а ни свободных денег по-прежнему нет, ни купить на них, когда заведутся, ничего нельзя, да и народ накормить мы по-прежнему не можем. Как тут не вспомнить Бухарина с его «Записками экономиста» от 1928 года?!

В общем, вопреки отцу диалектики у нас все течет, но ничто не меняется. И, надо думать, существенно не изменится, потому как опять же это для нас «дело привычное»: экономических чудес в России не было, нет и потому вряд ли будет (разве только потемкинские деревни да лысенковские чудеса). Говорю это к тому, что не стоит уповать на экономическое возрождение. Конечно, пусть себе специалисты и менеджеры, наши и заезжие, хоть какие-то дикие перекосы ликвидируют и из пещеры нас выведут. Уповать же, думаю, можно и должно на то, что всегда было подлинным нашим чудом — богатство духа и души, из-за чего отечественные поэты не могли покинуть Отчизну: «О, Русь моя! Жена моя!» (А. Блок), а уезжая, стонали по ней: «Уходит с Запада душа, ей нечего там делать» (Пастернак). Западные же Орфеи XX века тянулись к ней страстно и самозабвенно: Антонио Мачадо, как и Райнер Мария Рильке воспедали гимны святой «душе России благородной», которую голос Испании называл «сестрой» и обращался к России так: «Все ответы любви в твоей душе, в ее небесной глупости».

Но и на этот сокровенный ковчег национальных даров и святых было совершено вероломное нашествие. Он был разворован и разграблен, а хранители его, кто успел, разбежались, остальных либо распинали, либо превращали в манкуртов культуры.

...Существует довольно редкое заболевание головного мозга, в процессе которого выключается и перестает функционировать одно из его полушарий. Заболевший человек продолжает жить и работать, он может иметь детей и так далее, более того, окружающие порой даже не в состоянии с виду определить, что он

серьезно болен. А между тем его мировосприятие резко перекашивается, становится крайне узким, однобоким, бедным и не способным к дальнейшему развитию. Постепенно оставшееся работоспособным полушарие берет на себя отпавшие функции второго, выключенного, и несколько компенсирует их, но лишь отчасти и весьма неполноценно. Подобный эффект можно вызвать и искусственно, операционным путем, перерезав, пережав связи между полушариями... Этот клинический случай понадобился мне как образный пример, помогающий наглядно показать, что мировосприятие человека должно быть полноценным, а не половинчатым, не урезанным.

Поскольку культура является плодом человеческой деятельности, то каков сам человек, таково и производимое им. Согласно Новому завету, «по делам их узнаете их». А с другой стороны, каждое новое поколение является продуктом сложившегося типа воспитания и данный тип культуры воспроизводит человека данного типа. Советский человек — советская культура. Одно создает другое, и они взаимно творят друг друга уже в третьем поколении.

У «мозга» культуры также есть своя «функциональная асимметрия», которая отвечает всеобщему физическому закону (или принципу) дополненности, а именно: материальное дополняется идеальным, временное (настоящее) — вечным, человеческое — божеским (идеей бога), телесное — духовным, духовное — душевным, мышление — верованиями, понятия — образами, рациональное — иррациональным, политика — культурой и так далее.

По известному ленинскому замечанию, вся история мысли представляет собою борьбу материализма и идеализма — «линии Демокрита» и «линии Платона». И это есть нормальное, естественное состояние всякого общества, всякой культуры. За исключением... советской. Как же так? Как могло случиться, что новорожденное общество и его культура вдруг стали исключением из всего исторического закона развития и весь второй ряд из вышеназванных феноменов (идеальное — душевное — верования — иррациональное) оказался выключенным из официальной системы культуры? Разумеется, неофициально, нелегально этот ряд продолжал существовать и функционировать, ибо он неотъемлем от истинно полноценного, человеческого.

А случилось следующее. Сначала носители культуры «второго ряда», так сказать, «линии Платона», предвидя свою ненужность в новом обществе — «отважном новом мире» — и, следовательно, свою незавидную участь оказаться случайно или по ошибке расстрелянными, эмигрировали сами. Это такие писатели и поэты, как, например, Бунин и Ходасевич, философы, как Мережковский, композиторы, как Рахманинов, художники, как Кандинский, ну и так далее. Других,

как, скажем, Н. Бердяева и П. Сорокина, выслали в 1922 году, и они тоже вместе с первыми эмигрантами стали в авангарде западной культуры XX века: первый — патриархом философии персонализма, второй — теоретической социологии и социологии культуры. Третьи, как Шалапин, оказались «невозвращенцами».

А дальше началась длительная операция по отключению у советского человека «второго полушария», успеху которой способствовала решительность, с которой интернировали и физически ликвидировали абсолютное большинство наиболее ярких представителей нормального «двуполушарного» мышления. По неполным данным, 17 тысяч деятелей культуры, науки, искусства, из них только литераторов более тысячи, было погублено и еще шестьсот с трудом выжило. Но и те из лучших, кто по разным причинам оставался по эту сторону колючей проволоки, были обречены на полугодное существование и безгласность, то есть на полусуществование, например, как Булгаков и Платонов. Кое-кто не вынес и покончил с собой, как Есенин, или поначалу не согласившийся с ним Маяковский, или «возвращенка» Цветаева. Наконец кое-кто — опять-таки из лучших! — из тех, кто принял режим и был облакан им, оказались обреченными на творческое бесплодие, как Блок, Горький, Шолохов, или вырождение таланта, как Фадеев, который в конечном счете тоже покончил с собой. Остальных (речь пока идет только о цвете культуры) бесконечно шпыняли, третировали, обвиняли в «декадентщине», как Ахматову, или впрямую называли «подонками советской литературы», как Зощенко, учили тому, как надо и как не надо творить, скажем, композитора Шостаковича, и преследовали за «национализм» и отсутствие «пролетарского мировоззрения» кинорежиссера Довженко. За одноединственное разоблачительное стихотворение поэта могли арестовать и погубить, как Мандельштама, а за величайшее — даровать ему жизнь, как Пастернаку. Даже самый революционный художник мог чем-то не понравиться однажды одному из Властителей, как, скажем, Мейерхольд — Вышинскому, и участь его была предрешена.

В это же самое время миллионные массы вслед за лучезарным киноэкраном вслух повторяли: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!». Через полстолетия в наше время этот же самый советский человек — «новая историческая общность» людей, как обзовет сей феномен общественная наука, — повторит, правда, уже с иной интонацией: «Да, другой такой страны действительно не знаю...»

Теоретики этой новой культуры вроде Ермилова, с которым Маяковский не успел «доругаться», развивая материалистическую «линию» — исключительно только материалистическую! — в частности Чернышевского, — сделали потря-

сающий вывод, который можно считать венцом «однополушарного» мышления: «Пракрасное — это наша жизнь» (1948 год). Так выглядит «реализм» в искусстве социализма, то есть «социалистический реализм».

Обрекая своих противников на полусуществование, «однополушарники» обвиняли их в своих статьях-доносах в пессимизме и неприятии «новой жизни», не желая понимать, что целостное, полноценное мировосприятие непременно включает в себя оба компонента: и приятие (исторический оптимизм), и неприятие (критическую оценку, пессимизм), радость и страдание, рациональное и иррациональное. Сравните с ермиловской формулой платоновскую — «В прекрасном и яростном мире» — или бунинское — «Как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен», — и вы сразу обнаружите всю убогость апологетики режима со стороны эстетике «социалистического реализма». Когда Шолохова после получения Нобелевской премии спросили, что он понимает под «соцреализмом», он прямодушно сказал, что это все, что защищает Советскую власть.

Направленность абсолютно ясная и откровенная. Только, спрашивается, при чем тут р е а л и з м как х у д о ж е с т в е н н ы й метод, отражающий всю бездонную полноту бытия?! Вместо всего этого он, видите ли, оказывается призван отразить правоту Власти и оправдать печально известную акцию: «Если враг не сдается, его уничтожат». А кто становился «врагом народа», ныне хорошо известно. Где же тут то «поэтическое правосудие», о котором говорил Энгельс? Выходит, политика судит культуру, а последняя, дабы спастись в лице более адаптирующихся к режиму, вырабатывает такой творческий метод, который освящает сам этот акт и карающую политику. Очевидно, что для подобного в «мозгу» культуры должны были произойти весьма существенные изменения...

Не следует думать, что операция по отключению «второго полушария» закончилась вместе с режимом сталинизма. Отнюдь нет. Сразу же, почти со времени, когда проходил XX съезд, попытавшийся освободить страну от культа одной личности, параллельно продолжали проводить операцию по освобождению от остатков былой культурной традиции: погром Дудинцева за роман «Не хлебом единым», после которого писатель замолк ровно на тридцать лет, и еще более страшная травля последнего великого поэта — Пастернака за «Доктора Живаго», с исключением его из Союза писателей и попыткой насильственной высылки за кордон. Не успели, однако, выслать — скоропостижно свели в могилу на родной земле.

Великий поэт Цветаева говорила: «В бедламе нелюдей отказываюсь жить». Пастернак на этом фоне сам перестает чувствовать себя человеком:

Что же сделал я, собака,
Я — убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

А дальше попытки «отключения» превращаются в регулярные акции: высылают Солженицына, официальным судом — с прокурором! — осуждают «за тунеядство» поэта Бродского, страну покидают Александр Галич и Наум Коржавин, художник и скульптор Эрнст Неизвестный, певица Вишневецкая и маг виолончели Ростропович, редуют ряды Большого театра и даже большого спорта. Иные подвергаются тюремному заключению (Даниэль и Синяевский), других долго и упорно преследуют, не давая возможности публиковаться (Окуджава, Высоцкий), а тех, кто все-таки сумеет пробиться, подвергают шельмованию.

Наконец, нашли способ и насильственного прямого — медикаментозного! — отключения «второго полушария» через принудительное «лечение» в психиатрических, как, например, композитора Петра Стучека, у которого ныне более тысячи песен на стихи всех корифеев русской поэзии.

Если даже не трогают автора, то арестовывают рукопись, как эпопею В. Гроссмана «Жизнь и судьба», заявляя, что и через двести лет она не будет напечатана...

Я привел на этих страницах лишь два-три десятка примеров, но ведь это — цвет нашей культуры, по судьбе которого следует судить и о «жизни», и о «судьбе» всей культуры. Если она лишается цветения, то, как и все живое, тем самым лишается способности плодоносить; вместо органичной преемственной связи образуются зияющие провалы и пустоты, заполняемые угодническими, приспособленческими эрзацами, на которых и воспитываются новые поколения.

Из литературной классики советского периода для второго и третьего поколений нашей молодежи существовал официальный, жестко отобранный ряд произведений, в коих лик социализма имел единственное выражение. Вспомним некоторые из них. Это — «Мать» как ошеломительный образ самой пролетарской Революции, эйфорически-поэтическое «Хорошо!», орущее «Во весь голос» да «агитки» Бедного Демьяна; со школьных лет они знавали в основном лишь «Рожденные бурей» массы: именно масса, а не личность, «закаляется, как сталь» в горниле Революции; это сплошной «Железный поток», перетекающий из Гражданки в Индустриализацию («Цемент», «Гидроцентральный»), а Коллективизация была для них лишь героически «Поднятой целиной»; бездна войны почти исчерпывалась «Повестью о настоящем человеке», а духовно уставших от перманентной «Бури» можно было в крайнем случае пригласить подышать свежим воздухом в «Русский лес»... Со школьных лет мы, помнится, заучивали наизусть знаменитый отрывок о смысле жизни, которую

следует «прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Но, как оказалось, все дело заключается в том, какова эта цель, каковы идеалы! Если они соответствуют общечеловеческим ценностям, они праведны и непреходящи, а вот ежели они классово ограничены, то за эту ограниченность и, следовательно, ущербную односторонность, выставляемую как цель общественной жизни, потом становится «мучительно больно». Именно это и происходит сейчас с поколениями, лучшие годы жизни которых пришлось соответствовать на сталинизм и постсталинизм.

Сегодня поэт Евтушенко правильно говорит о «невоспитанности воспитания» подобного типа, а ведь за шесть десятилетий своего существования оно сложилось в железобетонную систему!

С какого же времени следует начинать этот отсчет? Да с самого начала, то есть с начала 20-х годов. Например, с того момента, когда Есенин, поэт плоть от плоти народной, в коем русском крестьянство обрело свой голос в начале XX века, вынужден был со смертельной горечью признавать:

Вот так страна!
Какого ж я рождна
Орал в стихах, что я с народом
дружен?
Моя поэзия здесь больше
не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь
не нужен.

И, написав последние знаменитые стихи «В этой жизни умирать не ново» кровью из перерезанной вены, повесился...

А через несколько месяцев тогдашний главный идеолог страны Н. И. Бухарин на страницах руководимой им «Правды» потребовал дать по есенинщине «хорошенький залп». Мне уже приходилось писать о том, что это была не просто «ошибка» Бухарина в оценке изумительного народного поэта, не вина интеллигента-идеолога, великолепного знатока и любителя мировой поэзии, это была беда эпохи, точнее нового социально-политического режима, продуктом и носителем которого был Бухарин. То, что он был интеллигентом, весьма мешало ему как идеологу, и он в еще большей степени, нежели поэт, отдавший всю свою «звонкую силу атакующему классу», вынужден был наступать «на горло собственной песне». Вот, кстати, главная причина самоубийств многих честных талантов: нельзя долгое время безнаказанно втискивать себя в однополушарное мышление.

Беда режима состояла в его громадных претензиях и крайне завышенной самооценке, следовательно, в отсутствии критического отношения к себе при низкой внутренней культуре. Ленинский послеоктябрьский лозунг трижды «учиться!» к середине 30-х годов перерос в троекратное бухаринское: «Культура, культура и еще раз культура!». Но лозунги оставались лозунгами, и декларативность первых пролетарских поэтов («Железный

Мессия» Кириллова) перешла в стремление «за каждой мелочью революцию мировую найти» (А. Безыменский), в псевдопоэтический апофеоз «мировых совнаркомов».

Культурные идеологи, такие, как Троцкий, Бухарин и Луначарский, внешне пытались сдерживать эти крайности, защищенные от них усвоенным ими лично опытом всемирной культуры, но в том-то и состояла беда эпохи, что сами они внутренне не могли освободиться от этих революционистских крайностей, их непременно тоже «заносило», по ленинскому замечанию о Бухарине, который «не вполне понимал диалектику».

Поэтому, с одной стороны, Бухарин призывает своих современников, деятелей литературы и культуры, подниматься до европейского мирового уровня (например, М. Светлову до Гейне), с другой, сам впадает в революционистское «головокружение от успехов»: «Мы, СССР, — вышка всего мира, костяк будущего человечества... Мы глядим на тысячелетия. Во все концы земли проникает наша великая идея. Мы живем не в декларации, не в мечтательной грезе великих умов и сердец(!). Мы живем как реальная сила, реальнейшая из реальных. Потенциально мы — всё... Мы — воплощение исторического разума, основная, победоносная, движущая сила всемирной истории», ну и так далее.

Странный, велеречивый самообман, как туман, застилал глаза даже умным и образованным людям, и можно себе представить, что же тогда происходило с теми, кого вовсе не сдерживали никакие тормоза общекультурного багажа, — для них Пролеткульт стал культом Пролетариата и жизнью именно в декларации.

Но этим всеобщим самообманом как духовной эпидемией оказались зараженными все-таки не все: именно Есенин и был первым из лучших отечественных поэтов, кто ему противостоял еще на рубеже 20-х годов. По его собственному признанию, он готов был «отдать всю душу октябрю и маю», но — «только лиры милой не отдам». В своем прозаическом манифесте 1920 года «Ключи Марии» он писал: «То, что сейчас является нашим глазам в строительстве пролетарской культуры, мы называем: «Ной выпускает ворона». Мы знаем, что крылья ворона тяжелы, путь его недалек, он упадет, не только не долетев до материка, но даже не увидев его, мы знаем, что он не вернется, знаем, что масляная ветвь будет принесена только голубем... крылья которого спаяны верой человека не от классового осознания, а от осознания обстающего его храма вечности».

В своем большом программном докладе на I съезде ССП Бухарин, оценивая Есенина, привел эти слова и заявил: «Пророчество оказалось ложным во всех своих составных частях. Этот «голубь» запутался в сетях своих безыгодных ду-

шевных коллизий. «Ворон» же превратился в могучего орла и зорко смотрит со своей огромной всемирно-исторической в ы ш к и н. К несчастью, очень скоро эта метафора опредметится и станет страшной реальностью страны как огромного лагеря, на который взирает со своей «вышки» всемирно-исторический Ворон, воспетый поэтами как «горный орел», и, если прежде мир делила надвое баррикада, то теперь людей разделила колючая проволока: «Кому до ордена, а большинству до вышки» (В. Высоцкий).

Теперь, спустя более чем полвека, мы можем наконец спокойно разобраться, кто же был прав в том историческом споре, заочном, посмертном, Поэта с Идеологом. Поэт говорил о строительстве новой, классовой пролетарской культуры. В январе 1937 года в парижской газете «Возрождение» были опубликованы воспоминания Владислава Ходасевича о его попытке сотрудничества с Пролеткультом, где он подвел следующий итог: «Не только не состоялась пролетарская литература, но и были загублены люди, несомненно достойные лучшей участи. Бессовестно захваленные, но не вооруженные знанием дела, они не выдержали конкуренции попутчиков». Так что прочествов Есенина оказалось отнюдь не ложным; более того, оно содержало еще и указание на главную причину вымирания художественности в классово ограниченном искусстве: «Нам противны занесенные руки марксистской опеки в идеологии сущности искусства».

Вот почему, в сущности, Идеолог и потребовал дать по есенинщине «хорошенький залп». Волхвы, которые, по Пушкину, «не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен», вызывают у владык желание взять в руки нагайки («Дружина взылась за нагайки» — В. Высоцкий), а некоторые при слове «культура», как известно, вообще хватаются за пистолет.

Еще «божественный» Платон говаривал: «До тех пор не будет конца бедствиям рода человеческого, пока Власть и философия не сольются в одном лице». Но они не сольются никогда: это две несливаемые жидкости, как нефть на поверхности моря. Объем первой несравним с колоссальной массой мирового океана, но, поскольку нефть нерастворима, она разливается тонким слоем по воде и душиет жизнь океана. Потому-то и сам Платон, автор «Государства», отказался, причем трижды (!), от вроде бы лестного предложения стать правителем реального государства, и не на бумаге, а на одном из островных полисов. Думаю, что по той же причине и Лев Толстой, а в наше время Жан Поль Сартр отказались от Нобелевской премии, поскольку лауреат — это тоже своего рода официальный властитель в духовном королевстве.

Когда же в истории случалось, что тот или иной мыслитель становился властелином, как Марк Аврелий, то философ-

стоик в нем не сливался с императором — на время действия одной из ипостасей другая выключалась. Поэтому, по меткому замечанию Гегеля, состояния (думаю, застойного) Римской империи этот философствующий император не изменил.

Не следует думать, что все это так уж далеко от нашей сверхсложной современности. Подобно тому, как Платон из своего хотя бы и «бумажного», то есть идеального, государства с его бодрым, мажорным строем изгоняет всех, так сказать, минорных поэтов и художников, и наше историческое государство изгоняло всех, кто не вменялся в прокрустово ложе соцреализма, «пролетарского мировоззрения», то есть «однополушарного» мышления.

Пока Ленин в пору эмиграции был только теоретиком, он говорил Горькому, занимающемуся тогда богостроительством, следующее: «Я считаю, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой (всякой! — М. К.) философии... В вопросах художественного творчества Вам все книги в руки, и что, извлекая этого рода воззрения и из своего художественного опыта и из философии хотя бы и идеалистической, Вы можете прийти к выводам, которые рабочей партии принесут огромную пользу».

Как известно, Ленин высоко ценил Толстого-художника, но отвергал в нем духовного мыслителя, вероискателя; то же творчество, где религиозного мыслителя от художника отслоить невозможно, как у Достоевского, полагал «архискверными писаниями»; когда же стал предводителем Совнаркома, изгнал из нового исторического государства религиозных мыслителей — «богоискателей», как и других деятелей культуры «второго ряда».

В истории предшествующей нам культуры России при всем ее богатстве и разнообразии явственно выделяются две генеральные линии духовного развития, которые на своей национальной почве и в своеобразном преломлении продолжают то, что Ленин видел вообще в истории европейской мысли, — это, как мы уже говорили, «линия Демокрита» (материализм) и «линия Платона» (идеализм). Условно говоря, это идея революционная и идея религиозная.

Мы уже в третьем поколении воспитываемся только на первой: Радищев — декабристы — Герцен — революционеры-демократы (западники) — народники — русские марксисты. Что же касается второй линии — Чаадаев — славянофилы — Вл. Соловьев — неославянофилы — «богоискатели», то она либо замалчивалась, либо о ней у нас писали так, что лучше бы уж вообще ничего не писали. Между тем тесное взаимодействие и диалектическая борьба материализма с идеализмом в области общественно-философской мысли и реализма с нереа-

лизм в области литературы и искусства суть нормальное, естественное состояние всякой спонтанно развивающейся культуры — это взаимодействие ее обоих «полушарий».

Герцен считал задачу восстановления «живой связи между обоими лагерями» — западниками и славянофилами — «великим вопросом». Спор между ними глубочайшим образом захватывал всех крупнейших деятелей отечественной культуры (Толстой: «Как во всяком споре, оба справедливы»; Достоевский: «Недоразумение великое»), потому что это был поиск будущего России через понимание ее сущности и специфики, которые следует искать в ее прошлом.

Так, в самом начале русской истории — призвании варягов на княжение у русичей (новгородцев) — видели сокровенное свойство славянской «женственности» природы, с одной стороны, Герцен, а с другой, Владимир Соловьев или, например, Бердяев. Но выводы из этого наблюдения следовали диаметрально противоположные. Соловьев, считавший призвание варягов первым из двух главных исторических актов «национального самоотречения» (второй — реформы Петра I), призывал к третьему великому акту самоотречения, в котором он видел «духовное освобождение России». И Бердяев незадолго до Октября прямо призывал к отречению от революции.

Идея революционная же давала прямо противоположный ответ: от Чернышевского, звавшего «Русь к топору», до Ленина, четко указавшего, «что делать». После того, как эта идея реализовалась в победе исторической революции, она лишила свою оппонентку — идею религиозную — права на существование. А ведь за ней, как уже отмечалось, стояла не только политическая мысль как таковая, а целое «полушарие» духовной культуры, например, емкая и бездонная «часть» великой литературы. В случае, когда художник был цельным и четко относился ко второму ряду, такое творчество можно было обозначить «искусством для искусства», «консервативным (реакционным) романтизмом», «символизмом», прочей «декадентщиной», и просто выставить его за дверь новой социалистической культуры, которая с самого начала не хотела «поступаться» своими «однополшарными» принципами.

Но, если художник был сложным, с ярко выраженными обоими дополнительными рядами (например, реализмом и мистицизмом), как прозаик Гоголь или поэт Тютчев, тогда приходилось резать по живому. Гоголя приняли только как бытописателя-реалиста и драматурга-сатирика, а Тютчева как автора пейзажной и любовной лирики, а «Выбранные места...», «Авторская исповедь» у первого (так же, как и «Исповедь» и «В чем моя вера?» Толстого), «ложь изреченной мысли» у второго были попросту списаны как некий духовный брак, якобы отвле-

кающий внимание от основного лица реалиста.

Первую половину тютчевского credo «однополшарное» мышление еще принимает:

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда,
Свобода,
Влеснет ли луч твой
Золотой?..

Это ведь близко традиционным вольнолюбивым мотивам первого ряда.

Но вторую «половину» увольте — sie бы значило поступиться революционными принципами, даже если поэт развешивает вековечный российский застен:

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце
ноет,—
Кто их излечит,
кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа..

(Александр Блок, призывавший «всем сердцем, всем сознанием слушать Революцию», явился завершителем идейно-культурной борьбы XIX века, когда в поэме «Двенадцать» он попытался дать финальный синтез обеих традиционно враждующих линий. Возможно, именно тютчевская «линия» и подсказала ему образ знаменитого, но до сих пор кажущегося странным (для «однополшарного» мышления) финала поэмы.)

Но вернемся к Тютчеву. Мыслитель «второго ряда» Вл. Соловьев, анализируя credo поэта, оценивал его следующим образом: «Для Тютчева Россия была не столько предметом любви (и, добавим, ума. — М. К.), сколько веры — «в Россию можно только верить», «Россия — душа человечества». А вот Бухарин в роли идеолога, то есть властителя, выставляя за дверь есенинщину, ищет более ранние ее корни и находит их, так сказать, в тютчевщине и возмущается в «Злых заметках»: «Как это умом не понять? А чем же прикажете понимать?!» Понятие «верить» не принимается в этот лексикон.

После арестов и разгрома троцкистов Бухарин стал несомненным противником сталинизма, но он, конечно же, не был противником социализма и до конца оставался его идеологом, так же, как Луначарский — идеологом социалистического искусства. Но разрабатывая начала эстетики социализма — социалистический реализм, — они, по-видимому, невольно последовали за матрицей Сталина, удачно произведшего операцию по удалению «второго полушария» из сферы философии.

В 1931 году Сталин в Институте красной профессуры назвал деборинскую школу, придерживавшуюся, по завету Плеханова, историко-философского, то есть широко мыслящего подхода, — «меньшевистствующим идеализмом». С точки зрения логики подобное определение внаучно, ибо соединяет гетерогенные понятия, находящиеся в различных

плоскостях: «меньшевиствующий», то есть подыгрывающий меньшевикам, — чистая политика, «идеализм» же как противоположность материализму — чистая философия (имелось в виду «подыгрывание» Гегелю).

Но Сталина, разумеется, нимало не трогала научность, ему необходимо было однозначно подчинить ширококомыслие, а потому «шаткость» философии — узколобой, но твердой политике, железной пятой вытаптывающей путь только для узкоклассового «пролетарского мировоззрения». А посему в январе 1931 года в постановлении ЦК ВКП(б) «О журнале «Под знаменем марксизма» было указано, что группа Деборина по ряду вопросов скатывается «на позиции меньшевиствующего идеализма».

По аналогичной матрице и образовано понятие «социалистический реализм», который Бухарин в докладе на I съезде ССП противопоставлял «буржуазному реализму». Первое понятие взято из арсенала общественно-политического, а второе — из эстетического, то есть это вещи теоретически несоединимые. Но оказалось, практически они вполне соединимы... в пространстве «однополошарного» мышления. С тех самых пор вплоть до перестройки, начиная с политики и философии и кончая всеми сферами культуры и даже науки, господствовал именно этот тип мышления. Понятно, что под своим крайне зауженным углом зрения он тем самым «воронем с вышки» следил за любыми проявлениями инакомыслия, предельно заидеологизировав все формы культуры и общественного бытия, обезбожив и обездушив их. Политика не пожелала внять мудрому предостережению Поэта, своевременно высказанному в 1920 году:

Правительство, зовущее в строй
армий
 Художника под пушку и ружье,
 Напоминает повесть
о жандарме,
 Предавшем палачу дитя свое.
 ...Правительство, грозящее
цензурой,
 Мыслителю, должно позорно
пасть.
 Так, отчеканив яркий ямб
цензурой,
 Я хлестко отчеканиваю власть.
 А общество, смотрящее
спокойно
 На притеснение гениев своих,
 Вандального правительства
достойно,
 И не мечтать ему о днях
иных...

Это Игорь Северянин, «Поэза правительству».

Итак, мы констатировали сокрушение гуманизма, трагедийность истории народа, скорбную драму его культу-

ры; текущая публицистика раскрыла трагикомедию нашей экономики. В данном контексте мы не касались отношения к природе, а ведь ее «покорение» было первейшей задачей революционной мичуринской науки, и от сталинских Великих каналов до проекта поворота сибирских рек эта политика покорения остается неизменной и поныне.

Единственным автором этой горестной драматургии покорения является революционистское самоуправство, мнящее себя «социальным управлением», начиная с «управления» самой историей народа и окружающей природой и кончая «управлением» экономической и культурой. Всемирно-исторический опыт учит, что всякое насильственное вторжение в сложный процесс извне в лучшем случае искривляет и искажает его самодвижение, в худшем — поворачивает его вспять, эволюционное движение ведет к инволюции и обречает все на «вымирание» — как динозавров или нынешнее Аральское море.

Чтобы не превращаться в социальных динозавров, мы должны наконец окстититься (если вспомнить замечательное и, к сожалению, похороненное научным атеизмом выражение), то есть прозреть, уяснив причины своих бед и ошибок, не навязывать волюнтаристки (революционистски) процессу самодвижения общества свою рационализированную волю, производящую вычитание иррационального, духа, души, веры. Задача передовой общественной мысли, как представляется, заключается в том, чтобы помочь процессу самосознания общества по мере возможности устранять препятствия, материальные и духовные, возникающие на пути указанного самодвижения, а не усугублять эти препятствия собственными руками.

Главнейший же источник этого самодвижения, как было давным-давно доказано классической диалектикой, и не только гегелевской, а с мифологических времен Инь и Ян, — в раздвоении единого, борьбе внутренних противоположностей, что хотя и азбучная истина, но в предложенном нами аспекте означает раскрепощение плененного «второго полушария» и, стало быть, свободное, взаимоуважительное борение материализма и идеализма, науки и религии, мышления и веры, духа и души, современного и прошлого, актуального и вечного. Необходимо возродить истинно культурное отношение к религии и религиозное отношение к культуре.

Уяснит ли себе это наконец наша идеология? Сделает ли необходимые выводы из столь тяжкого, долго мятущегося, ветвистого и многотрадального пути?..

Народная публицистика

Народная публицистика — это не просто новая рубрика, не просто желание редакции разнообразить материалы, но — требование времени; мы столкнулись сегодня с совершенно новым явлением жизни, когда голос народа, его ум, совесть, сознание стали просто необходимы в политической жизни страны; именно поэтому редакция решила предоставить — и широко — страницы журнала авторам из народа. Есть еще одно соображение, которым диктуется введение этой рубрики. Те письма, которые сейчас идут большим потоком в редакцию, свидетельствуют, что, кроме языка газетного, языка литературного, есть еще яркий, афористичный, образный язык самого народа, который хотя и претерпел с начала столетия изменения, но, пройдя сквозь сито народной жизни, обогатил наш русский язык; и мы считаем, что публикация писем-статей народных авторов внесет элемент живой, сегодняшней речи в язык литературы. Новую рубрику мы открываем подборкой писем о состоянии современной деревни.

Весь мировой опыт, многовековая история российского крестьянства и 60-летний опыт сельского бесхозяйства в нашей стране свидетельствуют о том, что коллективные методы ведения сельского хозяйства на ничейной земле ведут к его деградации, к вырождению земледельца и к катастрофическому истощению плодородия почв.

В нашем сельском хозяйстве за время после коллективизации не было ни одного светлого пятна, имеется только отрицательный опыт. Если иногда с высоких трибун у нас и говорят о некоторых успехах, то это только дань сталинской традиции или, как говорится в народе, разговоры для поддержки штанов.

Ситуация, существующая в нашем сельском бесхозяйстве, носит характер неминуемо долго затянувшегося эксперимента. Подобное возможно только в такой богатой земельными ресурсами стране, как Россия. В любой другой малоземельной стране подобный эксперимент захлебнулся бы в зародыше ввиду своей явной абсурдности, а авторы его немедленно были бы отправлены в соответствующее заведение.

Вот я беру в руки экономический справочник, изданный т-вом Сытина в 1915 году. В нем черным по белому написано: основными производителями и экспортерами зерна на мировой рынок являются Сев.-амер. Соед. Штаты, Россия, Канада и Аргентина. Основные покупатели зерна: Англия, Германия, Италия и другие страны Европы.

Далее, листаю наши экономические справочники за 70-е — 80-е годы и там нахожу, что основными поставщиками товарного зерна на мировой рынок, как и в старые, добрые времена, являются: США, Канада, Аргентина. В последние десятилетия к этой старой когорте присоединились несколько стран Западной Европы, Таиланд и еще ряд стран норовят вот-вот примкнуть к ним.

Резко бросается в глаза отсутствие в этой компании нашей страны. Напротив, из торговца зерном она превратилась в его покупателя. Сразу же возникает вопрос: какая метаморфоза произошла с нами, что из экспортера хлеба на мировой рынок, из кормилицы Европы семьдесят лет спустя наше отечество превратилось в постоянного импортера пшеницы, кукурузы и сои из стран Запада? Что же случилось с этой загадочной для иностранцев страной, которую (по словам Тютчева) и умом не понять и аршином общечеловеческим не измерить? Какие катаклизмы потрясли ее до основания, что в конце XX века она оказалась на обочине мировой экономики? Что это за колосс стоит на глиняных ногах с ядерными кулаками?

Если на эту тему со стороны впервые начнет размышлять за кордоном иностранец, то он может подумать, что у нас здесь произошло какое-нибудь стихийное бедствие колоссального масштаба. Ну, скажем, извержение гигантского вулкана, по мощи равного Кракатау, в результате чего под территорией нашей страны просела земная кора и огромные площади плодородных земель ушли под воду. Или

над страной пронеслась сильнейшая пыльная буря и, сорвав метровой толщины слой чернозема, унесла его в Мировой океан, оставив после себя лишь каменистые и глинистые породы. И негде стало сеять.

Нет, кто как, а мы-то прекрасно знаем, что не было в нашей стране стихийных бедствий такой разрушительной силы. У нас было другое — помутнение разума у некоторой части руководителей сельским хозяйством, когда дремучая тьма показалась им ярким светом. Такое явление в человеческой психике хорошо описано еще в древности у библейских пророков.

Это затмение мозгов началось в 1929 году под впечатлением мирового экономического кризиса, когда почудилось, что западный капитализм задержался в предсмертных конвульсиях. Экономика Запада выжила, а у нас все закончилось в 1932—1933 годах голодом и превращением крестьянина в колхозника, то есть в ничто без паспорта и без гарантированной оплаты за труд. Когда настоящему хозяину земли придумали универсальную должность — колхозника, или как у нас метко говорит народ: «за старшего куда пошлют».

Еще в XVIII веке английский экономист Адам Смит научно установил, что побудительных мотивов экономической деятельности человека может быть только два: **к о р ы с т ь** (личная выгода) или **с т р а х**. Это две внутренние силы, исходящие из недр человеческого естества. Третьего в человеке природой не заложено. Третье, пятое и десятое — является наносным, надуманным, не идущим изнутри человека, а внушаемым ему извне. Сюда могут быть отнесены такие зыбкие состояния человеческой психики, как сознательность и энтузиазм. Строить на них экономику — все равно что небоскреб на песке.

Итак, есть два краеугольных камня в человеке — **к о р ы с т ь** (материальный интерес) или **с т р а х**. В соответствии с этим в разных странах и строятся две экономические модели общества.

Первая строится на прочном фундаменте — на личной заинтересованности человека в результатах своего труда. Эта модель способна к постоянному саморазвитию без понукания и дотаций извне. Она годится как для общества буржуазной демократии, так и для социалистического общества, ибо не противоречит основному лозунгу социализма: от каждого по способностям — каждому по труду.

Вторая модель построена на страхе и постоянном понукании сверху. Сама по себе на внутренних парах она двигаться не может, так как и паров-то внутренних у нее нет. Ей все время нужен постоянный толкач: хороший царь, гениальный вождь, великий кормчий, мудрый генсек, который все правильно планирует и предусмотрит, начиная от гвоздей и мыла и кончая космическими кораблями и озоновыми дырами в атмосфере.

В нашей стране коллективизация, как и вся сталинская административно-бюрократическая система, была построена на принуждении и страхе. Наганом людей загоняли в рай, а кто рая не хотел, тому заменяли его на Сибирь. Но страх — чувство рабское, подлое, бескрылое. Посредством страха можно вводить только запреты, а деловую предприимчивость и творческую инициативу пробудить невозможно. Ведь из истории хорошо известно, что незаинтересованный раб или крепостной работают постольку-поскольку, лишь бы хозяин не набил морду или не оставил голодным, без жратвы. Корень зла в нашем сельском хозяйстве состоит в **б е с х о з н о м** характере землепользования, то есть фактически в статусе ничейной земли в наших колхозах и совхозах.

Я пишу об этом не как посторонний радатель о земле, которому со стороны может черт знает что примерещиться, а как инженер-землеустроитель, профессионально занимающийся вопросами землеустройства.

По закону вся земля в нашей стране принадлежит государству, а колхозы и совхозы, согласно земельным актам, являются бессрочными ее пользователями. Фиктивно хозяином земли в колхозах является общее собрание колхозников, а конкретно — **н и к т о!** В совхозах нет даже такой фикции.

Такой обезлички (обесхозивания) земли не было даже при общинном землепользовании в дореволюционной России. Ведь в общинах земля по участкам была закреплена за дворами. Каждая семья знала свой земельный надел, как свое по-

стоянное рабочее место, раскладывала свои силы и возможности на целый год. Никто не ходил каждый день на наряды.

Осиротение земли, ее обезлюдение — это главный корень зла в нашем сельском бесхозяйстве. От этого уродливого корня произрастают все остальные беды, и самая страшная из них — отчуждение крестьянина от земли. Потому и бегут люди из села в город, а не оттого, что в деревне нет бань и клубов. Никто не хочет быть холуем без постоянного рабочего места, бесправным мальчиком на побегушках у номенклатурных председателей или у пьяных бригадиров. Не очень привлекательно состоять в должности «за старшего куда пошлют».

У нас в стране существуют такие сложности с отводом земельных участков под несельскохозяйственные нужды, что от строгостей прямо-таки страх берет. Непосвященному человеку, впервые сталкивающемуся с этим вопросом, может показаться, что наше государство так здорово беспокоится о земле, что дальше некуда. На самом же деле — это обыкновенный бюрократический блеф, так как само существование колхозно-совхозного строя в сельском хозяйстве в корне и по существу свидетельствует о наплевательском отношении к земле со стороны номенклатурного государства. За 60 лет бесхозности землю довели до такого состояния, что если в ближайшие пять — десять лет не произойдет радикальных изменений (подлинного охозяивания земли), то последствия будут катастрофическими и примут необратимый характер.

Общественный механизм труда потому не срабатывает, что в нем не заложен основной параметр, а именно «человеческий фактор» — этот вечный двигатель общественного прогресса. Вся сталинская экономическая теория социализма построена без учета фундаментальных основ человеческой природы, в основном на приоритете внешних факторов. Человеку в ней отведена роль бездумного статиста, выполняющего предначертания вождя.

Поэтому ни 70 процентов мировых площадей чернозема, которыми мы обладаем, ни механизация и электрификация, ни химизация с мелиорацией, ни сотни миллиардов рублей дотаций за последние годы не помогли нам решить продовольственную проблему.

А вот три процента пашни, занимаемой приусадебными участками, умудряются давать около трети валовой продукции сельского хозяйства. Причем все это практически без механизации, почти без химизации, без единого рубля государственных капиталовложений, а только лишь на одном-единственном человеческом факторе.

Кроме того, в экономическую теорию сознательно была внесена антинародная маниакальная идея «о ликвидации кулачества как класса». Это же надо додуматься до такого — в мирное время ни с того ни с сего заморить голодом десять миллионов кормильцев, — такого изуверства не знала мировая история. Вместе с так называемыми «кулаками» ликвидировали и середняка, тем самым в корне подорвав производительные силы деревни. На Западе из таких же кулаков и середняков выросло современное фермерство. 3,5 миллиона американских фермеров кормят население, равное полутора таких стран, как США, западноевропейские и японские фермеры творят чудеса на своих фермах.

Если серьезно встать за ум и перейти от слов к делу, то и сейчас еще не поздно исправить многие ошибки прошлого. Для этого сперва нужно повсеместно внедрить арендный и семейный подряд, а затем перейти к настоящему фермерству. А там, где это будет хорошо получаться (например, в Прибалтике, Белоруссии, на Украине), так можно и сразу переходить на фермерство, интегрированное на базе колхозов и совхозов в сельскохозяйственные кооперативы как первичные ассоциации фермерских объединений.

Давайте немного пофантазируем. Вот если сейчас эту первоначальную идею колхозно-совхозного строя в деревне, как она мыслилась товарищу Сталину и его сподвижникам, оставить (без споров с разных сторон) наедине с самой собой, то есть отобрать у людей приусадебные участки, перестать посылать горожан в колхозы и совхозы на сельскохозяйственные работы, прекратить закупку зерна и другого продовольствия за рубежом и перестать предоставлять колхозам государственную дотацию, другими словами, в деле продовольственного снабжения

населения полностью понадеяться на жизнеспособность колхозов и совхозов, то какой был бы результат? В стране наступил бы голод. Нужно было бы вводить карточную систему, и еще неизвестно, было бы что выдавать на эти карточки.

В настоящее время в нашей стране делается очередная попытка решить аграрный вопрос. Но попытка пока что робкая, неуверенная, к тому же не подкрепленная правовой базой. Ведь для того, чтобы начать что-то делать иначе, чем до сих пор, должны быть юридические основания. Без этого на каждом шагу будут возникать правовые преграды и возвращать все благие порывы в старое русло. А чтобы этого не происходило, то прежде всего нужно изменить земельное законодательство, издать новый закон о землепользовании, в котором четко и недвусмысленно определить правовой и социальный статус землепользователя (артели, кооператива, арендатора, фермера и т. д.), их права и обязанности по отношению к земле и к государственным органам.

Причем в новом законодательстве желательнее реже употреблять слово «нельзя» и чаще слово «можно». «Нельзя» в основном в двух случаях: нельзя заниматься куплей — продажей земли и нельзя подвергать землю порче, хищнически истощать плодородие почв. Все остальное можно, если экономически это выгодно. Без этого арендный и семейный подряд будет внедряться с большим скрипом. И продовольственная проблема в нашей стране на смех всему миру будет оставаться делом каждого, то есть 280 млн. человек.

Без пересмотра земельного законодательства в духе нового политического мышления нет правовой основы для перестройки в сельском хозяйстве. Без этого прогресс или застой в аграрном секторе будет зависеть от «хотения» или «нехотения» руководящих мужей областного и районного уровней. Там, где подберутся башковитые и дельные мужи, дело пойдет, а где соберутся болтуны и бузотеры — там еще долго будут топтаться в болоте.

Многие работники агропрома на районном и областном уровнях враждебно относятся к идее аренды и фермерства. Основной их довод таков: «Они (арендаторы) будут думать только о своей шкуре, а нам надо выполнять план!» Но, спрашивается, столь ли уж важно, о чем они будут думать? Наверное, о том же, о чем думают американские и западноевропейские фермеры. И как результат этого думанья — продовольственной проблемы там нет. Нет там и очередей за харчами в магазинах.

В основном это лодыри, симулянты, завистники опасаются, чтобы арендаторы (а тем более фермеры), чего доброго, не разбогатели и тем самым не потрясли основ нашего общества. Разбогатеть своим трудом — это же такой грех! Но весь человеческий опыт показывает, что посредством собственного горба и мозолей разбогатеть невозможно. Можно только достигнуть достаточно высокого жизненного уровня. А если у кого-то чужое благосостояние вызывает черную зависть, то пускай тот сам тоже берет землю в аренду и богатеет. Если не хочет, то пускай лопнет от зависти. Третьего не дано — куковать не надо!

Сельскохозяйственное производство, кроме самих арендаторов или фермеров, на местах организовать некому. Надо смело и решительно переходить от липовых хозяев к подлинному хозяину земли, которым в сельском хозяйстве может быть только арендатор или фермер как юридическое лицо с правовыми гарантиями.

Нужно наконец-то осуществить один из основных лозунгов Октябрьской революции: «Земля — крестьянам!»

Юрченко Ю. М.,
инженер-землеустроитель,
г. Харьков.

Мы с женой работаем в сельском хозяйстве с 1973 года. Семья наша могла бы взять в аренду землю, но не на таких кабальных условиях, которые предлагает нам колхоз — 2700 рублей за гектар. Аренда привлекает многих, но идти на нее сегодня, не имея настоящего закона, все равно, что бабочкам лететь на огонь.

Вот и сидим, дожидаемся закона. В общем страна теряет еще один год, и не скоро мы еще накормим страну и опять будем менять на хлеб лес и нефть.

Пока вы в городе этого не поймете, всем нам будет плохо. А как бы мы действительно могли жить, получив свободу! Мы бы завалили нашу страну продуктами, а иначе через пару лет будем приглашать фермеров из-за границы растить хлеб на нашей земле, как сегодня приглашаем строителей!

Семья Мазун,

село Ильичево, Крымская область.

...Я понял, что обязан написать вам. Ведь аренда — это последняя наша надежда. У меня отец 40 лет работает в животноводстве, я проработал 20 лет, жена столько же. У нас растут два сына и дочь. И все мы ждем закона об аренде. Ведь стать хозяином на земле — мечта всей нашей жизни, но это острый нож командно-административному методу. При аренде не нужен будет и совхоз да и весь командно-административный метод. Поэтому они и начинают задавать вопрос: накормит ли аренда страну? По-моему, тут у нас есть положительный опыт нэпа! А вот что совхозы, колхозы, а также и комплексы не смогли накормить страну — это факт!

Дайте сегодня закон об аренде, конные сенокосилки, конные грабли — через два года проблема мяса будет решена. Ведь если человек будет чувствовать себя хозяином на земле, то и духовно он станет богаче, и морально устойчивее, и алкоголизма станет меньше без всяких указов о борьбе с пьянством.

Веками человек, живущий на земле, чувствовал свои корни. Пришло время решать, засушим мы эти корни или польем их живой водой, издав закон об аренде. Чего и сколько мы еще должны ждать, если у нас сегодня уже тысячи опустевших деревень, сотни и сотни убыточных совхозов, десятки тысяч гектаров заброшенных земель? А в так называемых передовых хозяйствах тысячами тонн вываливаются на поля химические удобрения; пройдет еще два-три года, и будет не земля, а сплошные гербициды. Люди перестают верить, что может что-нибудь измениться.

Возьмем наш комплекс по выращиванию молодняка. Мы покупаем в соседних совхозах телочек, выращиваем их у себя до стельного возраста и обратно же им продаем по той самой закупочной цене. Так на каждом отделении говорят: зачем возить их взад-вперед, когда мы и сами их вырастить можем. Правда, для этого наш комплекс нужно закрыть. А как закроешь, если из-за него целый совхоз организовали — это же сколько начальников да машины у каждого! Куда их всех девать? Нужен закон — и они сами исчезнут! Ведь при аренде кому они нужны? И не надо бояться, что аренда не накормит Россию. Накормит. Мужик, он тоже не дурак, только ждать больше не может.

Арангольд В. А.,

с. Легостаево,

Красноярский край.

...Вспоминается пребывание одного высокого руководителя в Рязанской области, его беседа с арендатором и высказанное высоким лицом удовлетворение тем, что арендатор не видит иного для себя пути, кроме работы в колхозе. Будто закончится для него жизнь, если он своим трудом перестанет содержать управленцев, счетчиков, а их у нас в хозяйстве 132 человека!

Когда же, когда наконец арендатор перестанет их содержать, когда он, заплатив даже большой налог, заплатив агроному, если тот оказал действительную помощь, сможет хозяйствовать на земле? Вы скажете, что изменения есть... Да, есть, но прошло уже немало времени, а на прилавках без улучшений. Если не раскрепостить крестьянина, если продолжится его одурачивание, то рыбка в производстве продуктов питания ждать бессмысленно, ведь даже малоподготовленный арендатор, получив глоток свободы, поймет, что своим трудом содержит счетчи-

ков, и перестанет работать так, как работает фермер. Пора бы хоть одну область, хоть один район перевести на свободный, привлекательный труд.

Есаков П. Е.,
хутор Мещеряковский,
Ростовская область.

Вся моя жизнь была связана с колхозом. Насмотрелся всякого. И вот теперь, как один из «мужиков», хочу высказать свое понимание, что с нами и вокруг нас делается. Скажу прямо. Очень много ждали «мужики» от мартовского Пленума. Наверное, так же ждали крестьяне в прошлом веке отмены позорного крепостного права. (Я имею в виду настоящих мужиков. Они есть.) Но не дождались. И теперь, когда Пленум прошел, можно уже твердо ответить на поставленный вопрос. Бюрократия, похоже, свою власть не отдала. И Пленум в пользу тех, кто хочет быть на земле хозяином, по сути дела, мало что решил. Если бы решил, то такого бы вопроса — кто кого — на сегодняшний день уже бы не было.

Мало того, решено, что «...остальное должны решать советские и хозяйственные органы в центре и на местах». Иными словами, отдавать ли власть бюрократии или не отдавать доверено все той же самой бюрократии. Вместо свободы выбора крестьянину, как ему жить, его опять отдали во власть бюрократии для проведения над ним экспериментов.

И разве могут быть у кого-нибудь сомнения, что в такой-то обстановке наша сверхопытная бюрократия уж никак не сможет промахнуться! Она блестяще сумеет доказать, что наши крестьяне никак не способны жить без руководящих указаний и приказаний, без коллективизма и твердой дисциплины. Ведь недаром же сразу после Пленума яростно воспряла духом вся бюрократия колхозно-совхозного и районного уровня. На страницах газет и на экранах телевизоров замаячили торжественно-радостные лица председателей колхозов, директоров совхозов и райкомовских праведников. И у всех у них почти из слова в слово, как по команде: «Не торопиться», «Поднять дисциплину», «Повысить организованность».

Почти все они (вместо колхозников) заявляют, что колхозники, дескать, и сами едва ли захотят жить самостоятельно. Что у колхозника чуть ли не в самих генах заложено «быть колхозником». Такие «генно-врожденные» колхозники, конечно, есть. Но ведь это же трагедия, а не достижения командно-административной системы в области выведения особой «породы» крестьян. Но нашей бюрократии даже неизвестно то чисто человеческое понятие, что надо сгорать от стыда оттого, что наше крестьянство доведено до такого состояния, когда даже не имеет представления о свободном, творческом труде земледельца. Наоборот, они (бюрократы) эту крестьянскую трагедию с удивительной ловкостью истолковывают в свою пользу.

Местные бюрократы даже под самим понятием — «быть на земле хозяином» — понимают только самих себя. И уж никак не тех, кто ее обрабатывает. Для них они как были, так и остались, — рабсила. Они и аренду-то понимают как удобную форму — заставить колхозника хорошо работать. Но под их руководством и контролем. Да и центральные органы от этого понятия, как видно, далеко не ушли. Потому что с позволения центральных органов дано неограниченное право местной бюрократии на сотворение собственной собственности. Пожелает председатель колхоза дать землю в аренду — даст. Не пожелает — не даст. Может заломить такую «договорную» цену и такие условия аренды, что и аренде будешь не рад. Вот ему и будут неоспоримые доказательства, что у русского мужика прямо со времен самого Адама в самих генах заложено — «колхоз» и «минимум выходов».

Так что силы — кто кого победит — слишком неравны. И Пленум для крестьянина, чтобы он стал на земле хозяином, пока что не очень-то заметно, чтобы что-нибудь прибавил. Если бы прибавил (повторяю), то на сегодня такого бы вопроса не стояло. А то он как был, так и остался.

Провозглашение «многообразия форм» — это еще не закон, ограждающий крестьянина от произвола бюрократа. И пока неизвестно, каков он будет, этот

закон. И что это за «многообразие». Но зато уже хорошо известно, что за колхозную ограду крестьянина «не пущать».

Как можно стать на земле хозяином, если за колхозную ограду «не пущать», представить почти невозможно, что же касается «концепции», то эту концепцию уже давным-давно выработала и апробировала сама история развития крестьянства во всех развитых странах мира. Крестьянин — творческий работник, и он должен быть свободен от произвола и насилия. У нас же все еще продолжают изобретать свое, «социалистическое» колесо. За 70 лет все еще никак не смогли понять, что оно точно такое же круглое, как и во всех других странах.

Так что повода для оптимизма, что мужику дадут возможность стать на своей земле хозяином, пока что не видно. И от этого волей или неволей, но придается задумываться: кто же все-таки на самом-то деле является главным тормозом в перестройке? Ведь не беспартийные же? И не рядовые партийцы?

Хочу сказать: неправда, что у нас нет настоящих крестьян, готовых стать на земле хозяевами. Они есть, но им не дают ни земли, ни свободы. Та аренда, о которой сегодня идут разговоры, — это не аренда вовсе. Это обман самих себя, обман крестьян, который ни к чему хорошему не приведет. Ее даже и называли-то как-то очень хитро — «арендный подряд». И очень страшно, что этот самообман никто не замечает. Сами крестьяне поражены дефицитом сопротивляемости и неверием. И от этого тоже страшно. Нужна опора, нужна организованность, а ее нет. В конце концов нужна какая-то организация, которая бы встала на защиту фермеров, арендаторов и прочих форм свободного земледелия. Ведь организуются же всякие союзы и движения в защиту природы и всякие другие защиты. А здесь же живые люди, судьба крестьян. Если хотите, судьба страны. И никакого движения в защиту. Я не знаю, как это можно назвать. Но это такая должна быть организация, которая бы сумела противопоставить себя натиску организованной бюрократии. Без этого дальше двигаться нельзя. Она обязательно нужна, если даже будет издан самый идеальный закон, защищающий фермера и арендатора. Организованная бюрократия умеет извращать и обходить любые законы. Самые опасные враги фермерства и арендаторства — это те, кто привык «искоренять частнособственническую психологию». Они сильны своей тупостью и массовостью. Против такой силы нужна только сила. Закон ей нипочем.

Вот такие «крамольные» мысли, хочется верить, что поймете правильно. Организовать движение в поддержку фермерства и арендаторства могут только авторитетные творческие силы. Больше никому. Спасать надо не только Арал. Спасать надо крестьянство. Пока еще что-то можно сделать. Это в миллион раз дороже, чем Арал. На бюрократию надеяться, чтобы она самое себя упразднила, — это просто смешно. Такой фантазией даже Салтыков-Щедрин не награждал своих героев.

Хочу еще добавить. Указ не отменил замаскированное в коллективизм позорное «крепостное» право бюрократии командовать крестьянами и решать все за них. Они по-прежнему думают о нас, как о лошадях. Дескать, достаточно дать им вдоволь хорошего корма да построить хорошие, светлые конюшни, и они будут хорошо плодиться и хорошо трудиться, и эту заботу о нас они оставляют себе.

Чтобы крестьянином было сподручней командовать, надо держать его в колхозе. Поэтому вместо аренды изобрели «внутрихозяйственную аренду», «арендный подряд» и прочие подряды. Вместо права иметь свою землю и свою технику и быть свободным крестьянину дали унижительное позволение жаловаться районному начальству на колхозное начальство, если то не пожелает дать земли в аренду. Указ не вывозляет крестьянина из положения поденщика. Потому что отнять землю, данную в аренду колхознику, для директора совхоза или председателя колхоза абсолютно ничего не стоит. А поэтому ничего не стоят и сроки аренды.

Вот такие вот невеселые мысли. Написать решился не за себя. Я уже свое отработал, пригнула болезнь. Пишу за своих детей. Жизнь отнята у целых трех поколений крестьян. У моего деда, отца и у меня. Неужели же и моим сыновьям и внукам придется быть подопытными животными в чьих-то руках по выискива-

нию «потенциальных возможностей»? Вот отчего не спится по ночам. Отчего и решил написать.

Почему написал именно вам? Чувствую, что вам никак не дает покоя боль за судьбу крестьянства. Думаю вам небезынтересно знать, что думают сами крестьяне о самих себе и о том, что вокруг них делается. По крайней мере один из них.

Шмаков Г. А.,
Алтайский край,
Заринский р-н, с. Гришино.

С горячим черноморским приветом к вам обращается офицер-политработник ВМФ капитан-лейтенант Новичихин Владимир. Сам я родом из сельской местности, и проблемы села меня тоже волнуют, хотя по роду службы далек от этого.

Мне кажется неправильным, когда все специалисты пишут только о проблемах Нечерноземья. Да, это программное направление — освоение ресурсов Нечерноземья, но ведь и Черноземье-то тоже разваливается на глазах!

Побывайте там. Даю вам конкретный адрес: колхоз «Заветы Ильича», он находится в селе Верхнее Турово Нижнедевицкого района, Воронежской области, где я родился и каждый год бываю в отпуске. Типичное неперспективное, умирающее село, колхоз с миллионными убытками, непролазная грязь Черноземья, то же пьянство и отсутствие молодежи. А ведь это российская житница — центральное Черноземье! Глубоко убежден (зная жизнь на селе), что никакая аренда проблем продовольствия не решит. Арендатор — это временщик, он целиком зависит от местных властей, от руководителей хозяйств. Надо полностью вернуть землю тем, кто на ней работает (хотя людей, умеющих работать на земле, становится с каждым годом меньше и меньше). И главным направлением при этом должно быть создание фермерских хозяйств в зависимости от количества членов семьи, в хозяйстве работающих.

Самый главный и трудный вопрос — кто и когда будет это делать? (Я имею в виду — передавать землю, оформлять законодательно и т. д.). Это нужно делать сегодня! Всем очевидно, что без решения вопроса сельского хозяйства мы не можем говорить об успехе перестройки вообще. Мы требуем инициативы снизу, от рабочих и крестьян, и она есть, есть эта здоровая инициатива, но формы управления продолжаем сохранять старые (министерства, РАПО и т. д.). Эти старые формы управления стали тормозом в развитии перестройки, и мы боимся это признать. Надо дать возможность самим крестьянам выбирать нужные им формы руководства (звено, совет, общину — все, что угодно, только бы на пользу дела). Очевидно, что упразднение старых форм управления и руководства должно произойти сверху, в масштабе страны. Если это рискованно и непривычно, то можно попробовать сделать это в регионе, в республике.

После окончания службы я намерен с семьей переехать в свое родное село. Хочется возродить его, придать ему прежнюю силу и привлекательность. Неоднократно со своими одноклассниками об этом говорил, они меня поддерживают (хотя сами живут в Воронеже, тоже им там несладко). Мы стараемся не растерять своих профессиональных сельских качеств, много работаем, помогаем родителям.

Но чем сейчас можно заняться на селе при существующем положении дел? Колхоз — монополист, у него все: техника, фермы, земля. Роль сельского Совета ничтожна. Брать аренду у колхоза и зависеть от него нет никакого желания. Это сплошная нервотрепка, убытки и больше ничего.

Борьба на селе предстоит трудная, но без нее не обойтись. Надеюсь, что вы и впредь будете на страницах своего издания в полной мере поднимать проблемы сельского хозяйства. Поверьте, что сторонников у вас очень много, в том числе и в Вооруженных Силах.

Новичихин В. В.,
г. Севастополь.

В поисках утраченной человечности

Повесть Георгия Владимова «Верный Руслан» и роман-анекдот Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» словно бы идеальная контрастная пара: трагедия и комедия, серьезность и ирония, тяжесть и легкость — все как на ладони. Кажется, что критику только и дела, что раскручивать одну за другой антитезы, вновь и вновь сталкивая стилистические манеры, мировоззренческие установки и литературные традиции, к которым следовали Владимов и Войнович. Ну а в конце концов можно сформулировать какой-нибудь вывод. Например, такой: «В то время, как в мрачном, словно лишенном воздуха и света, страшноватом в своей безысходности мире Владимова безраздельно царит смерть, не оставляя надежды ни одному из героев, а стало быть, и читателю, мир Войновича поистине светел, и, прощаясь с его книгой, мы верим последним словам удивительного солдата Вани Чонкина: «Не плачь, Нюрка! Я еще вернусь!»

А можно и совсем другой: «В то время как дергающийся марионеточный мирок Войновича разваливается на глазах у читателя, не переставшего удивляться, сколь много яду может таиться на сравнительно небольшом количестве страниц, космос Владимова, твердо стоящего на позициях подлинной человечности и духовности, навсегда остается в наших благодарных сердцах. Глумлению Войновича надо всем на свете — в том числе и над нашими святынями — мы можем решительно противопоставить веру, надежду и любовь Владимова».

Знакомые мотивы, не правда ли? Очень даже вероятно, что услышим мы их наяву. Первый пройдет под сурдинку и, возможно, с легким смущением, скорее всего даже и высказан впрямую не будет; зато у второго большое будущее. Не надо быть профессионалом в литературной политике, чтобы угадать, откуда послышится эта песня. За последние годы нам ее исполняли не раз и не два, то громче, то тише противопостав-

ляя: Клюева — Мандельштаму, Шаламова — Гроссману, Дудинцева — Рыбакову, Шмелева и Зайцева — Набокову, а в последние месяцы Солженицына — всем прочим писателям-нонконформистам брежневской эры. Спекуляции такого рода возникают с неизбежностью природных явлений и прельщают весьма многих. Противопоставление упрощает реальность, а всем нам очень хочется, чтобы если уж не сама жизнь, то хотя бы мысль о ней стала попроще. Устали мы от путаницы, от противоречий, от постоянных перепадов в общественном сознании. Ясности нам хочется — и как можно скорее. И беда ли, коль мы в погоне за этой самой ясностью промчимся мимо какого-то писателя, художника, мыслителя, чей голос звучит не так, как нам бы хотелось? Ну какая же беда? Мы ведь наконец-то у цели — и бог с ними, пророков ее на долгие пьедесталы, мы ведь наконец-то у цели — и Бог с ними, «несозвучными»! А лучше даже — пропади они пропадом! Зачем они лезут со своим «народом» к нам, знающим, что самое главное в жизни — это «свобода»? Почему они пристают к нам со своей «свободой», когда каждому ясно: нет ничего важнее «милосердия»? Отчего они носятся со своим «милосердием» в то время, когда каждому нормальному человеку понятно: все дело в «культуре». Далась же им эта «культура» — решили ведь раз и навсегда: наша святость — «народ». И так далее.

Тетенька спрашивает ребенка: «Кого ты больше любишь, маму или папу?» — и случайный свидетель стыдливо отводит глаза. Почему же мы, взрослые люди, жизнь свою можем растрчивать в бесконечных ристалищах: «Народ или Культура?», «Свобода или Ответственность?», «Милосердие или Духовность»? Почему мы вечно позволяем ставить себя в положение того самого ребенка? Или не научены еще историей, или не подсказывает нам жизненный опыт, куда заводят подобные антитезы? Говорят, в оны годы на вопрос тетеньки смышле-

ные детишки отвечали: «Сталина!» Порой мне кажется: наши жаркие споры сведутся к тому, что однажды мы избежим окончательный ответ, хором восславим «Твердую руку», оставим «Свободу» и «Народ» для кухонных собеседований, а на страницах периодики затеем дискуссию... ну, скажем, о правилах хорошего тона. Вроде той, что блестяще описана в романе Войновича. Помните: «Подводя итоги дискуссии, газета поблагодарила всех, принявших в ней участие, пожурила учительницу и Книш за крайности и в конце концов заключила, что само существование столь различных точек зрения по данному вопросу свидетельствует о серьезности и своевременности поставленной Неужелевым проблемы, что от нее нельзя отмахиваться, но и решить ее тоже непросто». Желающие смогут поступить так же, как Мыслители из романа Войновича, то есть, напрягая до крайних пределов эрудицию, попытаться в частных беседах открыть смысл того, что заведомо смысла не имеет.

Ничего фантастического в таком повороте дела я лично не вижу. Спорить до хрипоты в годы молчания мы умели, не худо бы научиться сейчас — в годы гласности — обходиться без обязательной сортировки писателей, критиков, философов, без набивших оскомину обобщений, без прямолинейных противопоставлений. Тогда только появится у нас реальная надежда на нормальное функционирование культуры.

Я имею в виду отнюдь не «культуру полемики»: о том, что передергивать факты, хамить оппоненту и наклеивать ярлыки — дело дурное, спорить не приходится. Я имею в виду и не всеобщую благодать — не так наивен, чтобы мечтать о братании «Молодой гвардии» с «Огоньком»... Я имею в виду изначальную установку на доверие к писателю и к литературе.

Доверять писателю — значит слышать его живое слово, вглядываться в его необыкновенный мир, пытаться усвоить его неповторимую логику. Доверять литературе — значит ведать о том, что она — литература — большая, что в ней хватит места для разных художников и, коли художники эти своим делом занимаются, а не гонят строку в надежде на гонорар, то обязательно найдутся у них точки соприкосновения. Да, литературу делают разные люди — и Войнович, и Владимов, сильно непохожие друг на друга. Но все же — и это сейчас для меня важнее — литературой становится лишь то, что написано людьми, а не нелюдьми. И чем разительнее контраст, чем отчетливее полярность, тем больше хочется мне найти общее — почву и судьбу, без которых нет живой словесности.

И не в том даже дело, что «Верный Руслан» и роман о Чонкине начинались в одно время (1963 год — первая дата под текстами Войновича и Владимова),

завершались в иной ситуации (1970 и 1974 годы), долго не допускались к печати на родине авторов, коим пришлось отправиться в изгнание вслед за своими книгами, а к широкому читателю¹ пришли почти одновременно. «Чонкиным» «Юность» завершала прошлый и открывала нынешний год, «Руслан» появился в февральском номере «Знамени». Все это можно было бы назвать «внешними обстоятельствами» (но почему-то не хочется). Дело в другом: в той поглощенности самыми жизненно важными вопросами, которая ощущается и в повести о лагерной собаке, и в романе о бедолаге-солдате, в той внутренней дерзости, той решимости идти до конца не боясь противоречий, — что слышится и в «классической» прозе Владимова, и в простодушной болтовне Войновича, в той страсти, с какой ведут свои монологи авторы, в той художественной яркости, что подчиняет себе читателя.

О чем эти книги? Да все о том же: о народе, свободе, милосердии — о власти, варварстве, бездушии. Но как далеки их авторы — при всем несходстве стилистических манер и мировоззренческих установок — от однозначных решений, от железобетонной логики приговоров, от нетерпимости. Те, кто услышит в «Руслане» лишь проклятие «миру двуногих, пропахшему жестокостью и предательством», те, для кого в «Чонкине» будет звучать лишь желчный смех над солдатами, интеллигентами, райкомовцами, мужиками, работниками учреждения и тов. Сталиным И. В. лично, обворуют самих себя вне зависимости от того, «понаравятся» им или «не понравятся» книги Владимова и Войновича.

Книги эти писались долго — не надо читать их быстро.

А ведь трудно поверить, что «Верный Руслан» писался (обдумывался, отлеживался, переделывался) десять с лишним лет, что в десятилетие это Владимов создал «Три минуты молчания», что уже в 1963 году автор «Большой руды»² задумался над судьбой лагерной собаки. Ведь кажется проза эта, густая, словно образцовые стихи, лаконичная и конкретная, где слово к слову, предложение к предложению, абзац к абзацу пригнаны так, что не оторвешь, где всплески авторского голоса не вырываются, но словно рождаются из обстоятельного и свободного рассказа, где души людские и души собачьи выходят на встречу с читателем, как на Страшный Суд, от которого ничего не скроешь; где ужас обыденен, а обыденность давит, давит и давит — так что, того и гля-

¹ «Узкий» читатель отсмеялся и отплакался, перефразируя Войновича, КОГДА НАДО. Кое-кто из этой категории успел побывать за свой смех и слезы ГДЕ НАДО.

² Пятнадцать лет назад «Большую руду» рекомендовали читать десятиклассникам по теме «Рабочий класс в современной литературе». Так я ее и прочел.

ди, сам завоешь, как Руслан при виде луны, — так вот проза эта кажется (ино-го слова не подберу) «нерукоотворной». Слово всегда была она — одноприродная, цельная и живая, как церковь, строенная без единого гвоздя, народная поговорка или дремучий лес. И только потом вспомнишь, что церковь строилась долгие годы, лес возрастал веками, а фольклор — ровесник лесам. И только заставив себя все это вспомнить, смиришься с тем, что повесть-то как раз рукотворна, что оттого и цельна она, что писалась долго и трудно.

Мелькавшие в печати сведения о творческой истории «Верного Руслана» скудны. Известно, что первый вариант Владимов показывал Твардовскому, что тот отнесся к работе взыскательно и, видимо, понял, что «история караульной собаки» может стать большим литературным явлением, если автор еще поработает, «разыграет» своего пса. Деталь эту поведал нещедрый на рассказы о себе Владимов, и объясняет она, как и любой писательский автокомментарий, не слишком много. Видимо, сейчас не стоит говорить о том, как менялась со временем повесть о Руслане — стоит лишь отметить: это был долгий и, наверно, нелегкий процесс. И тяжесть долгих раздумий, медленного проворачивания темы ощутима, несмотря на то художественное единство, о котором уже шла речь.

Впрочем, почему же «несмотря на...»? Именно выверенность письма, серьезность тона и ответственность за каждое слово позволяют расслышать пульс тех неразрешимых вопросов, что бьется в прозе Владимова. Писатель постепенно приучает нас к тяжести — не только к тяжести картин, хотя есть в повести и голод, и холод, и боль, и унижение, и звериная жестокость, и предательство, — но и к тяжести мысли. Как просто было бы нам без постоянных загадок, что возникают по ходу чтения, без той мучительной неразрешимости, от которой никому не может и не хочет уйти Владимов!

«Что вы сделали, господа!» — восклицанием из горьковских «Варваров» открывает свое скорбное повествование Владимов, и мы, прочитав первые страницы, войдя в рушащийся мир ликвидированного лагеря, вслушавшись в вой отставленного от Службы Руслана, проникаемся все больше и больше той болью, что шумит в этой фразе. «Что вы сделали, господа!» — это как горчица, сжигающая глотку и небо собаки, как игла, воткнутая в ее ухо, как удары, что сыплются и сыплются на Руслана, на лагерников и вновь на Руслана, как безумный вой, что затевает в первой же фразе повести пурга, а подхватывают то Руслан, то Ингус, то другие четвероногие. «Что вы сделали, господа!» — повторяем и повторяем мы, не слишком вдумываясь в смысл эпиграфа, который пока лишь жжет, бьет, давит, терзает

нас, разливается волной боли, не оставляющей места для раздумий. Но вот ближе к концу повести, когда главные лагерные ужасы (счастливые воспоминания Руслана) уже пройдены, когда с оставленностью пса мы вроде бы свыклись, а к его подконвойному по кличке Потертый успели прикипеть душой, когда страшное возмездие — последний бой Руслана с его отчаяньем, безнадежностью и бессилием — еще впереди, мы вдруг спотыкаемся на фразе, звучащей отголоском эпиграфа. Сожигательница Потертого Стюра трезво поминает прошлую жизнь, развевает иллюзии бывшего эка («...пустить бы пустила. И пожать бы дала. И выпить. Спал бы ты в тепле. А сама — оперу, сообщить...») и завершает свое чуть гротескное покаяние словами: «Да, таких гнид из нас понаделали — вспомнить любо».

«Да кто ж понаделал, Стюра? Кто это смог?» — мучается Потертый. Да кто же эти самые господа, что такое сделали? — мучаемся мы. Стюра отнекивается, а вопрос Потертого сдвигает такую вроде бы ясную картину. Не о Руслане же речь идет — о людях. О людях, из которых сделали гнид, заставили быть подлецами и предателями, у которых отняли человечность. Стало быть, во всем виноваты хозяева — «вологодский», при котором был Руслан, «Тарш-Ктан-Ршите-Обратицца», ну, и, конечно, он — «живоглот любимый», который «такое учудил, что двум Гитлерам не снилось». А раз виноваты «хозяева», раз пес Руслан и тетка Стюра в одинаковом положении — могли бы быть «хорошими», стали «плохими», прошло время, Стюра во всем разобралась, ну, а собакам, ясное дело, труднее, — раз так, то перед нами простая притча. И собачья шкура Руслана и его «коллеги» нужна лишь для «маскировки». И вопрос Владимова, позаимствованный у Горького, приобретает примерно такую огласовку: «Что вы — палачи, убийцы, живоглоты из сталинского выводка — сделали с нашим народом?» Так?

Так, да не совсем. Потому что будь так, не понадобилась бы Владимову третья вариация уже отзвучавшего мотива. На стремительном движении повести к финалу писатель вдруг оборвал внутренний монолог Руслана для того, чтобы вновь загревели «последние» вопросы, правда, звучавшие уже утверждениями: «Господа! Хозяева жизни! мы можем быть довольны, наши усилия не пропали даром. Сильный и зрелый, полнокровный зверь, бегущий в ночи по безлюдному лесу, чувствовал на себе жестокие, уродливые наши постромки и принимал за радость, что нигде они ему не жмут, не натирают, не царапают». Наши постромки. Не «вологодского», не зверья-капитана, не товарища Сталина — наши. И не ради пущей красоты рисует Владимов ночь, словно напоенную древним, мифологическим ужасом, поминает те правремена, когда судьба свела собаку

с двуногими. Тайна Руслана не равна тайне безвинно осужденных или вынужденно отступивших от своей человеческой сущности людей. Тайна Руслана — тайна зверя, которого искалечили эти самые люди.

Когда «вологодский» глумится над верным псом, это не еще один штрих к портрету отрицательного героя. Когда Потертый вынужден добить умирающего Руслана, это не еще один штрих к портрету героя обаятельного. И вовсе не случайность, что тот же Потертый не пошел с Русланом на охоту, не сумел проникнуть до конца в его душу. Мир нынешних людей и мир собак разделены навек, мир нынешних людей — это мир собачьей смерти. Сука, равнодушная к смерти своих щенков, знала: участь «сохранившего себе жизнь» для Службы Руслана не лучше. Это знали Ингус и инструктор, удивительные двойники, стоящие на грани миров людского и собачьего и оттого погибшие. «Уйдемте от них. Они не братья нам. Они нам враги. Все до одного враги!» — так лаял превратившийся в собаку, прячущийся от бесчеловечного мира людского инструктор. Все враги — лагерники и конвоиры, «добрые» и «злые». В мире, где есть зло, — нет места добру, оно слабо, бессильно, смехотворно, как подвыпившие Потертый и Стюра. Мир этот может лишь отпустить построжки, перестави людей из эзков во «временно освобожденные», как говорит «вологодский», он же ефрейтор, ставший сержантом, Потертому, распивая с ним водочку. И ведь Потертый с сержантом пьет, словно бы признавая его злбную логику.

Зло входит в состав души едва ли не всех героев повести, зло караулит их на любом повороте судьбы. Чудовищна Служба Руслана, но чудовищно и его единственное безумие, участие в «собачьем бунте», затеянном Ингусом. Набрасываясь на страшный планг с ледяной водой, собаки вовсе не ощущали себя свободными и счастливыми. Страх и стыд смешаны с безумием. Страх и стыд вечно держат в тисках желтоглазых, натренированных на ненависть «друзей человека». «Друзья человека» — можно ли лицемернее сказать о тех, кого мы так часто презираем и боимся, презираем и боимся потому, что знаем: на самом деле собака — друг хозяина. И даже не друг — какие у хозяев могут быть друзья? У хозяев бывают только рабы.

А как же тогда с видениями Руслана, с теми грезами, в которых царит никогда не пережитая караульным псом любовь «то к пастухам в черных косматых шапках, то к ребятишкам, то к этому узкоглазому плосколицему охотнику»? Руслан видит то, чего лишил его мир двуногих. И это не участь других, более счастливых собак, которым повезло пойти по «охотничьей» либо «пастушьей» стезе. Это мечта о рае, о том пространстве, где не может быть зла вовсе, где

людям нет надобности травить друг друга собаками, называть друг друга «сухими детьми», а свою жизнь — собачьей.

Рай, к которому рвался испугавшийся тоскливого света луны Первый Пес, обернулся адом, ибо жили в нем люди, вкусившие зла. Зверинуму космосу первобытия, в который нет и быть не может возврата, противостоит не рай согласия, но озверевший человеческий мир, в котором древние страшные инстинкты стали уже не инстинктами, а законами. Зверем называет Владимир Руслана, но куда Руслану до «Главного хозяина», о котором верные подчиненные говорят: «конечно, справедливый (вот он закон! — А. Н.), но зверь». Либо: «все ж таки зверь, хотя справедливый».

Закон, справедливость «Тарца Ктана» — это лагерь и проволока. Сквозь всю повесть идет этот мотив, байки и анекдоты наливаются тяжелым смыслом, шутки оборачиваются кошмаром. Освобождение — это побег, невозможность для Потертого вернуться домой, — это привязанность к тюрьме; мир без проволоки немислим, строители, приехавшие сооружать целлюлозно-бумажный комбинат, — это эзки, митинг — это инструктория (плохая) подконвойным. То бредовые мысли Руслана, то мучительные раздумья автора вновь и вновь влекут нас к этой неодолимости. Анекдот о собачьем эскорте, встретившем строителей, оборачивается трагедией, дурашливое шествие завершается страшным побоищем, мало отличающимся от лагерных. Неужто и впрямь мир наш — лагерь? Не у одного Владимова острооты на этот счет наливались свинцовою тяжестью. Вслушиваясь в мечты Руслана о том, как вернувшиеся из побега лагерники сами обнесут свою замечательную зону проволокой, поневоле вспомнишь «шуточную» песню Галича о Климе Петровиче Коломойцеве. Уговаривая в разных инстанциях присвоить его цеху звание «цеха коммунистического труда», герой Галича среди прочего напирал на то, что «Мы ж работаем на весь наш соцлагерь». В конце песни выяснялось, что образцовая продукция цеха — колючая проволока, и прежние речи Клима обретали дьявольскую двусмысленность, которой сам Клим, естественно, не замечал.

Не замечают своего рабства, боятся сознаться в нем и герои Владимова. Лишь порой проговариваются они, как Стюра, либо посылают друг другу странные флюиды. Так междометиями выговаривает свое отчаяние не сумевший отбыть на родину Потертый. Так задыхается от пустой и беспредметной злобы бывший ефрейтор, а ныне сержант. Так многолетней тоской озвучивает свой диалог с колонной строителей белоголовый старик: «Вы, такие, откуда сгреблись-то? Московские либо? Ай не московские? — Всякие, папаша... И московские, и брянские, и смоленские. Не видал таких? — Видал, — сказал старик. —

Тут всякие проходили. И брянские, и смоленские. Не пели однако».

В жутковатой рифмовке вопроса — ответа есть понимание того, что случилось. Но есть и надежда, слабая, робкая, тем более что заглушит ее какофония битвы собак и тех, кто, как и лагерники, выстроился в колонны. Но из того, что все надежды в повести воплощения не обретают, еще не стоит делать вывод о полной безнадежности. Злоба «вологодского», его уверенность в том, что он с Русланом еще потребует, — тоже не последнее авторское слово. Да и то, что злит конвойный, что глушит он свою опустошенность водкой и глумлением над Русланом, вовсе не знак безраздельного торжества хозяев. Мало-помалу люди поняли, что они натворили. Не поняли другого — как далеко зашли, как глубоко въелось в них злое начало, как тяжек путь к свободе, к «самостоянию человека».

Да, в повести Владимова нет свободных и безвинных — лагерная жизнь коррект человека, лагерное существование искорежило душу страны. Но надо обладать железной логикой «справедливых, но зверей» — хозяев, чтобы признать эту ситуацию тотальной и неизменной и радостно восславить мир за проволокой. Потертого лагерь ломал, Стюру превратил на время в «гниду», инструктор отдал весь свой божественный дар на службу злу, по сути дела, предал своих любимых псов, но язык не повернется поставить их на одну доску с хозяевами, нелюдьми, сгустками пустоты.

«Пожалей конвойных!» — сколько раз мы слышали это за последние годы. «Пожалей, он был честным, просто выполнял приказ, его обманули, запутали, он думал, что и вправду арестовывает, стережет, давит, гнет, бьет, пытается, убивает врагов народа! Пожалей конвойного — хватит плакать по зэкам, они были не лучше!» — не пожалел Владимов конвойного. И товарища Сталина — Хозяина, пришедшего к Руслану в смертный час («кто-то другой, совсем без запаха и в новых сапогах... Но рука его была твердой и властной») тоже не пожалел. У «вологодского» нет индивидуальности, нет лица, нет характера — он весь лишь «мерзкая плоть», ибо лицо есть зеркало души, а здесь отражать нечего. У последнего Хозяина даже запаха нет, это чистое отрицание неповторимости человека, это абсолютная идея зла — того зла, что сорвется с цепи и помчится по миру, ощутив высшую награду в заветных словах, с которыми слился безликий хозяин: «Фас, Руслан!.. Фас!»

Есть ли драма у ядовитой стрелы, с которой рассылет гибель «к соседям в чуждые пределы» князь из «Анчара»? Повесть об отравленной стреле еще не написана, но метафора «стрела, рвущаяся к цели», существует. Руслан — такая стрела, его отравили ядом ненависти, той ненависти, что выработана

не им — двуногими. Поэтому не надо уговаривать себя — Владимов-де написал причту о сталинской эпохе, за собаками скрываются люди. Нет — люди мучаются, нелюди — злятся, а собака остается собакой. В отличие от людей, слышавших слово Бога и принявших в душу зло, Руслан воистину безвинен и его горькая участь, его страшная история — не индульгенция конвойному. Захотел бы Владимов написать о драме бывшего охранника — написал бы. Совсем другую историю.

Так что же, может, правы те любители собак, что восхищаются точным знанием их повадок, описанием собачьих рзвов и, прищелкивая языком, сравнивают Джульбарса с Альмой? Может, действительно, это история о том, как собаку злые люди замучили? И об этом. Но все же в первую очередь о том, что люди, мучающие других людей, люди, отказывающиеся от души и совести, люди, переставшие быть людьми, непременно погубят все живое. Как погубили Руслана, как «отвели за проволоку» — убили — Ингуса (вот он мир — лагерь, «за проволоку» — значит, в небытие).

Зверь почти никогда не нападает на человека. Руслан и его команда несут свою Службу. Река не будет травить людей, если они не отравили ее прежде. Поля не будут рождать монстров, если их раньше не убьют химией, неправильной вспашкой, «мелиорацией» или еще чем-нибудь. Природа напитывается нашей мерзостью, нашей вывихнутостью — и мстит. Мстит страшно — и прыжок Руслана, его кровавый оскал, его издыхающая ярость — предвестье. Предвестье тех катастроф, что мы выковали своей бесчеловечностью. «Что мы сделали, господа!»

«Бедный шарик наш, перепоясанный, изрубцованный рубежами, границами, заборами, запретами, летел, крутясь, в леденюющие дали, на острия этих звезд, и не было такой пяди на его поверхности, где бы кто-нибудь кого-нибудь не стерег. Где бы одни узники с помощью других узников не охраняли бережно третьих узников — и самих себя — от излишнего, смертельно опасного глотка голубой свободы». Господи, во что же превратилась наша земля, толстовский «мир», откровенный во всем величии своем пленному, но просветленно-свободному Пьеру Безухову, помнишь ведь еще: «Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

— Вот жизнь, — сказал старичок училель.

«Вот смерть», — хочется сказать, гля-

Войновичу всерьез дискутировать с певцами «отличников учебно-боевой и политической подготовки», автору романа-анекдота, да и читателю с «этими» и так все ясно. У Войновича же есть настоящий собеседник, диалог с которым пронизывает весь роман. Собеседник этот — Николай Васильевич Гоголь.

Дело в том, что великий писатель, увы, и до сих пор многими воспринимающийся исключительно как сатирик, был как мало кто другой захвачен мечтой о прекрасном человеке. Мечта об идеальном герое постоянно живет в душе Гоголя и достаточно внятно его читателям, но рядом с этой мечтой существует гоголевская мука — мука невоплотимости идеала. Пожалуй, с особой наглядностью конфликт этот обнаруживается в том самом рассуждении, которое то ли варьирует, то ли пародирует «простодушный» Войнович.

В XI главе «Мертвых душ» Гоголь ведь тоже вступает в спор с читателями о своем герое — о Чичикове — и, выслушав восклицания дам: «Фи, такой гадкой!», решительно заявляет: «Увы, все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека...» Ну, а дальше все помнят о том, что «пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку» и «наконец припрячь и подлеца». Вроде бы Войнович шел за классиком след в след — ан не все так просто. Гоголь «не может» взять в герои добродетельного человека — Войнович снисходительно уступает его другим сочинителям. Гоголь «припрягает подлеца» — Войнович живописует милейшего Ваню Чонкина. И самое главное — у Гоголя между спором с читателем и рассуждением о подлеце звучат слова, без которых легко обошелся Войнович, более того — которые он сознательно обошел: «Но... может быть, в сей же самой повести почувются иные, еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся перед ними все добродетельные люди других племен, как мертвая книга перед живым словом!» Это не только прочтение о грядущем втором томе — это мера, которой меряются ситуация и герои тома первого. Это мечта о пробуждении русского человека, о преображении его — ныне погрязшего в мертвом существовании. На фоне патетического обещания Гоголя и сам выбор Чичикова в герои обретает иное звучание. Подлец-то Павел Иванович без сомнения, но ведь ему вывозить Русь, ведь ждет его иное духовное состояние, должен же преобразиться он, подобно тому, как уютная его бричка превращается в финале поэмы в летящую чудо-Русь, которой дают «дорогу другие народы и государства».

Гоголь мыслит масштабами вселенской мистерии: он видит разом и «подлеца», и «мужа, одаренного божескими доблестями». А Войнович? Он, словно бы честно повторив движение мысли великого писателя, обаятельно улыбается и говорит: «Да чего ж искать-то, пророчить о будущем — вот он, Ваня Чонкин. И не подлец, и не титан, обычный солдатик с красными ушами — а всех дороже». Иными словами — Войнович, чураясь любого пафоса, смягчает, утепляет, заземляет высокую идею Гоголя.

И так не только в рассуждении о выборе героя. В первой же главке диалог председателя колхоза Голубева и совершившего вынужденную посадку летчика Мелешко напоминает бессмертную сцену знакомства Городничего с Хлестаковым, породившую фантом «ревизора» (позже этот мотив варьируется: Голубев за «ревизора» принимает Чонкина — апогея же он достигает в сцене допроса капитана Миляги, полагающего, что он попал в плен к немцам, в то время как допрашивающий его переводчик убежден, что снимает показания с фашистского офицера). Когда корова чонкинской возлюбленной сжирает «экспериментальные» растения «народного селекционера» Гладышева, что порождает его ссору с Чонкиным, а затем и анонимку «Куда надо», невольно вспоминаешь вмешательство бурой свиньи в ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Таинственное (может быть, аристократическое) происхождение Чонкина — отголосок появления на свет Чичикова, который уродился «ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца». Наконец, слухи, которыми обросла фигура героя, явно копируют те, что загуляли в связи с Чичиковым в городе NN: Чонкин — уголовник, белый генерал, товарищ Сталин; Чичиков — фальшивомонетчик, похититель губернаторской дочки, капитан Копейкин, Наполеон.

Последнее «схождение», пожалуй, ярче всего демонстрирует разницу художественных решений классика и Войновича, который, как могло показаться иному читателю, нещадно эксплуатирует гоголевские сюжетные ходы, словно сам ничего смешного выдумать не может. У Гоголя Чичиков, конечно, не Наполеон, но все же... — и Наполеон. В «Мертвых душах» нелепые слухи, молва раскрывают потаенную суть благообразного проходимца. У Войновича слухи — это слухи, а Ваня Чонкин — кто угодно, но никак не товарищ Сталин. И ссора Чонкина с Гладышевым выливается в обычный мерзкий донос, а не в картину тотальной всемирной скуки. И трусоватость замордованного проверяемого Голубева не рождает миражной интриги. И недоразумения все более или менее разрешаются, а герои даже посмеиваются над ними.

Почему так? Да потому что писал Войнович не поэму, которая должна провоцировать всю Русь, а роман-анекдот,

вязал цепочку «необычайных приключений», что происходили с самыми обыкновенными людьми. Столкновение «обыкновенного» с «необычайным» — принцип поэтики анекдота, в котором важна не только парадоксальность концовки, но и бытовой контекст, привычные «мелочи жизни». И этих мелочей, что смягчают, амортизируют головокружительные событийные виражи, в романе о Чонкине предостаточно. Как ни фантастичен мир, созданный Войновичем, он остается привычным, узнаваемым, домашним. Словно бы автор, глядя на происходящее, привычно и беззлобно вздыхает: «Что ж, и не такое еще бывает. Выдюжим. Были б люди живы». Именно в живом человеке (например, в лопухом Чонкине и его дородной подруге — почтальонше Нюре) видит Войнович силу, противостоящую куражливой свистопляске духовных мертвецов, лишь прикидывающихся живыми. А таких персонажей в романе-анекдоте тоже на первый взгляд немало.

Что же они — «мертвецы» из романа о Чонкине? Да все подряд — скажут мне иные, уже написавшие, что Войнович глумится над деревенскими своими героями и что главный объект осмеяния здесь русский народ.

Что-то мне это сомнительно. Не слышу я глумления в тексте Войновича, когда речь идет о Чонкине или Нюре — слышу добрую усмешку, не отделимую от восхищения. А ведь Чонкин-то как раз солдат Советской Армии. И не его вина, что послан он охранять «эроплан», и кстати, с этим заданием справляется просто превосходно. Районное Учреждение в полном составе снять его с поста не смогло. Да и полк целый во главе с генералом-стратегом не сразу с ним совладал. И почему, собственно говоря, я должен отделять Чонкина от русского народа, лучшие черты которого — доброта, чувство долга, любовь к труду, человечность — в нем и воплотились? Почему я должен не замечать того, как Войнович очеловечивает даже самых малосимпатичных персонажей: фанатичного лейтенанта-переводчика Букашева, машинистку из Учреждения, председателя колхоза Голубева? Почему я должен игнорировать ту беззлобность, что сопутствует смеху писателя в самых фантастических сценах, вроде описания драки из-за мыла и спичек?

Да, люди здесь мгновение теряют свое обличье, но именно на мгновение — и они ли виноваты в том, что с мылом и спичками бывает ох как туго не только в дни войны? Да, Войнович заострил ситуацию, реализовал метафору «озверения», но значит ли это, что он не сочувствует бабе Дуне, Тайке, Нинке Курзовой, Степану Фролову и всем прочим, кого понесло в кучу малу? Есть, правда, персонаж, с презрением вззирающий на происходящее и гордо произносящий: «Вот, Ваня, тебе наглядное доказательство, от кого произошло это животное,

которое горделиво называет себя человеком». Это местный селекционер Гладышев, гордый обличитель толпы и будущий анонимщик. Он, конечно, не против того, чтобы кусок мыла достался именно ему, но куда важнее сохранить важный вид и произнести правильные слова: «Вот она, наша молодежь... наша смена и наша надежда. (Это о мальчишке, выхватившем мыло из-под ног «научно-рассеянного» Гладышева. — А. Н.) За что боролся, на то и напоролся. На страну нападает коварный враг, люди гибнут за Родину, а этот шкет последний кусок мыла рвет у старого человека».

Как хорош этот прокурорский тон, узнаваемый и в философических монологах, и в вульгарном доносе! Как неистребим этот шипяще-агрессивный пафос, это презрение к «бытовщине», вполне разделяемое руководителями колхоза, которым наконец-то дали указание провести «стихийный» митинг. Как сильно, признаюсь, искушение сопоставить речь Гладышева с писаниями тех, кто ныне обличает Войновича в глумлении над народом. Да надо ли? На поверхности ведь.

Нет, не над народом смеется Войнович, не над мужиками и бабами, что могут подражаться, а могут и помириться. После «побойща» сплетник и буян Плечевой поднимает с земли зарванную бабу Дуню и, словно извиняясь за случившееся — не только за драку, но и за всю творящуюся ерунду, за бессмысленный митинг, на который теперь сгоняют колхозников те, кто только что их разогнал, за собственное терпение, за будущее горе, — говорит просто и горько: «Пойдем, бабка... Нечего плакать, пойдем похлопаем». Здесь та самая скрытая теплота, что позволяет гротескному миру Войновича оставаться миром живых людей. Здесь та нелогичность, что дороже логики. Помните, ведь и у Владимова на изрубцованной колючей проволокой планете, где вроде бы место было лишь «хозяевам» да «рабам», сохранили человеческое в себе зек Потертый и Стюра, услугами которой совсем недавно пользовался «главный хозяин» местного масштаба. Войнович усиливает этот мотив, более того — делает его главным. Не идеализируя простых героев, смеясь над ними, помня о том, сколько в них дури, писатель любит их и их жизнь, привычную, обычную, развивающуюся параллельно той фантастической, что насаждают иные персонажи, вроде капитана Миляги, образцово-показательной ударницы Люшки или селекционера Гладышева.

В чем сходство этих «антигероев» — заплочных дел мастера, доярки, слепленной ушлыми корреспондентами, и лысенковца, скрещивающего картофель с помидорами? Да прежде всего в том, что существование их — мнимость (то есть суррогат жизни). Миляга придумывает «врагов народа» и воплощает в жизнь параноический бред об усилении классовой борьбы. Люшка давным-давно не до-

ит коров, а лишь рекламирует свой «ска-зочный» метод, постепенно становясь депутатом, делегатом, орденоносцем, собеседником английских докеров и Лиона Фейхтвангера. Гладышев конструирует немыслимый гибрид, ради которого готов не только жену с ребенком дерьмом завалить, но и живого человека отдать в «суровые нежные руки» КОГО НАДО. Рядом с нормальной жизнью, где любят и ссорятся, дерутся и мирятся, сеют и носят почту, вярят щи и вышивают крестиком, а коли надо, так и в о ю ю т (и, вопреки мнению иных, Войнович не думает смеяться ни над колхозниками, уходящими на фронт, ни над мучающимся от того, что его забыли, Чонкиным, ни над слезами баб, провожающих кормильцев), выстраивается другая, лишь себя почитающая подлинная: с учреждениями, «управляемой стихией», побежденной природой, измусоленными словами, трусостью, доносами и... товарищем Сталиным.

В одной жизни люди трудятся, в другой — улучшают жизнь трудящихся, ликвидируя их врагов (то есть самих трудящихся), изобретая новаторские методы доения коров и грандиозные гибриды под названием «ПУКС» (путь к социализму). Но самое интересное заключается в том, что обитатели фантастической реальности на редкость прагматичны. Разучившаяся доить коров Люшка славу свою доить умеет. Уставший от борьбы капитан Миляга милую жизнь себе всегда обещает. И даже «чистый энтузиаст» Гладышев на дерьме своем не только и не столько счастье человечеству строит, сколько себе славу. Недаром так гордится он отзывом (пусть отрицательным) столичного академика и газетными вырезками. Недаром так легко вступает он в контакт с ведомством капитана Миляги.

Ни Чонкину, ни Нюре некогда заниматься высокими материями: у них своих забот полон рот. Они не претендуют на место в той фантастической реальности, что только и должна почитаться действительной. Там Чонкин — самый дурной солдат, а Нюра — неуклюжая девка-вековуха. И дела нет никому ни до сердечности и умелости Чонкина, ни до доброты и разумности Нюры — некоронованных властителей своего, скрытого от посторонних взоров, счастливого царства. Это Гладышеву надо покорять природу и развивать концепции об особой роли экскрементов — Нюру и так вся живность любит. Ее подворье — своего рода Эдем, где и корова, и куры, и кабан Борька, заменяющий собаку (тоже ведь характерно, особенно как вспомнишь о Руслане), — не такие, как у других. Да и Чонкин любит лошадей особой любовью, хотя бы за то, что они в отличие от людей не предают, не подличают, не пускают жвков в ухо, не заставляют долдонить непонятные конспекты и не интересуются количеством жен товарища Сталина.

«Скотская жизнь!» — скажет иной высокодуховный читатель из тех, кто готов воспринять историю о любви Нюры к кабану Борьке «на полном серьезе». «До уровня скотов низводит героев своих Войнович!» — скажет он и перечислит все с его высокоморальной точки зрения «скабрзные» детали. А ведь логика Войновича совсем иная, он хочет сказать вещь простую: животные не хуже, а лучше тех, кто лишь по внешности может почитаться человеками. И вопрос Чонкина о том, почему лошадь, которая столько работает, до сих пор человеком не стала, не только авторская шпилька доморощенному мыслителю Гладышеву. Это вопрос серьезный, насколько, впрочем, серьезным может позволить себе быть рассказчик анекдота.

Чонкинский вопрос не остался без ответа: не то во сне, не то наяву (Войнович изысканно играет двойными мотивировками) посетил Гладышева колхозный мерин Осоавиахим и повестил его о том, что «в результате кропотливого труда» стал он, мерин, человеком. Правда, особых радостей мерину и в человеческом облике не причитается, а главное — память о прежнем у него еще сохранилась. Так, помнит он, что именно Гладышев сделал его меринком, и даже выражает по этому поводу недовольство: «А конь-то что? Разве ж не живое существо? Разве ж у него можно отнимать последнюю радость? Мы ж в кино не ходим, книжек не читаем, только одно и остается, а ты ножом...». «Еще не успел человеком стать, а уже критикует», — с бдительностью, достойной капитана Миляги, думает Гладышев. И ведь прав наш селекционер — не лошадине это речи. Шутки — шутками, но и Чонкин с Нюрой тоже до книжек не дотягиваются и по кинематографам им ходить некогда. Изъездила их жизнь, обустроенная инструкторами, проверяющими, указующими, ничуть не хуже, чем гоголевского «добродетельного человека». Нет, они вовсе не на уровне своих «меньших братьев», но как целенаправленно гонят их на скотный двор все, кому не лень. А потом еще возмущаются низким уровнем духовных запросов!

Почему так? Почему одним — пироги и пышки, а другим — синяки и шишки? Почему товарищ Сталин может быть разом и мужчиной и женщиной (мотив, несколько раз мелькнувший в романе), а тезка его (Гладышев именуется Осоавиахима «Осей» вряд ли случайно) должен быть меринком? Почему не доброта и порядочность, а злоба и изворотливость берут и берут верх? Все эти вопросы исподволь возникают в развеселом, балагурном, льющемся, как застольный разговор, романе не раз и не два. И автор, казалось бы, так хорошо все понимающий, так крепко верящий в своих героев, так любящий их, не дает ответа. И не дает поблажки читателю, настраивающемуся-то поначалу на легкое чтение, на книгу с хорошим концом.

Конечно, надежда эта у читателя остается — крикнул же Чонкин свое «Не плачь, Нюрка! Я еще вернусь!». К тому же слухи о существовании второй части романа («Претендент на престол») вполне можно считать достоверными. Но все же... Ни геройство Чонкина, ни то, что пленен он был «превосходящими силами», ни возмездие, постигшее капитана Милягу не перекрывают той грусти, с которой закрываешь роман-анекдот. Вместо «пуанта» — тоска-печаль: увезли КУДА НАДО Чонкина и даже песню, которую певал он в одиночестве, «увел» у него дружный полк, совладавший с Иваном да Нурой. А состоит полк этот из таких же Иванов, и повернись судьба иначе — шагал бы наш Ваня под водительством лихого генерала, великолепно владеющего волшебным словом «расстрелять», на взятие другого «дезертира».

Как ни грустно, но и с этим приходится мириться. Войнович дает шанс стать человеком даже звероватому костолому Свинцову (в фамилии этой слышится не только название металла, которым ГДЕ НАДО потчевали клиентов, но и слово «свинья»; здесь, как и во сне ревнивца Чонкина, явно слышны отголоски «Фермы животных» Дж. Оруэлла): на него, как и на Осоавиахима, труд подействовал облагораживающе. Однако «возвращение в строй» оказалось обстоятельством решающим, и Свинцов, как будто бы и не менялся он, спокойно «взял» Чонкина, благодаря которому едва не стал человеком. И это не индивидуальная проблема Свинцова — в какой-то мере это и проблема Чонкина, проблема всего мира Войновича. Веря в людей, любя их, писатель хорошо понимает, сколь сильна противостоящая им сила агрессивного зла, нахарапа, своекорыстности. И от силы этой никуда не денешься. Даже такая симпатичная писателю идея, как руссоизм, входит в текст в отчетливо-комической аранжировке — пьяный председатель колхоза просвещает пьяного же Чонкина: «Иван-Иван Руссо говорил, что человек должен стать на четвереньки и идти назад, к природе». Ночные блуждания назююкавших друзей служат идеальной иллюстрацией к «призыву» «какого-то француза», как аттестует Руссо Голубев

Не убежишь в «природу» — мерин, и тот хочет стать человеком. И поди объясни ему, сколько зла в этой самой «человеческой» жизни, до какой печали могут довести бесчисленные анекдоты нашей реальности. Одно спасение — смех, смех, не оставляющий места «теоретическим иллюзиям», будь то мечты Гладышева о невиданном гибриде, интеллектуально-многозначительные собеседования городских Мыслителей, общественно узаконенное лицемерие, позволяющее товарищу Сталину, которому самое место в анекдоте, раздуться до масштабов эпического героя.

Знает ли Войнович пути выхода из той

ситуации, что превращает жизнь его героя в борьбу за срочное существование? Есть ли у него «общая идея», опираясь на которую можно перевернуть мир? Трудно ответить на эти вопросы, и прежде всего, думаю, трудно самому писателю. Не потому ли роман его, что воспринимается как импровизация, писался опять-таки долго (вспомним еще раз «Верного Руслана»). Долгое писание объективно отражало обстоятельный и противоречивый поиск своего голоса, своего мира, своего героя.

Сейчас в пору открытой публицистичности легко ловить писателей на противоречиях, на логических неувязках. Ставить им в вину отсутствие окончательных приговоров. Их действительно у Войновича нет, да и у Владимова тоже. Для обоих писателей задача состояла не в том, чтобы осудить или восславить (хотя, наверное, Руслан скорее уж осужден, а Чонкин восславлен), а в том, чтобы понять. Понять Руслана и окружающий его страшный мир. Понять Чонкина и царящую вокруг него фантазмагорию. Понять людей и нелюдей, ставших таковыми незаметно для себя и других. «Ну какое уж тут понимание? — в последний раз даю я слово привычному оппоненту. — Кардинальные причины бед наших не названы, пути их преодоления не указаны, толстовское мировидение Владимовым утрачено (сами писали, чем стал «мир» классика под пером автора «Верного Руслана»), гоголевская духоподъемность Войновичу чужда (сами противопоставляли «Чонкина» великой поэме). Что же они поняли, что сказали, ради чего столько времени работали над своими книгами?»

Нет ответа. Вернее, всякий ответ, что приходит на ум, звучит слишком абстрактно, Владимов же и Войнович всей энергией своих книг любой абстракции противятся, любую высокопарность отводят как заведомую фальшь. Это очень конкретные писатели, которых интересовали конкретные же пес Руслан и солдат Иван Чонкин. Они не искали глобальных ответов на вековые вопросы, ибо твердо знали всю двусмысленность любых универсальных рецептов спасения человечества.

«Что вы сделали, господа!» С Русланом, для которого кроме смерти нет прибежища, с Чонкиным, благодарностью которому за все хорошее послужила отправка КУДА НАДО? С собственными душами наконец?

Почему нельзя жить по-людски? — ведь это так просто. Приглядитесь к обычным людям, когда им не мешают, когда им не навязывают фантастического вздора, не заставляют дергать королю за четыре сиськи разом, не гонят колоннами, не держат за проволокой, не потчуют горчицей или самогоном из дерьма, не дурят голову сказками о «ПУК-САХ» и «готическими романами» о врагах народа, — приглядитесь к обычным людям и поймите, что они сами найдут

дорогу, сами выстроят дом, сами напишут книги.

Наивно? Еще бы. Можно надергать тысячи опровергающих эту наивность цитат — хоть из отцов церкви, хоть из прорабов перестройки, — и все равно от наивности этой никуда не уйдешь. Знают писатели, что человек по природе отнюдь не так уж добр. Знают не хуже нашего: недаром посмеивается Войнович над бедным Руссо, а Владимов заставляет каяться Стюру. Знают, еще как — и все-таки в человека верят. Потому-то надеждой горит скрытый призыв Владимова к «хозяевам-рабам» нашей грешной жизни: опомнитесь, будьте людьми! Потому-то поддержка «маленькому», то есть нормальному, человеку слышна в интонации Войновича: ничего, дескать, выпутаемся. Где наша не пропадала.

Так ли уж существенно, что книги эти выдержаны в разных стилевых тональ-

ностях? Так ли уж существенно, что писателям есть о чем спорить и друг с другом, и с читателями? Так ли уж важны еще многие вопросы, что возникнут по мере того, как мы будем «обживать» книги Войновича и Владимова?

Кто знает! Не будем спешить с этими вопросами и тем более с ответами на них. Вслушаемся еще раз в авторскую речь — и расслышим, как кипящий, обжигающе пророческий монолог Владимова сливается с мягким иронично-простодушным рассказом Войновича. Вчитаемся еще и еще раз в их книги — и увидим: разные, но близкие писатели Георгий Владимов и Владимир Войнович ведут свои мучительные поиски утраченного света человечности, поиски во имя того, кто, как писал когда-то Некрасов:

...бредет по житейской дороге
В безрассветной глубокой ночи,
Без понятия о праве, о Боге,
Как в подземной тюрьме
без свечи...



Диалог с нашими зарубежными соотечественниками

Саша СОКОЛОВ — Виктор ЕРОФЕЕВ

«Время для частных бесед...»

Какой бы событийно насыщенной ни казалась внешняя жизнь Саши Соколова, одного из интереснейших писателей не только «третьей эмиграции», но и русской литературы последних десятилетий («дипломатическое» детство в Канаде, журналистские странствия по России, уединение волжского егеря, впоследствии — Соединенные Штаты и «возвращение» в Канаду), его подлинная жизнь — в мире воображаемом, рукотворном (если иметь в виду писательское ремесло), использующем, конечно, материал действительного, но только затем, чтобы его поглотить и подменить собой. Для Саши Соколова мир его произведений всегда реальнее окружающего, придуманное событие реальнее происшедшего, слово — реальнее описываемого им события. Поэтому герои его романов сочиняют и пересочиняют свою жизнь (собственно, сам процесс «сочинительства» становится здесь подлинным Героем), меняют имена и судьбы, обмениваются ими, размножаются в лицах и взаимоотожествляются. Поэтому, как мы узнаем из предлагаемой вниманию читателя беседы, для Саши Соколова «не интересно», о чем произведение литературы (и такая «второстепенность» тематики произведения становится показателем его художественности), а в высказываниях писателя настоящий мотив иллюзорности, нереальности, «кажмости» окружающей действительности. Поэтому Саша Соколов сбивчив, забывчив, «скучлив», когда речь идет о «сюжете» его жизни, зато вдохновенен и увлечен, когда «сюжет» тонет в «поэтике», «событие» уступает место «метафоре», акцент переносится с «действия» на его «переживание». Поэтому Саша Соколов не доверяет как мемуарам, так и исторической романтике: для него самого процесс «вспоминания» — пересочинение, а воссоздание эпохи — ее пересоздание, созидание новой и другой.

Беседа с Сашей Соколовым не много дает тем, кто интересуется его биографией или хочет узнать «правду» об Америке, как, впрочем, и о России («соколовские» Америка и Россия — миры особенные), зато неоценима для исследователя его творчества. Сама «погоковая», «трелещущая», «сомневающаяся» речь Саши Соколова — стилистический комментарий к его романам. Реальные истоки их полуфантастической, гротесковой атмосферы обнаруживаются в осознании эмигрантом его неустойчивого, несколько ложного, «срединного» положения между мифической Россией и полуфантастической Америкой. Роман «Между собакой и волком» с его утверждением «срединности», промежуточности положения человека, оказывается, проецируется на жизнь его создателя (остается выяснить, что Собака, что Волк). Вчитываясь в высказывания Саши Соколова, убеждаешься в сознательном отношении писателя к художественным концепциям его произведений при всей их неуправляемой вдохновенности и интуитивности, на которой особенно настаивает сам автор.

Другое основание автобиографической проекции романа «Между собакой и волком» — постоянная принципиальная обособленность и отъединенность его создателя от окружающей действительности, противостояние ей — уединение Художника. Саша Соколов не принимает текущую рядом и мимо жизнь, оказавшись в Америке, как не принимал, живя в России. Интересна и конкретно-биографическая параллель: поиск уединения и одиночества на Волге и в Вермонте. Эстетские (в «соколовском», не «ругательном» восприятии определения) убеждения Саши Соколова адекватно воплощаются в его «принципиальной аполитичности»: он необычен для эмигрантской среды — не только в его творчестве, но и в жизни (в частности, в причинах выезда из СССР) политические — в традиционном, конечно, понимании — мотивы не играют роли.

Саша Соколов (полное имя — Александр Всеволодович) родился 6 ноября 1943 г. в Оттаве. С декабря 1947-го, когда его отец, заместитель военного атташе советского посольства, был выслан из Канады, жил в Москве. В 1962-м поступил в Военный институт иностранных языков, но в 1965-м ушел оттуда. В 1967-м поступил в МГУ на факультет журналистики. Первый роман «Школа для дураков» был опубликован уже после эмиграции автора в октябре 1976-го в США. Переведен на английский, немецкий, французский, голландский, шведский, польский и итальянский языки. У нас несколько глав были напечатаны в «Огоньке» (1988, № 34), а полностью «Школа для дураков» появилась в журнале «Октябрь» (1989, № 3). Лучший, на наш взгляд, роман Саши Со-

колова «Между собакой и волком», опубликованный в 1980 г. в Америке, оказался слишком сложным для западных переводчиков; в этом году его предполагает напечатать журнал «Волга». Третья книга Саши Соколова — «Палисандрия» — гротесковая пародия, тяготеющая к жанру антиутопии, пока издана только в США. Печатались также подборка его стихов («Ковчег», Париж, 1980, № 6) и эссе «Тревожная куколка» («Континент», Париж, 1986, № 49). Знание этих скупых биографических данных не приблизит творчество писателя. Сейчас у нас есть возможность «послушать» его голос, соприкоснуться с его личностью. Виктор Ерофеев, литературный критик и писатель, оказавшись в Соединенных Штатах, встретился с автором «Школы для дураков», «Между собакой и волком», «Палисандрии» и побеседовал с ним. Предлагаю вниманию читателей эту беседу, подготовленную мною к печати и снабженную примечаниями.

Олег ДАРК.

В. Е. Саша, сейчас в Советском Союзе — повышенный интерес к твоему творчеству. Твое имя все чаще «мелькает» на страницах газет и журналов, о тебе говорят и спорят, в печати появляются отрывки из твоих произведений. Недавно опубликована повесть «Школа для дураков». До этого рядовой читатель, не дожидаясь милости от издательств и журналов, спешил самостоятельно, доступными ему путями познакомиться с твоими произведениями. То есть, можно сказать, ты у нас — известный человек. Однако твоя писательская и человеческая судьба остается загадочной. Недостаток информации восполняют вымыслы и домыслы. Недоумение и вопросы вызывает многое, начиная с имени, не совсем обычного для русского писателя, и кончая твоим «неожиданным» появлением на Западе как уже сложившегося, зрелого писателя, в то время как, живя в Советском Союзе, ты в отличие от большинства писателей-эмигрантов никак не «проявился». Скажи, как ты здесь очутился? Каким был твой «путь в Америку»?

С. С. В 74-м я познакомился с австрийской девушкой. Она преподавала немецкий в Московском институте иностранных языков. Мы решили пожениться. Возникли, разумеется, сложности, меня «вызывали», советовали одуматься. Я не внял, и тогда ее выслали. Началась борьба за ее возвращение в Москву, а потом — за мой выезд. В конце концов вмешался канцлер Австрии Крайский. Он писал какие-то письма Брежневу, и после нашей голодовки и прочих перипетий Брежнев дал мне разрешение на поездку в Австрию. Это был, кажется, первый случай, когда кому-то вообще разрешили выехать на предмет бракосочетания. В Вене прожил год. Затем получил приглашение в Америку от Карла Проффера, к тому времени основавшего издательство «Ардис».

В. Е. Получается, что если бы ты полюбил не австрийскую девушку, а русскую, то остался бы в России? И у тебя не было бы желания уехать независимо от того, женишься ты или не женишься на австрийской девушке?

С. С. Сколько себя помню, у меня было постоянное желание куда-то поехать, посмотреть какие-то другие стра-

ны. Помню, как мы с одним моим другом юности пытались перейти иранскую границу в районе Каспийского моря. До Персии было уже подать рукой, но нас задержали пограничники. Несколько недель мы просидели в местной тюрьме, потом попали на Главную гауптвахту московского гарнизона. Сокамерники горделиво утверждали, что там перед расстрелом сидел Берия, правда, много раньше нас. Отличная школа для писателя.

В. Е. И вот твоя юношеская мечта сбылась, ты прожил в других странах 14 лет. Из них 12 — в Америке. Каков твой взгляд на нее сейчас? Оправдались ли твои надежды на жизнь здесь?

С. С. Это фантастическая страна, где буквально все есть. Жизнь от этого кажется нереальной. Американцы хорошо зарабатывают, ездят на прекрасных машинах, у них замечательные квартиры, они достойно питаются, ведут здоровый образ жизни. Конечно, есть и бездомные, и наркоманы. Часто это люди, которые сами не хотят жить по-человечески, сознательно отказываясь от общепринятых норм и благ. Однако большинство американцев социально послушны и состоятельны. Впрочем, будет об экономике, я ведь приехал сюда не за колбасой, а чтобы спокойно писать и печататься, чтобы никто мне не указывал, где ставить запятую и что воспевать и хаять. Здесь почти все можно. Можно даже ходить по чужой земле. Хотя повсюду висят таблички: «Частная собственность». Но если попросить, тебе разрешат погулять. Однако при этом благополучии американцы забыли о вещах не менее важных, утратили к ним вкус.

В. Е. О чем забыли американцы?

С. С. Знаешь все эти критические выступления советских журналистов по поводу Запада? О духовном убожестве, о власти «золотого тельца», все эти нелестные штампы. Мы не верили. И правильно делали, что не верили. Во-первых, мы знали, что нам часто лгут. А по том: почему мы должны верить кому-то на слово, не увидев своими глазами? Но вот мы увидели и можем сказать по собственному опыту, что советские журналисты во многом оказались правы. Конечно, все это можно было выразить тактичнее, с большим почтением, но в сущности — правы. Здесь любят и уме-

ют зарабатывать деньги и уважают того, кто хорошо зарабатывает. И это не обязательно дурно. Конечно, мы могли бы с нашей, русской точки зрения сказать, что это — буржуазность, мещанство. Но раз страна процветает, раз им это нравится, пускай все остается как есть. Хотелось бы не учить других людей жить, ведь это их жизнь. Беда только в том, что американцы в большинстве своем не интересуются другими странами и не знают, что там происходит, что делается в культуре, искусстве, литературе. Им этого, судя по всему, не нужно.

В. Е. Скажи, Саша, ты живешь здесь вдали от всяких центров, в Вермонте, замечательном штате, с его чудесной природой, здесь — озеро, вдали, за горами, — Канада. Ты просто получаешь удовольствие от одинокой жизни? Отчего это вторичное изгнание?

С. С. Это — самоизгнание из ниоткуда. Ради чего жить в городе? Смотреть посредственные фильмы? Тратить деньги в пивной? Для меня американский город — во многом пустыня. Что такое город для нас, как мы привыкли его себе представлять? Это возможность каких-то интересных знакомств, встреч, новых людей, которые знают что-то важное. Но здесь тебе никто свою душу открывать не будет, никакой там «матрос в тельняшечке». Чужая душа здесь не столько потемки, сколько та же частная собственность, но «ходить» через нее тебе никто не позволит. Однажды, после нескольких месяцев жизни в Америке, я увидел (можно вспомнить «плачущего большевика» у Маяковского) — да, плачущую девушку на автостанции. Она стояла и плакала. Я вдруг вспомнил, что в мире есть слезы, горе, какие-то реальные переживания и трагедии. Обычно об этом тут легко забывается. Нужно бог знает сколько и где прожить, чтобы увидеть, что человек переживает. Люди, их отношения представляют нереальными, чтобы не сказать — неполноценными. И не потому, что они решили вести себя так и вот — ведут; это поведение сформировано долгой традицией, национальным духом.

В. Е. Я знаю, что на Запад ты приехал уже автором романа.

С. С. Да, «Школу для дураков» я написал в России, на Волге. Я работал там егерем в одном лесном хозяйстве. Через знакомых своей будущей австрийской жены я послал рукопись в «Ардис». Скоро пришел ответ. Карл Проффер писал, что это единственный в своем роде роман, что он подобного в русской литературе не читал, хотя изучил всю ее навзвезд, потому что был профессором славистики в Мичиганском университете. Он сказал, что готов печатать книгу и хочет ее перевести.

В. Е. Нечасто случается, что писатель дебютирует большой формой. Как складывалась твоя жизнь в России? Как ты шел к твоему первому роману?

С. С. Строго говоря, «Школа» не бы-

ла моим дебютом. Я собирался стать журналистом. Посещал факультет журналистики. На третьем курсе перешел на заочное и работал в «Литературной России», а до этого сотрудничал в районках на Кавказе, в Марийской республике. Работа в газетах, особенно в «Литературной России», оказалась полезной. Я ездил в командировки от разных отделов, познакомился с известными писателями, писал за них статьи, очерки. Словом, набирался опыта.

В. Е. А как ты тогда подписывался?

С. С. Как положено, конечно, — Александр Соколов. Мне открылись секреты журналистской кухни, вырисовывалась карьера, но я понял, что это не для меня. Что, кроме таланта, нужно кое-что еще (это, кстати, нужно и здесь), чего у меня, кажется, нет. Однако принимать участие в каких-то играх, выслуживаться, идти на компромиссы не желалось и не умелось. Наступили дни, когда я стал говорить себе: что ж все брать интервью у писателей? Я же давно готовился к собственной прозе. И решил, что пора. Но следовало выбрать способ существования. Кто будет кормить? Надо как-то зарабатывать. Лифтер из меня, я это понимал, не выйдет. Пытался работать ночным сторожем — не получилось. В истопники пока не хотелось. Решил жить за городом, на воле. Поехал на Волгу, в Калининскую область. Познакомился с местными браконьерами и с их помощью устроился егерем в Безбородовское лесное хозяйство. Стал жить на кордоне в лесу. Там начал писать «Школу для дураков» и там же закончил.

В. Е. А ты показывал свое произведение кому-нибудь из писателей? Пытался напечатать?

С. С. Нет, я только давал читать друзьям. Было ясно, что нужны связи, их-то как раз и не было.

В. Е. Я знаю, здесь, на Западе, на твою книгу появилось немало рецензий. Как вообще ее приняли?

С. С. Был отклик даже в советской печати. Забавная история. Тогда я жил еще в Вене. Канцлер, что называется, по знакомству устроил меня в Венский лес рубить дрова. А Карл Проффер написал статью о текущей русской литературе, где весьма положительно оценивал «Школу». Это, может быть, нескромно, но я просто рассказываю, как он действительно отозвался. На его статью саркастически откликнулся Мулярчик то ли в «Литературной газете», то ли в «Советской культуре». Мулярчик, кстати, мой бывший педагог.

В. Е. То есть он знал тебя?

С. С. Он знал меня как студента и как начинающего писателя: я приносил ему на кафедру кое-какие рассказы. Он был моим первым «критиком». Рассказы в принципе хвалил. Мулярчик ответил на статью Карла по долгу службы, наверное. Пресловутый профессор Проффер, писал он в своей заметке, опять взялся за старое. Последнее его откры-

тие состоит, мол, в том, что лучший русский писатель есть некто, рожденный в Оттаве, а ныне работающий в Венском лесу лесорубом. К сожалению, имя мое в заметке не фигурировало.

В. Е. Но ведь кроме восторженного отзыва Проффера и саркастического — Мулярчика, в твоей жизни произошло более выдающееся событие: тебя «заметил и благословил» Набоков.

С. С. Да. Однажды ночью пришла телеграмма из Мичигана от Карла. Он сообщил, что Набоков прочел рукопись «Школы» и сказал, что это трогательнейшая и трагическая книга. Представляешь?

В. Е. А Набокова ты к тому времени читал?

С. С. За венские месяцы я прочитал несколько его книг, присланных «Ардисом», а до этого — ни строки. Поэтому претензии ко мне, что я написал «Школу» под набоковским влиянием, несправедливы. Только раз видел в руках у одноклассника книжку — пожалуй, то было «Приглашение на казнь».

В. Е. Говорят, Набоков хотел с тобой познакомиться?

С. С. Тогда я был еще в Австрии и собирался в Швейцарию. Узнав об этом, Карл написал, чтобы я непременно заехал к Набокову, потому что он хотел меня увидеть. Я был поражен таким приглашением и долго думал, заезжать или не заезжать. И наконец решил, что я все-таки слишком мало сделал в литературе, слишком незначительная фигура, чтобы Набоков тратил на меня время. А после Швейцарии уехал в Америку. Набоков потом спрашивал Проффера, что пишет Саша. Карл сказал, что я работаю над романом, который называется «Между собакой и волком». О, сказал Набоков, мне очень нравится название. Кстати, спросите Сашу, помнит ли он строфу из «Евгения Онегина», где используется это выражение. Я смутно догадывался, что нечто подобное должно быть где-то у Пушкина. Но так как Набоков мне через Карла ясно указал где, я нашел, а потом подумал: не взять ли указанную строфу эпиграфом. И увидел, что это именно то, что надо, чего не хватало.

В. Е. Я слышал, что роман «Между собакой и волком» также будет скоро опубликован на родине. Но произведение сложное, зашифрованное. Ты не мог бы дать ключ?

С. С. Этот роман — о непрерывности человеческого существования, о его замкнутости. О нескольких, если угодно, инкарнациях одной личности. Подобно «Школе» роман связан с философией времени.

В. Е. Ты используешь в свои произведения какие-то философские теории?

С. С. Сознательно — никогда. Это получается интуитивно. Чем интуитивнее, чем случайнее, тем лучше.

В. Е. Скажи, почему — Саша Соколов?

С. С. Дело в том, что имя «Саша» я всегда воспринимал как полное. В Канаде и Соединенных Штатах оно не считается уменьшительным. «Александр» мне всегда казалось напыщенным и нескромным. Недавно Юрий Нагибин опубликовал отзыв о моих книгах. В конце рецензии он замечает, что такой серьезный писатель должен подписываться взрослым именем¹. Но мне, наверное, поздно менять. И потом, имя «Саша» имеет уже в русской литературе свою традицию.

В. Е. Саша Черный...

С. С. Да, и ничего страшного не произошло.

В. Е. Почему и зачем ты пишешь?

С. С. Люблю язык. Литература для меня — игра, не в обыденном смысле, а в высоком и серьезном — Игра. Литература, можно и так, — искусство обращения со словом. Но я люблю не язык вообще, а именно русский язык. Теоретически говорю, я мог бы писать по-английски. Но в русском есть вещи, которые напрочь отсутствуют в других языках и без которых мне было бы неинтересно. Это все равно, как если бы музыку лишили полутонов. Многие пианисты сказали бы: нет, мы не хотим играть, раз нет полутонов. В английском нет флексий, нет падежей, инверсия проблематична. А с другой стороны, присутствует масса лишних слов вроде артиклей. То есть английский неудобен для игры, к которой я привык. Что же помимо писем писать на таком неловком языке?

В. Е. А какой-то моральный пафос литература несет для тебя?

С. С. Возможно. Хотя подобные категории на ум мне никогда не приходят. Я не стремлюсь кого-то в чем-то убедить, чему-то научить, настоять на своем прочтении мира. В двух интервью, данных в разное время одному американскому ученому, Бродский и я независимо друг от друга, но почти в одних и тех же выражениях высказали мысль, что литература — вообще не о жизни, следовательно, разговор о моральности или аморальности неуместен.

В. Е. О чем же, если не о жизни?

С. С. Литература — о некоторых процессах, происходящих в душе художника, она — продукт его сознания и этим сознанием ограничивается, т. е. не выходит за его пределы.

В. Е. Ты не боишься в эмиграции утратить или «испортить» свой русский?

С. С. В Вене мне постоянно снился страшный сон, что я забываю или уже забыл язык. Всякий раз, поймав себя на речевом огрехе, тревожился: вот оно, начинается. Я знал одного старого эмигранта, который помнил лишь несколько фраз по-русски. И не понимал по-английски ни слова, хотя провел в США мно-

¹ Статья Нагибина предназначена для коллективного сборника, посвященного творчеству Саши Соколова. Сборник предполагается издать в Сан-Франциско. Статья напечатана в еженедельнике «Панорама», Лос-Анджелес, 1988 г.

гие годы. Но это — исключительный пример. Обычно происходит другое: не человек забывает язык, а словно бы сам язык забывает свою естественную среду, откуда он родом. Позволю себе такую метафору. Язык — живучее земноводное вроде угря, причем электрического, но на чужом берегу ему все-таки бывает не по себе.

В. Е. Как ты считаешь, это сказывается на твоей работе?

С. С. Не столь значительно, чтобы на этом сосредоточивать внимание. Существует, правда, чисто техническая трудность. Случается целый день говорить и писать по-английски что-нибудь деловое. Главным образом те же письма. Возвращение к русской рукописи требует известного напряжения: вспомнить, чтобы забыть, забыть, чтобы вспомнить. Но есть тут преимущества. Каждое произнесенное русское слово звучит незаурядно. И соответственно ценится и осмысливается.

В. Е. Что для тебя художественная проза? Как бы ты ее обозначил среди других родов искусства слова?

С. С. Для меня нет принципиальной разницы между прозой и поэзией. Высокая проза стоит трудов, может быть, более напряженных, чем стихи. Рифма «приводит» за собой строки и целые строфы. А проза своим течением обязана не столько созвучиям и ритмам, сколько чему-то другому.

В. Е. Чему же?

С. С. Чистой энергии слова. Она вырабатывается нутром. Чтобы создать напряжение во фразе, надо прежде создать напряжение в себе. Лучшие прозаические тексты заряжены огромной энергией.

В. Е. Ты мог бы назвать писателя, который был бы для тебя примером такой прозы? Может быть, Платонов?

С. С. Может быть.

В. Е. Ты исповедуешь принципы эстетической литературы. Тебя называют «эстетом». Не обидно ли это?

С. С. О, нет, нет! В этом нет ничего обидного.

В. Е. А знаменитая формула «искусство для искусства»?

С. С. Она мне, безусловно, близка. По крайней мере понятна. Я полагаю, что следует поощрять это направление. Тем более что все остальные достаточно хорошо развиты.

В. Е. А Булгаков? Что ты скажешь о Булгакове?

С. С. Для меня значение писателя — в его языке, мне нужен язык, меня тематика мало интересует. Если первая страница романа написана слабо, я чтение бросаю. Ибо если писатель не умеет первую страницу написать, то дальше будет еще хуже. Проза должна завораживать с самого начала и до конца, чтоб мне было неинтересно, о чем этот роман. Что можно сказать о писателе, который начинает повествование тем, что «Однажды весной, в час небывало жаркого за-

ката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина»... Какие-то необязательные описания, неустоявшийся стиль, и не удивляет вовсе, не поражает. Для меня бесспорный образец — «Кон-армия»; вот прекрасная, напряженная проза.

В. Е. Кого бы ты назвал в литературе, кто влиял на тебя, на твой стиль? Может быть, ты преодолевал чье-то влияние?

С. С. В основном это была русская литература XIX века. Советскую литературу я, собственно, не читал, даже когда учился в университете. Мне было неинтересно. Впрочем, читал Гайдара, но не думаю, что он на меня повлиял.

В. Е. Существует традиционный «спор» в русской литературе: Толстой или Достоевский? Ты на чьей стороне?

С. С. Все-таки на стороне Достоевского. Но ближе всех — Гоголь, как он был близок и Набокову. Не сговариваясь, мы пришли ко многим общим решениям. Особенно близок мне ранний Набоков.

В. Е. А Чехов?

С. С. Он, по-моему, недостаточно напряжен. Я, конечно, люблю «Степь». Но предпочтительнее талант с оттенком гротеска, какой-то неотмирный писатель. В этом отношении — Гоголь и, конечно, Достоевский...

В. Е. А Лесков?

С. С. Лесков — нет.

В. Е. Тогда откуда твой сказ?

С. С. Ты имеешь в виду «Собаку»? Не знаю. Из жизни, с Волги. Я описывал людей, которые действительно существуют на Волге. Манера их «повествований» именно такова.

В. Е. Ты считаешь, твой роман переводим на другие языки?

С. С. Мне сказали: забудьте об этом думать. Я спорил, говорил, что даже Джойса переводят. Перевести, безусловно, можно, но надо потратить несколько лет жизни. Однако работа переводчика себя не оправдывает, издание не окупится, никто не станет читать такую сложную книгу, в Америке не любят сложных книг. Перевод окажется искусством для искусства, а здесь это не приветствуется. Вообще с переводчиками трудно: профессионалов на Западе почти нет. Русские книги переводят преподаватели университетов в свободное от работы время. Моему третьему роману повезло, его перевел на английский Майкл Хайм, он профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Майкл считается лучшим переводчиком. Это уникальный человек, переводит с десяти языков. Я его спросил: как ты успеваешь? Он говорит: просто не смотрю телевизор.

В. Е. Как называется третья книга?

С. С. «Палисандрия», по-английски — «Astrophobia». Пародия на исторический роман, одновременно — на эротический и на мемуары.

В. Е. Какие образцы ты брал для пародирования?

С. С. Все читанные воспоминания. Мне всегда была смешна претензия мемуари-

стов на знание исторической правды в последней инстанции. Читатели смотрят на мемуары как на документ, хотя узнать из них, «как было на самом деле». Но попробуй-ка вспомнить хотя бы свое детство: обязательно что-то забудешь, что-то спутаешь, начнешь фантазировать, заполнять пробелы. Для меня мемуары — такой же фантазийный жанр, как любой роман, а никак не документ, по ним нельзя судить о реальных событиях и лицах. Герой «Палисандрии» — кремлевский сирота, его родители рано погибли, его воспитывает правительство, он — внучатый племянник Берии и правнук Распутина, Григория, разумеется. Там у меня — самые различные политические деятели: Берия, Сталин, Хрущев, Брежнев, Маленков. Кто угоден.

В. Е. А что ты сейчас пишешь?

С. С. Я никогда не рассказываю, что я в данный момент пишу, потому что, как бы я ни рассказал, никакие слова не дадут представления о новом произведении. Но это будет роман, четвертый. Как всегда, писатели это хорошо знают, пишу, будто в первый раз, прошлый опыт почти ничего не дает: та же беспомощность, неуверенность, не знаешь, с чего начать, чем продолжить.

В. Е. Ты, наверное, следишь за тем, что происходит в литературе на родине. Кто бы ты выделил из писателей?

С. С. Мне близки Андрей Битов, Евгений Попов, Татьяна Толстая. Интересует меня проза Венедикта Ерофеева и Владимира Сорокина, стихи Дмитрия Пригова, Владимира Алейникова.

В. Е. В годы, как сейчас у нас принято говорить, «застоя», безвременья советская литература потеряла много талантов. Какие наиболее значительные потери ты мог бы назвать?

С. С. Иосиф Бродский, Алексей Цветков², Эдуард Лимонов³. Лимонов на Западе стал заниматься прозой. Он один из немногих эмигрантов, кто живет только на литературный заработок. Но я предпочитаю раннего Лимонова — поэта. Из прозаиков — Дмитрий Савицкий⁴ и Юрий Милославский⁵.

² Цветков Алексей Петрович (родился в 1947 г.) — поэт, эмигрировал в США в 1975 г. Печатался в журналах «Континент» (Париж), «Эхо» (Париж), «Время и мы» (Тель-Авив), в альманахе «Neue Russische Literatur» (Зальцбург); в Советском Союзе его стихи были опубликованы в журналах «Огонек» (1989, № 22) и «Знамя» (1989, № 6).

Автор книг «Сборник пьес для жизни со-ло» (1978), «Состояние сна» (1981), «Эдем» (1985). Живет в Вашингтоне.

³ Лимонов Эдуард, родился в 1943 г. в Дзержинске Горьковской обл., в 1967—1974 г. жил в Москве, эмигрировал в 1975 г. в США, с 1980 г. живет в Париже. Автор книг «Русское» (1979), «Это я — Эдичка» (1979), «Дневник неудачника» (1980), «Подорожник Савенко» (1983), «Слуга его хозяина» (1984); роман «Это я — Эдичка» переведен на семь языков.

⁴ Савицкий Дмитрий Петрович, родился в 1944 г. в Москве. С 1978 г. живет в Париже. Пишет по-французски и по-русски. Романы: «Раздвоенные люди» (1979), «Антигид по Москве» (1980), «Ниоткуда с любовью» (1982), «Вальс для К» (1985).

⁵ Милославский Юрий Георгиевич, родил-

В. Е. Что ты думаешь о тех изменениях, которые происходят в Советском Союзе?

С. С. Я всегда знал, что изменения должны начаться. Хотелось бы пожить в этом времени, в новой стране.

В. Е. То есть для тебя вопрос о возвращении в Россию как-то стоит?

С. С. Я согласен с Солженицыным, который говорит, что русский писатель имеет право не жить в России, только если там нет возможностей для творчества. Если бы в 74—75-х годах, когда я уезжал, в Советском Союзе было так, как сейчас, я бы не уехал.

В. Е. Ты считаешь себя патриотом?

С. С. Я никогда об этом специально не думал. Я — русский писатель, пишу по-русски, существую в русском измерении. В эмиграции лучше осознаешь себя в этом качестве, единственно возможном. Куда бы ты ни поехал, адаптироваться можно только до известной степени. Ты можешь ходить в банк, ездить на прекрасном автомобиле, обедать в великолепных ресторанах, приобрести соответственный лоск, превратиться внешне в иностранца, но только внешне. Ты будешь приемлем в этом обществе, но останешься русским. И будет далеко не безразлично, что происходит там. Некоторые пытались забыть об этом, они говорили: мы теперь здешние, мы считаем, что там ничего нет. А сейчас и они читают советские газеты, слушают советское радио, лихорадочно следят за тем, что у вас происходит.

В. Е. Как у тебя складываются отношения с американцами?

С. С. О, американцы — очень терпимый, очень гибкий народ, с ними почти невозможно поссориться. Я вспоминаю эпизод из книги Нины Берберовой «Курсив мой». Она, кстати, была первым русским человеком, которого я встретил в США. Она тогда преподавала в Принстоне, только что опубликовала эту работу. Берберова рассказывает, как она провозжала Андрея Белого, возвращавшегося в Россию. Она замечательно передает его речь, как он говорил ритмической прозой, сумбурно, страстно. Она стала советовать ему: мол, может быть, не стоит возвращаться, все-таки там происходят не слишком приятные события. «Нет, нет, вы поймите, — ответил он, — здесь же не с кем говорить».

В. Е. Ты хочешь сказать, что тебе тоже не с кем разговаривать?

С. С. По большому счету — да. Нет той среды, в которой можно «вариться» и которая так много дает. Нет густоты, терпкости жизни. Глядя отсюда, могу сказать, что Россия — земля для писателя необычайно благодатная. Однажды

ся в 1946 г. в Харькове. Эмигрировал в 1973 г., живет в Иерусалиме. Автор рассказов, романов — «Укрепленные города» (1980) и «От шума всадников и стрелков» (1984), последний переведен на английский и французский языки.

Сведения о Савицком и Милославском предоставлены Дм Волченом.

я познакомился с инженером, который объездил многие страны. Меня интересовало, где ему больше всего понравилось, где еще сохранилась у людей способность к интенсивному общению, и я немедленно со всей своей русской заядлостью накинулся на него с вопросами. Он испугался, замкнулся: видимо, не встречал человека, который с подобным пристрастием приставал бы к нему по таким пустякам. Для него, разумеется, пустякам. А мне было важно найти в мире место, где люди хранят традицию истинного, полнокровного разговора, как в России.

В. Е. А американские ученые, писатели, люди искусства?

С. С. Конечно, талантливые, яркие, живые люди, беседы с которыми интересны, есть, но их немного. Жить в основном приходится среди других.

В. Е. Для тебя существует понятие «американский интеллигент»?

С. С. Русская интеллигенция — явление уникальное, и бесполезно искать подобное в других странах. К этой мысли я пришел самостоятельно и только потом узнал, что того же мнения был Троцкий. Кого мы привыкли считать интеллигентами? Врачей, учителей, какую-то часть рабочих, наверное, из тех, которые постоянно читают, занимаются самообразованием. Дело не в профессии. Интеллигентность определяется мировоззрением, отношением к знанию. Здесь большинство публики не интересуется ничем, что не имеет непосредственного касательства к их работе, к сиюминутности быта. Както меня пригласили на встречу со школьниками и учителями в штате Мэн. Это недалеко от Бостона, т. е. совсем не провинция. Одна учительница литературы спросила меня, кто мои любимые американские писатели. Я назвал несколько имен, в том числе Уильяма Кеннеди. Учительница сказала, что ей стыдно, но она такого писателя не знает. Понимаешь? Это все равно, как если бы советская учительница не знала Юрия Трифонова.

В. Е. Ты считаешь, что здесь неблагополучно с культурой?

С. С. Я думаю, что Америку нельзя назвать благополучной страной в этом отношении. Исчезает вкус к чтению вообще. Даже авторы недавних бестселлеров, такие, как Апдайк, Гор Видал, обеспокоены. Число их читателей стремительно уменьшается. Я недавно был во Флориде в одной типичной американской семье. Там девочка 8-го или 9-го класса все свободное от школы время смотрит телевизор. Она, как большинство ее сверстников, учит наизусть телевизионную рекламу. Стоит раздаться первому слову рекламного текста, она мгновенно по памяти продолжает до конца все куплеты. Что касается собственно стихов, она их никогда не учила. В американской школе не учат стихов наизусть. Считается, что это было бы негуманно — заставлять ребенка делать то, чего он не

хочет. Да, здесь можно основать какой угодно театр, но где взять зрителей? Почтительно ходишь по великоллепным музейным залам, но в этих залах ты едва ли не в одиночестве. В прошлом году в Бостоне была большая выставка русского искусства из Советского Союза. Она была открыта все лето. Ее посетило лишь несколько тысяч человек, в основном, по-моему, иммигранты.

В. Е. Ты мог бы написать о проблемах американской жизни, о которых ты говорил?

С. С. Я думаю, для большинства эмигрантов-литераторов серьезная проза на новой почве, на местном американском материале невозможна. Можно писать только очерки, публицистику. Потому что многое скрыто, наблюдаешь только внешние проявления бытия, проникнуть в отношения между людьми глубже проблематично. Ты не знаешь, что делается в соседнем доме, при всем при том, что можешь знать имена людей, которые в нем живут; по внешнему виду дома, по машине, которая стоит у крыльца, можно представить, сколько «стоит» их владелец, но дальше этого не идет. Когда идешь по московской улице, то, взглянув на абажур в окне, догадаешься о куда большем.

В. Е. Можно даже сказать, какие книги там стоят на полке.

С. С. Вот именно, а здесь — туманно. У местного писателя есть семья, порой довольно разветвленная, род, укорененный в данной действительности. В этом его преимущество перед всяким эмигрантом. В семье ведь отношения неизбежны.

В. Е. Но у тебя не было желания высказаться по поводу Америки, пусть не в художественной форме, как-то «взорваться»? Или ты это копишь в себе?

С. С. Я постоянно «взрываюсь», высказываю свое мнение, как это делал и в России. Не всем это нравится, мне даже удалось кое с кем испортить отношения, хотя, как я говорил, с американцем трудно поссориться. Но вынести свое мнение на читательский суд я никогда не хотел. Это было бы невежливо по отношению к хозяевам. Конечно, если ты хочешь быть «непопулярным», ты волен обнажать язвы американской жизни. Американцы очень патриотичны и к самокритике не склонны. Они полагают себя лучшей нацией в мире. Когда сюда приехал Солженицын, первые года два он был самым популярным иностранцем в Штатах, потому что писал о проблемах и ужасах другой страны. Но как только он стал говорить неллицеприятно о воспитании, образовании здешней молодежи, как только стал учить Америку жить, сразу потерял аудиторию.

В. Е. В жизни каждого человека, американец ли он, русский, происходят одни и те же неизбежные события. Каково отношение американцев к любви и смерти?

С. С. Смерть в Америке вне закона.

О ней не принято, почти неприлично напоминать. Бестактно. Быть может, говоря о смерти близкого тебе человека, ты огорчишь своего собеседника. Возможно, он болен, стар. Зачем морочить людям голову своими неприятностями? Разбирайся с ними сам. Американцы не любят думать о неприятном. Особенно это чувствуется в богатых районах. Например, я видел в Калифорнии кладбища, замаскированные под парк. Когда смотришь со стороны, — пальмы, газон, трава подстрижена, как поле для игры в гольф, плавные холмы. А когдаходишь на территорию, оказывается, кладбище. Только нету могильных плит, вместо них — маленькие, величиной с две ладони, стальные плитки, вдавленные в землю. На них не то что нет эпитафий, нет даже имени человека, который здесь похоронен. Просто номер могилы.

В. Е. А ты бывал на американских похоронах?

С. С. Конечно. Я специально ходил, мне было интересно посмотреть, как здесь хоронят. Если в Советском Союзе будет когда-нибудь такой же уровень технического развития, то герои Сергея Каледина из «Смирненного кладбища» останутся без работы. Вместо могильщиков — машина типа трубоукладчика. Она снимает гроб с грузовика, спускается с ним на автоматических руках в могилу и там укладывает. А потом бульдозер все заравнивает. Разумеется, никаких гвоздей: ни первого, ни последнего, все давно заколочено. И ни слез, ни рыданий.

В. Е. А родственники?

С. С. Они стоят на почтительном расстоянии, шагах в двадцати, но не слишком далеко, чтобы все-таки было видно, что они имеют какое-то отношение к происходящему. Я, впрочем, уверен, что по крайней мере часть из них испытывает определенные чувства, переживания, но они их стараются не обнаружить.

В. Е. Теперь — о любви.

С. С. Любовь и связанные с нею чувства также проявляются очень сдержанно. В любовных, семейных драмах здесь напрочь отсутствует истерика. Сначала это нравится, чувствуешь, как это удобно. Вообще комфорта хоть отбавляй. Как

и в случае со смертью. Зачем усложнять жизнь себе и другим? Принято полагать, что страсти в Америке достигают кинематографических высот. Мой опыт не подтверждает этой теории. Русских женщин вспоминаю с благодарностью. В свое время в России были популярны «техасские» анекдоты, где американцы представляли героями, которых трудно чем-либо удивить, смутить. Бесстрастны и невозмутимы. Мы думали, они тертые, прошли огонь и воду. Это тоже, конечно, имеет место: более или менее воевали. Но главная причина — иная: нелюбознательность.

В. Е. Мы с тобой как-то вывели такое понятие: «колбасная эмиграция», т. е. те, кто едет в Америку не по идеологическим причинам, национальным или творческим, а за достатком.

С. С. Я знаю таких людей. Многие из них преуспевают, открывают собственное «дело», старательно забывают русские привычки и усваивают туземные.

В. Е. Что бы ты мог сказать о них? Получают ли они удовлетворение от жизни здесь?

С. С. Мне кажется, что русский человек философичен, но нетерпим. Ему трудно жить среди граждан, идеалы и жизненные ценности которых он не приемлет, с которыми он говорит на разных языках. Речь не об английском. Разговор тут редуцирован, большинство использует 300—400 слов. Такой язык несложно выучить. Я имею в виду другое. Когда произносятся одни и те же слова, а понятия различны. Например, для нас со словом «книга» связаны представления о серьезной литературе, а когда американец говорит «книга», для него это — и руководство, как лучше поливать огород, и как вкладывать деньги в банк. Он не усматривает принципиальной разницы между серьезной литературой и — подсобной, подножной. Или — «вечеринка». Для нас это — оживленное, часто бурное обсуждение трепетного, а для американца — это когда собираются, стоят, скучают и вяло обмениваются незначительными фразами. Думаю, что россиянин вряд ли может здесь стать по-настоящему своим.

Живая трава

Владимир Орлов. Аптекарь. Роман. «Новый мир», 1988. №№ 5, 6, 7.

Удивительное дело: предыдущий роман В. Орлова «Альтист Данилов» сразу попал в самую точку. Едва он появился на страницах «Нового мира» в 1980 году, как тут же поднял волну читательского интереса, в считанные месяцы стал настоящим бестселлером. А вот «Аптекарь» прошел почти незамеченным: не слышно громких споров, совсем за другими новинками выстраиваются очереди в библиотеках...

Почему же столь разный прием оказан двум «московским» романам одного автора? Может, «Аптекарь» — неудача и нечего тут мудрствовать лукаво? Да, к «Аптекарю» могут быть предъявлены вполне обоснованные претензии и по части композиции (бросается в глаза затянутость некоторых разделов — особенно лирических), и относительно несогласованности отдельных сюжетных ходов, и по поводу нерасчетливой щедрости на детали и подробности. Все так, и, однако же, роман о «пайщиках кашинской бутылки» и их незваной «рабе и берегине» написан не хуже «Альтиста Данилова», а многие страницы — рукой более уверенной, опытной, крепкой. Значит, дело вовсе не в уровне письма, не в мастерстве, а, возможно, в тех самых восьми годах, которые разделяют обе книги.

Читательский успех «Альтиста Данилова» не в последнюю очередь был предопределен новизной и неожиданностью вольных фантазий В. Орлова, которые взламывали привычную плоскость бытового правдоподобия. Его свободные импровизации не согласовывались с регулярным письмом по правилам, а скучный здравый смысл отступал в романе перед безудержной игрой воображения. То была игра веселая, озорная, от всей души, которая помогала отбросить внутренне тормоза и раскрепоститься, переступить границы опасливого благоразумия. Зря только критики — и приемлющие роман, и ставшие под сомнение его достоинства — брали для сравнения «Мастера и Маргариту». Такое сравнение кого хочешь уложит на обе лопатки. Скорее всего следовало бы установить родственные связи «Альтиста Данилова»

с молодежной повестью конца 50-х — 60-х годов (она пошла было на страницах катаевской «Юности», да скоро побили ее морозы, сменившие «оттепель», авторов разбросало по свету, а «память жанра» была пресечена и объявлена как бы несуществующей).

Совсем в другой позиции оказался «Аптекарь». Во-первых, прямая эстафета, принятая из рук «Альтиста Данилова». Оба романа воспринимаются как единый цикл, а их близость столь велика, что рассказчик необычайных происшествий, случившихся в Останкине в 1975—1976 годах (дата и место событий указываются тем точнее, чем менее они правдоподобны), — в самых что ни на есть приятельских отношениях с героями предыдущего романа. Во-вторых, «Аптекарь» окружен близкими по духу и поэтике произведениями: его герои совершают свои «полеты во сне и наяву» рядом с другими. Образные переключки и даже просто совпадения — на каждом шагу: то у В. Орлова сходят с прочного фундамента и начинают двигаться дома, будто в романе А. Житинского «Потерянный дом, или Разговоры с милордом» (не говоря уже о фильме «Фонтан» — все-таки другой жанр); то один из завсегдатаев пивного автомата по улице Королева, 5 (здесь и начались все чудеса!) открывает в себе дар экстрасенса, который решает употребить для блага людей, — прямо мажоранский «предтеча»; то замаячит на улицах Москвы злобешая «рыба на льсых псых лапах» — ротан Мардарий, очень сходный с оборотнями из «Белки» Кима, то главный герой романа, солидный аптекарь Михаил Никифорович Стрельцов (возраст — под сорок, рост — сто семьдесят пять, вес — семьдесят девять килограммов) вдруг взлетит на воздух, уподобляясь какому-нибудь «летуну» Гумми из битовского «Преподавателя симметрии»; то пронесется слухок о тайных гонках Палаты Останкинских Польз, которая, судя по всему, одной группы крови с «гишу» братьев Стругацких — тоже из породы подслушивающих и подсматривающих, то действие «Аптекаря» прямо переключается с ходом событий в романе Н. Евдокимова «Трижды Величайший, или Повествование о бывшем из небывшего».

Многочисленные образные переключки не оставляют сомнений в том, что фантастическое, острогротеское видение действительности, казавшееся во времена «Альтиста Данилова» принадлежностью «периферийной» литературы (вспомним этот термин Ю. Тынянова), сегодня сместилось к центру. Но вот парадокс: пока оно было в новинку и только заявляло о себе, у него насчитывалось немало сто-

ронников, готовых утверждать, что именно ирония, гротеск, фантазия, метаморфоза призваны обновить художественное зрение современности, вернуть литературе свежесть и остроту восприятия. Стоило, однако, этому направлению набрать силу, как критика стала утрачивать к нему интерес. Во всяком случае, судьбу «Аптекаря» разделяют и «Трижды Величайший...», и «Потерянный дом...», и «Преподаватель симметрии», и «Хромая судьба» вкупе с «Градом обреченным» братьев Стругацких... Конечно, в перечисленном ряду — работы разного художественного достоинства, но не сплошная же унылая равнина, где и глазу-то не на чем остановиться? И тогда возникает вполне уместный вопрос: может, дело вовсе не в индивидуальных свойствах каждого из перечисленных произведений, но как раз в том общем, что их объединяет и роднит? Может, сама их эстетика, поэтика кажутся «мало оборудованными» для современности, не подходящими сегодняшнему дню с его «речью точной и нагой» (кончилиось, слава богу, время намеков и эзопова языка!), с его открытым гражданским пафосом, прямо поставленными «проклятыми вопросами», четкими политическими инвективами? Как тут не вспомнить А. Блока: «Всех нас временами бросало в публицистический и политический жар и бред. Что делать — мы русские?»

Но при всем интересе к произведению этого ряда обязательно ли отодвигать в сторону остальные, мыслить по принципу исключения? Не сказывается ли здесь наше давнее неумение «ни в чем меры держать, средним путем ходить», подмеченное наблюдательным хорватом Ю. Крижаничем еще в середине XVII века? Да что там Крижанич — сам Достоевский постоянно жаловался: «Трудно, трудно держать середину». Подобный монолизм оплачен, продолжает оплачиваться нашей многострадальной историей, и потому наиболее пронизательные обращаются сегодня к культуре, которая по самой природе своей предполагает широту, а не узость, верна духу терпимости и дружества, берет сторону диалога в его извечном споре с фанатизмом и проповедническим исступлением.

Центральный пункт размышлений героя-повествователя — об искусстве (он у Орлова — писатель по профессии), о необходимости гармонии, которой под силу было бы сопрячь крайности, преодолеть «углы и резкости», согласовать противоположности. «Гармонии Мусоргского и Стравинского», как определяет ее склонный к музыкальным ассоциациям герой, «барочной гармонии». Герой-повествователь понимает, что «душевно-музыкальное и равнообратное соединение всех состояний мира» теперь решительно невозможно, — времена Рублева, Рафаэля, Моцарта давно минули, но далек герой и от того, чтобы делать вывод о современном мире как о сплошном хаосе и абсурде. Пока существует искусство,

считают автор и его герой, оно утверждает «необходимость и естественность жизни».

Естественность жизни, органика бытия, свободное течение действительности «без напряжения и натуги» — ценности установки, равно присущие обоим «московским» романам В. Орлова. Не зря герой «Аптекаря» водит дружбу с альтистом Даниловым: и тот, и другой не приемлют романтического мифа об избранничестве художника; и музыкант, и писатель философски относятся к жизни, к людям, которые их окружают. Поэтому, в частности, рассказ о пивном заведении и его посетителях ведется в таких сочувственно-благодушных тонах, с мягким юмором, хотя, попади сюда завзятый романтик, ему было бы где развернуться, дать выход негодованию по поводу несовершенства человеческого рода и слабости людей.

Герои романа считают жизнь, какой они живут, если не вполне разумной, то, во всяком случае, действительной, натуральной жизнью. Шумные компании, образующиеся здесь, разношерстные, состояются из людей, которые в «другой» жизни принадлежат к разным слоям общества, движутся по непересекающимся орбитам. В пивном же заведении все равны, между посетителями сняты «искусственные» перегородки, а отношения напроць лишены официальности и чиновничества. На улице Королева, 5 — свои, инвертированные по отношению к официальным законам общежития, своя шкала ценностей, согласно которой чистые фантазии, бескорыстные чудачества и игры воображения стоят куда выше практической сметки и корысти «энергичных людей».

Однако и этому последнему оазису останкинской свободы грозит конец: его знаменует появление из горлышка поллитровки «рабы и берегини», получившей в миру имя Любви Николаевны Кашинцевой (происхождение имени весьма прозаично: на этикетке бутылки значилось, что доставлена она с Кашинского ликеро-водочного завода).

Волшебник — среди людей, чудо — среди обыденной жизни. Ситуация «Альтиста Данилова» проигрывается как бы вновь. Но это только кажется, что пластинка запущена по второму кругу, на самом деле она перевернута на другую сторону: первоначальная тема получает дальнейшее развитие и даже переосмысление. Мы помним, что «демон на догворе» избегал чудес, предпочитая обходиться собственными человеческими силами. Если же Данилов и поворачивал волшебный браслет, то скорее затем, чтобы отвести душу, покуролесить, нежели для того, чтобы насильственно перекраивать ход жизни, облагодетельствовать «малых сих» — вопреки их желаниям. Собственно, за «гнилой либерализм», «пособничество отсталым настроениям», «хвостизм» (на языке вполне земных канцелярий) Данилов и был наказан Девятью Слоями, резко понижен в демон-

ском чине. В «Аптекаре» другой оборот событий: «раба и берегиня» неосторожно переступает черту, за которую не заходил «демон на договоре». Не случайно с появлением Любови Николаевны Останкино начинает лихорадить, бросать то в жар, то в холод.

Тут-то мы и подходим к самому главному: как ни симпатичны аборигены пивного заведения, они беззащитны перед злой волей и при известных обстоятельствах могут стать послушным орудием в ее руках; сколь натуральной ни выглядит их жизнь, она оказывается далека от разумности. «Художественный руководитель» Палаты Останкинских Польз Шубников манипулирует своими земляками, в первую очередь стараясь отнять у них «способность суждения»; он делает ставку на чудо, слепой авторитет, иррациональное, уверенно чувствует себя в атмосфере массового психоза, истерии «коллективного бессознательного», когда человек растворяется в массе, превращается в «икринку икры», согласную часть «людской многоножки».

Но тот же Шубников — а в его житейской практике обобщены представления В. Орлова о диктаторах и диктаторстве — не прочь схематизировать мир, опираясь на разум, готов расписать живую жизнь по параграфам правил и артикулам установлений. Он даже садится за сочинение «Записок о повреждении нравов в Останкине», которые должны служить обоснованием его агрессивных намерений, заводит у себя целый штат идеологов, теоретиков, интеллектуалов, патрулирует просветительским курсам Погружения в Свет и академическому «Институту частей тела и наружного органа».

«Коллективное бессознательное» и голый рационализм — В. Орлов совпадает со многими другими писателями в определении Сциллы и Харибды современной жизни. Но как же их миновать? Словно в противоречии с самим собой — певцом жизни «без напряжения и натуги» — В. Орлов проводит в романе сквозную мысль о необходимости разломать «футляр стереотипов», расколоть скорлупу, отбросить отжившие формы, одним словом, прибегнуть к волевому усилию.

Давно замечена склонность В. Орлова к культурологическим ассоциациям. Немудрено, что в сознании Аптекаря — Стрельцова, решившего стать заступником Останкина, всплывает сравнение с Дон Кихотом. Не пренебрегает этим сравнением также Шубников, примеряющий на себя роль останкинского «рыцаря и проводника в совершенство». Но если Стрельцов долго не решается прибегнуть к провозглашенному Дон Кихотом праву вторгаться в судьбы других людей, ломает голову над «простодушной верой странного рыцаря в правоту собственных действий», то у Шубникова на сей счет нет никаких сомнений: он призван облагодетельствовать останкинцев и готов достигнуть любой цели любыми средствами; если же встретит непонимание

или сопротивление «этих ничтожеств», то не остановится перед тем, чтобы раскурочить весь мир, и начнет с дегтишек, которые «по несообразности природы могли жить долго и после него».

Два Дон Кихота в одном романе, и разница между ними в том, что в стрельцовском варианте ударение сделано на романтическом порыве, благородстве помыслов, а в шубниковском — на своевольии личности и субъективном произволе. Но и романтический Дон Кихот обладает некоторым нравственным изъяном, который в нашем случае обернулся драмой непонимания и себя, и самого близкого человека — Любови Николаевны, нуждающейся в спасении.

От чего же, собственно, Любовь Николаевну надо спасать, если она обладает безграничной властью и способна творить чудеса? Вот от этой самой власти, от этих несчастных чудес, говорит автор, продолжая мысль своего предыдущего романа: ведь всемогущество — не человеческое дело, а дьявольское и, значит, отчуждает от людей. Положение Любови Николаевны усугубляется двойственным статусом — «раба и берегиня», — который ставит ее в двусмысленную ситуацию: берегиня призвана оберегать и укреплять, тогда как рабыня, напротив, — потакать любым слабостям, вплоть до самых разрушительных. А кроме того, Любовь Николаевна находится во власти сразу всех «владельцев кашинской бутылки», почему ее видят то со Стрельцовым, то с Шубниковым. Если к этому прибавить полное отсутствие человеческого опыта (буквально с неба свалилась), то естественны и болезненные срывы, и тяжелые кризисы, и мучительные метания, тем более что в нужную минуту рядом не оказывалось Стрельцова. Но и в одиночку, «истинно страдая», Любовь Кашинцева проходит избранным путем «наиболее верного воплощения своей сути и своей натуры».

«Истинно страдая» — на это стоит обратить особое внимание, так как «верное воплощение своей сути» не дается без мучительной внутренней работы, тяжелого труда самопознания и самовоспитания. Когда отношения Стрельцова с Любовью Николаевной достигали кризисной точки и им грозил разрыв, аптекарь рассчитывал на подсказку «рабы и берегини», но неизменно встречал отказ: советы не помогут, только самому можно доработаться до нравственного чувства. Свидетельством тому — и «новый» Стрельцов в финале романа, которому природа подает теперь знаки дружеского расположения: ожила бузина на склонах Семишанской горы, на ветвях клена в Головине покраснели листья, даже давно засохшая в цветочном горшке фиалка вдруг выбросила зеленый росток — «сад должен цвести»!

Роман В. Орлова начинается и завершается сценами естественной, натуральной жизни. Они подчеркнута акцентированы, как бы взывают к знаменитой пастернаковской строке о «неслышанной

простоте», которая «всего нужнее людям». Однако та же естественность и простота бывают самого разного рода, и все дело в том, чтобы не принять миражи за действительность. Как случилось в Останкине середины 70-х годов, описанном прозаиком В. Орловым, как случилось со всеми нами.

В. ПИСКУНОВ

Против больших батальонов

Владимир Корнилов. Надежда. Книга стихов. М.: Советский писатель, 1988. Музыка для себя. М., Правда, 1988.

Как и многие из моего, настроенного на поэтическую волну поколения, я открыла для себя поэта Владимира Корнилова, прочитав в школьном отрочестве сборник «Тарусские страницы», овеянный ореолом неформальности и полузапретности (говорили, что изъят из библиотек). Полиграфически несовершенное, на первый взгляд даже какое-то случайное издание тиражом 75 тысяч являло собой живой срез литературной жизни начала 60-х годов и служило в этом качестве незаменимым источником художественной информации. Там были напечатаны стихи Е. Винокурова, Н. Коржавина, Б. Слуцкого, М. Цветаевой, Н. Заболоцкого, проза Б. Окуджавы, В. Максимова, Ю. Казакова, Ю. Трифонова — словом, множество разнообразных и интереснейших материалов. На фоне относительно умеренной в печатных возможностях эпохи они казались настоящим богатством. Однако повесть в стихах «Шофер», первое серьезное выступление Владимира Корнилова, вовсе не терялась среди этих публикаций. Были в ней неореалистическое обаяние быта и заявленные с поистине мужским благородством правила бытия: «Шофер» принадлежал той самой литературе, неокрепшему дитяти XX съезда, которая выходила на сцену и входила в историю как новое шестидесятилетие. Был стих скупой и мужественный — так разговаривали между собой герои Хемингуэя, билась в стихе живая жизнь, и хотелось воспринимать сказанное поэтом как жизненнаставление — именно из-за отсутствия всякой дидактики. «Я не копался в чужой душе, я наблюдал дорогу» — тем и остался в памяти В. Корнилов. Много позже поняла, какая судьба выпала талантливому поэту, рекомендованному в Союз писателей Анной Ахматовой.

Поэзия В. Корнилова — это голос человека, который целиком, непосредствен-

но принял весь неписанный кодекс шестидесятников. Принял всю эту хорошую сентиментальность, благородно смешанную с романтической отвагой: культ товарищества перед лицом официоза, идиосинкразию к социальной фальши, упование на надежность праведного слова, протест против любой несправедливости, прекраснодушный либерализм и, наконец, чуть ли не детскую веру в то, что все образуется, — Чапай переплывет через Урал, а Иисуса не распнут:

Мне все давно известно,
Я знаю день и место,
Но все ж надеюсь честно
На исправленье текста.

...И вновь калечных лечит,
Талдычит, бисер мечет...
«А вдруг не изувечат?» —
Надеюсь целый вечер.

(«Чтение». 1970).

Известно, что труднее всего живется тем, кто ко всему относится всерьез, без лукавства, без поправочных коэффициентов. Осознав себя в определенной системе ценностей, наивные и честные сердца следуют ей до конца. И хотя, оглядываясь время от времени вокруг, они будут обнаруживать, что друзья-соратники ведут себя несколько иначе, будут недоумевать, а то и страдать от этого, никакая сила не заставит их отказаться от единственно приемлемого для них образа действия. В середине 60-х В. Корнилов стал, как тогда говорили, подписантом, за что впоследствии его исключили из Союза писателей. Первое письмо — против суда над Даниэлем и Синявским — он подписал в 1966 году, последнее — против высылки в Горький академика Сахарова — в 1980-м. Надо ли говорить, что подписывавший становился меченым: появлялась масса способов воздействия на него самого и на его близких, отныне не исключался никакой произвол. И в первую очередь, разумеется, перекрывалась возможность публиковаться, зарабатывать себе на жизнь литературным трудом. Книга «Надежда» открывается стихотворением «Сорок лет спустя». Раздумывая о годах учения в Литинституте, В. Корнилов вспоминает и «угрюмого дворника» за окном — отлученного от журналов Андрея Платонова. Оценивая ситуацию из сегодняшней зрелости, поэт без снисхождения говорит об эгоизме молодежи:

...Всю жизнь гляделся я в себя,
А в ближних — мало.
И все равно его судьба
Меня достала.

Такой или сякой поэт.
Я, кроме смеха,
На склоне века, склоне лет —
Уборщик снега.

Вероятно, сами по себе разговоры о превратностях судьбы кого-то да раздражают. Но попробуйте вывести поэта (любого) за рамки его биографии! Да и что делать, если «дар равен доле» и грубая действительность прямо отзывается в стихе. О нет, я вовсе не призываю к особому сочувствию: просто представьте се-

бе, практически представьте — ведь мы все люди практические, — что означает оказаться вне закона, причем на необозримое будущее.

Выбор был сделан, быть может, вначале и не вполне сознательно: на уровне тех нормальных, здоровых инстинктов, которые заставляют, не раздумывая, протягивать руку помощи, вставать на сторону слабого, попранного Левиафаном. Это — доблесть шестидесятника, его идеал, соответствующий времени и месту. Одно из стихотворений 1966 года В. Корнилов посвящает такому вот типу поведения, будто уже прочерчивая свое будущее:

Достается, наверно, не просто
С болью острой, острее, чем зубной,
Это высшее в мире геройство
Быть собой и остаться собой.

Устоять средь потока и ветра,
Не рыдать, что скидают друзья,
И не славить, где ругань запретна,
Не ругать, там где славить нельзя...

Рефлексия придет позже, с годами, с тяжким опытом. Да, появятся и неуверенность, и чувство безнадежности, появится стремление прояснить: «Что это — страх или подвиг? Точный расчет или бред?» Противоестественное состояние для человека — не вождя, не профессионального революционера, а просто поэта, вынужденного уйти в подполье, — передается в стихах В. Корнилова внешне спокойно, но со взламывающей изнутри неизбывной тоской от беспомощности перед враждебным социумом: «Несуразная судьба — эмиграция в себя, словно начисто тебя съела фронда. Вроде ты живой и весь в душей, и телом здесь, а сдается, что исчез с горизонта». Сюрреалистический ужас существования, загнанного вглубь, предстает в стихотворении «Корни»: «Зряшно, подземно и слепо, все свое пряча внутри, маюсь без краюшка неба и без полоски зари». Наглядно и страшно это сравнение изгоя, аутсайдера с деревом, у которого «ни листы, ни ствола» — только «корни». Подобный образ жизни и образ мысли вырабатывают поистине стоические черты, и поэтому главный грех, который боится совершить поэт, — грех уныния: «Ну-ка, голову выше быта, выше ненависти-тоски, все претензии и обиды встретим весело, помужски». Об одном он просит — чтобы душа не опозорилась в трудную минуту: «Будет вволю, в досыти воя и тоски... Дай все это Господи, встретить по-людски».

Притягательность корниловских стихов — в непосредственности социальной и политической реакции. Он поэт прямой социальности, которых у нас (если не брать в расчет многочисленных имитаторов общественного задора) не так уж и много. Ведь сами эти понятия — «социальность», «политика» и т. п. — изрядно и справедливо дискредитированы, их инстинктивно сторонятся. Такому поэту, как В. Корнилов, писать в стол особенно трудно — ведь источником его творчества является как правило, откликаю-

щееся ему и окликающее его время во всей наготе своих политических причуд. Порой даже кажется, что поэт слишком прямодушен: «Хоть немного стою, промолчать не рискну — как же дальше — к застою или прямо к Христу? Есть проход сквозь опасность и спасенье в аду. Я надеюсь на гласность, на нее на одну».

Возвращение в 1986 году к нормальной литературной жизни закономерно вызвало у В. Корнилова прилив творческой активности: большая часть стихов из рецензируемых книг помечена последними тремя годами. Среди них аскетически просто исполненное и философски емкое стихотворение «Свобода». Личное отношение к изменившейся политической реальности (условимся называть ее «свободой» — ведь все относительно) поэт вписывает в российскую традицию, уходящую в бесконечную ретроспективу: «Не готов я к свободе, по своей ли вине? Ведь свободы в заводе не бывало при мне. Никакой мой прапрадед, и ни прадед, ни дед не молил Христа ради: «Дай, подай», видел: нет...» Я уже года два как знала эти строки, любила их, когда читала в «Комсомольской правде» стихи сегодняшней десятиклассницы: «Я в рабстве у страха. Боюсь я свободы — там правда, а может, и там ее нет. Пусть снимут все цепи, открут все ходы, я в клетке останусь, не выйду на свет». Переключка через поколения удивила и ужаснула: какой странной жизнью мы все-таки живем... Требовать гарантий недостаточно, да и не от кого вроде бы. Но при изменении политической ситуации появляется потребность хоть в какой-то надежности. И ослабевает выстрадавший В. Корниловым жестокий оптимизм работы, оптимизм бесконечного преодоления — в него влетает плач о надежде: «Как от сглазу, утих весь пыл: стал я сразу другим, чем был... Безутешно прошу, как грош: мне надежду вынь да положи!» Так самый стойкий узник в темнице, почуввав возможность освобождения, будто сразу обмякает. Он хочет надеяться он верит и боится — «хоть немного еще брести, без надегу мне не снести».

Да, и стихи много испытавшего поэта, и строки юной девушки говорят прежде всего о вековой нашей привычке к несвободе. Но и о жажде свободы, о вере в нее, иначе они бы не были, наверное, написаны. Для В. Корнилова свобода обретает теперь четкие параметры реализации: не гедонистический рай, не вечный кайф, а долг, обязанность, этот постоянный труд российского интеллигента, им самим же на себя возложенный:

Что такое свобода?
Это кладезь утех?
Или это зобота
О себе после всех?

Счастье или несчастье,
Сбросив зависть и слесь,
Распахнуть душу настежь,
А в чужую не лезть?

В таком контексте проясняются и различные модели поведения интеллигента

в нелегкие для отечества времена. Реальная альтернатива для людей, вступивших на путь диссидентства, была, в сущности, одна: уезжать или не уезжать. Не нам судить, какой путь честнее, но труднее, по-видимому, все-таки второй, ибо не было просвета в тучах, затянувших небо отчизны. Поэзия В. Корнилова действительно поражает высокой степенью социальной контактности: социальные, политические волны проходят через его сознание, и душа ничем не защищена от жестокого и своевольного мира политики — мира большой и малой игры, столь чуждой прямодушно.

Отношение В. Корнилова к отъезду за пределы страны, к самой возможности жить вне России на протяжении лет претерпевало изменения, развиваясь от полуинстинктивного выбора до позиции. Сначала были просто ощущения, довольно смутные как впрочем, и сама возможность эмиграции в те годы («Тоска», 1965). Потом пришло первое понимание того, чем чреват выбор: «И не слышу ваших коней, стука рельс, самолетного лаю... На своей земле околел. Потихоньку околеваю» («Неподвижность», 1973). Потом возникает потребность и допустимость самоопределения. И наконец, после резкого и неожиданного поворота колеса истории наступает итоговое осмысление сделанного (или не сделанного) выбора. Это уже возможно только тогда, когда, несмотря ни на что, — вот российский фатализм в действии! — «выжили ожили, дожили». И только теперь дано прочувствовать всю меру добровольно-насильственного самоограничения.

И помнили только одно:
Что нет ни второго, ни третьего.
Что только такое дано,
И нет за Москвой Шереметьева.

А лишь незабудки в росе,
И рельсы в предутреннем инее,
И синие лес, и шоссе,
И местные авиалинии.

Ошибется тот, кто увидит в этом стихотворении столь любимую нами, трогательную (вопреки всему жел!) лояльность к державе и уверенность в правильности выбора. То есть уверенность, безусловно, здесь есть, но нерв «Аэродромов» — это насильственно волевое решение сужить свой горизонт до «местных авиалиний»...

Как-то исподволь, незаметно приноровились мы в коллективистском бдении ломать лучшее в себе, подстраиваться — вопреки простому здравому смыслу — под генеральные тенденции, не принимая их на самом деле всерьез. Привыкли загодя пасовать перед давлением коллективной мудрости — ведь коллектив большой и всегда прав. Привыкли отступать в малом, теша себя иллюзорной надеждой на то, что в значительном-то уж не отступим. Но значительное, настоящее так и не приходило, а мы все отступали и отступали от себя: ради спокойствия, ради того, что считалось у нас нормальной жизнью. Разумеется, брать сторону больших батальонов легче и выгоднее: «Они во всем едины, они не разделенны, они непобедимы, большие батальоны... И обретает имя в их грохоте эпоха. И хорошо быть с ними, а против них — быть плохо». Как говорил один великий еретик, каждый человек рано или поздно оказывается перед роковой дилеммой — сила или благородство. На своем первом вечере в ЦДЛ Владимир Корнилов отчасти объяснил свой выбор: «Я просто хотел этими письмами сказать, что не хочу иметь ничего общего с гонителями». Но выбор был обусловлен и представлениями о смысле ремесла. Ибо отстаивать одного-единственного слабого человека перед стеною больших батальонов — вот дело, достойное поэта.

В. ШОХИНА

Главный редактор А. А. АНАНЬЕВ.

Редакционная коллегия: Г. В. БУДНИКОВ (зам. главного редактора), В. В. ДЕМЕНТЬЕВ, Р. Т. КИРЕЕВ, Н. Д. КРЮЧКОВА, А. Н. КУРЧАТКИН, В. М. ЛИТВИНОВ, А. А. МИХАЙЛОВ (первый зам. главного редактора), И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь), В. Д. ПОВОЛЯЕВ, В. Я. САВАТЕЕВ, И. Е. ФИЛОНЕНКО.

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 11.07.89. Подписано к печати 27.07.89. А 07885. Формат 70×108¹/₁₆.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Уч.-изд. л. 22,24.
Тираж 385 000 экз. Заказ № 951. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.

Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-77, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

В 1990 ГОДУ «ОКТЯБРЬ» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Игорь ВОЛГИН. Политический процесс. Достоевский и современники: жизнь в документах, Книга вторая;

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. Лев Троцкий. Политический портрет;

Майя ГАНИНА. Зимородок — синяя птица. Роман;

Сергей ДОВЛАТОВ (Нью-Йорк). Иностранка. Повесть;

Федор КОЛУНЦЕВ. Свет зимы. Роман;

Владимир КОРМЕР. Наследство. Роман. (Первая эмиграция и инакомыслие 60-х гг.);

Любомир ЛЕВЧЕВ. Убий Болгарина. Главы из романа;

И. ПОЛЯК. Песни задрипанного ДПР. Повесть;

А. ДЕНИКИН. Очерки русской смуты. Главы из пятитомной книги;

Записки народной артистки СССР Нонны МОРДЮКОВОЙ «Вот так и живем». (Часть вторая);

Стихи Б. АХМАДУЛИНОЙ, К. ВАНШЕНКИНА, П. ВЕГИНА, Г. ГОРБОВСКОГО, И. КАШЕЖЕВОЙ, Ю. МОРИЦ, Д. САМОЙЛОВА, В. ЦЫБИНА и других известных и молодых поэтов.

Из литературного наследия: дневники, письма, воспоминания А. БЕЛОГО, М. БУЛГАКОВА, С. БОЛКОНСКОГО, Б. ЗАЙЦЕВА, В. КОРОЛЕНКО, Б. ПАСТЕРНАКА, А. РЕМИЗОВА, В. С. СОЛОВЬЕВА, В. ХОДАСЕВИЧА, М. ЦВЕТАЕВОЙ.